Вл. ОРЛОВ

РУССКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ 1790–1800-х ГОДОВ

ГОСЛИТИЗДАТ
1950

Вл. ОРЛОВ
РУССКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ

Вл. ОРЛОВ

Русские просветители 1790–1800-х годов

Государственное
издательство
художественной
литературы
1950

Советское литературоведение, руководствуясь марксистско-ленинской теорией, рассматривая литературные явления исторически — в их обусловленности действительностью, социально-экономической обстановкой и классовой борьбой, призвано окончательно опровергнуть утверждавшуюся буржуазной наукой облыжную версию о, якобы, «едином потоке» развития русской литературы.

«Есть две нации в каждой современной нации», — учил В. И. Ленин. — «Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова». *

Этим решается вопрос о значении культурного наследия прошлого для социалистической культуры. «В *каждой* национальной культуре есть, хотя бы не развитые, *элементы* демократической и социалистической культуры, — указывал Ленин, — ибо в *каждой* нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в *каждой* нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — притом не в виде только «элементов», а в виде *господствующей* культуры». ** Подчеркнув «эту основную истину, азбучную для марксиста», *** Ленин делает следующий вывод, который должен служить руководящей нитью при решении вопроса о культурном наследии прошлого в связи

---

* В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 20, стр. 16.
** Там же, стр. 8.
*** Там же.

с интересами социалистической культуры: «. . . мы *из каждой* национальной культуры берем *только* ее демократические и ее социалистические элементы». *

Ленинское учение о двух национальных культурах в каждой национальной культуре служит решающим критерием оценки любого явления культуры, формировавшейся в условиях классового общества. Только в свете ленинского учения окончательно выясняется исторический смысл процесса развития русской национальной культуры на всех его этапах. Только при условии строгого применения данного критерия можно избежать неразборчивого объективизма и идеализации в характеристике и оценке явлений прошлого.

В русской культуре XVIII — начала XIX века шла непрерывная острая и непримиримая борьба двух враждебных начал, отражавшая борьбу классов, происходившую в крепостническом обществе и государстве, — начала реакционного, связанного с охранительными тенденциями феодально-абсолютистского, помещичьего и клерикального лагеря, и начала прогрессивного, органически связанного с освободительным движением народа и знаменовавшего формирование радикально-просветительной и революционно-демократической идеологии, материалистической философии, передового общенародного искусства.

Насущно важная задача советского литературоведения состоит в том, чтобы на конкретном материале выявить процесс развития прогрессивной русской литературы, протекавший в обстановке идейно-политической борьбы, которая в свою очередь отражала антагонизм классовых общественных сил.

Предметом советского литературоведения должно служить изучение литературного процесса во всем его объеме. В общий контекст истории русской литературы надлежит включить ряд существенно важных явлений, которые, как правило, игнорировались буржуазной наукой, сосредоточившей свое внимание по преимуществу лишь на явлениях, лежавших, так сказать, на поверхности общественно-литературной жизни и чаще всего слагавшихся на почве господствовавшей дворянско-буржуазной культуры.

Многое в этом направлении уже сделано. В частности, заслугой советского литературоведения является воскреше-

* В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 20, стр. 8.

ние из небытия целого ряда замалчивавшихся, а подчас и вовсе не известных прежде фактов истории русской демократической литературы XVIII — начала XIX века. Но еще больше предстоит сделать в этой области, обратившись к первоисточникам и прежде всего к богатейшим фондам документального материала, втуне лежащего в архивах. Обращение к первоисточникам позволяет во многих случаях не только выявить новые важные факты, но и по-новому осветить и осмыслить факты уже известные, но превратно истолкованные буржуазной наукой.

Данная работа имеет целью подчеркнуть и выделить прогрессивные — радикально-демократические — *элементы* в русской общественной мысли и литературе 1790—1800-х годов в связи с деятельностью и творчеством писателей и публицистов, выступивших еще при жизни А. Н. Радищева, испытавших заметное воздействие его освободительных идей и в некоторых отношениях явившихся его преемниками.

Писатели, о которых идет речь, восприняли и продолжили традиции русского просветительства XVIII века — самого передового для той эпохи философского и социально-политического мировоззрения, под знаком которого прогрессивные силы русского общества развернули критику феодально-абсолютистских порядков, а в лице Радищева поднялись до теоретического обобщения опыта революционной борьбы крестьянства против крепостничества и самодержавия.

Понятие «русское просветительство» — понятие очень широкое. Просветительная мысль в России прошла длительный путь развития и в 60-е годы XIX века, в пору революционной ситуации, в деятельности Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского достигла вершин революционно-демократической теории. Ранний период в истории просветительных идей в России, отразивший определенную стадию общественно-исторических отношений, по содержанию своему, конечно, не может быть отождествлен с эпохой 60-х годов XIX столетия. Но в мировоззрении передовых русских мыслителей и писателей конца XVIII — начала XIX века уже нашли свое первоначальное выражение характерные черты русского просветительства — вражда к крепостному праву и всем его порождениям, горячая защита интересов народных масс и искреннее желание содействовать их борьбе за свободу, пропаганда просвещения и

философского материализма, разоблачение всяческой религиозной схоластики и суеверия.

Не ставя своей задачей осветить все явления русского просветительства конца XVIII — начала XIX века, мы касаемся лишь названной выше небольшой группы писателей и публицистов. Испытав благотворное влияние идей Радищева, они ознаменовали своей деятельностью основную, ведущую тенденцию русской просветительной мысли данного периода в ее радикально-демократическом выражении. Во взглядах именно этих деятелей выявляется особый характер русского просветительства, которое, сравнительно с идейным движением в других странах, в наибольшей степени отражало насущные интересы угнетенных народных масс, боровшихся за свободу и гражданские права в условиях самодержавно-крепостнического уклада. Однако, помня о том, что прошлое нельзя ни улучшать, ни ухудшать, мы отмечали не только сильные, но и слабые стороны деятельности людей этого круга, не только положительное и плодотворное в их мировоззрении, но и владевшие ими иллюзии и предрассудки.

По ходу исследования нам приходилось обращаться к материалу либо вовсе не изученному, либо неверно трактованному буржуазной исторической и историко-литературной наукой. Отсюда — установка на широкую демонстрацию самого материала, который мы старались сгруппировать и осветить таким образом, чтобы он сам говорил за себя.

В книге речь идет о писателях, почти не известных за пределами узкого круга специалистов. Сведения, которыми мы располагаем о них, настолько случайны и разрозненны, что зачастую остаются невыясненными даже наиболее существенные обстоятельства их жизни и деятельности. Поэтому, надеемся, не покажутся лишними биографические подробности о таких писателях, как Иван Пнин и Василий Попугаев.

В данной работе нами руководило желание познакомить советского читателя с группой активных деятелей передовой национальной культуры, не мирившихся с официальной и официозной идеологией самодержавно-крепостнического государства. Тем самым они заслужили право на то, чтобы теперь их знали и помнили.

1 мая 1949

ВОСЛЕД РАДИЩЕВУ

(Введение)

1

В. И. Ленин, говоря о традиции освободительного движения в России, назвал Радищева первым в ряду выдающихся представителей русской революционной мысли, открывшим пути ее дальнейшего развития. В статье «О национальной гордости великороссов» Ленин писал: «Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика».[1]

Великая книга Радищева — «Путешествие из Петербурга в Москву», появившаяся в 1790 году, положила начало русской революционной литературе. Освободительные идеи, высказанные в этой книге с небывалой дотоле принципиальностью и смелостью, оказали могущественное воздействие на сознание нескольких поколений передовых деятелей русской общественной мысли и литературы. Кровную преемственную связь с Радищевым ощущали декабристы и Пушкин, Грибоедов и Герцен, Лермонтов и Белинский, Добролюбов и Чернышевский.

«Зритель без очков» (как назвал Радищева один из его современников), он сам сказал о себе: «Я зрю сквозь целое столетие». В «Путешествии из Петербурга в Москву»

и в некоторых других своих произведениях он выдвинул темы и вопросы, столь неразрывно связанные со всем дальнейшим ходом исторической жизни России, со стремлениями и надеждами русского народа, что его постановка этих тем и вопросов не утратила своего значения на протяжении почти всего XIX столетия. Этим прежде всего и объясняется могучая сила и влияние идей, провозглашенных Радищевым.

Самым коренным, самым насущным вопросом эпохи, на который ответил Радищев, был вопрос о ликвидации крепостничества и самодержавия.

Радищев не только воочию увидел страдания закрепощенного народа и отнесся к ним с глубочайшим сочувствием, но и признал за народом право на насильственное свержение деспотизма и уничтожение рабства. Решающее обстоятельство заключалось для Радищева в стихийно нараставшем гневе и возмущении порабощенных народных масс.

На формирование революционного мировоззрения Радищева сильнейшее воздействие оказала освободительная борьба русского народа против тирании помещиков и гнета феодально-абсолютистского государства, и прежде всего наиболее мощное проявление народного гнева — крестьянская война 1773—1775 годов, возглавленная Е. И. Пугачевым.

М. И. Калинин в статье «О моральном облике нашего народа» так охарактеризовал становление и развитие передовой русской мысли XVIII века: «В противовес узкоэгоистической морали дворянско-монархической верхушки зарождались основы новой морали: ненависть к эксплоататорам, любовь к народу, любовь к родине. Лучшие люди России отдавали все свои силы, самую жизнь, чтобы помочь крестьянам освободиться от крепостной зависимости. Восстания Степана Разина, Емельяна Пугачева заставляли задумываться наиболее просвещенные умы дворянского класса, побуждали их к критической оценке положения крестьянства и произвола помещиков». И далее М. И. Калинин ссылается в этой связи на Радищева как на «наиболее яркого представителя» русской литературы XVIII века, которая «дала первые ростки революционной морали».[2]

«Путешествие» Радищева было рождено атмосферой пугачевского восстания, до самых основ потрясшего пыш-

ное здание дворянской монархии. Радищев в свое время явился единственным русским писателем из дворян, кто не только не ужаснулся восставшего народа, но признал его историческую и моральную правоту. Сочувственное отношение к пугачевскому восстанию резкой гранью отделяет Радищева от остальных просветителей XVIII века. Ни один из них не достиг высоты его революционной мысли, никто из них не преодолел ограниченности политических представлений, свойственных просветительству XVIII века, как сделал это Радищев.

Даже наиболее радикальные мыслители Запада — французские просветители и философы-материалисты, идеологически подготовившие революцию 1789 года, тем не менее были достаточно умеренны в области непосредственно политических требований. Они страшились всенародной освободительной борьбы и, как правило, мирились на компромиссной форме «просвещенного абсолютизма».

Радищев же начисто отверг самый принцип абсолютизма. Он не питал решительно никаких иллюзий насчет «философа на троне» и разоблачил реакционную суть «просвещенного абсолютизма», якобы воплощенного в политике Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» нанесло сильнейший удар по легенде о «просветительстве» Екатерины, которую, по ее собственной инспирации, создавали на Западе такие видные и авторитетные писатели, как Вольтер, Дидро, Гримм и др. Знаменитый «сон» Радищева (в главе «Спасская Полесть») был направлен непосредственно против Екатерины и зло разоблачил демагогическую ложь официального «просветительства», которым она пыталась замаскировать свое самовластие. Недаром этот «сон» особенно возмутил Екатерину: тут Радищев попал ей не в бровь, а в глаз.

Столь же резкая грань лежит между Радищевым и вольнолюбивыми писателями из лагеря дворянской литературы, с которыми его доныне подчас объединяют без малейших к тому оснований. Эту грань надлежит учитывать, идет ли речь о Фонвизине — дворянском просветителе, развернувшем замечательную по широте и силе социальную критику, но не посягавшем, однако, на классовую гегемонию дворянства и принципы абсолютизма, или о Капнисте — авторе «Оды на рабство», или о Княжнине и Николеве — авторах «тираноборческих» трагедий. При всей остроте

и смелости своих критических выпадов против самовластия царей и произвола помещиков, эти писатели представляли в своем лице не более как оппозицию, действовавшую в границах господствующего класса, и тем самым не имеют ничего общего с революционером Радищевым, призывавшим к свержению абсолютизма и к уничтожению классового господства крепостников.

Величие Радищева состоит в том, что он явился вершиной революционной мысли XVIII века в масштабах не только русского, но общемирового идейного движения. В то время за рубежом России не было никого, кто мог бы встать вровень с Радищевым по глубине, решительности и последовательности революционных выводов, сделанных им применительно к условиям русской действительности и в интересах закрепощенного народа.

Признав за народом право на насильственное свержение самодержавия и уничтожение рабства, признав высшую правду и справедливость народного мщения за все преступления деспотизма против природы и человечества, Радищев отразил в своей идеологии революционные настроения и чаяния широких масс русского народа, с оружием в руках поднимавшегося на своих угнетателей.

«Зритель без очков», Радищев сказал в посвящении, предпосланном «Путешествию», что он взглянул «окрест себя» — на русскую действительность, и душа его «страданиями человечества уязвленна стала». [3]

Откликаясь на самые насущные запросы русской жизни, Радищев был полон размышлений об исторических судьбах родины и родного народа. Думая о будущем России, он видел залог ее экономического, государственного и культурного прогресса только в свободе народа. И он был проникнут убеждением, что русский народ достоин свободы. Глубокая вера в творческие возможности народа, в его созидательную энергию, в его неистребимую волю к борьбе за свободу составляет самую основу горячего патриотического чувства, владевшего Радищевым. Он не упускал случая и повода «отдать справедливость народному характеру»: «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении суть качества, отличающие народ российский... О народ, к величию и славе рожденный, если они обращены в тебе будут на снискание всего того, что соделать может блажен-

ство общественное!»[4] В последних словах Радищев открыто выразил свою заветную мысль о том, что сила и энергия русского народа должны быть приложены к его борьбе за свободу.

В творчестве Радищева впервые в русской литературе патриотические идеи слились воедино с идеей революции. Народ в представлении Радищева является источником и носителем верховной власти. Это была точка зрения наиболее радикальных и демократических идеологов эпохи Просвещения. Но Радищев пошел дальше. Не в пример другим просветителям он поднялся до постижения идеи народа как творца истории и ее главной, решающей силы. Только так следует понимать высказанную в «Путешествии» мысль о бурлаке (то есть крестьянине — на языке XVIII века), который «многое может решить доселе гадательное в истории российской».[5]

Народность Радищева заключалась не только в том, что он открыто выступил в защиту интересов народа, но и в том, что он увидел и показал величие и благородство народа, его могучую духовную силу, его героизм и самоотверженность. В русском крестьянине, придавленном крепостническим гнетом, забитом помещиками и чиновниками, Радищев увидел человека в полном и подлинном смысле этого слова, — человека, высокие моральные качества которого несоизмеримы с растленной «моралью» крепостников, «недостойных носить имя человеческое».

Увидев источник нравственной силы в народе, Радищев увидел в нем и залог лучшего будущего. Он понял, что народ получит свободу только в том случае, если сам завоюет ее. Отсюда — убеждение Радищева в том, что революционеру надлежит опереться на народные массы и возложить свои надежды на крестьянскую революцию. В одной из центральных глав «Путешествия» («Медное») он прямо и недвусмысленно провозгласил право народа на восстание против его поработителей, заявив, что крепостному крестьянству следует ожидать свободы не от «советов» либеральных народолюбцев, которые остаются «великими отчинниками» (то есть собственниками), но единственно «от самой тяжести порабощения». Это было ничем не прикрытым призывом к крестьянской революции, и именно так поняла Радищева Екатерина II. В своих заметках о «Путешествии»

она записала по поводу данного места: «то есть надежду полагает на бунт от мужиков». Самого Радищева царица назвала «бунтовщиком хуже Пугачева», подозревая, что «он себя определил быть начальником, книгою ли или инако исторгнуть скиптра из рук царей». [6]

Радищев открыто грозил крепостникам новым Пугачевым. Он писал, что крестьяне только «ждут случая и часа», и предрекал помещикам «меч и отраву, смерть и пожигание» как справедливое возмездие за их «суровость и бесчеловечие». Оправдывая революционное насилие над тиранами, сам призывая обрушить на них «человеколюбивое мщение», Радищев поднялся на такую высоту политического сознания, которая оказалась не доступной ни одному из мыслителей и писателей его времени.

Замечательна глубокая вера Радищева не только в разрушительную, но и в созидательную силу революции. Он высказал твердую уверенность в том, что истребление «племени» крепостников не нанесет никакого ущерба русской государственности и культуре, потому что народ, завоевав свободу, выделит из своей среды новых и более достойных руководителей — истинно «великих мужей»: «О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны. — Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие». [7]

Замечательной чертой Радищева как мыслителя и писателя было сознание неразрывной связи теории с действием. Он ни в малейшей мере не склонялся к отвлеченному умозрению, но стремился найти практическое применение воодушевлявших его идей в интересах борьбы за уничтожение самодержавно-крепостнического гнета и преобразование русской жизни на новых началах. Он был всецело охвачен желанием служить России и русскому народу мыслью, словом и делом.

Ревнуя о свободе и счастье русского народа, «рожденного к величию и славе», но обездоленного и униженного ца-

рями и помещиками, Радищев всю свою деятельность подчинил ясно осознанным задачам освободительной борьбы. Необыкновенна энциклопедическая широта его интересов. Хозяйственное положение и культурное состояние России, беззаконие и произвол государственной власти, злодейства рабовладельцев, нищета и бесправие рабов, вопросы гражданской морали и общественного воспитания, просвещения, печати и цензуры, реакционная роль церкви и вред религиозных суеверий, положение писателя в обществе и вопрос о его предназначении, специальные проблемы философии, истории, политической экономии, права, искусства и литературы, естественных наук, астрономии, химии, медицины, агрономии и т. д. — решительно все интересовало Радищева, решительно на все он откликнулся и в каждой области сумел сказать новое слово — слово материалиста и революционера.

Радищев ревностно и последовательно боролся за национальное достоинство русской культуры, за упрочение ее самобытного содержания и национального характера. В патриотическом чувстве Радищева не было ничего от националистической ограниченности и нетерпимости. Он не призывал к тому, чтобы отгородить русскую культуру от общечеловеческого культурного процесса, а, напротив, доказывал, что она достойна занять самое почетное место в жизни всего человечества. Но при этом русская культура должна была остаться национально-самобытной *русской* культурой, ничего не утрачивая из своего богатейшего исторически сложившегося содержания. Отсюда — принципиальная, настойчивая борьба Радищева против растворения русской культуры в западно-европейской цивилизации, против всех и всяческих наносных влияний, против слепого, безразборчивого преклонения перед чужим в ущерб своему, национальному.

Рассматривая литературу как единственно доступную ему в условиях времени политическую трибуну, Радищев стремился сделать ее двигателем общественного и культурного преобразования русской жизни в интересах угнетенных народных масс. Он первый в русской литературе выдвинул и обосновал взгляд на писателя как на общественного деятеля, призванного служить делу политического просвещения и морального воспитания народа в духе передовых идей века. Он внес понимание литературы как острого оружия

идейной борьбы. Он ставил перед литературой прямые агитационно-пропагандистские задачи, боролся за ее высокую идейность и содержательность, за ее направленность на постановку и разрешение жизненно важных проблем. Он положил начало русской гражданской поэзии, отвечавшей задачам борьбы с самодержавием, и «поэзии мысли», преследовавшей цели пропаганды прогрессивного демократического мировоззрения и передовых научных идей.

2

Самодержавие приговорило Радищева к смертной казни, морило его в ссылке, в конце концов довело до самоубийства. Великая книга Радищева была конфискована и истреблена. В течение целого века самодержавие пыталось задушить мысль Радищева, неукоснительно запрещая переиздание «Путешествия». Самое имя Радищева всячески старались предать забвению. Предполагалось, что благодаря полицейским и цензурным гонениям, воздвигнутым на память о Радищеве, русский народ не узнает о писателе, который был «бунтовщиком хуже Пугачева».

Трагическая судьба писателя-революционера, не имевшая прецедента в русской истории XVIII века, безусловно способствовала распространению версии об изолированном положении автора «Путешествия из Петербурга в Москву», о случайности его выступления, о беспочвенности и неорганичности его идей в социально-политических условиях эпохи. Версия эта возникла еще при жизни Радищева. В распространении ее была живейшим образом заинтересована Екатерина II, в своих заметках о «Путешествии» всячески подчеркивавшая, что книга эта представляет собою всего лишь одинокий и случайный отзвук революционных событий, происходивших на Западе. В дальнейшем в буржуазной науке также утверждалось ложное представление, якобы Радищев не имел идейных предков и не оставил идейного потомства. Пожалуй, в отношении никакого другого русского писателя не была утрачена до такой степени историческая перспектива, как в отношении Радищева.

Жестокая кара, постигшая писателя-бунтовщика, заставила замолчать его друзей и единомышленников. Имя Ради-

щева было окружено тайной, и в обстановке полицейского террора последних лет царствования Екатерины и кратковременного правления Павла исчезли не только многие бумаги и письма Радищева, но рассеялись и сведения о его житейских и литературных связях и отношениях. Вокруг имени Радищева плодились темные легенды, возникали разного рода ложные предания.

Высказывания о Радищеве русских писателей — его современников, которые, нужно полагать, были осведомлены о многих обстоятельствах его жизни и деятельности, до нас не дошли, за ничтожными исключениями. Арест Радищева, суд над ним, вынесенный ему смертный приговор, ссылка его в Сибирь — все это, разумеется, оживленно обсуждалось в литературных кругах, но обсуждение носило глубоко конспиративный характер. Сочувствовавшие Радищеву люди остерегались высказываться даже в частных письмах из боязни их перлюстрации. Этим и объясняется, что мы почти ничего не знаем о том, как восприняли видные писатели того времени выступление Радищева.

Если верить сообщению поэта Г. П. Каменева, Державин откликнулся на дело Радищева таким четверостишием:

Езда твоя в Сибирь со истиною сходна,
Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна;
Я слышу, на коней ямщик кричит: вирь, вирь!
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь. [8]

Державин, в силу своих политических убеждений, конечно, должен был осудить книгу Радищева (он прочитал «Путешествие», так как Радищев послал ему экземпляр книги), — тем не менее тон и смысл его отклика знаменательны: он признает «истину» книги, отмечает смелость Радищева, только «некстати» дерзкую, и сопоставляет его с Мирабо. [9] Это говорит пусть об отрицательном, но, во всяком случае, уважительном отношении Державина к Радищеву. Укажем попутно, что Карамзин в «Письмах русского путешественника» глухо, без всякой оценки, упомянул о Радищеве (зашифровав его фамилию); рассказывая о посещении в Лейпциге профессора Платнера, чьи лекции слушал Радищев, Карамзин заметил: «Он помнит К*, Р* и других русских, которые здесь учились». [10]

Не внесла сколько-нибудь существенных перемен в посмертную судьбу Радищева и недолгая полоса официального «либерализма» в первые годы царствования Александра I. Царь и правительство, играя в напускной либерализм, однако вовсе не собирались допускать никакого воскрешения памяти о Радищеве как авторе «Путешествия»: когда в 1806 году сыновья Радищева предприняли издание его сочинений, им было запрещено даже упомянуть о крамольной книге.

Радищев, конечно, не был забыт в передовых кругах русского общества. Его книга была изъята из обращения, и чтение ее строго каралось. Тем не менее какое-то количество экземпляров ее уцелело (примерно 65—70). Известно, что «Путешествие», сразу же как появилось, произвело в обществе очень сильное впечатление, а судьба, постигшая Радищева, привлекла к книге еще больший интерес. Весьма осведомленный современник — граф Безбородко сообщал в частном письме (во время суда над Радищевым), что «книга сия начала входить в моду».[11] Привлеченный к следствию книготорговец Г. К. Зотов, в лавке которого продавалось «Путешествие», показал на допросе, что «многие стали спрашивать книгу»; другой из допрошенных заявил, что о книге «по всему городу говорили»; третий упомянул о «великом любопытстве публики» к запрещенному изданию.[12]

Уцелевшие экземпляры «Путешествия» переходили из рук в руки, распространялись из-под полы. Француз Массон, живший в Петербурге, сообщил в своих «Секретных записках о России» (1800), что, «несмотря на конфискацию, книга [Радищева] существует у многих его соотечественников, и память о нем дорога всем рассудительным и чувствительным людям».[13] Дополнительно Массон передает такую любопытную подробность: «Русским книгопродавцам платили до 25 руб. за то, чтобы иметь на час эту книгу и прочесть» (25 руб. по тем временам — сумма весьма значительная). С. Н. Глинка сообщил в своих «Записках», что в пору молодости (в 1795 году) он, только что выпущенный тогда из кадетского корпуса, владел «сокровищем» — запрещенным изданием «Путешествия из Петербурга в Москву».[14] Кстати сказать, со слов сына Радищева известно, что С. Н. Глинка в молодости был «одним из приверженцев Радищева» и «говорил о нем с восхищением».[15]

Кроме того, «Путешествие» расходилось по России, вплоть до далекой Сибири, в многочисленных рукописных списках. О количестве списков можно судить по тому, что до нашего времени дошло из них не менее тридцати. Сам Радищев, возвращаясь из ссылки, видел один из таких списков в Кунгуре. Известно, что списки «Путешествия» проникали даже за границу. [16] Один из них нашелся среди русских бумаг известного Жильбера Ромма — видного деятеля французской революции (монтаньяра, голосовавшего за казнь Людовика XVI), около семи лет прожившего в России. [17] Современники передавали даже, что будто бы готовился перевод «Путешествия» на немецкий язык. [18] Имеется глухое известие о том, что отрывки из «Путешествия» были опубликованы в лейпцигском журнале «Das Orakel zu Endor» (издавался в 1794—1795 гг.). [19]

Пушкин имел все основания сказать в своем «Послании к цензору», что «Радищев, рабства враг, цензуры избежал».

Однако при всем том в течение целого столетия слава Радищева оставалась потаенной, подпольной. Первые упоминания о нем, как об авторе «Путешествия», могли появиться только спустя полвека после его смерти (статья Пушкина «Александр Радищев», написанная в 1836 году и запрещенная цензурой, увидела свет через два десятилетия — в 1857 году). Попытки издать «Путешествие» неизменно пресекались. Взрывчатая революционная сила книги была такова, что она вплоть до 1868 года официально числилась среди «запрещенных», а фактически и много позже: ее сжигали по приговору суда еще в 1903 году.

Не только полицейские и цензурные гонения на память о Радищеве и на его книгу привели к тому, что вопрос о преемственности радищевских идей в русской общественной мысли и литературе был затемнен, а, по существу, вовсе не ставился в прежнее время. Ближайшим образом это объясняется также грубой фальсификацией идейного облика Радищева, которой усердно занималась буржуазная наука.

Буржуазно-либеральные ученые различных мастей и оттенков всячески пытались затушевать подлинный смысл проповеди и деятельности Радищева. Они гримировали его по своему образу и подобию — в либерала, замалчивали материалистические основы его мировоззрения, выхолащи-

вали революционное содержание его творчества, изображали его бескрылым учеником западно-европейских мыслителей и писателей, не упоминали о его связях с кругами передовой русской общественности и совершенно обходили вопрос о той роли, которую сыграл он в развитии русской революционной мысли.

Они тщились «доказать», что Радищев был не более как одним из либеральных реформаторов и что в своих взглядах он, собственно говоря, не расходился с... самой Екатериной, которая только в состоянии раздражения приговорила его к смерти. «В нашей литературе XVIII столетия «Путешествие» Радищева стоит в одном ряду с сочинением самой Екатерины — «Наказом»... В книге Екатерины отразился первый, более умеренный, период развития [просветительных] идей, в книге Радищева — второй, предреволюционный», — так формулировал свое понимание Радищева либерально-буржуазный историк Н. Павлов-Сильванский.[20] Другой историк, лидер контрреволюционной партии кадетов — П. Милюков клеветнически утверждал, что Радищев обращался «не только к общественному мнению, но и главным образом — к философу на престоле».[21] Третий фальсификатор — В. Мякотин безапелляционно и облыжно заявлял, что Радищеву «не нашлось места в русской действительности», что никаких общественных связей у него не было и что он «оставался совершенно одиноким».[22]

Вся эта ложь до корня разоблачена советской наукой, установившей в свете марксистско-ленинской теории историческое значение Радищева как великого национального мыслителя и писателя, мировоззрение которого сложилось на почве русской действительности и отразило освободительную борьбу русского народа против самодержавно-крепостнического гнета.

То, что было утрачено или истреблено в первые годы после ареста и ссылки Радищева, а затем после его смерти, конечно, невосполнимо. И хотя в советское время был найден ряд неизвестных прежде произведений Радищева и установлено немало новых весьма существенных фактов, касающихся его жизни и деятельности, мы знаем о нем гораздо меньше того, чем хотели бы и что должны бы знать. Тем не менее и то, что известно, до конца разрушает легенду об одиночестве Радищева, о случайности его выступления и т. д.

Такое колоссальное явление русской жизни, каким был Радищев, возникло, конечно, не на пустом месте, а на определенной социально-исторической почве. И, с другой стороны, проповедь Радищева не осталась гласом вопиющего в пустыне, а, напротив, встретила живейший отклик среди молодого поколения 1790—1800-х годов.

3

Радищев жил и действовал в эпоху великого перелома, в преддверии «нового века», начинавшегося под знаком решительной переоценки всех ценностей феодального мировоззрения. Этот «новый век» начался не в 1800 году, а гораздо раньше. Герцен, говоря, что на Радищева «пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века», кратко и выразительно охарактеризовал умонастроения, владевшие передовыми людьми этого переломного времени: «Никогда человеческая грудь не была полнее надеждами, как в великую *весну* девяностых годов: все ждали с бьющимся сердцем чего-то необычайного; святое нетерпение тревожило умы и заставляло самых строгих мыслителей быть мечтателями».[23] Мыслители, ставшие мечтателями, думали и говорили об освобождении человека от всех оков, наложенных на него феодализмом, об утверждении прав человеческой личности на свободную и счастливую жизнь.

На передовой русской общественной мысли и литературе конца XVIII века лежала печать глубокой национальной самобытности. Русские прогрессивные мыслители и писатели в своих идейных исканиях исходили из переживания реальных противоречий окружавшей их жизни, из своих наблюдений над бытием русского народа, из понимания происходивших в России экономических и социальных сдвигов и осознания задач ее исторического развития.

К концу XVIII века в России уже достаточно отчетливо выявились признаки кризиса крепостного хозяйства и разложения феодально-абсолютистского строя. Крепостничество служило главным препятствием на пути нормального хозяйственного, общественного и культурного развития страны. Задача, возникавшая перед прогрессивными силами русского общества, состояла в том, чтобы преодолеть отно-

сительную, обусловленную историческими обстоятельствами, отсталость России. Для этого необходимо было прежде всего ликвидировать крепостничество и все его государственные, правовые и политические порождения.

Это решающее обстоятельство предопределило особый характер русского просветительства.

Идеи Просвещения, получившие повсеместное, международное распространение, сыграли в разных странах далеко не одинаковую роль. Если во Франции они служили делу идеологической подготовки буржуазной революции, то, скажем, в Германии, где буржуазия была рептильна и начисто отказалась от революционной критики феодализма, идеи Просвещения сублимировались, измельчали, утратили свой наступательный дух и в конечном счете ознаменовали реакцию на материализм и буржуазно-революционное мировоззрение.

Напротив того, в самодержавно-крепостнической России, в силу особенностей ее общественно-исторического бытия, идеи Просвещения приобрели наиболее революционный смысл. Именно русские просветители были наиболее последовательны и решительны в своей критике феодально-абсолютистского строя. Они выдвигали гораздо более смелые требования экономических и политических преобразований, нежели идеологи французской революционной буржуазии XVIII века. Особенно тяжелые условия русской действительности — невыносимый крепостнический гнет и безграничный произвол самодержавия — подсказывали русским просветителям наиболее радикальное решение социально-политической проблемы: они приходили к выводу, что достижение «общего блага», утверждение прав человеческой личности на свободную и счастливую жизнь немыслимо без полного и окончательного уничтожения рабства и самовластия.

Тем самым русские радикальные просветители, не в пример просветителям Запада, уже вплотную подошли к постановке и решению вопроса о насущных интересах и судьбах закрепощенного народа. Правда, общественно-исторические условия эпохи ставили определенные границы их решению: сознанию большинства просветителей была еще недоступна идея самодеятельной силы народа, возникшая позже — в обстановке мощного подъема всенародного на-

ционального самосознания, — подъема, связанного с событиями Отечественной войны 1812 года.

Вопрос о ликвидации крепостного права был самым главным, самым жизненным вопросом эпохи, поистине — вопросом всех вопросов. Решение его служило *единственным* критерием политического радикализма. «Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, *все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии», — указывал В. И. Ленин. [24]

При этом, однако, надлежит учитывать то важнейшее обстоятельство, что в решении проблемы крепостничества русские просветители были далеко не единодушны. В каждом отдельном случае необходимо иметь совершенно точное представление о классовой позиции того или иного мыслителя, писателя и общественного деятеля. Большинство сторонников ликвидации крепостного права решало эту проблему более или менее ограничительно, не посягая на существование самодержавия и даже возлагая надежды на добрую волю «просвещенного монарха». Меньшинство, состоявшее из людей более зрелого политического мышления, уже приходило к выводу, что проблема крепостничества неразрывно связана с проблемой самодержавия. Следует, впрочем, подчеркнуть, что и из числа представителей этого меньшинства никто не решал вопроса о ликвидации самодержавно-крепостнического строя в интересах угнетенных народных масс с такой революционной последовательностью, как сделал это Радищев.

Процесс формирования и развития демократической мысли и культуры в России прослеживается на протяжении длительного периода времени. Радищев был величайшим, но не единственным представителем прогрессивных сил русского общества, боровшихся за новое мировоззрение. По мере того как обострялись противоречия феодально-крепостнического строя, на арену общественной и культурной жизни выходили новые социальные силы, враждебные идеологии и культуре господствующего класса.

Начиная уже с 1760—1770-х годов в России стали складываться довольно значительные кадры научной и художественной интеллигенции — уже не дворянской, но демократической, «разночинной» по своему сословному происхождению и социальному положению. Все чаще появлялись и все громче заявляли о своих правах люди, которые думали, действовали и писали по-иному, нежели представители кастовой дворянской интеллигенции. Эти люди были озабочены утверждением новых общественно-политических и моральных идеалов, построением новой демократической культуры.

Кадры этой научной и художественной интеллигенции составлялись, главным образом, из представителей «третьего сословия», или, как говорили в России XVIII века, «людей третьего чина». Состав этого социального слоя был очень пестр: «третий чин» включал не только купечество, но и различные промежуточные социальные группы — людей «разных состояний», начиная с обездоленных дворян, сохранивших из своего дворянства одно звание, кончая выходцами из крестьян-однодворцев, выслуживших солдат и вольноотпущенных дворовых. Основную массу «людей третьего чина» составляли мелкие чиновники и офицеры из «солдатских детей», подьячие, поповичи, мещане, ремесленники — служилое и трудовое население главным образом обеих столиц, но отчасти и провинциальных городов. Купечество, — особенно же именитое и богатое, — как раз меньше всего характерно для этой среды, ибо в массе своей оно было косно, неподвижно и законопослушно, в политическом отношении пресмыкалось перед царизмом, а в области культуры и быта охотно перенимало вкусы, моды и навыки дворянского класса.

Пестрая «разночинная» среда конца XVIII — начала XIX века была далеко не однородна: очень значительная часть ее тоже покорно тянулась за правящим классом и верно служила ему. Но при всем том именно из этой среды выходили люди, заявившие себя убежденными противниками дворянской культуры, люди нового общественного поведения, новых моральных убеждений и идеологических представлений. Эта группа была еще не слишком многочисленна и не слишком сильна, но она уже вырабатывала свою широкую программу и настойчиво стремилась реали-

зовать ее в различных областях общественной и культурной жизни.

Отличительной чертой общественно-культурной деятельности разночинной интеллигенции конца XVIII — начала XIX века служило отчетливо выраженное чувство национального самосознания. Люди этого круга были горячими патриотами, охотно обращались к национальному историческому прошлому в целях обоснования своей идеологической и культурной программы и резко протестовали против повального увлечения занесенными с Запада модами и вкусами, укоренившимися в быту и культуре верхушечных слоев дворянского общества. В частности, разночинные интеллигенты уделяли очень много внимания вопросам воспитания молодого поколения в духе исконных национальных нравственных начал.

Появление Радищева было в значительной мере подготовлено деятельностью радикальных русских просветителей второй половины XVIII столетия. Начиная с 1760-х годов в России сквозь толщу феодального мировоззрения стали явственно пробиваться ростки демократической мысли. Один за другим выступали писатели и ученые — философы, экономисты, юристы, естественники, представлявшие растущие демократические силы. При разности позиций, взглядов и мнений всех их объединяло критическое, а подчас и резко отрицательное отношение к дворянской идеологии и культуре.

В середине 1760-х годов начал свою деятельность Н. И. Новиков, очень много сделавший для ликвидации сословно-классовой замкнутости русской культуры, литературы в частности. В своей широко развернувшейся просветительской деятельности Новиков обращался уже не к узкому кругу «любителей изящного» из дворянской среды, но ко всей массе грамотных русских людей. Он открыто учитывал их вкусы, интересы и потребности. Новиков явился средоточием демократических сил русского просвещения XVIII века, и недаром впоследствии идеологи «третьего сословия» в России указывали на него как на своего предтечу: «Около конца осьмнадцатого столетия, не ближе. . . начал складываться у нас класс средних между *барином* и *мужиком* существ, т. е. тех людей, которые везде составляют истинную, прочную основу государства. Из среды сего класса вышел Новиков. . . он первый создал отдельный от

светского круга круг образованных молодых людей среднего состояния». [25]

К концу 1760-х и к 1770-м годам относится деятельность Д. С. Аничкова — философа, стоявшего на почве материализма, автора атеистической диссертации (1769), С. Е. Десницкого — автора конституционного проекта государственного преобразования (1768) и ряда юридических работ, проникнутых духом прогрессивных идей, медика С. Зыбелина, юриста А. Я. Поленова. В это же время развернулась энциклопедически разносторонняя просветительская деятельность радикального публициста и ученого-материалиста Я. А. Козельского, взгляды которого унаследовал его сын — поэт Ф. Я. Козельский.

В 1775 году, сразу после разгрома Пугачевского восстания, некто Н. Колычев подал на имя Екатерины II проект, в котором излагал свои соображения насчет того, как «дать вообще делам лучший порядок, нежели в котором оные суть поныне». Проект был столь очевидно «законопреступен», что автора его принудили постричься в монахи, причем царица приказала «не дозволять ему иметь чернилы и перо». [26]

В дальнейшем тенденции разрушения феодальной идеологии проступали в русской литературе и общественной мысли все более отчетливо.

В настоящее время уже более или менее точно выяснен круг русских вольнодумцев и свободолюбцев 1780—1790-х годов. Среди них мы встречаем представителей разных «состояний», различных классовых позиций, несхожих судеб. В их числе были и случайные фигуры — выходцы из высшей русской аристократии, увлеченные романтикой революционной стихии, но не задумывавшиеся глубоко над положением и судьбой русского народа. Таковы, например, братья князья Голицыны, с оружием в руках участвовавшие во взятии Бастилии, или граф Павел Строганов — воспитанник уже упомянутого монтаньяра Ж. Ромма, очутившийся в Париже во время революции, втянувшийся в ее интересы и вступивший в революционный клуб.

Но наряду с такого рода случайными людьми среди русских вольнодумцев конца XVIII века были и другие — убежденные и бескорыстные просветители, поборники идей равенства и свободы. Таковы, очевидно, были товарищи Радищева по Лейпцигскому университету — П. И. Челищев

и С. Н. Янов. Таков был И. Г. Рахманинов — переводчик и ревностнейший пропагандист Вольтера, тоже связанный с Радищевым. Таков был П. П. Дубровский—секретарь русского посольства в Париже, спасший остатки архива Бастилии и пытавшийся завести в Париже русскую типографию (он хотел, между прочим, напечатать перевод «Декларации прав человека и гражданина»). Таков был Н. Даниловский — разночинец, материалист, переводчик и популяризатор Гольбаха. Таков был, наконец, Ф. В. Кречетов — одна из любопытнейших фигур среди русских вольнодумцев.

Офицер из разночинцев, поэт, публицист, автор философских, социально-политических и юридических трактатов, Кречетов был человеком хаотического образа мыслей, но пламенным врагом деспотизма и активнейшим деятелем. В 1785 году он составил полутайное общество. Три года спустя деятельность Кречетова привлекла внимание правительства: он был арестован, но вскоре выпущен. После процесса Радищева, в 1793 году, Кречетова по доносу арестовали вторично и заключили в Шлиссельбургскую крепость. Ему были предъявлены обвинения в том, что он открыто негодовал на «необузданность власти» и желал «возвратить права народу», в том, что он произносил «непристойные слова» по адресу Екатерины, не скрывал своего безбожия и заявлял, что намерен «устроить в России вольность». Есть основания предполагать, что Кречетов вел противоправительственную агитацию среди солдат. Один из допрошенных по его делу показал, что целью Кречетова было, «свергнув власть самодержавия, сделать республику либо иное что-нибудь, чтоб всем быть равными». В 1801 году Кречетова выпустили из Шлиссельбургской крепости; дальнейшая его судьба неизвестна.[27]

После того как появилось «Путешествие из Петербурга в Москву», Радищев на допросе в Тайной экспедиции, отвечая на предъявленное ему обвинение в намерении вызвать своей книгой «возмущение в народе», говорил: «Может ли мыслить о сем, кто общников не имеет?» Он утверждал даже, что «мало и в компаниях обращался, а, исправя должность, бывал больше дома и в свободные часы отдохновения занимался домашними делами».[28] Заявление это было, конечно, не более как тактическим ходом: Радищев хотел отвлечь внимание следствия от вопроса о своих единомыш-

ленниках, приверженцах и, может быть, соучастниках. Теперь можно считать вполне выясненным, что у него были не только предшественники, но и «общники».

Радищев был видной и влиятельной фигурой в кругу передовых русских людей своего времени. К его голосу чутко прислушивались многие. Не подлежит сомнению, что находились люди, разделявшие его убеждения. Радищев сказал однажды: «Малейшая искра, падшая на горячее вещество, произведет пожар велий; сила электрическая протекает везде непрерывно и мгновенно, где найдет только вожатого. Таково же есть свойство разума человеческого. Едва един возмог, осмелился, дерзнул изъятися из толпы, как вся окрестность согревается его огнем и, яко железные пылинки, летят прилепитися к мощному магниту».[29] Он и был таким «мощным магнитом», притягивая к себе людей, осознавших свое призвание в борьбе с деспотизмом.

В конце 1780-х годов в Петербурге образовалось Общество друзей словесных наук, где господствовали философские и социально-политические интересы. Общество издавало в 1789 году журнал «Беседующий гражданин», который по своему идейному направлению отчасти соотносится с книгой Радищева. В числе участников этого довольно пестрого объединения были люди передовых общественно-политических убеждений (уже упомянутый И. Г. Рахманинов и другие). Радищев вступил в общество и в значительной мере подчинил его своему влиянию. В «Беседующем гражданине» была напечатана программная статья Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества». Деятельность Общества друзей словесных наук обратила на себя внимание правительства, и если верить одному из участников кружка (С. А. Тучкову), в 1790 году оно было «запрещено от полиции», причем некоторых членов постигли репрессии, якобы в связи с делом Радищева.[30]

С кругом Радищева соприкасался молодой И. А. Крылов, занимавший в своих сатирических журналах — «Почта духов» (1789) и «Зритель» (1792) — и в собственном творчестве радикально-демократическую позицию. Рядом с Крыловым в том же духе действовал А. И. Клушин — поэт, прозаик и драматург, человек демократических убеждений и «величайший безбожник» (как охарактеризовал его современник). Через два года после процесса Радищева,

в 1792 году, журнальная деятельность Крылова и Клушина была пресечена правительством.

Нельзя не поставить в связь с выступлением Радищева некоторые политические процессы, происходившие в 1790-е годы. Так, например, в 1792 году Тайной экспедицией был арестован, а вслед за тем заточен в острог при Суздальском Спасо-Ефимьевском монастыре престарелый чиновник Гавриил Попов, рассылавший (под псевдонимом) в высшие государственные учреждения, а также на имя царицы и видных сановников письма, в которых резко осуждал крепостников и требовал немедленно освободить крестьян. Исследователь, изучивший дело Г. Попова, указывает: «Несмотря на то, что Попов был чужд революционности Радищева, его требование освобождения крестьян и теоретическое обоснование этого требования (естественное равенство людей) близки постановке вопроса Радищевым в главе «Хотилов» его «Путешествия из Петербурга в Москву». [31]

В следующем, 1793 году в руки полиции попала рукопись «возмутительного содержания», и после произведенного розыска были найдены ее авторы. Ими оказались И. К. Стрелевский и И. Н. Буйди — разночинцы, получившие основательное образование (Стрелевский окончил Московский университет, Буйди учился в Вене). Оба они были взяты в Тайную экспедицию, где выяснилось, что они вели преступные разговоры о «французских революциях». Следственные власти особенно интересовались, не были ли Стрелевский и Буйди связаны с Кречетовым, дело которого разбиралось как раз в это время. Арестованные всячески старались запутать следствие, утверждали, что в своей рукописи они только излагали подслушанные речи каких-то французов и имели в виду предупредить правительство о преступных замыслах революционеров, готовивших, якобы, покушение на Екатерину. На деле, конечно, все было не так. Стрелевский и Буйди излагали свои мнения о свободе и о борьбе с тиранией. Прокламация их написана по-латыни в форме письма от одного француза к другому и озаглавлена: «Dulce est mori pro patria» («Сладко умереть за отечество»). * Здесь говорилось, например: «Надобно помышлять о вольности, потому что,

* Изречение, восходящее к стиху Горация «Dulce et decorum est pro patria mori».

потерявши вольность отечества, мы ничего более не можем надеяться. Есть нам величайшая неприятельница [то есть Екатерина]... Если бы она не была на свете, о, когда б она не родилась!.. Лучше умереть, нежели видать погибшею вольность отечества...» (перевод Стрелевского, сделанный им в Тайной экспедиции после ареста).[32]

Год спустя, в 1794 году, в Тайную экспедицию был доставлен из Тобольска учитель тамошней семинарии П. А. Словцов (он окончил семинарию в Петербурге и был однокашником М. М. Сперанского), арестованный за произнесение проповеди, в которой начальство усмотрело оскорбление царской власти. До нас дошло три проповеди Словцова, в том числе и та, из-за которой он пострадал; они примечательны решительным протестом против общественного неравенства и осуждением дворянских «нравов» в духе идей просветительной философии. Словцова послали «на исправление» в Валаамов монастырь. После смерти Екатерины его выпустили. В 1796 году он сотрудничал стихами в журнале «Муза», который издавался его приятелем И. И. Мартыновым, близко стоявшим к кругу передовых писателей 1790—1800-х годов; одно из напечатанных здесь стихотворений Словцова («Материя») ясно свидетельствует о его материалистических убеждениях. В 1808 году Словцов был снова арестован по доносу и сослан в Сибирь; впоследствии он приобрел известность своими трудами по вопросам сибирской истории.[33]

В том же 1794 году Тайной экспедицией был признан опасным государственным преступником юный майор В. В. Пассек — человек радикальных и демократических убеждений, с литературными интересами, безусловно испытавший непосредственное влияние идей Радищева. В бумагах Пассека были обнаружены два списка радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» и собственные его стихи открыто крамольного содержания. Следствие установило, что книгу Радищева переписывали как сам Пассек, так и — по поручению его — чиновник могилевской казенной палаты П. П. Симонович. В своих политических стихах Пассек обращался к народу с призывом «смело злобы цепи разорвать», сокрушить «горды стены самодержавия» и истребить царский «род кичливый». При этом Пассек явным образом подражал радищевской оде «Вольность»:

Ликуй, о вольность, дщерь природы,
Народ бессмертну власть приял;
На гибель царския породы
Курильник правды воссиял...

На допросах в Тайной экспедиции Пассек держался смело и независимо. Любопытна дальнейшая судьба этого вольнодумца. Благодаря заступничеству влиятельных лиц он был помилован и назначен в один из захолустных полков, с запрещением въезда в столицы. Однако в 1796 году, уже после смерти Екатерины, он снова был арестован по подозрению в организации заговора против Павла I и за распространение среди офицеров запрещенной литературы. Его заключили в крепость. После воцарения Александра I Пассека признали невинно пострадавшим и освободили, но вскоре же, в 1802 году, за «оскорбление величества», обнаруженное в одном из его перлюстрированных писем, он был опять арестован и после нескольких лет заключения лишен прав состояния и сослан в Сибирь, где провел свыше двадцати лет (о судьбе Пассека писал Герцен в первом томе «Былого и дум»). Сидя в тюрьме, в 1803 году, Пассек вел записки, проникнутые духом критики крепостничества и самодержавия, и составил проект освобождения крестьян. [34]

Все факты подобного рода надлежит учитывать при выяснении вопроса о формировании демократического мировоззрения в России, памятуя, однако, что один лишь Радищев воплотил в своей личности качества подлинного революционера и ознаменовал своей деятельностью действительно революционное направление русской общественной мысли и литературы, в корне и от начала до конца враждебное идеологии и культуре правящего класса крепостников.

4

Демократическое мировоззрение в России рождалось в острой, напряженной борьбе прогрессивных мыслителей и писателей с воинствующими защитниками старых порядков. Антагонизм этих противоборствующих сил, отражавший борьбу классов, происходившую в крепостническом

обществе и государстве, служит конкретным примером наличия двух национальных культур в каждой национальной культуре, о котором говорил В. И. Ленин.

В этой связи особое значение приобретает вопрос о Радищеве и Карамзине.

Если революционное начало в русской культуре конца XVIII века с наибольшей полнотой воплотил в своей деятельности Радищев, то начало охранительное ближе всего определяется деятельностью Карамзина, самого талантливого и влиятельного идеолога господствующего класса дворян-землевладельцев. Радищев и Карамзин представляют в своем лице как бы два полюса русской литературы на рубеже XVIII и XIX столетий. Каждый из них стоит в начале раздельных путей, по которым русская литература пошла впоследствии — в пушкинское время и позже.

Путь Радищева вел к жизни, к народности, к реализму, к раскрытию противоречий социально-исторической действительности, к активной борьбе с самодержавием и крепостничеством. Путь Карамзина уводил в сторону от жизни — в область грустных воспоминаний об утраченных идеалах феодальной эпохи и иллюзорных мечтаний об их воскрешении — и закономерно приводил тех, кто шел по нему, к тенденциозному сглаживанию реальных противоречий действительности и к оправданию устоев и «правопорядка» самодержавно-крепостнического строя.

В дальнейшем развитии русской литературы исторические судьбы радищевского и карамзинского начал прослеживаются совершенно отчетливо.

По пути Радищева пошли все подлинно прогрессивные силы русской литературы — радикально-демократические писатели и публицисты 1800-х годов и деятели декабристского литературного движения, Пушкин и Грибоедов, Лермонтов и Белинский, Герцен, Добролюбов и Чернышевский, Некрасов и Салтыков-Щедрин — короче говоря, вся великая русская просветительная и революционно-демократическая литература XIX века, приобретшая всемирно-историческое значение.

По пути Карамзина пошли не только его непосредственные ученики и эпигоны («карамзинисты») и Жуковский, но, говоря обобщенно, и все литературные силы, в той или

иной мере пытавшиеся противостоять прогрессивному идейному движению века — поэты-«любомудры» и Тютчев (недаром апеллировавший к «святому имени Карамзина»), славянофилы и «почвенники». Не случайно, конечно, Гоголь на закате жизни посвятил Карамзину апологетическую страницу в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Прогрессивные взгляды отдельных писателей, на определенных этапах своего пути стоявших на позициях карамзинизма как литературного направления (вроде молодого Вяземского), и то осложняющее общую картину обстоятельство, что в непосредственной близости к нему подчас оказывались люди совершенно иных идейных убеждений (вроде некоторых декабристов и молодого Пушкина), не должны затемнять представления об *объективно* реакционной роли, которую сыграл карамзинизм в истории русской культуры как общественное и художественное мировоззрение (и отчасти как литературное направление).

Только в том случае, если постоянно иметь в виду борение двух враждебных начал в русской литературе конца XVIII — начала XIX века — «радищевского» и «карамзинского», — можно составить верное представление о ходе литературного процесса накануне появления Пушкина. Вопрос этот имеет значение чрезвычайное, ибо до сих пор еще зачастую дело изображается таким образом, будто бы карамзинизм оказал решающее воздействие на развитие всей русской литературы первой четверти XIX века, включая и Пушкина. Радищевская традиция при этом теряется в общем нерасчлененном, аморфном литературном потоке.

Между тем факты говорят совсем о другом. Путь Карамзина хотя и нашел продолжение в деятельности ряда русских писателей, — в широком историческом плане был бесперспективным путем, ибо вел не вперед, а назад — конечно, не просто к реставрации старого, отжившего, но к построению такой культуры, которая служила бы, в основном, интересам сходившего с исторической сцены общественного класса. Как культурно-историческое явление, карамзинизм был *реакцией* на формирование прогрессивной идеологии, определявшееся ростом освободительного движения в России и идейно-политической борьбой, происходив-

3 Зак. 1026.

шей в русском обществе. Это была тщетная попытка повернуть колесо истории обратно. Как все реакционное, карамзинизм не имел будущего.

Объяснять предпушкинский период в развитии русской литературы карамзинизмом (а им преимущественно и занималось старое буржуазное литературоведение) неправомерно — потому что главной движущей силой этого развития была именно формировавшаяся в России революционная и демократическая мысль. Только за нею было будущее. Карамзинизм же как таковой, сам по себе, вне соотношения с противостоявшими ему силами, ничего не определяет в эпохе.

Поэтому столь же неправомерно говорить о «карамзинском периоде» в развитии русской литературы. Понятие «карамзинский период», как известно, выдвинутое молодым Белинским в «Литературных мечтаниях», прочно вошло в научный и учебно-педагогический обиход. Между тем применение этого понятия в качестве номенклатурного обозначения целого литературного периода может привести к искаженному представлению о литературном процессе, поскольку при этом снимается наиболее существенный вопрос — именно вопрос об идейно-политической борьбе, происходившей в это время в русской литературе и предопределившей дальнейшие ее судьбы.

Обоснованная Белинским концепция русского литературного процесса в этой ее части нуждается в пересмотре. Здесь не место касаться данной проблемы во всей ее полноте. Укажем только, что и в том, что говорил о Карамзине сам Белинский, содержатся весьма серьезные основания для такого пересмотра.

Многократно отмечая литературные заслуги Карамзина (главным образом в области преобразования русского литературного языка), зрелый Белинский вместе с тем совершенно отчетливо подчеркнул именно историческую бесперспективность карамзинизма. Во второй статье о Пушкине он прямо указал на то решающее обстоятельство, что Карамзин как литературный деятель и глава целого литературного направления не «действовал» на будущее. «Есть два рода деятелей на всяком поприще, — писал Белинский, — одни своими делами творят новую эпоху, действуют на будущее; другие действуют в настоящем и для настоящего. Первые

бывают не признаны, не поняты, не оценены и часто даже гонимы и ненавидимы своими современниками; их апофеоза создается в будущем, когда уже самые кости их истлеют в могиле; вторые — всегда любимцы и властелины своего времени, но, уваженные, превознесенные и счастливые при жизни своей, они получают уже совсем не то значение после их смерти, а иногда и переживают свою славу. Без сомнения, первые выше вторых, ибо это натуры великие и гениальные, тогда как вторые — только сильно и ярко даровитые натуры. Первые, если они действуют на литературном поприще, завещевают потомству творения вечные, неумирающие; вторые — пишут для своих современников, и их произведения для будущих поколений получают уже не безусловное, но только историческое значение, как памятники известной эпохи. К числу деятелей второго разряда принадлежит Карамзин. . .»[35] И далее Белинский со всей решительностью заявил, что «в сочинениях Карамзина все чуждо нашему времени — и чувства, и мысли, и слог, и самый язык. Во всем этом ничего нет нашего, и все это навсегда умерло для нас».[36]

Карамзин интересует нас в данном случае не сам по себе, но лишь в соотношении с противостоявшими ему общественно-литературными силами. Поэтому, оставляя в стороне вопрос об известных заслугах Карамзина перед русской литературой, остановимся лишь на вопросе о той позиции, которую занимал он в условиях идейно-политической борьбы, происходившей в его время в русской общественной мысли и литературе.

Как человек, гражданин и писатель Карамзин был совершенным антиподом Радищева. В связи со всем последующим изложением следует хотя бы бегло сказать о подлинном облике Карамзина — во-первых, потому, что люди, о которых дальше пойдет речь, встали в открытую оппозицию к этому самому влиятельному деятелю дворянской культуры, а во-вторых, потому, что карамзинисты, а вслед за ними дворянские и буржуазные ученые не щадили красок для того, чтобы загримировать Карамзина под прогрессивного деятеля. Следует добавить, что и поныне предпринимаются подчас попытки спасти политическую репутацию Карамзина, найти в его деятельности некие смягчающие обстоятельства.

Однако достаточно обратиться к фактам и прочесть то, что писал Карамзин, чтобы убедиться в полной неосновательности и безнадежности подобных попыток. Классовая позиция и политическая физиономия Карамзина совершенно ясны. Суть дела заключается вовсе не в том, чтобы отказывать Карамзину в звании либерала, которое пристало к нему достаточно плотно, но в ясном понимании самой природы либерализма. Карамзин действительно был либералом, но именно потому, что он был либералом, он теснейшим образом *смыкался* в своей деятельности с открыто охранительной (а не замаскированной, как у либералов) реакционной линией в русской общественной жизни и культуре. Чтобы отчетливо уяснить это, нужно не забывать о той относительности антагонизма крепостников и либералов, которую неоднократно отмечал Ленин, разоблачая либеральных ученых и публицистов, всячески раздувавших этот антагонизм.

Защитники Карамзина обычно ссылались и ссылаются на его сочувственное, якобы, отношение к французской буржуазной революции. Карамзину довелось быть свидетелем революционных событий, и он действительно отдал некоторую дань модному увлечению «вольнолюбием», точнее — его фразеологией. Но это было только данью моде — не более того. Нужно иметь в виду, что революционные события, происходившие во Франции, на первых порах произвели очень сильное впечатление в довольно широких кругах тогдашнего русского общества, даже в дворянско-вельможной среде. Граф Сегюр сообщает в своих записках, что известие о падении Бастилии вызвало в Петербурге «энтузиазм» среди «купцов, торговцев, граждан и некоторых молодых людей высших классов».[37] Даже благонамереннейший профессор Сохацкий утверждал в печати (в «Политическом журнале» 1790, № 1), что 1789 год положил «начало новой эпохи человеческого рода», и сближал в этом смысле революцию с эпохой крестовых походов: «Дух свободы учинился воинственным при конце XVIII, как дух религии при конце XI века. Тогда вооруженною рукою возвращали святую землю, ныне святую свободу». Только позднее, после установления якобинской диктатуры, число людей, увлеченных романтикой революционного переворота, стало катастрофически сокращаться.

Неудивительно, что революция произвела достаточно сильное впечатление на Карамзина — человека тонкого, просвещенного и любознательного. Он почувствовал грандиозный размах событий и, конечно, понял их всемирно-историческое значение. «Начинается новая эпоха; я вижу ее».[38] Но одно дело почувствовать силу революционных событий и понять их значение, другое дело — принять их или отвергнуть. Сказав, что он видит новую эпоху, Карамзин тут же добавил: «Я далек от подражания этим крикунам». Ни о каком принятии революции Карамзиным говорить нет решительно никаких оснований. Он ее сразу же и бесповоротно отверг.

Правда, «вольномысленная» декламация звучит на иных страницах «Писем русского путешественника», и на нее всегда ссылались защитники Карамзина. Однако при этом почему-то старались не замечать, что в тех же «Письмах» Карамзин выступал с самым презрительным осуждением революции в защиту старого монархического порядка. Впоследствии Карамзин существенно переработал текст «Писем» в той части, где речь шла о революционных событиях, но и в первом издании книги (1792 года), которое вопреки очевидному и доныне иногда трактуют как свидетельство увлечения Карамзина революцией, он стоял на открыто *антиреволюционных* позициях. Народ для него — скопище «варваров», дерзнувших «поднять секиру на священное древо» монархии, «при которой все благоденствовало». А. Н. Пыпин в свое время совершенно справедливо заметил, что Карамзин, «наблюдая французское движение, оказался на стороне салонных франтов и аббатов с розовыми тетрадками о любви».[39]

Невозможно принять легенду о вольнолюбии Карамзина, созданную его соратниками, утверждавшими, что он будто бы благоговел перед Робеспьером и «оплакивал» его смерть.[40] Может быть, он в самом деле пролил слезу над трупом великого якобинца, но это было следствием чувствительности, а не идейного единомыслия.

Сам Карамзин охотно говорил о своих республиканских чувствах. В 1818 году, то есть будучи уже автором реакционнейшей «Записки о древней и новой России», он имел смелость написать П. А. Вяземскому: «Я в душе республиканец, и таким умру».[41] Но суть дела заключается,

конечно, не в том, что Карамзин субъективно ощущал себя республиканцем, а в той объективной общественно-политической позиции, которую он занимал. «Республиканцем в душе», как известно, ощущал себя даже Александр I в бытность свою наследником русского престола. Сам Карамзин наилучшим образом согласовывал свои «республиканские чувства» с преданностью самодержавию: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным царя русского», — писал он И. И. Дмитриеву.[42] Ясно, что «республиканские чувства» Карамзина оставались его глубоко личным делом — своего рода утехой сердца и вображения — и что принимать их в расчет никак не приходится.

Какова же была объективная общественно-политическая позиция Карамзина в условиях идейной борьбы, происходившей в русском обществе и в русской литературе на рубеже XVIII—XIX веков? Это была позиция писателя, весь свой немалый талант посвятившего идеологической защите принципов самодержавия и крепостничества, видевшего свою задачу в том, чтобы обосновывать законность существующего порядка вещей.

Как уже отмечалось выше, единственным реальным критерием общественного и политического радикализма в крепостническую эпоху служило решение крестьянского вопроса. Вопроса этого невозможно было обойти никому, кто думал о судьбах родины, родного народа и национальной культуры. На признании необходимости отмены крепостного права сходились представители всех филиаций прогрессивной общественной мысли. Расхождения между ними начинались лишь по вопросу о формах и методах уничтожения рабства, — и здесь обнаруживаются самые различные решения проблемы — от умеренного реформаторства либерально-дворянских идеологов до радищевского осознания перспектив народной революции как радикального средства окончательного разрушения самодержавно-крепостнического строя. Если революционер Радищев и немногие приближавшиеся к его позициям радикальные просветители в своем требовании освободить народ исходили из его интересов и интересов развития страны, то дворянские либералы вынуждены были соглашаться на мирное

освобождение «сверху» в своих собственных интересах, чтобы предотвратить революционный взрыв «снизу».

Карамзин же не шел ни на какие уступки. Он был открытым и воинствующим *противником* даже самого умеренного либерального реформаторства, и никакая декламация о «благе человечества» не может прикрыть реакционную суть его социальных воззрений. Да к тому же и от своего внешнего модного «вольнолюбия» Карамзин освободился очень быстро. В 1794 году в программном «Послании к И. И. Дмитриеву» он громогласно простился с иллюзиями «юных лет» и заявил о своем полном примирении с действительностью. В 1795 году, рассуждая о «мрачности политического горизонта», он писал в частном письме: «Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачество вышло из моды на земном шаре».[43] Во второе издание «Писем русского путешественника» (1797—1801) Карамзин внес знаменательные исправления, свидетельствующие о его стремлении всячески дискредитировать дело революции. Так, например, фразу: «Бунтовал тамошний народ» он изменяет на: «Бунтовала тамошняя чернь», вместо «уличный шум» пишет: «шум пьяных бунтовщиков» и т. д.[44]

В тех же «Письмах» Карамзин утверждал законопослушание, покорность провидению и обстоятельствам, общественный квиетизм в качестве идеала житейской мудрости, чуждающейся каких бы то ни было «насильственных потрясений»: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку... Всякие же насильственные потрясения гибельны... Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо... дерзкие подняли секиру на священное древо».

В 1801 году Карамзин писал об «ужасной революции, которая останется пятном восьмогонадесять века, слишком рано названного философским». «Республиканец в душе» и поклонник Робеспьера, он теперь обличает вождей французской революции как «республиканцев с порочными сердцами».

В дальнейшем, в период официального «либерализма», Карамзин переходит к активной защите принципов «твер-

дого» монархического правления в интересах класса крепостников. Свой журнал «Вестник Европы» он сделал рупором крепостнической реакции.

В статье «Приятные виды, надежды и желания нашего времени» («Вестник Европы», 1802, № 12) Карамзин по-своему осмыслил опыт французской буржуазной революции, заявив, что она только утвердила «законность» старого порядка, «убедила все народы в необходимости правления благодетельного, твердого, но отеческого» и что «теперь все лучшие умы стоят под знаменами властителей и готовы только способствовать успехам настоящего порядка вещей, не думая о новостях». Революцию Карамзин называет «бедствием рода человеческого», а монархическое правление — «благодетельной эгидой». Он говорит, что «самое турецкое правление лучше анархии», что «учреждения древности имеют магическую силу». Он утверждает, что «все смелые теории ума, который из кабинета хочет предписывать новые законы нравственному и политическому миру, должны остаться в книгах, вместе с другими более или менее любопытными произведениями остроумия». Он приходит к выводу, что «одно время и благая воля законных правительств должны исправить несовершенства гражданских обществ и что с сею доверенностию к действию времени и к мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и делать все возможное добро вокруг себя». Провозглашенное революцией «равенство состояний» Карамзин объявляет «химерой». Он расточает похвалы Бонапарту за то, что тот «умертвил чудовище революции», «уничтожил вредную для Франции демократию» и фактически восстановил монархию.

Объявив революцию «бедствием рода человеческого», а русскую монархию — гармоническим идеалом государственного и общественного устройства, Карамзин обратился к апологии дворянского класса и демагогической идеализации крепостнических отношений. В той же статье он писал, что «дворянство есть душа и благородный образ всего народа», что только злонамеренные «чужестранные писатели» могут «беспрестанно кричать» о несчастном положении русских крестьян (это говорилось в год смерти Радищева!), что «российский дворянин дает нужную землю крестьянам своим, бывает их защитником в гра-

жданских отношениях, помощником в бедствиях случая и натуры: вот его обязанности! За то он требует от них половины рабочих дней в неделе: вот его право!» В другой статье — «Письмо сельского жителя» («Вестник Европы», 1803, № 17), написанной в связи с опубликованием «либерального» указа о вольных хлебопашцах, испугавшего крепостников, Карамзин призывал крестьян к безусловному повиновению царю и помещикам, клеветал на русский народ, обвиняя его в лени и пьянстве, утверждал, что народ, если даровать ему свободу, не сумеет воспользоваться ею и впадет в нищету.

В этой и в других статьях («О новом образовании народного просвещения в России», «О счастливейшем времени жизни» — «Вестник Европы», 1803, №№ 5 и 13) Карамзин рисовал нестерпимо слащавую и насквозь лживую картину крепостнического «рая», сердечного согласия и патриархальных отношений между «благодетельным» барином и «благодарным» мужиком. Крестьяне, по Карамзину, считают барина отцом родным, называют его «самыми ласковыми именами», «благословляют скромную долю свою в гражданском обществе, считают себя не жертвами его, а благополучными, подобно другим состояниям». Карамзин даже не считает крепостное состояние рабством; он пишет: «*так называемое* рабство. . .», «*так называемые* рабы. . .».

Для полноты портрета Карамзина можно добавить, что при всей своей чувствительности и тонкости этот «республиканец в душе» оставался в быту самым заурядным и типичным рабовладельцем. Когда читаешь деловые частные письма Карамзина, особенно ощутимой становится вся фальшь его напускного и стилизованного человеколюбия. Здесь он в деловом тоне пишет, что хотел бы купить «хорошего повара» или мальчика-форейтора «лет четырнадцати». Провинившихся крестьян и дворовых он без тени смущения сдавал в рекруты или посылал для порки в полицию (уступая своей чувствительности, не хотел пороть их домашним способом). Своим крестьянам он писал через бурмистра: «Я всех вас люблю равно, как детей своих. . . Я хочу только вашего добра общего, отвечая за вас богу»; но вместе с тем грозил им «усмирением» при содействии военных властей в случае неисправного платежа оброка и передавал свой барский приказ: «Непременно женить

упомянутого Романа на дочери Архиповой», добавляя: «А если вперед осмелится мир не исполнить в точности моих предписаний, то я не оставлю сего без наказания. Всякие господские повеления должны быть святы для вас. Я ваш отец и судья». Или же приказывал: «Кликушам объявить моим господским именем, чтобы они унялись и перестали кликать; если же не уймутся, то приказываю высечь их розгами, ибо это обман и притворство». Так просвещеннейший и утонченнейший писатель расценивал нервные припадки больных женщин. Количество подобного рода и не менее выразительных примеров можно было бы многократно умножить.[45]

Таким образом, нет никаких оснований говорить о том, что Карамзин будто бы изменил своим первоначальным убеждениям и перекочевал на позиции идеолога крепостничества и самодержавия. «Записка о древней и новой России» (1811), представляющая собою самый выразительный документ дворянской реакции, — вполне закономерный итог всей общественно-литературной деятельности Карамзина. Здесь в целях исторического обоснования «законности» рабства Карамзин рискнул на открытую фальсификацию прошлого, утверждая, что русские крестьяне, являясь потомками холопов, никогда не были собственниками земли, не имеют на нее никаких прав и составляют неотчуждаемую собственность дворян. Вывод, к которому пришел Карамзин в «Записке», был таков: «Для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не во-время свободу».

Мы сочли нужным остановиться на общественно-политической позиции Карамзина, потому что, как покажет дальнейшее изложение, писатели 1790—1800-х годов, испытавшие влияние Радищева, в решении всех возникавших перед ними вопросов придерживались прямо противоположных мнений и взглядов, представляя в свое время единственную открытую оппозицию господствующим течениям в дворянской культуре и общественности. Публицистическая и собственно литературная деятельность этих писателей была проникнута духом протеста против сословно-классовых привилегий и кастовой замкнутости, которые Карамзин и карамзинисты стремились упрочить во всех областях общественной и культурной жизни.

5

Длительный период в четверть века между появлением книги Радищева и возникновением первых декабристских организаций до сих пор остается в истории идейного движения в России одним из наименее проясненных периодов. Буржуазные историки и литературоведы, сосредоточившие свое внимание на изучении преимущественно декабристского периода, совершенно недостаточно интересовались судьбами передовой общественной мысли в 1790—1800-е годы. Этим в значительной степени объясняется живучесть утвердившегося с давних пор мнения, будто радищевское «критическое направление» в этот период «не нашло продолжения даже в смягченной форме».[46]

Между тем мнение это совершенно неосновательно. Радищевское направление нашло прямое и непосредственное продолжение (правда, именно в «смягченной форме») в деятельности целой группы прогрессивных писателей и публицистов, в подавляющем большинстве разночинного происхождения и «состояния», выступивших в самом конце XVIII века. За наиболее радикальными из них в историко-литературной практике упрочилось почетное имя *радищевцев.* * В своей литературной деятельности они исходили из того же круга идей и проблем, в котором вращалась мысль Радищева. Они разделяли его взгляды по многим вопросам, в отдельных случаях приближались к его революционным выводам.

Именно в связи с позицией и деятельностью этой группы писателей отчетливо прослеживается разделение русской литературы 1790—1800-х годов на два главных потока — «карамзинский» и «радищевский». Группа радищевцев была еще малочисленна и маловлиятельна. Тем не менее именно их деятельность ближайшим образом ознаменовала целый этап развития русской передовой общественной мысли и литературы в десятилетие, предшествовавшее

---

* Считаем необходимым подчеркнуть, что в дальнейшем изложении мы пользуемся этим словом именно в таком, номинативном его значении применительно к нескольким представителям данной группы, отнюдь не имея в виду тем самым ни аттестовать их как последовательных выразителей радищевской революционно-материалистической идеологии во всем ее объеме, ни тем более равнять их с Радищевым.

Отечественной войне 1812 года, которая вызвала к жизни новые и гораздо более мощные общественные силы.

Историческое значение радищевцев 1790—1800-х годов определяется тем бесспорным и важным обстоятельством, что они явились, в сущности, единственным соединительным звеном между Радищевым и декабристами. А собственно литературная практика некоторых, наиболее талантливых, поэтов данного круга сыграла существенную роль в формировании того литературного процесса, в границах которого сложилась декабристская литература и который в конечном счете подготовил творчество Пушкина.

Об идейной близости участников этой группы к Радищеву свидетельствуют как самый дух и основное направление их общественно-литературной деятельности, так и открыто выраженное ими чувство глубокого уважения к автору «Путешествия из Петербурга в Москву». Иные из них лично знали Радищева, — с уверенностью это можно сказать об И. П. Пнине, с достаточными основаниями — об И. М. Борне и В. В. Попугаеве, но не исключено, что и некоторые другие члены кружка тоже были как-то связаны с Радищевым (И. М. Борн, обращаясь к своим сотоварищам, говорил о нем: «Муж вам всем известный. . .»).

Гражданский подвиг Радищева безусловно произвел сильнейшее впечатление на людей этого круга и сыграл, может быть, решающую роль в осознании ими своего общественного и писательского призвания.

Первым из них проявил себя в литературе И. П. Пнин, в 1798 году, в самый разгар павловской реакции, выступивший с пропагандой просветительных и материалистических идей на страницах издававшегося им «Санктпетербургского журнала». В 1801 году, когда Радищев вернулся из ссылки в Петербург, у него в доме образовалось нечто вроде кружка молодых людей, которые «слушали его с восторгом» и считали своим учителем. Среди них был и И. П. Пнин.

В июле 1801 года по инициативе И. М. Борна и В. В. Попугаева было образовано Дружеское общество любителей изящного (вскоре переименованное в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств), в котором руководящая роль на первых порах принадлежала

радищевцам. В общество вступил И. П. Пнин; в состав его входили и сыновья Радищева — Николай и Василий.

Наконец, сразу же после смерти Радищева Пнин и Борн открыто заявили о своем сочувствии его личности и делу. Кроме них никто не откликнулся на трагическую гибель революционера, загубленного самодержавием. Смерть Радищева служила не только напоминанием о страшных временах палача Шешковского, но и предупреждением на будущее: люди не решались даже произнести имя Радищева — из опасений, как бы их не заподозрили в единомыслии с «бунтовщиком хуже Пугачева». Тем более следует по достоинству оценить единственный отклик на смерть Радищева, раздавшийся из среды близких ему людей и прозвучавший как смелый вызов не только государственной власти, но и обществу, охваченному страхом и раболепием.

В стихотворении Пнина на смерть Радищева (дошедшем до нас в отрывке) ярко запечатлен мужественный образ писателя-гражданина и патриота, бесстрашного глашатая «правды», который показал людям «путь свободы» и пожертвовал собою для «общего блага». Стихотворение Пнина в свое время не увидело света, но можно предположить, что оно получило некоторое распространение в рукописи. Зато некрология Радищева, написанная И. М. Борном (в стихах и в прозе), появилась в печати и сыграла роль своего рода общественной манифестации в честь Радищева. Некрологию прочитали многие, и, конечно, она должна была послужить предметом оживленного обсуждения.

И содержание, и весь тон некролога, и самая форма его опубликования — в высшей степени знаменательны. Он был напечатан во втором выпуске предпринятого Вольным обществом альманаха «Свиток муз» (1803) под заглавием: «На смерть Радищева» и с подзаголовком: «К Обществу любителей изящного». По форме некролог представляет собою ораторскую речь, обращенную к «любезным друзьям». Тем самым это произведение следует рассматривать не как единоличный отклик И. М. Борна на смерть Радищева, но как программный документ, как декларацию всего кружка радищевцев.

Политический смысл некролога обнажен с предельной ясностью, какая только была доступна в подцензурной печати (две строки из стихотворной части некролога все же

были выпущены). Это — открытая апология Радищева как «истинно великого человека», павшего жертвой деспотизма. Как и Пнин, Борн рисует впечатляющий образ патриота и свободолюбца с «пламенной душою», но еще более резко оттеняет его несчастливую судьбу. Великий человек «жил в утеснении», претерпел гонения и ссылку, пострадал за «правду» и «добродетель», ибо в деспотическом обществе «участь правды — быть гонимой».

Обращаясь к «любезным друзьям», Борн говорил: «На сих днях умер Радищев, муж вам всем известный, коего смерть более нежели с одной стороны важна в очах философа, важна для человечества. Жизнь подвержена коловратности и всяким переменам... Радищев знал сие и с твердостью философа покорился року. Будучи в Иркутской губернии, в местечке Илимске, сделался он благодетелем той страны... Память добродетельного мужа пребудет там священною у позднейшего потомства... Кто из грозных бичей человечества, сих кровожаждущих завоевателей, опустошавших страны цветущие и оковавших в цепи рабства вольных граждан! — кто из них, говорю я, наслаждался такими минутами? Никто! радость их была буйством, торжество их — поруганием человечеству. О, добродетель, добродетель! ты составляешь единственное истинное счастие!.. Друзья! посвятим слезу сердечную памяти Радищева. Он любил истину и добродетель. Пламенное его человеколюбие жаждало озарить всех своих собратий сим немерцающим лучом вечности; жаждало видеть мудрость, воссевшую на троне всемирном. Он зрел лишь слабость и невежство, обман под личиною святости — и сошел во гроб. Он родился быть просветителем, жил в утеснении — и сошел во гроб; в сердцах благодарных патриотов да соорудится ему памятник достойный его!»

Здесь особенно знаменательно, как трактует Борн самоубийство Радищева. Он прямо связывает добровольную смерть «истинно великого человека» с «утеснением», в котором тот жил. И Борн оправдывает его самоубийство: «Радищев умер и, как сказывают, насильственною, произвольною смертию. Как согласить сие действие с непоколебимою оною твердостию философа, покоряющегося необходимости и радеющего о благе людей в самом изгнании, в ссылке, в несчастии, будучи отчужденным круга родных и дру-

зей? .. Или познал он ничтожность жизни человеческой? или отчаялся он, как Брут, в самой добродетели? — Положим перст на уста наши и пожалеем об участи человечества».

Легко предположить, что в оправдании самоубийства Радищева, как следствия «утеснения», Борн исходил из того, что сказал на эту тему сам Радищев в «Путешествии»: «Если ненавистное счастие истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если доведенну до крайности не будет тебе покрова от угнетения, тогда воспомни, что ты человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. — Умри». [47]

Вообще вся некрология, написанная Борном, выдержана в характерном радищевском тоне. Подчеркнутые Борном в образе Радищева черты гражданской стойкости, «твердости философа», бескомпромиссной верности «правде» и «добродетели» — полностью отвечают тому представлению о моральном достоинстве человека-гражданина, которое выдвигал и обосновывал Радищев. Достаточно сослаться в этой связи на поучение, которое он вложил в уста одного из персонажей «Путешествия» — «крестецкого дворянина», считающего «исполнение добродетели» — «вершиной деяний человеческих»: «. . .если бы закон или государь или бы какая-либо на земли власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков». [48]

Известны еще и другие факты, свидетельствующие о стремлении радищевцев пропагандировать идеи Радищева и упрочить память о нем.

Безусловно по инициативе писателей из круга Вольного общества любителей словесности, наук и художеств в 1805 году в журнале «Северный вестник» (ч. V, стр. 61—67), в издании которого они принимали ближайшее участие, была перепечатана одна из важнейших глав «Путешествия из Петербурга в Москву» — именно глава

«Клин». При этом, разумеется, не только не было названо имя автора, но глава была перепечатана с измененным заглавием («Отрывок из бумаг одного россиянина»), с пропуском слов «Клин» и «клинский» и в сопровождении следующего примечания: «Читатели найдут в сем сочинении не чистоту русского языка, но чувствительные места. Издатели смеют надеяться, что тени усопшего автора первое прощено будет для последнего». Перепечатка главы из «Путешествия», конечно, могла преследовать одну только цель — напомнить осведомленному читателю о Радищеве и его запрещенной книге.

Наконец, нужно полагать, что не без участия других радищевцев из Вольного общества сыновья Радищева в 1806 году предприняли издание «Собрания оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева». Издание в шести небольших томиках было закончено лишь в 1811 году и получило крайне ограниченное распространение, потому что бóльшая часть тиража погибла при московском пожаре 1812 года. Как уже отмечалось выше, «Путешествие из Петербурга в Москву» в этом издании не только не было помещено, но о нем даже не упоминалось в силу цензурного запрета. Другие, наиболее весомые в идейно-политическом отношении произведения Радищева, как «Житие Ф. В. Ушакова», были напечатаны здесь с цензурными купюрами. Больше того. Издатели, лишенные возможности опубликовать основное произведение Радищева, вынуждены были сделать в предисловии такое ложное заявление: «Вот все, что осталось из сочинений человека, известного уже публике; надеемся, издавая их в свет, принести ей удовольствие. Жаль, что многие другие творения, как важные, так и забавные, пропали. Мы бы почли себе преступлением, имея оставшиеся г. Радищева бумаги в руках своих, предать их забвению и не издать их в свет». [49]

6

Радищевцы 1790—1800-х годов, как и все другие носители прогрессивной мысли в их время, воспитались на философских и социально-политических идеях Просвещения. Это обстоятельство обусловило характерные черты их идеологии,

наложило на нее печать той исторически закономерной ограниченности, на которую указывал Энгельс, говоря о просветителях XVIII века: «Мыслители XVIII века, как и все их предшественники, не могли выйти за пределы, которые ставила им тогдашняя эпоха». [50]

Идеи Просвещения в сильнейшей степени расшатали основы феодального мировоззрения и сыграли громадную роль в подготовке французской буржуазной революции XVIII века. Реальное историческое значение этой революции свелось к тому, что народные массы, привлеченные к делу разрушения феодализма, подпали под новое ярмо: «. . .буржуазная революция, освободив народ от цепей феодализма и абсолютизма, наложила на него новые цепи, цепи капитализма и буржуазной демократии», — указывают И. В. Сталин, С. М. Киров и А. А. Жданов в «Замечаниях о конспекте учебника новой истории». [51] Обещанные буржуазией народу демократические свободы обернулись новыми формами угнетения и эксплоатации в условиях буржуазного экономического и общественного строя. Раскрывая существо мнимой буржуазной демократии, В. И. Ленин писал: «Под видом равенства человеческой личности вообще буржуазная демократия провозглашает формальное или юридическое равенство собственника и пролетария, эксплуататора и эксплуатируемого, вводя тем в величайший обман угнетенные классы». [52]

Но в XVIII веке, когда французская буржуазия была еще революционным классом, ее идеологи, говоря словами Энгельса, «выступили в высшей степени революционно»: «Великие люди, просветившие французские головы для приближавшейся революции, сами были крайними революционерами. Никаких внешних авторитетов они не признавали. Религия, взгляды на природу, общество, государство, — все подвергалось их беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей разумности. Разум стал единственной меркой, под которую все подводилось. . . Все старые общественные и государственные формы, все традиционные понятия были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам. Было решено, что до настоящего момента мир руководился одними предрассудками и все его

4 Зак. 1026.

прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь впервые взошло солнце, наступило царство разума, и с этих пор суеверие и несправедливость, привилегии и угнетение уступят место вечной истине, вечной справедливости, естественному равенству и неотъемлемым правам человека.

Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как идеализованным царством буржуазии; что вечная справедливость осуществилась в виде буржуазной юстиции; что естественное равенство ограничилось равенством граждан перед законом, а существеннейшим из прав человека было объявлено право буржуазной собственности. Разумное государство и «общественный договор» Руссо оказались и могли оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. . .

Но рядом с борьбой между феодальным дворянством и буржуазией, выступавшей в качестве представителя всего остального общества, существовал общий антагонизм — эксплоататоров и эксплоатируемых, богатых тунеядцев и трудящихся бедняков. Именно он дал возможность представителям буржуазии явиться защитниками не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества». [53]

Развернув беспощадную критику феодального мировоззрения, просветители XVIII века впадали в метафизичность и рационалистический антиисторизм в понимании исторического процесса и общественных отношений. Полагая, что «миром правят мнения» и что усовершенствование общества зависит единственно от успехов разума, они исходили в своих теориях из отвлеченного противопоставления разумного порядка — неразумному. Под естественным и разумным порядком они понимали такой порядок, который отвечает естественным нуждам и стремлениям человека, но самый человек понимался ими абстрактно, внеисторически, независимо от условий времени и места, социальной обстановки и классовой принадлежности, как нечто вечное и неизменное по своей «природе». Несовершенства существующего порядка просветители объясняли уклонением от природы и были убеждены, что для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, достаточно изменить «мнения» — просветить людей, внести в их сознание начала разума, искоренить неве́же-

ство и предрассудки, установить справедливое законодательство.

Полагая, что законы общества всецело основываются на незыблемых законах природы, не постигая качественного различия между теми и другими, просветители механически применяли закономерности, установленные ими в природе, к явлениям общественно-исторической жизни. Энгельс указывал, что даже самые передовые мыслители XVIII века, будучи материалистами в объяснении природы, срывались в идеализм, когда решали социальные проблемы. Поэтому им оказались недоступными понятия классового строения общества и борьбы классов. Поэтому они не могли правильно разрешить проблему соотношения общества и отдельной человеческой личности и впадали в неразрешимое противоречие, считая, что индивидуальное мнение возникает как результат общественного мнения, которое, в свою очередь, складывается из суммы индивидуальных мнений. Поэтому просветители не сумели понять законосообразность общественно-исторического развития, рассматривая его как непрерывный поступательный прогресс «разума», и с этой точки зрения объявили, например, средневековье «ошибкой истории», необъяснимым перерывом в общественном развитии.

Эта исторически обусловленная ограниченность просветительной мысли со всей очевидностью сказалась в суждениях и выводах радищевцев 1790—1800-х годов. Общественные отношения они тоже истолковывали в идеалистическом духе. В их сознании возникал образ иной — лучшей, справедливой, счастливой и прекрасной — жизни в будущем веке, когда «твердые законы», основанные на «разуме», обеспечат неотъемлемые, утвержденные «природой» права человека. И. П. Пнин, например, доказывал, что «основание народного блаженства» должно утвердиться на «законах, из природы извлеченных», и что «законы общественные тогда лишь могут назваться справедливыми, когда они согласны с законами природы» («Опыт о просвещении»). А. Х. Востоков, говоря о том, что экономическое неравенство «рождает деспотизм и рабство», и соглашаясь, что «уврачевание сих зол зависит от уравнения имуществ и распространения в людях благонравия», полагал тем не менее, что «сии не от чего иного могут проистечь, как от про-

свещения», и приходил к выводу, что, «следственно, просвещение родит спокойствие и обеспечение» («Речь о просвещении человеческого рода»).

Сознанием радищевцев еще в значительной степени владели просветительские иллюзии, уже преодоленные самим Радищевым. Они в иных случаях склонны были возлагать преувеличенные надежды на установление гражданской свободы для всех классов общества путем усовершенствования законодательства и политических учреждений. При этом следует учесть, что относительная умеренность позитивной программы радищевцев объясняется не только ограниченностью их просветительских воззрений, но и, в известной мере, той общественно-политической обстановкой, в условиях которой протекала их деятельность. Сама эпоха 1800-х годов отчасти питала просветительские иллюзии радищевцев. «. . . монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых» (*В. И. Ленин*).[54] Внешне либеральная политика, которую из тактических соображений проводил русский царизм в начале 1800-х годов, безусловно способствовала упрочению иллюзорных надежд радищевцев на успехи «мирного» обновления жизни (равно как несколько позже отказ правительства от «либеральной» политики способствовал их разочарованию в этих надеждах).

Радищевцы зарекомендовали себя горячими противниками деспотизма и рабства. Наиболее радикальный из них — В. В. Попугаев не только придерживался республиканских убеждений, не только признавал принцип народовластия, но даже, как увидим дальше, возвысился до признания за народом права на революционное мщение тиранам. Тем не менее, — и это следует оговорить со всей ясностью, — никто из них не сделал тех окончательных выводов, которые сделал Радищев, никто из них не осознал с такой же глубиной и последовательностью неразрывной связи освободительной мысли с революционным действием. Радищевцы не были политическими борцами, не пошли на открытую борьбу с «чудищем» самодержавия, против которого с такой великолепной отвагой, с таким замечательным мужеством выступил Радищев.

При всем том для правильной исторической оценки деятельности радищевцев решающее значение имеет то обстоя-

тельство, что в их идеологии просветительные идеи, в силу особого характера русского просветительства, обнаруживаются в своем наиболее радикальном выражении.

Русское просветительство было наименее отягчено грузом классовых буржуазных интересов. При всей утопичности своих политических идеалов русские радикальные просветители были искренно убеждены, что защищают интересы всего человечества. В. И. Ленин, указывая, что в ту пору, когда писали просветители, *все* общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом, говорил: «Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал из крепостного».[55]

Никакого своекорыстия не было и в идеологии радищевцев. Они не защищали корыстных классовых интересов русской буржуазии, выступавшей (как класс) в качестве верной и покорной союзницы самодержавия, приспособлявшейся к условиям крепостнического режима. Идеологию и общественную практику радищевцев наиболее отличает отчетливо выраженный демократизм. Это и было главное и основное, что унаследовали они от Радищева.

Пусть радищевцы не смогли достичь тех высот революционного и материалистического мышления, до которых поднялся Радищев, но они испытали глубокое и благотворное воздействие его великих идей, и воздействие это предопределило наиболее сильные стороны их идеологии. И для них вопрос о положении и судьбе угнетенного рабством народа был самым главным, самым волнующим вопросом. Поэтому их критика феодально-крепостнического «правопорядка» и их борьба за свободу человеческой личности, за гражданские права человека не только носили безусловно радикальный характер, но и приобретали в отдельных случаях революционный оттенок.

Активная деятельность радищевцев относится к 1800-м годам, то есть к эпохе, когда в России еще только *подготавливался* дворянский период освободительного движения. Характеризуя роль сословий и классов в русском освободительном движении, В. И. Ленин писал: «Эпоха крепостная

(1827—1846 гг.) — полное преобладание дворянства. Это— эпоха от декабристов до Герцена. Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ».[56]

Радищевцы выступили за четверть века до восстания декабристов. Деятельность их протекала в ту пору, когда преобладание дворянства во всех сферах общественной и культурной практики имело еще более всеобъемлющий характер, когда протестовали против самодержавия и крепостничества только отдельные одиночки, в большинстве случаев вышедшие из дворянской среды. Новые социальные силы, знаменовавшие возникновение антидворянских тенденций, хотя и пробивались наружу все более заметно, но еще не играли решающей роли в русской общественной и культурной жизни. Радищевцы явились на рубеже XIX века не столько еще зачинателями, сколько предвестниками будущего разночинно-демократического движения в России. Отсюда — своеобразие их позиции и всего их идеологического облика в общественно-исторических условиях эпохи.

Эти ранние предвестники разночинно-демократического движения, конечно, не могли не испытывать влияния передовой дворянской культуры, но вместе с тем они уже пытались противопоставить этой культуре нечто свое, собственное. Именно демократические элементы, весьма ощутимые и весомые в идеологии и практике радищевцев, в известной мере отграничивали их от дворянских вольнодумцев конца XVIII — начала XIX века.

Вольнолюбие и свободомыслие той эпохи — понятие вообще расплывчатое, нуждающееся в четкой дифференциации. Наряду с такими пропагандистами Вольтера, как И. Г. Рахманинов, русский XVIII век знал множество «вольтерьянцев», щеголявших зачастую крайними мнениями и даже открытым безверием и при всем том остававшихся заурядными крепостниками, когда дело касалось не салонного красноречия, но реальных житейских обстоятельств. Их вольнодумство было не более как данью моде, эффектным фрондерством, не имевшим никакого сколько-нибудь серьезного политического значения. Так же как различимы на русской почве два «вольтерьянства», различимы и два

«руссоизма». П. А. Вяземский в свое время очень верно заметил, что Руссо воспринимался совершенно по-разному в различных кругах русского общества, что он был одновременно «и Самсоном, потрясающим столпы общественного здания, и чуть ли не пастушком, который созывает всех итти за ним в новую Аркадию пасти овечек и восхищаться восходом и захождением солнца». [57]

С одной стороны, внешнее увлечение идеей «естественного состояния», охватившее довольно широкие дворянские круги, выродилось в слащавую чувствительность и декоративную пасторальность, наилучшим образом уживавшиеся с дичайшими крепостническими нравами. С другой стороны, для передовых русских мыслителей и писателей учение Руссо служило целям борьбы за духовное и социальное освобождение человека.

Дворянские писатели-сентименталисты во главе с Карамзиным начисто вытравили из учения Руссо его демократическое содержание. Они восприняли у Руссо одну лишь идеализацию «чувства» и «естественного состояния», его вражду к рационализму. Сам Карамзин не сумел найти для характеристики Руссо иных слов, как «нежный живописец чувствительности». Конкретный социальный, буржуазно-революционный смысл «чувствительных» сочинений Руссо, как и вообще всей просветительной литературы XVIII века, Карамзину был глубоко враждебен. При этом Карамзин не остановился перед прямой фальсификацией руссоистских идей: восприняв идею «чувства» как чисто эстетическую категорию, он пытался приспособить ее к своей собственной охранительной идеологии.

Прогрессивные писатели, в отличие от дворянских сентименталистов, ценили Руссо прежде всего и больше всего не как автора «Новой Элоизы», но как автора «Общественного договора» и «Рассуждения о неравенстве», как политического писателя, как революционного идеолога. В. В. Попугаев, к примеру, в 1799 году написал восторженную «Оду на случай позволения, сделанного Советом на пропуск Contrat social, сочинение славного женевского философа Руссо». В этой запрещенной цензурой к опубликованию оде Попугаев восклицал:

О, россы, вам не запрещают
Великих гениев читать,

Пределов вам не полагают
По ним в отважный след дерзать...
Руссо, повсюду уваженье
Твоим талантам отдают
И быстра гения паренье
Твое — в пределах росских чтут...[58]

Общественно-литературная практика радищевцев была направлена, в частности, против дворянской фальсификации освободительных идей века Просвещения. В высшей степени показательно и характерно в этом отношении, что радищевцы интересовались наиболее радикальными и демократическими представителями просветительной философии и литературы. Менее всего характерен для них интерес к Вольтеру — идеологу просвещенного абсолютизма, или к Монтескье — духовному вождю дворянских либералов. Гораздо больше говорила их уму и сердцу критика социального неравенства, развернутая Руссо. Столь же показательно, что В. В. Попугаев проявил живой интерес к социально-политической концепции Мабли — самого радикального из французских политических писателей XVIII века, а И. П. Пнин в своем журнале пропагандировал идеи самых передовых мыслителей-материалистов XVIII века (Гольбаха, Вольнея).

Протестуя против сословно-классовых привилегий, против духа дворянской кастовости, радищевцы настойчиво защищали и обосновывали права низшего социального слоя на активное участие в жизни нации и в деле построения национальной культуры. Не осознав еще, вследствие просветительской ограниченности своих воззрений, решающей роли народа как творца истории и главной движущей силы общественного развития, не имея опоры в народных массах, эти разночинцы 1800-х годов, тем не менее, по самому своему социальному составу и положению гораздо теснее сближались с народом и имели возможность ближе наблюдать его жизнь, нежели чуждавшиеся народа свободолюбцы из дворянской среды.

Время, когда формировались воззрения радищевцев, ознаменовалось массовыми стихийными выступлениями крепостного крестьянства против тирании помещиков и царских чиновников. После подавления Пугачевского восстания крестьянские волнения в России несколько затихают, но в самом конце XVIII столетия вспыхивают с новой силой. За три

года царствования Павла I произошло 278 восстаний, охвативших 32 губернии.[59] Так, например, в январе — феврале 1797 года в орловских вотчинах кн. Голицына и гр. Апраксина шла настоящая война между почти тринадцатитысячным отрядом вооруженных крестьян под руководством Емельяна Чернодырова и посланными на их усмирение войсками (с приданной им полевой артиллерией) под командованием прославленного военачальника кн. Н. В. Репнина (отца И. П. Пнина).[60]

Эти вспышки народного гнева и кровавые расправы над повстанцами, конечно, не могли не произвести сильнейшего впечатления на молодых демократов, искренно желавших счастья своему народу. Они не призывали открыто и прямо к народной, крестьянской революции, как сделал это Радищев. И все же в мировоззрении наиболее решительных и последовательных представителей этого круга нашла пусть ослабленное, но очевидное отражение освободительная борьба крепостного крестьянства.

Сама историческая действительность ставила определенные пределы идейным устремлениям радищевцев. Они были одиноки и слабы без поддержки народных масс. В тогдашней России еще не было общественных сил, способных возглавить массовое освободительное движение, внести начала революционной сознательности в стихийную борьбу народа против самодержавия и крепостничества. Пугачевское восстание и все прочие крестьянские восстания конца XVIII — начала XIX века были задавлены самодержавием, и это находит объяснение в условиях русской действительности того времени, поскольку в России не было рабочего класса, способного повести за собой народные массы на сознательную борьбу за свободу. Товарищ Сталин указывает: «Отдельные крестьянские восстания даже в том случае, если они не являются такими разбойными и неорганизованными, как у Стеньки Разина, ни к чему серьезному не могут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями. Только комбинированное восстание во главе с рабочим классом может привести к цели».[61]

Относительная близость радищевцев к народным массам наложила отпечаток на их суждения и высказывания,

связанные с защитой гражданских прав «низших классов» русского общества. Как увидим дальше, с особенной энергией и последовательностью действовал в этом направлении В. В. Попугаев. Сочувственное отношение к «низшим классам» ярко выразил поэт Семен Бобров (входивший в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств) в статье «Патриоты и герои, везде, всегда и во всем». [62]

Основная мысль С. Боброва сводится к тому, что в России «великие люди» — «истинные любители Отечества и ревнители пользы общей» — были и есть «не только в дворянском, но и в купеческом и даже в других состояниях», что «дух героизма и патриотизма даже и в известном классе народа [т. е. в дворянстве. — *В. О.*] не есть уделом всякого, так как не есть общим свойством и других низших классов». Бобров решительно отрицает за «первым классом народа» «исключительное право» на «геройские и патриотические деяния»; он резко критикует дворянство за *мнимый*, показной патриотизм: «Не часто ли видим, что таковые блистательные наследники вместо того, чтоб обратить породу, силу и счастие свое... в действительное благо и пользу, имеют одно тщеславие показать себя подобными предку на блестящих только словах и в наружных украшениях, показать одну тень геройства или патриотизма, — одну надменность и суетность, — одни богатырские доспехи без тела и души?»

Бобров призывает своих читателей «склонить взоры на другие статьи народа и заметить высокое в низшем», обратить внимание на истинно великих людей, «породою не знаменитых, но отличных благородными качествами», на героев и патриотов, «коих сияние доселе сокрывается во мраке», но которые «достойны бессмертной чести и славы». Обосновывая свое убеждение в том, что «любовь к Отечеству... не составляет привилегии какого-либо класса», Бобров ссылается на примеры из истории русского народа, упоминает о новогородском вече, где велись толки о «пользах общих», вспоминает о героях, вышедших из духовного сословия (Пересвет, Ослябя, Авраамий Палицын), наконец, в весьма пылких апологетических выражениях говорит о Козьме Минине, представляющем «истинный образ русского патриота», чье имя «для всякого сына Отечества драгоценно».

При этом особенно знаменательно, что апология Минина, которого Бобров именует *«русским плебеем»* и считает

представителем всего народа, идет за счет, в известном смысле, развенчания князя Пожарского. Минин был «первою действующею силою, первой побудительною причиною и гением-хранителем, а Пожарский по всему был только орудием его гения»; «Пожарский оказал тогда многие заслуги. Но ежели при сильных убеждениях Минина он требовал себе еще успокоения или, как говорят, притворился больным, то он в очах всякого беспристрастного судителя, кажется, не столь великую приобретает цену, как Минин, хотя после того и исполнил свое дело». Больше того: Бобров довольно явственно намекает на то, что именно «плебей» Минин спасал Россию, когда дворянство изменило своему патриотическому долгу. Этим намеком Бобров как бы иллюстрирует центральное положение своей статьи: «Природа. . . невзирая на родословия, воспламеняет кровь к благородным подвигам как в простом поселянине или пастухе, так и в первостепенном в царстве».

Следует добавить в этой связи, что именно в кругу радищевцев — членов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, по инициативе В. В. Попугаева, впервые возникла (в 1803 году) мысль о сооружении на средства, собранные по всенародной подписке, памятника Минину и Пожарскому, реализованная только в 1818 году. Идея знаменитого памятника на Красной площади в Москве, выполненного скульптором И. П. Мартосом (также причастным к Вольному обществу в качестве его почетного члена и приступившим к проектированию памятника еще в 1804 году, может быть, в порядке отклика на призыв Попугаева), вполне отвечает тому представлению о руководящей роли Минина и пассивном сотрудничестве Пожарского, которое демонстративно выдвинул в своей статье С. Бобров. Минин изображен Мартосом как «основной герой, инициатор спасения; Пожарский лишь следует его призыву. . . Выдвигая роль Минина, Мартос выдвигает и значение самого народа, поднявшегося на борьбу за свое освобождение».[63]

Боевой, наступательный «плебейский» дух, выразившийся в защите гражданских прав и в утверждении морального достоинства «низших классов», включая и крестьянство, проникает идеологию наиболее радикальных радищевцев. Повторим, что при всей просветительской ограниченности своих социально-политических воззрений они стояли

на демократической позиции и что этим обстоятельством в первую очередь определяется их значение в истории русского общественного движения.

Радищевцы, выросшие и воспитавшиеся на русской почве, жили насущными интересами своей страны и в истолковании стоявших перед нею задач исходили из окружавшей их исторической действительности. Тем самым решается вопрос о роли, которую сыграли в формировании их идеологии социально-политические и философские теории влиятельных западно-европейских мыслителей и писателей.

Нет никаких оснований трактовать радищевцев как робких учеников французских просветителей XVIII века, как старательных популяризаторов их идей. Радищевцы, как и все прогрессивные русские деятели, разумеется, учитывали и обобщали исторический опыт буржуазно-революционного общественного движения на Западе, критически усваивали действительные достижения мировой философской и социально-политической мысли, однако не занимались пересадкой абстрактно воспринятых идей на русскую почву, не применяли механически положения и выводы западных мыслителей к явлениям русской действительности, но в ряде случаев полемизировали с ними по важным вопросам. Размышляя о судьбах родины и положении народа, они решали при этом такие вопросы, которых не ставила западно-европейская мысль, и зачастую шли дальше просветителей Запада в своих собственных выводах, подсказанных самой проблематикой русской жизни.

Так, например, политический трактат В. В. Попугаева «О благоденствии народных обществ» неопровержимо свидетельствует о том, что русская действительность с ее особенно резко обнаженными социальными противоречиями позволила этому незаметному, затертому жизнью писателю, горбом добывшему себе образование, глубже уяснить некоторые социально-политические проблемы, нежели сделал это ученейший и прославленный аббат Мабли (см. ниже, в главе III). Попугаев сумел притти к самостоятельным и более радикальным выводам именно потому, что его воззрения складывались, с одной стороны, в условиях особенно тяжкого крепостнического гнета, вопиющего сословно-классового неравенства и палаческого режима, насаждавшегося царизмом, а, с другой стороны, в атмосфере происходившей

в стране стихийной освободительной борьбы крепостного крестьянства.

Руссо и Мабли, Рейналь и Беккария, Гольбах и Вольней — писатели, изучавшиеся радищевцами, позволяли им шире аргументировать собственные взгляды, сложившиеся в личном опыте наблюдения и переживания самодержавно-крепостнической действительности. Они изучали этих писателей аналитически и критически, применительно к особенностям и запросам русской жизни, вкладывали в их формулировки и терминологию совершенно конкретный и злободневный смысл. К примеру, когда они говорили об «общем благе», речь шла конкретно о правах «низших классов» русского общества на социальное и культурное самоопределение.

Как и все передовые русские деятели, радищевцы тяжело переживали экономическую и культурную отсталость самодержавно-крепостнической России от более развитых стран Запада и указывали на необходимость учесть исторический опыт их развития. Но при этом они настаивали на нерушимости самобытных основ русской национальной культуры. Воодушевлявшее их пламенное патриотическое чувство исключало уклонение в неразборчивый дворянский космополитизм, в раболепие перед культурой европейского Запада.

Патриотизм радищевцев был не только чувством, не только чистой эмоциональностью, но и убеждением, побудительной силой к общеполезной и активной гражданской деятельности. Свой гражданственно-патриотический долг они видели в «рачительности» на пользу «своему государству» (Пнин). Они разоблачали «мнимых радетелей» об «общем благе» — любителей «пустых и пышных выражений» — и превыше всего ставили *дело*: «Больше делать и меньше говорить — есть золотое правило» (Борн). Все они были увлечены идеями практической филантропии, получившими в их время широкое распространение, и стояли за всемерное развитие частной инициативы в деле практического осуществления начал «человеколюбия» и «общего блага». Характерно, что подобные установки встречали резкий протест в консервативных и реакционных кругах русского общества. Карамзин, например, благонамеренно полагал, что частная филантропия — «труд напрасный», и предлагал «оставить прави-

тельству» разработку проектов разного рода «общеполезных учреждений».[64]

Обращаясь к решению назревших, насущно важных вопросов, выдвинутых ходом русской жизни, выступая с критикой феодального строя и крепостнических отношений, радищевцы вслед за Радищевым рассматривали занятие литературой как форму практической общественной деятельности. Как писатели, они всецело вращались в кругу философских и социально-политических проблем и каждый частный вопрос решали в свете общих задач борьбы за прогрессивное мировоззрение и новую демократическую культуру.

Проследить процесс формирования русской передовой общественной мысли и гражданственного направления в русской литературе начала XIX века на первом его этапе и наметить перспективы дальнейшего его развития — такова задача данной книги. Логика темы, подсказанная самим характером привлеченного к рассмотрению материала, предопределила последовательность изложения — от освещения общих идейных установок радищевцев к исследованию поставленных ими собственно литературных проблем.

Глава первая

ИВАН ПНИН

Современники запомнили Пнина как «человека необыкновенного дарованиями, умом, сердцем и образованием».[1] Это была, действительно, крупная литературная сила. Талантливый поэт, превосходный публицист, серьезный мыслитель, Пнин в свое время играл видную роль в литературно-общественной жизни и пользовался высоким уважением в писательской среде.

При всем том, однако, сведения о Пнине, которыми мы располагаем, весьма невелики и отрывочны. Неизвестны даже наиболее важные факты и обстоятельства его жизни, из сочинений его дошли до нас далеко не все, не уцелело ни одного клочка из его переписки. Архивные разыскания, предпринятые в последнее время, особенно заметных результатов не дали; и до сих пор в истории русской литературы и общественной мысли глава о Пнине остается в значительной мере белым пятном.

В XIX веке Пнин был основательно забыт. Только изредка имя его мелькало, преимущественно в общих историко-литературных курсах и обзорах. При этом он рассматривался по большей части вне соотношения с общественным и идейным движением эпохи, как случайное и единичное явление, как бледная тень Радищева. Кроме того, ему давались неправильные и противоречивые оценки. Одни, впадая в преувеличение, называли Пнина «наиболее крайним мыслителем», а его «Опыт о просвещении» — «верхом свободомыслия».[2] Другие, впадая в противоположную крайность, отказывали ему даже в малейшем свободомыслии, превращали его чуть ли не в открытого противника освободительных идей.[3]

5 Зак. 1026.

В начале XX века, в годы первой русской революции, о Пнине вспомнили буржуазные либералы, зачислившие его в свои предшественники.[4] К тому времени Пнин настолько выпал из истории русской общественной мысли и литературы, что автор публичной лекции о нем, прочитанной в 1904 году, кадетский историк А. Кизеветтер счел возможным сказать: «Мне думается, что за пределами тесного кружка специалистов редко кто слышал имя Пнина и уже наверное те, перед которыми оно когда-нибудь случайно и мимолетно мелькнуло, не соединяют с ним отчетливых представлений о носившем его человеке».

Однако Кизеветтер не только не дал «отчетливого представления» о Пнине, но, наоборот, существенно исказил его идеологический облик. Он загримировал Пнина по своему образу и подобию под «правоверного либерала» (как, впрочем, и самого Радищева, который для Кизеветтера был не больше не меньше как «роскошным плодом либеральной доктрины»). Деятельность Пнина рассматривалась Кизеветтером как «первый дебют (?) русского либерализма»; весь смысл этой деятельности сводился, по Кизеветтеру, к тому, что Пнин выдвинул «идею о высоком значении самостоятельной личности». В изображении Кизеветтера и других буржуазных либералов Пнин приобрел постное обличье умереннейшего и благочестивейшего реформиста-постепеновца, пылкого апологета буржуазной «собственности».

Между тем Пнин — фигура сложная, не однолинейная, и нужно говорить о резких противоречиях его мировоззрения. В своих позитивных общественно-политических и экономических взглядах он был, действительно, ограничен доктринами метафизического просветительства и раннебуржуазного либерализма. Однако это обстоятельство не дает ни малейших оснований считать Пнина духовным предтечей контрреволюционных буржуазных либералов XX века. Защищая идеи «представительного правления» и «священной собственности», Пнин в то же время был решительным врагом деспотизма и рабства и убежденным материалистом в своих философских воззрениях.

Наиболее существенные и характерные черты идеологического облика Пнина составляют именно материализм (как общая основа его мировоззрения), критическая сила его

публицистики и полноценный гражданский пафос его философско-политической поэзии. Историческое значение Пнина определяется в первую очередь именно этими чертами, а не умеренностью его положительной социально-политической программы.

1

> . . .с детства самого до юности моей
> Наиподлейших был я жертвою людей. . .
>
> *Пнин*

Иван Петрович Пнин родился в 1773 году. Он был «незаконнорожденным» сыном знаменитого вельможи екатерининского и павловского времени, фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина, оставившего ему в наследство лишь частицу своей фамилии (Ре-пнин). XVIII век был богат такими усеченными фамилиями, неизменно выдающими «незаконное» происхождение их обладателей. Таковы: Ранцовы (Во-ронцовы), Мянцовы (Ру-мянцовы), Бецкие (Трубецкие), Лицыны (Го-лицыны) и т. п. Литературный соратник Пнина А. Х. Востоков заменил этим руссифицированным псевдонимом свою подлинную фамилию Остенек, бывшую в свою очередь уменьшительной от фамилии его отца Остен-Сакена. Камердинер А. С. Грибоедова, его «молочный брат», носил фамилию Грибов, позволяющую догадываться об их более близком родстве.

До последнего времени вопрос о происхождении Пнина не был решен окончательно: биографы называли его отцом другого Репнина, двоюродного брата фельдмаршала — князя Петра Ивановича (умер в 1778 году), обер-шталмейстера и ревностнейшего масона; наиболее веским соображением в пользу такого предположения было отчество Пнина: Петрович. И только теперь вопрос этот выясняется окончательно: сохранилось письмо Н. В. Репнина (мы приводим его ниже), не оставляющее никаких сомнений в том, что именно он был отцом Пнина. Отчество же свое Пнин получил, повидимому, от «крестного отца» (возможно, что им был П. И. Репнин), — это также было в обычаях

русских аристократов XVIII века в отношении их внебрачных отпрысков.

Н. В. Репнин, несомненно, сыграл очень крупную роль в жизни своего «воспитанника» (так официально именовался Пнин в его молодые годы). Предание связывало с именем Репнина печальную судьбу писателя и даже его преждевременную смерть. Хорошо осведомленный Н. И. Греч, лично знакомый с Пниным, дважды упоминает об этом в своих записках: «Он вырос и был воспитан как сын вельможи. Потом обстоятельства переменились, и он должен был довольствоваться уделом ничтожным. Это оскорбило, изнурило, убило его... Он надеялся, что князь Репнин признает его своим сыном, но узнав по кончине его (в 1801 году), что он забыл о нем в своем завещании, впал в уныние и зачах. Движимый чувством оказанной ему несправедливости, он написал сочинение «Вопль невинности, отвергаемой законами». [5]

Мы не думаем, что Репнин «забыл» о своем сыне в завещании. Вернее будет предположить, что он сознательно не пожелал обеспечить его существование, так как, судя по некоторым косвенным данным, в конце 1790-х годов отношения Пнина с отцом прервались вследствие какого-то неизвестного нам конфликта. Во всяком случае, до 1796 или 1797 года Пнин был тесно связан с отцом, и поэтому имеет смысл остановиться несколько более подробно на личности Н. В. Репнина, вызвавшей со стороны собственного его сына столь страстное и суровое обличение, каков «Вопль невинности, отвергаемой законами».

Князь Николай Васильевич Репнин (1734—1801), несомненно, принадлежал к числу наиболее типических представителей высшей русской аристократии XVIII века. В нем, как в фокусе, были собраны все противоречия, столь характерные для социально-культурного и морального облика «просвещенных» крепостников. Это был, поистине, вельможа первого ранга, стяжавший громкую славу отважного полководца, искусного дипломата и деятельного администратора. Он был щедро взыскан милостями трех царей (хотя неоднократно бывал и в опале) и преувеличенными хвалами выдающихся современников. Его «подвиги» и «добродетели» воспевали первые поэты века. Державин почтил его торжественной одой:

Строй, муза, памятник герою,
Кто мужествен и щедр душою...
Благословись, Репнин, потомством!..[6]

Нелединский-Мелецкий воспевал его в звучных стихах:

Но кто, кто муж сей сановитый?
Отваги огнь в его очах.
Репнин, вождь храбрый, знаменитый,
России славный во сынах![7]

Известный писатель М. Н. Муравьев посвятил Репнину настоящий панегирик в стиле «похвальных слов» великим мужам древности: «Искусный полководец, важный и остроумный негоциатор, прозорливый градоправитель, человек, равно сияющий при дворе вежливостью и толиким знанием общества, как в советах мудростью и беспристрастием, наипаче отличался он разборчивым чувствованием чести и любовью к отечеству; гражданин и вельможа, иногда несчастлив на войне, иногда увлечен пылкостью нрава, но всегда тверд, всегда готов всем жертвовать долгу службы, даже до собственной гордости, которую извиняло толикое множество заслуг. Он был живой образец благородства, добродетели, бескорыстия, великодушия и безусловной ревности. Таков был бы Аристид, ежели бы он родился в России».[8]

Можно было бы привести немало подобных отзывов о Репнине. Но вместе с тем современники оставили и другие, вовсе противоположные отзывы, и если верить им, выясняется, что «благородный, добродетельный, великодушный Аристид» обладал исключительно жестоким нравом, беспредельной гордыней в отношении подчиненных ему людей и отвратительным пресмыкательством перед сильными мира сего, был завистлив, скуп и сластолюбив.

В Польше, где он «царствовал» в конце 1760-х годов (при Понятовском),[9] Репнин оставил о себе самые скверные воспоминания. Он беспрерывно оскорблял национальные чувства поляков. По словам английского посла при петербургском дворе Джемса Гарриса, «ничего не могло быть поразительнее высокомерия его с самыми важными лицами... Он обращался бесцеремонно со всеми, даже с королем». Он принимал короля в халате, заставил два часа дожидаться в своей передней папского нунция, явившегося к нему

с поздравлением; в варшавском театре актеры не начинали представления до приезда Репнина, хотя король уже сидел в ложе целый час, и т. д.[10]

И в то же время известно, что Репнин «постыдно согнулся перед властным Потемкиным»[11] и что поведение его в ставке всемогущего фаворита вызывало гримасу отвращения даже у самых заядлых угодников. Позже он «влачил свои лавры и седины» и «бесчестил свою старость» в «передних Зубова».[12] С. А. Тучков также пишет, что Репнин «был чрезвычайно горд и вместе пронырлив. В его характере проявлялись по обстоятельствам многие противоположности... Любил он рассуждать о человеколюбии, братолюбии и равенстве, — при этом с людьми, от него зависящими, поступал он как деспот. А между тем знают, как унижался он перед князем Потемкиным и Зубовым».[13] Державин в своих записках признается даже, что при встречах с Репниным он чувствовал «в душе своей во всей силе омерзение к человеку, который носит на себе личину благочестия и любви к ближнему, а в сердце адскую гордость и лицемерие»[14] (впрочем, Державин имел особые причины быть недовольным Репниным и даже раскаивался, что в свое время посвятил ему оду).

Репнину нельзя было отказать ни в уме, ни в образованности, ни во внешней обаятельности: с «видом величавым, гордою осанкою, возвышенным челом, глазами и в маститой старости огненными, коим проведенные дугою брови придавали еще большую выразительность», сочетал он репутацию широко просвещенного человека и остроумного собеседника. Получив «дельное воспитание» под руководством одного из самых образованных русских людей XVIII века — гр. Н. И. Панина, он «удивлял всех своею начитанностью, редкою памятью, свободно изъяснялся и писал на российском, французском, итальянском и польском языках».[15]

Репнин был виднейшим масоном — розенкрейцером; есть основания предполагать, что он находился в сношениях с иллюминатами. Он был лично знаком с Сен-Мартеном и вел с ним переписку. Известно несколько сочинений Репнина на масонские мистические темы.[16] Пользуясь высоким своим положением, он был «великим покровителем мартинистов»; известно, что связи с масонскими организациями

невыгодно отразились на служебной карьере Репнина: при разгроме мартинистов он лишился расположения Екатерины II и был назначен (в 1792 году) лифляндским и эстляндским генерал-губернатором, что при его чинах и заслугах было не чем иным, как почетной ссылкой.

Именно благодаря стараниям масонов была создана легенда о Репнине-Аристиде. Один из столпов русского масонства, И. В. Лопухин, напечатал в 1813 году рассуждение «Примеры истинного геройства, или князь Репнин и Фенелон в своих собственных чертах», где подробно распространялся о «подвигах христианского милосердия и благотворительности» Репнина.[17]

Сохранилось множество свидетельств о «чувствительности» Репнина. Нелединский-Мелецкий в своей оде так и называет его: «Герой чувствительный!», Гаррис именует его «чувствительным и человеколюбивым» (хотя и «не показывающим кротости в обращении»). Массон говорит, что Репнин был «сострадателен и великодушен». В 1801 году молодой Андрей Кайсаров, один из птенцов тургеневско-лопухинского масонского гнезда, читает в Дружеском литературном обществе речь «О славе», где говорится: «Известно, что великий Репнин плакал над трупами убитых неприятелей по одержании им победы».[18]

Мы не знаем, плакал ли Репнин над трупами орловских крестьян графа Апраксина, расстрелянных им картечью при подавлении крестьянских волнений 1797 года. Известно только, что он лишил их обрядового погребения, а над братской могилой поставил столб с надписью: «Тут лежат преступники противу бога, государя и помещика, справедливо наказанные огнем и мечом по закону божию и государеву».[19]

В свете таких фактов нравственная физиономия Репнина принимает более ясные и «земные» очертания. К сказанному нужно еще добавить, что Репнин был большим женолюбцем. Гаррис отмечает его «преувеличенную донельзя любезность с женщинами», а официальный биограф фельдмаршала (Д. Бантыш-Каменский) пишет, что он «имел сердце пламенное и был счастлив любовию прекрасного пола».

Репнин оставил много внебрачных детей; в семейном архиве Репниных имеются сведения о нескольких «питом-

цах» князя, влачивших, повидимому, жалкое, полукрепостное существование. Кроме Пнина, мы знаем еще одного «питомца», выбившегося «в люди», — это Степан Иванович Лесовский (умер в 1839 году), участник войны 1812 года, курский губернатор (1827—1830), позднее московский жандармский генерал и сенатор. Однако, в отличие от Пнина, Репнин не «забыл» его в своем завещании и оставил ему 400 душ крестьян.[20]

И наконец, по всем данным у Репнина был еще один «незаконный сын, судьба которого вовсе не похожа на «ничтожный удел» автора «Вопля невинности». Речь идет об известном князе Адаме Чарторижском.[21] Мать Чарторижского — княгиня Изабелла, прославленная красавица своего времени — пользовалась не слишком строгой репутацией.[22] Любопытная переписка Репнина с Изабеллой и Адамом Чарторижскими[23] свидетельствует о весьма близких, интимных отношениях корреспондентов. В 1795 году, отправляя своих сыновей в Петербург, княгиня Изабелла вверила их попечениям Репнина, и тот с исключительной заботливостью следил за каждым их шагом. «Я принимаю нежное, самое нежное участие в счастии ваших детей; я даже осмеливаюсь сказать: можете ли вы в этом сомневаться, зная мои чувства к вам», — писал он Чарторижской.

Таким образом, Пнин, повидимому, был единокровным братом влиятельнейшего русского сановника первой половины 1800-х годов. Это обстоятельство в свое время не было отмечено биографами Пнина, между тем важно было бы выяснить: знал ли Пнин о своем родстве с Чарторижским и не поддерживал ли с ним личных отношений? Может быть, по инициативе именно Чарторижского кружок «молодых друзей» Александра I принимал живое участие в деле издания «Санктпетербургского журнала» 1798 года, предпринятого Пниным и А. Ф. Бестужевым на средства великого князя; может быть, именно Чарторижский способствовал тому вниманию, с каким принимались Александром I сочинения Пнина («Вопль невинности», «Опыт о просвещении»). Но пока, за отсутствием точных данных, этот вопрос остается открытым.

Н. И. Греч рассказывает, что Пнин «вырос и был воспитан как сын вельможи». Его не постигла участь остальных «питомцев» Репнина; он вырос, повидимому, точно

в таких же условиях, как десятки «законных» отпрысков родовитых и состоятельных фамилий. Репнин приложил, несомненно, старания к тому, чтобы создать для этого своего «питомца» более или менее прочное общественное положение. Он выхлопотал ему дворянское звание, «записал» в сержанты артиллерии, позже определил его в специальное военно-учебное заведение, где перед ним открывалась дорога военно-служебной карьеры, — словом, сделал для него все, что делалось обычно для воспитания дворянского «недоросля».

Все это позволяет, как нам кажется, догадываться о «благородном» происхождении Пнина. Мы не знаем, кто была его мать, но вряд ли она была крепостной. Самый факт барского воспитания Пнина, его дворянство и даже то обстоятельство, что он, единственный из всех репнинских «питомцев», носил фамилию, хотя и усечённую, но все же почти отцовскую, — все это говорит скорее о том, что мать Пнина была из привилегированной среды, тем более что молва приписывала кн. Н. В. Репнину великое множество романов с высокопоставленными дамами. И наконец, последнее соображение: Пнин родился не в России, а за границей (либо в Германии, либо в Голландии). В сентябре 1771 года Н. В. Репнин «из-за неудовольствий с фельдмаршалом Румянцевым» подал в отставку и, получив увольнение на год «к водам», выехал в Германию, — известно, что летом 1772 года он лечился в Спа, а в конце года ездил в Гаагу хлопотать у тамошних банкиров о займе в 120 000 руб. сроком на 20 лет (Репнин всегда был в долгах и неоднократно получал крупные субсидии на «поправление домашних дел», в 1772 году он был накануне полного разорения). В Россию Репнин вернулся только в начале 1774 года.

О первых девяти годах жизни Пнина мы решительно ничего не знаем. В апреле 1782 года, на десятом году жизни, он был отдан в Вольный благородный пансион при Московском университете — одно из привилегированных дворянских учебных заведений, славившееся как «рассадник отечественного просвещения». В пансионе искони преобладали литературные интересы, с его историей тесно связаны имена многих видных литературных деятелей конца XVIII и начала XIX века, почти все воспитанники

сочиняли и переводили в стихах и в прозе и издавали свои «опыты» специальными сборниками. Среди товарищей Пнина по пансиону было много таких начинающих сочинителей: А. Шаховской, Д. Вельяшев-Волынцев, Д. Баранов, М. Магницкий, братья Кайсаровы, П. Кикин, И. Инзов, П. Сумароков, С. Озеров, А. Воейков и др. Некоторые из них позже проявили себя и на более широком литературном поприще. [24]

Первый биограф Пнина Н. П. Брусилов сообщает, что «Пнин в младенчестве еще сочинял стихи, которые могли бы сделать честь и в совершенном возрасте человеку». [25] Возможно, что именно в Университетском пансионе, в атмосфере, насыщенной литературными интересами, Пнин действительно выступил с первыми своими поэтическими опытами, но никаких его произведений той поры не сохранилось; нет их и в сборниках, составлявшихся из «трудов» пансионских литераторов.

В Университетском пансионе Пнин обучался пять лет, до апреля 1787 года, когда по собственному прошению был уволен для определения в Артиллерийско-инженерный шляхетный кадетский корпус, расположенный в Петербурге. При увольнении из пансиона Пнину был выдан аттестат «в том, что он, в показанный пансион будучи записан 1782 года апреля 29 дня, обучался в оном: 1) богословию, 2) геометрии, 3) российскому слогу, 4) немецкому и французскому синтаксису, 5) геодезии, 6) рисовать, 7) танцовать и 8) чистому письму — прилежно, оказывая похвальные успехи и поступая добропорядочно». [26]

Определению Пнина в Артиллерийско-инженерный кадетский корпус предшествовала переписка кн. Н. В. Репнина с директором корпуса генералом П. И. Мелиссино. Из переписки этой сохранилось только одно (и, повидимому, последнее) письмо Репнина, отправленное из Москвы 24 апреля 1787 года — на следующий же день после получения Пниным аттестата из Университетского пансиона. Приведем это письмо полностью:

«Милостивый государь мой Петр Иванович! Писал я уже к вашему превосходительству о здешнем моем питомце Иване Петровиче Пнине, который действительно был записан сержантом в артиллерию, но данный ему паспорт

тем чином от господина генерал-поручтика Мартынова утратился, чтобы вы пожаловали его, приняли в артиллерийский кадетский корпус, хотя сверх комплекта до будущей вакансии, а поколь он не будет помещен в комплект, стану я платить его содержание, в чем поручено от меня учредиться, по повелению вашего превосходительства, подателю сего письма господину майору Ефиму Васильевичу Вепренскому. И как вы ко мне писать изволили, чтобы я помянутого моего питомца к вам только немедленно прислал, то я при сем его и отправляю, поручая его в ваше милостивое покровительство и попечение; чем же дешевлее будет стоить мне его содержание, тем я вам благодарнее буду. Имею честь с совершенным почтением и дружескою привязанностию навсегда пребыть вашего превосходительства покорнейший слуга Князь Николай Репнин. Москва апреля 24 дня 1787-го года».[27]

В этом письме все достойно внимания, особенно же простодушное признание: «чем же дешевлее будет стоить мне его содержание, тем я вам благодарнее буду». Если учесть при этом колоссальные суммы, тратившиеся Репниным на одни балы и обеды (он любил жить широко), и ничтожность расходов, связанных с содержанием мальчика в кадетском корпусе, — прибавится еще одна выразительная черта к известному уже нам портрету «великодушного Аристида».

Нужно думать, что перевод Пнина из такого привилегированного учебного заведения, каким был Университетский пансион, в Артиллерийско-инженерный корпус совершен был по желанию кн. Н. В. Репнина, еще в младенчестве записавшего своего питомца в «сержанты артиллерии».

Артиллерийско-инженерный шляхетный кадетский корпус в учебно-педагогическом отношении стоял много ниже Университетского пансиона: преподавание здесь носило узко специальный и сугубо военизированный характер, преимущественное же внимание обращалось на «нравственное воспитание» кадетов, причем наиболее популярным воспитательным методом были телесные наказания. Сравнительно с другими учебными заведениями, Артиллерийско-инженерный корпус выделялся своим демократическим составом: здесь обучались преимущественно «обер-

офицерские» и «солдатские» дети (последние были выделены в особую роту). Корпусные учителя и воспитатели не отличались ни образованностью, ни педагогическими способностями, — в большинстве это были выходцы из тех же «обер-офицерских» и «солдатских» детей. Единственным исключением являлся только сам директор корпуса П. И. Мелиссино, человек широко образованный, «великий любитель словесности, а особливо театра» (С. А. Тучков).

Очевидно Артиллерийско-инженерный корпус имел в виду Пнин, когда много лет спустя писал (в «Опыте о просвещении»): «В некоторых корпусах главное старание прилагают, чтобы дети умели проворно делать ружьем, хорошо маршировали, и сим с безмерною строгостию учением занимают их более, нежели учением существеннейших наук, долженствующих образовать и приуготовить их к занятию с достоинством и честию тех мест, на которые они по выпуске их из корпуса поступить обязаны. В сей механической экзерциции состоит вся тактика, в корпусах преподаваемая».

Итак, в двадцатых числах апреля 1787 года тринадцатилетний Пнин, отданный на попечение какого-то майора Вепренского, отправился в Петербург. В бумагах Артиллерийско-инженерного корпуса мы нашли челобитную «недоросля из дворян Ивана Петрова сына Пнина» (написанную «по титуле» писарем и только подписанную Пниным; документ датирован маем 1787 года). Здесь читаем:

«Я, именованный, находился в императорском Московском университете волонтером, где будучи, обучался богословию, геометрии, российскому, немецкому и французскому языкам, геодезии, рисовать, танцовать и чистому письму, и, имея отроду тринадцать лет, ныне желание имею определиться как для продолжения службы, так и для подлежащих до артиллерии, фортификации и протчих наук в артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе, чего для осмеливаюсь всеподданнейше просить,

дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня, именованного, как для продолжения службы, так и обучения вышеописанных наук в помянутом кадетском корпусе

в кадеты определить, а что я подлинно из дворян, в том представляю при сем свидетельство».

На челобитной помета: «Помещен 787 году октября 12 дня». К челобитной приложено подписанное П. И. Мелиссино свидетельство о том, что «недоросль Иван Петров сын Пнин подлинно состоит из благородных детей и в службу никуда не записан». [28]

В корпусе Пнин пробыл недолго, менее двух лет. 29 января 1789 года пятнадцатилетним юнцом он был выпущен из корпуса подпрапорщиком и сразу же принял участие в шведской кампании. Через год (15 февраля 1790 года) он получил первый наградной чин штык-юнкера полевой артиллерии. [29] В прошении об отставке 1805 года, перечисляя немногочисленные этапы своей военной службы, Пнин указывает, что в 1790 году находился в походе «на финских водах против шведов», а из других источников известно, что он даже командовал отдельной пловучей батареей.

После 1790 года следы Пнина окончательно теряются. Известно только, что следующие шесть лет (1791—1796) он «находился в армии, расположенной на западных границах империи, в Польше и на берегах Двины», крайне медленно продвигаясь в чинах (только 28 ноября 1794 года он был произведен в подпоручики артиллерии). Это самая темная страница в биографии Пнина.

Сохранился только один документ, позволяющий догадываться о некоторых обстоятельствах жизни Пнина в эти годы, — коллективное письмо к Пнину трех его приятелей (служивших при его отце), посланное в октябре 1794 года из городка Несвижа, Минской губернии. По иронии судьбы, не оставившей нам ни одного клочка из переписки Пнина, письмо это уцелело только потому, что было перехвачено поляками у русского курьера, затем, в свою очередь, было отбито русскими у поляков и сохранилось в архиве министерства иностранных дел. Пнин этого письма, разумеется, не читал. [30]

Письмо совершенно незначительно по содержанию, пересыпано интимными намеками на сердечные похождения корреспондентов и их общих знакомых. Значительно больше говорят нам имена корреспондентов Пнина. Это — известный впоследствии по своим связям с Пушкиным

Иван Никитич Инзов, Яков Данилович Мерлин и Федор Иванович Энгель. Из них Инзов принадлежал к числу старинных приятелей Пнина: он был его товарищем по Университетскому пансиону. В молодости Инзов занимался литературой (его стихи и переводы встречаются в сборниках, издававшихся воспитанниками пансиона), был человеком образованным и начитанным, слыл убежденным противником крепостного права. Любопытно, что Инзов, подобно Пнину, был «незаконным» сыном вельможи — кн. Н. Н. Трубецкого, а может быть, гр. Я. А. Брюса, «давшего ему наречение *Иной зов*, или Инзов».[31]

Для нас важно подчеркнуть в данном случае, что все три корреспондента Пнина были тесно связаны с его отцом кн. Н. В. Репниным. По словам Ф. Ф. Вигеля, «братья князья Трубецкие, Юрий и Николай Никитич, люди ума весьма слабого, увлечены были учением Николая Новикова, покровительствуемого фельдмаршалом князем Репниным. С малых лет воспитанника своего [Инзова. — *В. О.*] посвятили они в мартинизм, и оттого при Екатерине был он долго старшим адъютантом Репнина».[32] В 1794 году Инзов находился в Несвиже при Репнине, «восстанавливавшем порядок в Литве». Бригадир Я. Д. Мерлин был одним из ближайших к Репнину лиц.[33] Майор Ф. И. Энгель был правителем канцелярии Репнина.[34]

Письмо Инзова, Мерлина и Энгеля свидетельствует о том, что Пнин поддерживал тесные отношения с лицами, окружавшими Н. В. Репнина. Нужно полагать, что подобные отношения поддерживал он и с самим Репниным. Такое предположение будет тем более вероятным, что, судя по беглому замечанию в письме Инзова, Пнин до 1794 года служил в Риге, где именно в то время (1792—1793) имел свое пребывание и Репнин в качестве наместника рижского и ревельского. В то же время Пнин пользовался материальной поддержкой отца: в письмах Н. В. Репнина к сенатору И. А. Алексееву встречаются «упоминания о необходимости выделения сумм на различные потребности И. П. Пнина и иных «питомцев» князя».[35] Все это позволяет думать, что и в начале 1790-х годов Пнин оставался с отцом в прежних, достаточно близких, отношениях и что та «перемена обстоятельств», о которой сообщает Греч, имела место позже.

2

В начале 1797 года Пнин решил оставить военную службу, подал прошение об «определении к статским делам» и был причислен к департаменту герольдии, «с отданием следовавшего старшинства». Пнин провел в отставке все четыре года павловского царствования и вновь вступил в государственную службу сразу же по воцарении Александра: факт сам по себе знаменательный; может быть, подобно своему приятелю А. Ф. Бестужеву, он бросил военную службу, «не примирившись с начинавшим торжествовать аракчеевским режимом».

Мы почти ничего не знаем о жизни Пнина в эти годы. Между тем они имеют в его биографии особенно важное значение: на них падает начало широкой литературной и публицистической деятельности Пнина, выразившейся в издании «Санктпетербургского журнала».

Сбросив военный мундир, Пнин обосновался в Петербурге. Здесь он поселился на одной квартире с Александром Федосеевичем Бестужевым (1761—1810), отцом четырех братьев-декабристов. Когда именно Пнин подружился с А. Ф. Бестужевым — неизвестно, но, повидимому, знакомство их восходит еще к 1787—1789 годам: Бестужев, по окончании учрежденной при Артиллерийско-инженерном кадетском корпусе Греческой гимназии, был оставлен корпусным офицером, и Пнин, конечно, не мог не искать знакомства с этим широко просвещенным и свободомыслящим человеком, резко выделявшимся из заурядной толпы корпусных учителей (среди которых был, между прочим, и будущий временщик Аракчеев).

Характерной чертой Бестужева являлась его, повидимому, полная свобода от дворянских предрассудков: он женился на «простой», неграмотной женщине. Это обстоятельство могло сыграть дополнительную роль в сближении с ним «незаконнорожденного» Пнина. В 1789 году, так же как и Пнин, Бестужев принял участие в шведской кампании и именно в частях морской артиллерии. В 1797 году он оставил военную службу и занял место начальника канцелярии Академии художеств, ведая также академической бронзолитейной мастерской и Екатеринбургской гранильной фабрикой.

Дом А. Ф. Бестужева был одним из немногочисленных культурных центров Петербурга в конце 1790-х годов. А. А. Бестужев-Марлинский вспоминал впоследствии в письме к Н. А. Полевому (1831): «Отец мой был редкой нравственности, доброты безграничной и веселого нрава. Все лучшие художники и сочинители тогдашнего времени были его приятелями: я ребенком с благоговением терся между ними».[36]

Именно здесь, в доме Бестужева, зародилась мысль об издании «Санктпетербургского журнала». В том же письме А. А. Бестужев сообщает ценные, хотя и не совсем точные данные об этом начинании: «Говоря о журналах: «С.-Петербургский Меркурий», знаете ли, кем издавался в сущности? Отцом моим, и на счет покойного императора [т. е. Александра I]. Вот что подало к тому повод. Отец мой составил «Опыт военного воспитания» и поднес его (тогда великому князю) Александру. Александр не знал, как примет государь-отец, и просил, чтобы сочинение это раздробить в повременное издание. Так и сделано. Отец мой был дружен, даже жил вместе с Пановым, и они объявили издание под именем Панова, ибо в те времена пишущий офицер (отец мой был майор главной артиллерии) показался бы едва ль не чудовищем. Я очень помню, что у нас весь чердак был завален бракованными рукописями, между коими особенно отличался плодовитостию Александр Ефимович [Измайлов]: я не один картон слепил из его сказок. За «Исповедь» Фон-Визина отца моего вызывали на дуэль; переписка о том была бы очень занимательна теперь, но я, как вандал, все переклеил, хотя и все перечитал: ребячество не хуже Омара. Впоследствии государь обратил в пенсион деньги, выдаваемые на издание, который отец мой и получал до смерти».[37]

Память несколько изменила А. А. Бестужеву: прежде всего, он перепутал фамилию Пнина («Панов») и название журнала («Санктпетербургский Меркурий»), а также ошибся, полагая, что Пнин был только подставным, официальным редактором журнала. А. Ф. Бестужев в 1797—1798 годах уже не был «майором главной артиллерии», а состоял в статской службе и имел одинаковые с Пниным права на издание журнала. Между тем имя Бестужева не обозначено ни на титульном листе «Санктпетербургского

журнала», ни в программе его, опубликованной в тогдашних газетах. Однако в семье Бестужевых прочно держалась традиция умалять значение Пнина в деле издания «Санктпетербургского журнала». Так, например, М. А. Бестужев пишет в своих «Записках»: «*Отец пригласил Пнина для* редакции известного вам журнала», и в другом месте: «Отец исполнил его [Александра I] волю и с *помощью Пнина* издавал «Санктпетербургский журнал». Также и Е. А. Бестужева сообщает о своем отце: «Он стал издавать «Петербургский журнал». В[еликий] к[нязь] Александр Павлович, любя его и зная, что у него дети, передал, лучше бы он не под своим именем печатал. *Нашли Пнина, но в сущности редактором был Бестужев».* [38]

Эту версию никак нельзя признать достаточно объективной. Пнин был в значительно большей мере *литератором*, нежели Бестужев: черты профессионализма проступают в его деятельности, сравнительно с Бестужевым, более резко, и вообще с его личностью решительно не вяжутся представления о роли подставного редактора. «Санктпетербургский журнал» почти наполовину заполнялся стихотворениями и статьями Пнина: это был *его* журнал не только официально, но и фактически.

Не следует, однако, умалять при этом и значение А. Ф. Бестужева. Он, несомненно, был соиздателем и соредактором Пнина, и хотя главную роль в редакции играл Пнин, Бестужеву, возможно, принадлежит инициатива организации этого журнального предприятия, и он же, повидимому, поддерживал связи, существовавшие между редакцией и ее высокопоставленным покровителем — цесаревичем Александром. Во всяком случае, среди бестужевских бумаг сохранился документ, в котором указаны 2000 руб., полученные А. Ф. Бестужевым от Александра на издание «Санктпетербургского журнала». И, наконец, сотрудники журнала вербовались, вероятно, главным образом из домашнего бестужевского кружка.

Дети А. Ф. Бестужева настойчиво подчеркивали то обстоятельство, что «Санктпетербургский журнал» был основан для того, чтобы «раздробить в повременное издание» сочинение Бестужева «Опыт военного воспитания». С этим трудно согласиться: ни характер журнала, ни его разносторонняя программа, ни богатство представленного на его

страницах философского, политико-экономического и литературного материала — не дают права сводить задачи издания к такой узко утилитарной цели, как публикация одного произведения.

Можно считать установленным, что «Санктпетербургский журнал» возник в связи с проектами великого князя Александра и его «молодых друзей» (Строганова, Новосильцева, Чарторижского, — еще без Кочубея). В конце сентября 1797 года, то есть за три месяца до появления в газетах программы «Санктпетербургского журнала», Александр переслал с Новосильцевым письмо своему бывшему воспитателю Лагарпу. Здесь, говоря о бедственном положении России, он делился с Лагарпом своими либеральными планами на тот случай, «если когда-либо придет и его черед царствовать». В частности, он писал, что прежде всего озаботится распространением просвещения и что подготовительная работа в этом направлении уже ведется: («. . .нас только четверо, а именно: Новосильцев, граф Строганов, молодой князь Чарторижский. . . и я. Мы намереваемся в течение настоящего царствования поручить перевести на русский язык столько полезных книг, как это только окажется возможным, но выходить из печати будут только те из них, печатание которых окажется возможным, а остальные мы прибережем для будущего; таким образом, по мере возможности, положим начало распространению знания и просвещению умов. . . В настоящее время мы очень заняты устройством переводов на русский язык возможно большего количества полезных книг, но предприятие наше не может подвигаться вперед так быстро, как это было бы желательно; всего труднее подыскать людей, способных исполнить эти переводы». [39]

Письмо Александра существенным образом дополняют свидетельства современников. Н. И. Греч, повествуя о кружке «молодых друзей», пишет: «Особенно они занимались с ним [Александром. — *В. О.*] изучением политической экономии и плоды трудов своих печатали в «Санктпетербургском журнале», которого редакторами были А. Ф. Бестужев и И. П. Пнин». И в другом месте: «Плодами трудов его [Александра] товарищей было издание «Санктпетербургского журнала», выходившего под редакцией И. П. Пнина, при помощи А. Ф. Бестужева». [40] Пока-

зание Греча уточняется И. И. Мартыновым: «Александр I, быв тогда наследником, тайный советник Павел Александрович Строганов и действительный камергер Новосильцов положили было издать на русском языке несколько политических иностранных писателей. По препоручению их, впрочем заочному, за известную плату, я перевел три части Стюарта «Recherches sur l'Economie politique», коего разбор, написанный мною по их же поручению, напечатан в «Санктпетербургском вестнике» [sic. — *В. О.*]; шесть частей «Bibliotèque de l'homme publique» par Condorcet и «Economie politique» par C. Verri, который также почти весь, по частям, напечатан в упомянутом журнале. Стюарт и Кондорсе остаются ненапечатанными».[41]

Таким образом устанавливается, что Александр и его «молодые друзья» имели близкое, хотя и не непосредственное (как пишет Греч) отношение к «Санктпетербургскому журналу».[42] На их средства и отчасти по их инициативе на страницах этого издания велась систематическая пропаганда идей новейшей политико-экономической школы. В поисках «людей, способных исполнить переводы полезных книг», Александр и его «молодые друзья» завязали сношения с кружком Бестужева—Пнина. Но, разумеется, этим обстоятельством ни в какой мере не решается вопрос о «Санктпетербургском журнале» как органе русской передовой общественной и философской мысли конца XVIII века. И по размаху и по содержанию деятельность Пнина и Бестужева, воплощенная в их журнале, была неизмеримо шире и глубже, нежели великокняжеская культуртрегерская затея.

Программные объявления об издании «Санктпетербургского журнала» появились за подписью Пнина в «Санктпетербургских ведомостях» (1797, № 102, 22 декабря, стр. 2337—2338) и в «Московских ведомостях» (1798, № 4, 13 января, стр. 61). Приводим текст петербургского объявления, в котором были отчетливо сформулированы задачи нового журнала:

«Благотворные лучи просвещения проникли, наконец, в обширные и мрачные доселе пределы Севера, и Россия, в свою очередь, по всему пространному своему владычеству в счастливое и достопримечательное сие столетие обильно озарилась оным. Ощутительным соделалось полезное преобразование умов и сердец, со всеобщим и неутоми-

мым рвением стремящихся к достижению истины и добродетели, обращающее на себя внимание всея Европы и налагающее священный долг на каждого гражданина споспешествовать по мере сил своих общественному благу и пользе. Побуждаемы будучи сим неотменяемым долгом и ревнуя похвальному других примеру, сим извещаем: что будущего 798 года будет издаваться «Санктпетербургский журнал», который имеет состоять из различных нравственных, романических, критических, физических, философических, исторических и политических сочинений, из полезных с иностранных языков переводов, на творения лучших писателей анализов, сочинений в стихах и прозе и проч. Коль скоро первая часть месяца отпечатается, то о сем будет сделано объявление. — Все желающие удостоить оный своими трудами могут присылать их в дом под № 521 в Сергиевской улице к Таврическому саду, надворной советнице госпоже Баженовой принадлежащий, — которые с крайним удовольствием принимаемы и печатаемы будут. За всякую вышедшую в печать пиесу приславший оную имеет право требовать по одному для себя экземпляру. Особы же, благоволящие подписаться на целый год, платят здесь по 6-ти, а в других городах с пересылкой по 8 рублей, адресуя оные деньги к издателю журнала, с прописанием своего имени и куда доставлять экземпляры. — Каждый месяц особо стоит на белой бумаге 70 копеек. Иван Пнин». [43]

Подписка на «Санктпетербургский журнал» принималась также в книжной лавке известного издателя и библиографа В. С. Сопикова, тесно связанного в своей книгоиздательской деятельности с группой прогрессивных русских писателей конца XVIII — начала XIX века. Сопиков и сам пропагандировал в русской печати французских просветителей и материалистов: в «Северном вестнике» 1804—1805 гг. печатались его переводы из «Социальной системы» Гольбаха, а в «Любителе словесности» 1806 года — перевод «Законов Пифагоровых» атеиста и участника Заговора равных Сильвена Марешаля (в 1808 году перевод вышел отдельной брошюрой). Пропаганда просветительных идей велась Сопиковым и в его знаменитом «Опыте российской библиографии» (1815) — в форме выписок из «хороших книг» и рекомендательных ремарок. «Анализ выписок социально-политического характера обна-

руживает своеобразие отбора, произведенного Сопиковым. Почти все отрывки этого рода трактуют вопросы политического устройства государств, взаимоотношений верховной власти и народа, конституционного начала, крепостного права, классовых связей и т. п. Создается убеждение, что включенные в «Опыт» выписки образуют нечто вроде «хрестоматии политического свободомыслия», настолько однороден и умышлен их подбор». [44] Отметим, что в «Опыте» была помещена выписка из «Путешествия» Радищева (страница с выпиской была по требованию цензуры вырезана), а среди рекомендованных книг были указаны переводы из Мабли и Рейналя и «Опыт о просвещении» Пнина.

Во всяком случае, В. С. Сопиков в биографии Пнина — фигура не случайная. Их связывали, повидимому, очень близкие отношения. В конце 1804 года Пнин написал «Послание к В. С. С. на Новый год» (вышло отдельной брошюрой в 1805 году), обращенное несомненно к Сопикову. Здесь Пнин именует своего адресата «другом». Все содержание этого стихотворения, касающегося важнейших для Пнина философско-политических тем («истины», «суеверия», «рабства»), с очевидностью свидетельствует о том, что дружба Пнина и Сопикова сложилась на почве не только личных отношений, но и полного единомыслия.

«Сактпетербургский журнал» выходил ежемесячно, полное издание составляют четыре части по три книжки («месяца») в каждом. На титульном листе обозначено: «С.-Петербургский журнал, издаваемый И. Пниным. Часть первая [— вторая, третия, четвертая]. 1798. В Санктпетербурге, в типографии И. К. Шнора». Эпиграф был взят из де ла Брюйера: «Qu-il est difficile d'être content de quelq'un!» («Как трудно быть кем-нибудь довольным!»). Каждая часть снабжена следующей цензурной визой, подписанной цензором Михаилом Туманским: «Сочинение под заглавием: «Санктпетербургский журнал на 1798 год, издаваемый г. Пниным», в Санктпетербургской ценсуре рассматривано, и поелику в оном не находится ничего данному ценсором о рассматривании книг наставлению противного, для того оное сим к напечатанию и одобряется». Цензурное разрешение первой части помечено 7 декабря 1797 года, второй части — 10 апреля 1798 года, цензурные разрешения к третьей и четвертой частям не датированы.

Большинство статей и стихотворений, помещенных в «Санктпетербургском журнале», анонимны, и установить, кто был их автором, в иных случаях невозможно. Таким образом, состав журнальных сотрудников Пнина и Бестужева в целом остается невыясненным. Назовем тех из них, участие которых либо оговорено в самом журнале, либо засвидетельствовано в других источниках. Это: И. И. Мартынов, в то время уже известный литератор (в 1796 году издавал журнал «Муза»); стихотворец Е. А. Колычев; плодовитый поэт и драматург А. И. Бухарский; переводчики П. А. Яновский и Н. И. Анненский (из духовного звания, впоследствии юрисконсульт министерства юстиции, семинарский товарищ И. И. Мартынова и сотрудник его журналов);[45] поэт А. Е. Измайлов, только что (в 1797 году) вышедший из Горного кадетского корпуса (в «Санктпетербургском журнале» появилось первое печатное произведение Измайлова — перевод стихотворения Малерба «Смерть»; возможно, ему же принадлежат помещенные здесь стихотворения за подписью: — въ); молодой поэт Н. Скрипицын; поэтесса «девица М.» (вероятно, одна из сестер Магницких). Одно стихотворение в журнале напечатал известный поэт Н. М. Шатров, но лично к кружку Пнина — Бестужева близок он, повидимому, не был.[46]

Из упомянутых лиц Пнин и впоследствии поддерживал личные отношения с И. И. Мартыновым (с 1802 года Пнин — сослуживец Мартынова по департаменту министерства народного просвещения и сотрудник его журнала «Северный вестник» 1804 года), с А. Е. Измайловым (с 1802 года они встречались в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств) и с Е. А. Колычевым (среди стихов Пнина есть «Надгробие Колычеву»). Возможно, что давнее знакомство связывало Пнина и с А. И. Бухарским: они могли встретиться в Литве, где Бухарский служил почт-директором.

В научной литературе высказывалось предположение, что в числе сотрудников «Санктпетербургского журнала» был А. Н. Радищев. Основанием для данного предположения послужили помещенные в журнале четыре анонимные статьи в форме писем к издателю, за подписью «Читатель» и с пометой: «Торжок» (ниже мы коснемся этих интересных статей). В Торжке у журнала, конечно,

никакого сотрудника не было; в то же время помечать статьи каким-нибудь провинциальным городом было в журналистике XVIII века широко распространенным приемом (так, например, Екатерина II подписала свою статью в «Живописце»: «Любомудров, из Ярославля»). По справедливой догадке В. П. Семенникова,[47] подпись «Торжок» имеет особое значение: в «Путешествии» Радищева есть глава «Торжок», посвященная вопросу о свободе печатного слова. Именно этот вопрос и был поставлен в первом «Письме из Торжка», помещенном в «Санктпетербургском журнале». «Помещая эту статью, — пишет В. П. Семенников, — издатели подчеркивали свою связь с Радищевым, и понять этот намек могли все читатели, которые знали его «Путешествие». Это — самое осторожное предположение; но есть некоторая вероятность и для того мнения, что эта статья написана самим А. Н. Радищевым».

Мы придерживаемся первого, более осторожного, предположения и полагаем, что приписывать «Письма из Торжка» перу Радищева нет достаточных оснований. Аргументация В. П. Семенникова в пользу второго его предположения следующая: 1) содержание первого письма настолько соответствует тому, что сказано о свободе печати и о цензуре в «Путешествии», в главе «Торжок», что близость обнаруживается даже в деталях (таково, например, указание на условия книгопечатания в Голландии и Англии); 2) содержание трех остальных писем, посвященных критическому разбору порнографических книжек бульварного борзописца Г. Громова, в свою очередь соответствует тому, что говорил Радищев в «Путешествии» о «сочинениях любострастных»; 3) в 1798 году Радищев жил в Саратовской губернии, где получил возможность освободиться от надзора за своей перепиской и ознакомиться с литературными новинками; 4) автор писем — «человек, знакомый с европейской литературой: так, даже в рецензиях на книжки Громова приводятся французские цитаты — из Руссо; язык автора — меткий, выразительный, и отдельные выражения напоминают Радищева».

Эта аргументация неубедительна: 1) Пнин, конечно, был знаком с «Путешествием» Радищева и мог не только усвоить его точку зрения на цензуру, но и заимствовать из главы «Торжок» данные об условиях книгопечатания

в Голландии и Англии; 2) содержание II, III и IV «Писем из Торжка» не вполне соответствует мыслям Радищева о «любострастных сочинениях»: Радищев писал, что хотя «таковые сочинения могут быть вредны, но не они разврату корень» и что действие цензуры *не должно* распространяться даже на эти «произведения развратного ума»,— автор же «Писем из Торжка» придерживался по этому вопросу иной точки зрения; 3) в деревне Радищев жил под строгим полицейским надзором и вряд ли имел возможность регулярно знакомиться с литературными новинками; 4) Пнин так же, как и Радищев, был знаком с европейской литературой. Что же касается сходства в стиле и языке «Писем из Торжка» с писаниями Радищева, то это замечание представляется вовсе неубедительным: стилистическая манера «Писем» не имеет ничего общего с манерой Радищева, гораздо более архаической.[48]

С другой стороны, обращает внимание то обстоятельство, что «Письма из Торжка» печатались в «Санктпетербургском журнале» одно за другим, причем второе письмо, помеченное 19 октября, было напечатано в октябрьской же книжке, третье письмо, помеченное 29 октября, — в ноябрьской, четвертое, помеченное 28 декабря, — в декабрьской же. О том, что Пнин запаздывал с выпуском очередных книжек журнала, сведений не имеется. Между тем, учитывая тогдашние средства сообщения и крайнюю медленность почты, трудно предположить, чтобы Радищев, живший в саратовской глуши, успевал так быстро пересылать Пнину свои рецензии (во втором письме от 19 октября читаем: «Увидя, что замечания на «Верное лекарство»... в сентябре месяце уже напечатаны... препровождаю при сем еще некоторые на книжку нижнеозначенную мнения мои, кои прошу также поместить в журнал ваш», — это письмо было напечатано в том же октябре месяце).

Таким образом, версия о сотрудничестве А. Н. Радищева в «Санктпетербургском журнале» должна быть признана несостоятельной. Вернее будет предположить, что «Письма из Торжка» писались в Петербурге и, нужно думать, в самой редакции «Санктпетербургского журнала». Автором их был, повидимому, сам Пнин; и по содержанию, и по стилю, и по некоторым деталям они вполне согласуются с его публицистическими произведениями. Но

в самой ссылке на «читателя из Торжка» безусловно следует видеть намек на Радищева; этой ссылкой редакция в прикровенной форме заявляла о своей солидарности с автором «Путешествия из Петербурга в Москву» по важному и острому вопросу о цензуре и свободе печати.

Вообще подавляющее большинство произведений, напечатанных в «Санктпетербургском журнале» без подписи, принадлежало, вероятно, его редакторам — и в первую очередь Пнину. Со всей убежденностью это можно сказать об анонимных стихотворениях (А. Ф. Бестужев стихов не писал). В журналистике XVIII века самое понятие «издатель» отчасти соответствовало понятию «автор», и писатель, печатавший свои произведения в собственном журнале, как правило, их не подписывал. Пнин и в дальнейшем, печатая свои стихи в чужих журналах, предпочитал их не подписывать, а помечал знаком ***** (только посмертно опубликованные стихи подписаны его полным именем). Стихотворения, помещенные в «Санктпетербургском журнале», делятся на две группы. Одну из них составляют стихи, подписанные именем автора или его инициалами либо снабженные пометами: «сообщено», «от неизвестной особы» и т. д.; вторую — стихи анонимные, явно принадлежащие перу одного и того же автора: об этом свидетельствуют как отличительные особенности их языка и стиля, так и, в некоторых случаях, общность тематики (так, например, в разных книжках журнала были напечатаны два стихотворения, обращенные к одному и тому же лицу — девице Ч. . .). Из первой группы стихотворений ни одно не подписано именем Пнина или его инициалами. Между тем, по авторитетному свидетельству Н. П. Брусилова, журнал Пнина «был занимателен для публики по прекрасным стихотворениям, излившимся из его пера».[49] Есть еще одно веское доказательство в пользу того, что анонимные стихи в «Санктпетербургском журнале» принадлежат Пнину: два из них были впоследствии напечатаны его друзьями вторично — одно с инициалами, другое с полным именем Пнина.

Также имеются достаточные основания приписать Пнину многие статьи и переводы из числа помещенных в «Санктпетербургском журнале», в частности: «Гражданин» (ч. II, июнь, стр. 215—218), «Чувствования россия-

нина, излиянные пред памятником Петра Первого» (ч. IV, ноябрь, стр. 148—150), некоторые редакционные предисловия и примечания, вроде вступительной заметки к «Чистосердечному признанию» Фонвизина (ч. III, июль, стр. 63—66).[50] Появившийся в VI части «Санктпетербургского журнала» анонимный перевод идиллии Гесснера «Осеннее утро» был впоследствии перепечатан за подписью Пнина в хрестоматии Н. Греча «Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе» (1812).

Какая-то доля анонимных материалов «Санктпетербургского журнала» принадлежала перу А. Ф. Бестужева. Он печатал в журнале свой обширный трактат «О воспитании», в 1803 году изданный отдельно: «Опыт военного воспитания относительно благородного юношества, начертанный по расположению знаменитого италианского законоискусника Филанжиери... дополненный краткими рассуждениями и нужными примечаниями, к предмету воспитания касающимися».[51] В 1807 году книга Бестужева была переиздана в значительно расширенном и переработанном виде, под заглавием: «Правила военного воспитания относительно благородного юношества и наставления для офицеров, военной службе себя посвятивших. Дополненные нужными примерами А. Бес....вым». В предисловии ко второму изданию Бестужев указал, что «Примечания» принадлежат отчасти ему, а отчасти «взяты из разных авторов». Действительно, в состав «Примечаний» вошли (в переработанном виде) некоторые главы из «Всеобщей морали» Гольбаха и моралистические статейки, помещенные прежде в «Санктпетербургском журнале» без подписи («О карточной игре», «Судия», «Богатство», «Благодеяние», «Скупой», «Разум» и др.). Вообще нравоучительные статьи и «Нравственные мысли», в изобилии помещавшиеся в «Санктпетербургском журнале», отвечают характеру и направлению литературной деятельности А. Ф. Бестужева.[52]

Среди людей, близких Пнину, имела хождение версия, будто он принимал участие в написании «Опыта военного воспитания». А. Е. Измайлов, еще при жизни А. Ф. Бестужева, указывал в печати: «Над сим сочинением трудился один почтенный друг Пнина, но, кажется, и сам Пнин тут участвовал».[53] Впоследствии была высказана

догадка, что первые главы трактата, посвященные вопросам частного и общественного воспитания, принадлежат Пнину (они в общем согласуются с его мыслями, высказанными в «Опыте о просвещении»), а вся специальная часть, касающаяся «воспитания военного», — Бестужеву, хорошо знавшему этот предмет по службе своей преподавателем кадетского корпуса.[54] В пользу такого предположения отчасти говорит то обстоятельство, что в парадной рукописи бестужевского трактата, хранящейся в «Эрмитажном собрании манускриптов», глава первая («О воспитании частном») и частично глава вторая («О воспитании общественном) — *отсутствуют*. Тем не менее, не располагая документальными данными, вопрос об участии Пнина в написании трактата Бестужева приходится оставить открытым. Бестужев ни одним словом не упоминает об этом в своей книге, да и сам Пнин в «Опыте о просвещении», ссылаясь на трактат, называет его трудом Бестужева.

«Санктпетербургский журнал» просуществовал один год. В семье Бестужевых сложилось предание, будто его постигло цензурное запрещение; об этом упоминает в своих «Записках» Михаил Бестужев: «Его [журнала] существование была только маска, под которою скрывалась другая цель, и эта цель начала довольно явно выходить наружу и едва ли не была главною причиною, почему журнал был запрещен».[55]

Однако никаких данных о цензурных репрессиях в отношении «Санктпетербургского журнала», несмотря на очевидную его оппозиционность, — не имеется. Прекращение журнала следует скорее связать с временным распадом кружка «молодых друзей» в. кн. Александра. Кружок распался как из боязни возбудить подозрения Павла, так и в силу целого ряда внешних обстоятельств. Именно потому, что издатели «Санктпетербургского журнала» пошли значительно дальше великокняжеского либерализма и развернули деятельность, которая в условиях павловского режима носила совершенно неблагонамеренный характер, Александр, нужно думать, отказался субсидировать издание в дальнейшем. Лишенный материальной поддержки влиятельных покровителей, журнал вынужден был прекратить свое существование.

3

«Санктпетербургский журнал» издавался в очень трудных условиях, в самый разгар павловской реакции, когда даже ношение круглой шляпы считалось признаком «якобинизма», и тех, кто отваживался появиться в ней, били палками в полиции.

Павел I, напуганный революционными событиями во Франции, не без оснований видел в литературе источник ненавистной ему «якобинской заразы» и в полную меру своей самодержавной власти ограждал Россию от проникновения в нее богопротивных и законопреступных идей.

В 1797 году в Петербурге, Москве и Риге была учреждена ценз́ура из представителей трех ведомств: Синода, Сената и Академии наук. В мае 1797 года последовал указ о введении цензуры во всех портах — ввиду того, что «правительство, ныне во Франции существующее, желая распространить безбожные свои правила на все устроенные государства, ищет развращать спокойных обитателей оных сочинениями, наполненными зловредными умствованиями, стараясь те сочинения разными образами рассевать в общество». Органам полицейского надзора предписывалось «сильнейше наблюдать, дабы отнюдь не было никаких сочинений, кои могли бы или нарушить общее благосостояние, или наносить тому вред, стараясь, ежели бы где оказались оные, тотчас исследуя, через кого они произошли, виновных взять под караул и доносить с нарочным; а сочинения таковые и самые от них последствия истреблять».

Так, например, во исполнение этого указа в 1797 году была запрещена книга «Записки Гендриха Мазерса де Латюда» в переводе Л. И. Татищева-Шубского — ибо содержание ее свидетельствовало о том, что она «из числа тех возмутительных сочинений, которыми при начале революции французской старались подвигнуть народ против законной власти». Больше того: некоторые сочинения запрещались за то, что авторы их недостаточно энергично выступали против революции; так, например, январская книжка гамбургского журнала «Le Spectateur du Nord» за 1797 год не была пропущена в Россию, потому что автор одной из помещенных в этой книжке статей хотя и высказывался против революции, но «слабыми доводами больше вредил».[56]

Цензурный гнет в 1798 году принял невыносимые и совершенно уродливые формы. Запрещались сочинения Державина. Карамзин в июле 1798 года жаловался И. И. Дмитриеву, что цензура запретила переведенные им речи Демосфена — на том основании, что «Демосфен был республиканец и что таких авторов переводить не должно, и Цицерона также, и Саллюстия также».[57] Преследовались и подвергались запрещению самые невинные творения самых благонамеренных авторов, вроде какого-нибудь «Романа в письмах» некоей девицы Демидовой из Калуги. В романе этом цензура обнаружила «дух некоей философии, несообразной с государственными правилами, добрыми нравами и любовью к отечеству», и вообще решила, что «если автор подлинно есть девица, то занималась она делами, совсем ее не касающимися». А в другом случае книга была запрещена за то лишь, что в ней было сказано: «Полицеймейстер, несмотря на свой чин, верил добродетели». «Сие,— заметил цензор, — основано на мысли, что полицеймейстеры добродетели не верят». Число подобного рода курьезных примеров можно было бы многократно умножить.

Крутыми мерами Павел I в короткий срок достиг того, что литература и журналистика захирели, или, — как выразился один из реакционеров того времени, — «голос нечестия и вольнодумства совершенно затих при гласе мудрой строгости Павла».[58] Писатели предпочитали молчать. Карамзин заявил, что решил «умереть авторски». В то же время в среде научной и художественной интеллигенции стали распространяться сервильные настроения. Находились ученые люди, восхвалявшие «мудрую прозорливость Павла». Так, например, профессор Московского университета немец Гейм в речи «О состоянии наук в России под покровительством Павла I» (1799) заявлял: «Сколь счастливою почитать себя должна Россия потому, что ученость в ней благоразумными ограничениями охраняется от всегубительной язвы возникающего всюду лжеучения» — «обольстительных нынешних сирен напевов вольности».[59]

В такой обстановке ожесточенных цензурных гонений, молчания одних писателей и раболепия других нужно было иметь много гражданского мужества, чтобы выступить в роли издателя «Санктпетербургского журнала». Недаром друзья Пнина впоследствии, после его смерти, единодушно

вспоминали о его журнале как о чем-то из ряду вон выходящем.

Действительно, если учесть тогдашние общественно-политические условия, открытая пропаганда просветительных и материалистических идей, которая последовательно велась на страницах «Санктпетербургского журнала» буквально на глазах у Павла, представляется фактом трудно объяснимым. В самом деле: опасными авторами были признаны не только Вольтер и Монтескье, но и Виланд и Клопшток, — и в то же самое время в «Санктпетербургском журнале» из номера в номер печатались переводы из Гольбаха и Вольнея. Цензура не позволяла писать о Канте, а в то же самое время в «Санктпетербургском журнале» радикальные мыслители и писатели открыто сравнивались с лампадами, которые светят всему миру («Лампады» — ч. III, стр. 32—33). О Руссо, в частности, здесь говорилось, что он «воспламенял души священным исступлением добродетели» и что «при его пламени исчезали варварские предрассудки, производящие невольников и тиранов» (там же, стр. 34).

Кроме того, в журнале допускались в достаточной мере явные намеки на крепостнические порядки и вообще весьма смело для того времени обличалось всяческое социальное и духовное угнетение человека.

Одним недосмотром или близорукостью цензуры объяснить это трудно. Нужно думать, имелись какие-то особые причины и основания, заставлявшие органы правительственной власти смотреть на журнал Пнина сквозь пальцы. Может быть, известную роль играло при этом то обстоятельство, что за спиной издателя стояли влиятельные лица во главе с самим наследником престола. Впрочем, и такое предположение не решает вопроса, поскольку, во-первых, сам наследник смертельно боялся царя-отца, а во-вторых, не приходится думать, что журнал, в течение года регулярно выходивший в столице, оставался вне поля зрения Павла. Во всяком случае, непонятный и даже парадоксальный факт свободного существования «Санктпетербургского журнала» в «царстве власти, силы и страха» (как охарактеризовал современник павловский режим), очевидно, мог бы быть объяснен по существу лишь в свете точных документальных данных. Но таковыми в настоящее время мы не располагаем.

Конечно, и при Павле I в России не погасала освободительная мысль. И в это черное время находились смелые люди, открыто высказывавшие свои взгляды, — вроде отставного прапорщика (из поповичей) Ивана Рожнова, который в 1797 году был обвинен в разглагольствованиях о том, что «государи все тираны, злодеи и мучители» и что «люди по природе все равны», а иконы называл «идолами». За это Рожнов был подвергнут жестокому наказанию: уголовная палата приговорила его к лишению чинов и дворянства и к каторжным работам, а Павел лично добавил к этому еще и телесное наказание (в нарушение жалованной грамоты дворянству).[60]

Также имели место при Павле I и отдельные случаи смелых выступлений в литературе. Так, например, в том же 1798 году, когда выходил в свет «Санктпетербургский журнал», была анонимно издана интересная «Ода на неравенство людей». Автор этой оды, студент Московского университета Николай Щеголев, жаловался на свою «низкую участь» и обличал крепостников, которые «без доблестей ума, заслуги владеют тысячьми людей», «ближних нагло обижают, томят, гнетут и обнажают». Здесь читатель мог найти такие, к примеру, строки:

Вопль дерзкия твоей свободы
Пускай услышит круг земный...
Никто из смертных в смертном мире
Не может быти совершен;
Хот будет кто в венце, в порфире
На царском троне возвышен.
Стяжать могущество державы,
Возвысить звук гремящей славы
Не может сам собой один.
Сие от подданных зависит,
Их ревность царски троны высит;
Без сей не царь и царский сын.
Но царь тем долг свой исполняет,
Когда о подданных радит,
Суд, правду, милость сохраняет,
Всегда о благе общем бдит...[61]

В том же 1798 году в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» появился целый цикл стихотворений некоего Алексея Побединского, резко протестовавшего против тирании и писавшего в радищевской манере,

В стихотворении «Инквизиция» этот автор смело нападал на церковь.

Но эти отдельные, можно сказать, единичные случаи, конечно, не только не умаляют гражданского мужества Пнина, но, скорее, еще более подчеркивают его: судьба Ивана Рожнова и ему подобных вольнодумцев, естественно, должна была послужить серьезным предостережением Пнину, и тем не менее он не побоялся взять на себя одного формальную ответственность за явно вольнодумный журнал (А. Ф. Бестужев формальной ответственности не нес, поскольку имя его в качестве соиздателя журнала означено не было и вообще ни разу не упоминалось).

В самом представлении о призвании и назначении писателя Пнин безусловно исходил из того, что сказал на эту тему Радищев, заявивший в «Путешествии», что «достойны признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие». Формулируя свой взгляд на общественное назначение писателя, Радищев указывал, что он должен изображать «шествие разума человеческого», утверждать «истину», разоблачать «предрассудки и суеверие»: «Блажен писатель, если... в едином хотя сердце посеял добродетель».[62] В таком же духе высказывался по данному вопросу и «Санктпетербургский журнал»: «Великие дарования должны быть жертвуемы в пользу общества, и их главное употребление есть поддерживать добродетель. Покой и славу надобно считать за ничто, когда нужно распространить ее [добродетели] владычество» (ч. II, стр. 54).

Среди русских периодических изданий конца XVIII века «Санктпетербургский журнал» бесспорно был наиболее интересным и содержательным, выделяясь как обширностью и разносторонностью программы, так и самым характером своего материала. В журнале нашли место и обычные литературные жанры — торжественные оды и пасторальные стишки, отвлеченно-дидактическая проза, модные «восточные повести» и т. п. Но они были только привеском к основному разделу, который составляли статьи «серьезного содержания» — по вопросам философским, этическим, политико-экономическим, педагогическим и т. д. Философские стихи и сатирические басни Пнина, трактат А. Ф. Бестужева о воспитании, извлечения из политико-экономических работ Пьетро Верри и Джемса Стюарта и, наконец, целая серия

переводов из Гольбаха — вот что прежде всего характеризовало облик «Санктпетербургского журнала» и делало его самым ярким, после «Путешествия» Радищева, проявлением философского и социально-политического радикализма в русской печати конца XVIII века.

Политическая установка издателей сквозит на большинстве страниц журнала. Пнин и Бестужев умело и ловко пользовались эзоповым языком и приемами всякого рода намеков и «аллюзий», чтобы обойти цензурные рогатки. Намеки эти были в достаточной мере прозрачными, так что внимательный читатель без особого труда мог догадаться, что́ именно и кого именно имели в виду издатели. Даже в отвлеченных и, казалось бы, совершенно невинных рассуждениях на общие темы морали встречались беглые замечания, которые всякий вдумчивый читатель неизбежно должен был ассоциировать с явлениями окружавшей его действительности.

Так, например, в «Санктпетербургском журнале» много места занимали переводы из пресного моралиста и сатирика Альбрехта Галлера. И в этих переводах издатели находили способ выделить, подчеркнуть то, что отвечало их взглядам, по большей части усиливая и политически заостряя мысль Галлера. В прозаическом переводе Галлеровой поэмы «Альпийские горы» среди отвлеченных моралистических рассуждений вдруг прорывались такие фразы: «Вся трудность исчезает, где вольность царствует», или: «Свобода с беспристрастною благостию разделяет всем гражданам равную часть трудов и удовольствий» (ч. I, стр. 10—11). А далее счастливому, свободному существованию сельских жителей, «покорных простым законам естества» и не подчиненных «суровой власти», противопоставлялась подневольная и полная опасности жизнь в «гордых градах», где «жестокий тиран наругается жизнию рабов своих и порфира его обагрена еще дымящеюся кровию граждан» (ч. I, стр. 15, 39). В условиях тиранического правления Павла такие строки, конечно, приобретали вполне злободневное звучание.

В равной мере должны были «наводить» читателя на современность многозначительные намеки, рассеянные среди печатавшихся в журнале «Нравственных мыслей»: «Есть земля, где часто полезно бывает обнаруживать свои пороки и всегда опасно являть добродетели» (ч. I, стр. 232), или:

7 Зак. 1026.

«Много издано книг о пользе государей, многие хотят, чтобы непременно изучали оные; но есть ли хотя кто-нибудь, который бы старался побуждать к познанию польз народных» (ч. I, стр. 233). Прямой намек на лихорадочные и своевольные мероприятия Павла I в области внутренней политики содержится в редакционной статье, представляющей собою комментарии к «Духу законов» Монтескье. Здесь говорится о том, что законодатель должен сообразоваться с естественными условиями страны и установившимися обычаями народа: «Что подумали бы о законодателе, который захотел бы завести в Занзибаре хрустальные заводы или корабельную верфь на ледяных полях Лапландии?» (ч. I, стр. 111). В трактате А. Ф. Бестужева о воспитании прямо в адрес Павла говорилось, что нельзя огульно опорочивать и подвергать ломке все сделанное в предшествующий период (ч. I, стр. 158).

Кроме намеков, Пнин и Бестужев широко пользовались также и другим не менее распространенным в литературе и журналистике XVIII века приемом маскировки своих мыслей — переносили действие в условную «восточную» обстановку. Так, например, в очерке «Просвещение» (ч. III, стр. 85—87) излагалась следующая беседа калифа Аарона Рашильда (Гарун-аль-Рашида) с его визирем Муссазером, всецело выдержанная в духе политических теорий Просвещения:

«Визирь Муссазер вопросил некогда великого Аарона Рашильда, какие были виды его при учреждении академий, основании училищ и приведении наук в цветущее состояние. — Думаете ли вы, — говорил визирь, — что вам лучше повиноваться будут? — Да, — ответствовал калиф, — потому что народ мой будет лучше судить о справедливости моих законов. — Станет ли он через то лучше платить подати? — Конечно, потому что он увидит, что я, кроме необходимо нужного, ничего от него не требую. — Воины ваши с большим ли жаром сражаться будут? — Конечно, потому, что они будут иметь начальников более просвещенных. — Но ваши мудрецы, ваши ученые не захотят ли вмешаться в правительство? — продолжал Муссазер. — О, царь царей, не возымеют ли они дерзости предположить вам погрешностей? — Тем лучше они сделают,— сказал Аарон,— открыв мне те, кои я учинил, они научат меня впредь оных

не делать. — Как! светило мира, — сказал визирь, желая настоять на своем мнении, — вы позволите мудрецам вашим говорить все то свободно, что они думают? — Без сомнения, — ответствовал поспешно калиф, — если бы не говорили они свободно, то бы поучения их были несовершенны. — Но некоторые из них не могут разве распространять заблуждения? — Правда, но сии заблуждения будут опровергаемы другими мудрецами».

Как видим, здесь в сжатой форме изложена и сопровождена обычной аргументацией просветительская концепция «просвещенного государя», утверждающего общее благоденствие при помощи справедливых законов и свободы мнений. В «Выписке из рассуждений о государственном хозяйстве» (редакционном предисловии к отрывкам из трактата Верри) издатели «Санктпетербургского журнала» выразили общий взгляд на просвещение как на залог «пользы общей» при условии, если оно (просвещение) обеспечивается «свободою и поощрением» (ч. I, стр. 196).

Для общественно-политической установки издателей «Санктпетербургского журнала» характерна их забота о том, чтобы журнал был «полезен» для читателей. В редакционной статье «Выписка из рассуждений о государственном хозяйстве» (ч. I, стр. 185—196) было сказано: «Избрав предметом наших рассуждений все, что издается в свет, или что мы сами пишем, могущее принесть пользу ученому человеку, уму, ищущему истины, сердцу, любящему добродетель, честной душе, желающей счастия человечеству, вообще все то, что может быть полезно для всех людей. . . каково бы ни было их состояние. . .» и т. д. Показательно в этом смысле и напечатанное в мартовской книжке письмо «К издателю Санктпетербургского журнала» (с пометой: «От неизвестной особы»), в котором высказывалось пожелание, чтобы журнал занялся исследованием целого ряда вопросов, связанных с жизнью, бытом и культурой русского народа в древнейшее время. Автор письма говорил, что «желает сердечно видеть Журнал С.-Петербургский, или Дневник Града св. Петра, исполненным не какими-либо обыкновенными, но такими творениями, которые соответствовали бы имени Дневника, сиречь более касались России, составляя для читателей россиян удовольствие и пользу». Пнин снабдил письмо «неизвестной особы» своим примечанием, в кото-

ром «изъявлял чувствительную признательность оной особе во уважение патриотического духа, благородства чувствований» и «усерднейшим образом» просил о доставлении материалов, которые «с благодарностию принимаемы и помещаемы будут» (ч. I, стр. 311—312).

В свете заявлений издателей «Санктпетербургского журнала» о том, что они видят свою задачу в распространении полезных сведений, понятен интерес их к вопросам политической экономии, которым в журнале уделялось много внимания. Собственных высказываний Пнина и Бестужева по этим вопросам нет, но о позиции журнала можно судить по напечатанным в нем обширным выдержкам из «Рассуждения о государственном хозяйстве» Верри — одного из наиболее передовых представителей экономической мысли XVIII века, сторонника свободной торговли и защитника мелкой земельной собственности. Полагая, что сосредоточение богатств в руках избранных классов ведет к закабалению крестьян, Верри доказывал, что от раздробления земли на мелкие участки ближайшим образом зависят успехи земледелия, так как крестьянин-собственник будет с величайшей охотой обрабатывать принадлежащую ему землю.[63]

Известно, что Радищев живо интересовался экономической теорией Верри и читал его сочинения.[64] Публикуя выдержки из «Рассуждения» Верри, «Санктпетербургский журнал» выступал в защиту идеи развития национальной промышленности на основе свободной конкуренции, и в этом случае приближаясь к позиции, которую занимал в экономических вопросах Радищев.

Одним из центральных произведений программного значения, появившихся на страницах «Санктпетербургского журнала», был трактат А. Ф. Бестужева о воспитании, на котором лежит печать глубокого влияния просветительной и материалистической философии. Исходя из учения о природном равенстве и отсутствии врожденных идей и понимая общество как естественную форму человеческого существования, Бестужев широко и принципиально ставил вопрос о преимуществах общественного воспитания перед частным. «Все доказывает нам, — писал он, — что человек при рождении своем не расположен ни к добру, ни к злу, но что приносит только способности к восприятию тех нужд, коих он сам собою удовлетворить не в состоянии» (ч. I, стр. 55). Если

природа — «мать» человека, то общество — «вторая матерь», которая «образует наш разум, преклоняет чувствия и посевает в сердце семена погрешностей, какие господствуют в стране, где мы родились» (ч. II, стр. 31).

В трактате Бестужева звучат демократические ноты. Он выступает против привилегий, основанных на сословном происхождении, отрицает врожденное дворянское «благородство», выдвигает в качестве единственного критерия общественной репутации человека его личные достоинства, душевные и интеллектуальные свойства, просвещенность и заслуги перед обществом. В развитие этих положений Бестужев прокламировал идею свободного участия «достойных» людей в общественной и культурной жизни. Каждый человек имеет право проявить свои способности. Но возможно это лишь в благоустроенном, просвещенном обществе. Отсюда — требование утвердить принцип общественного воспитания при условии ликвидации сословно-имущественных ограничений в этой области, — с тем, чтобы «достойный» человек, независимо от своего общественного «состояния», имел возможность проявить свои способности и активно служить обществу и родине.

Разделяя в теоретической сфере идеи французских материалистов и радикальных просветителей, А. Ф. Бестужев в решении вопросов собственно политических не поднялся выше умеренного и расплывчатого либерализма. Его положительный политический идеал сводился к представлению о «просвещенном монархе». В дальнейшем Бестужев продвинулся еще более вправо: издавая в 1803 году «Опыт о воспитании» отдельной книгой, он стер с первоначального текста налет демократизма и, в частности, вовсе изъял главу, в которой осуждались сословные дворянские привилегии. Изменение общей тональности книги сказалось уже в перемене самого ее заглавия: в новом издании книга называлась «Опыт военного воспитания относительно *благородного* юношества».

Особого внимания заслуживает группа статей в «Санктпетербургском журнале», которые по тем или иным основаниям можно приписать перу И. П. Пнина. Именно в них особенно ощутима радищевская традиция: в важнейших своих положениях и выводах они очевидным образом соотносятся с проблематикой и темами Радищева.

Такова, например, небольшая статья «Гражданин» (ч. II, стр. 215—218), в которой всецело в радищевском духе поставлен вопрос о правах и обязанностях человека, живущего в обществе и обязанного соблюдать законы общественных отношений.

«Что есть гражданин?» — спрашивает Пнин. И отвечает: гражданином не может быть назван тот, кто действует «хитростью и пронырством», кто отличается «гордостью и алчностью» и «порабощен постыднейшими страстями», кто заботится лишь о личном благополучии, презирая «общественное благо» и ниспровергая «законы чести и справедливости», тот, для кого «благополучие государства есть не иное что, как пустое название», тот, кто «столько ж неспособен соболезновать о несчастиях, как и радоваться об успехах своего отечества».

«Нет, конечно: титло гражданина не принадлежит существам, толь преступными злоупотреблениями себя уничижающим. От общества отверженные, они не оставят по себе ничего более, как бесславие и презрение... *Истинный* гражданин есть тот, который, общим избранием возведен будучи на почтительный степень достоинств, свято исполняет все должности, на него возлагаемые. Пользуясь доверенностию своих сограждан, он не щадит ничего, жертвует всем что ни есть для него драгоценнейшего своему отечеству, трудится и живет единственно только для доставления благополучия великому семейству, коего он есть поверенный».

В статье особо подчеркнуто, что истинный гражданин должен быть «трудолюбив» и «бескорыстен». В качестве «живого примера гражданских добродетелей» Пнин называет самоотверженного римлянина Курция, имя которого служило в литературе символом беззаветной преданности родине: только таких граждан «отечество признает за истинных своих детей!»

Все это очень близко по мыслям и по общему духу тому определению истинного гражданина-патриота, которое содержится в статье Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества» (анонимно напечатанной в журнале «Беседующий гражданин» в 1789 году). Вот что говорил здесь Радищев: «Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным... С благоговением подчиняется он всему

тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении Отечеству... Он пламенеет нежнейшею любовию к целости и спокойствию своих соотчичей... не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия... и ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу Отечеству, то не страшится пожертвовать жизнию...» и т. д.[65]

Заметим кстати, что знаменателен самый факт появления в 1798 году в подцензурной печати статьи, озаглавленной «Гражданин» и с многократным упоминанием таких слов, как «отечество», «общественное благо» и т. п., поскольку незадолго перед тем было опубликовано специальное «высочайшее повеление» об изъятии из обращения некоторых слов и о замене их другими. В частности, взамен слова «граждане» было приказано писать и говорить: «жители» или «обыватели», вместо «отечество» — «государство», а насчет слова «общество» было указано: «Этого слова совсем не писать». Данное замечание относится и к другим статьям «Санктпетербургского журнала», в которых запрещенная фразеология нашла широкое применение.

В заметке «Чувствования россиянина, излиянные пред памятником Петра Первого» (ч. IV, стр. 148—150) Пнин в тоне «поучения» рисовал образ истинно великого, просвещенного правителя, которым руководит «любовь к отечеству», «любовь к своим подданным». Поучение явно направлено в адрес царствующего самодержца: в заметке прямо сказано, что Петр не успел довершить свои замыслы, «предоставя сие последующим векам».

Высокая оценка личности и деятельности Петра, данная в заметке Пнина, перекликается с характеристикой его в «Письме к другу» Радищева (1790), как «мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно», как преобразователя России, давшего «стремление столь обширной громаде, которая, яко первенственное вещество, была без действия», как государя, «отличившегося различными учреждениями, к народной пользе относящимися».[66] В таком же духе характеризует Петра Пнин, но в более панегрических выражениях и игнорируя радищевскую мысль о деспотизме этого «властного самодержавца»: «...руководствуемый благом общественным, ни на какие

не взирал ты опасности, превозмогал все препятствия, не щадил самого себя. Обширный разум твой, соглашенный с добродетелями твоего сердца, объемля все, что способствует только к благосостоянию народов, и проницая в самые сокровенные действия политики, больше ко вреду, нежели ко благу человеческого рода обращенной, с каким удивительным предвидением умел ты обратить оную ко благу... О ты, коего премудрости плодами напитана Россия, Россия, для которой ты один сделал более, нежели вся она учинила для тебя! Ты, который ничего для себя не хранил, но все разделял с твоим народом, удовольствия свои почерпал из удовольствий своих подданных. Ты, который жил единственно для своего народа и был ему во всем примером».

Можно предположить, что, помещая эту заметку, редакция «Санктпетербургского журнала» имела в виду напомнить о Радищеве — тем более, что самый заголовок заметки отсылал к «Письму» Радищева, написанному по поводу открытия того же фальконетовского памятника Петру.

Еще более знаменательны в этом смысле, как мы уже упоминали, четыре «Письма из Торжка» (для удобства пользуемся этим условным заглавием). Из них наиболее значительно по содержанию первое письмо, в котором соображения по частному вопросу о цензуре позволили Пнину высказать общие суждения о назначении «человека гражданственного».

В первом «Письме из Торжка» речь идет о сочинении известного немецкого мистика Эккартсгаузена, изданном в 1798 году в переводе Михаила Антоновского под заглавием «Верное лекарство от предубеждения умов. Для тех, до кого сие принадлежит» (перевод посвящен Павлу I, чье «примерное благочестие есть твердынею государств»). Сочинение Эккартсгаузена — подлинный кодекс обскурантизма: автор ополчается на «ложное просвещение», породившее «неверие», на «мудрецов, проповедующих неограниченную вольность и равенство между людьми» (стр. 161); с особенной энергией он вооружается против книгопечатания и советует сжечь все «тетрадки, рукописи и книги» без всякого изъятия, полагая, что только «единое учение христово есть великий закон порядка» (стр. 156).

Пнин подверг эту книгу сокрушительной критике. Удар его был направлен, конечно, не столько против Эккартсгау-

зена, сколько против его русского переводчика и пропагандиста — М. И. Антоновского. Это была довольно заметная фигура в литературном мире второй половины XVIII века. Достаточно сказать, что Антоновский играл крупную роль в Обществе друзей словесных наук, возникшем в Петербурге в 1783—1784 гг. и впоследствии издававшем журнал «Беседующий гражданин». С этим обществом, как известно, был связан Радищев, в состав его входил ряд передовых деятелей русской культуры, но они действовали в нужном им направлении помимо и вопреки Антоновскому. Сам он был убежденным мистиком-масоном, политическим реакционером, ожосточенным и непримиримым противником всякого вольномыслия (хотя в своих интимных записках и допускал весьма непочтительные отзывы о династии Романовых). [67]

Характеризуя Эккартсгаузена или, вернее, его русского переводчика, Пнин не скупится на выражения: «Упоенный желчию, не щадит он никого; писатели суть для него не иное что, как развратители, соблазнители и враги общества, старающиеся посевать в сердце оного семена пороков и заблуждений. На любителей чтения и словесности равно изрыгает он хулу и брань. Книгопродавцы для него суть самые гнусные люди, коих алчба к корысти есть источником нравственного зла. Словом, г. сочинитель... как деспот решит и осуждает все, что только не согласуется с образом мыслей его». На всем, что он говорит, лежит печать «невежества и злости».

В ответ на мракобесные вопли Эккартсгаузена—Антоновского Пнин выступил страстным защитником свободы печати. Если мир является свидетелем «успехов разума человеческого», если «свет наук озарил мрачную юдоль, по которой блуждали человеки, устраняясь от истины», если «сообщение мыслей от одного конца вселенной до другого учинилось легчайшим», — «то, конечно, сие отнести должно наипаче к свободе тиснения». «Там, где разум в тесных заключен пределах, где не смеет перейти границ, ему предположенных, там всегда найдешь философов-льстецов, писателей низких и ползающих, защищающих иногда самые нелепые мнения вопреки истине». «Но где нет стеснения разуму, где поощряются науки, где отличаются дарования, где покровительство защищает ученого от бедности, там заблу-

ждения и пороки нечувствительно исправляются, странные мнения опровергаются очищенным рассудком, просвещенная добродетель, честность и благонравие распространяют ветви свои».

Ополчаясь против просвещения, Эккартсгаузен своеобразно препарировал в своих интересах доктрину Руссо и предлагал «познавать» совершенства «естественного человека», принадлежащего к «народам еще грубым, неученым и неиспорченным» (стр. 45 русского перевода). Этот призыв, подкрепленный спекулятивной ссылкой на авторитет Руссо, вызвал резкую отповедь Пнина. Идее «естественного человека» он противопоставляет вслед за Радищевым идею «человека гражданственного». Понятие «народ» раскрывается им как «великое общество людей, соединившихся между собою, живущих под установленными законами, сколь, впрочем, законы сии ни были бы жестоки, несправедливы и странны», — тогда как «дикий или естественный человек есть такой человек, который живет сам собою, без всякого отношения к другим, не знает иных законов, кроме законов природы, руководствуется одними токмо естественными побуждениями и сам собою оные удовлетворяет. Следовательно, искать естественного человека в обществе было бы смешно и безрассудно». Вывод Пнина сводится к следующему: «Не к истории дикого человека, который умственно ныне токмо разумеем быть может, но к истории *человека гражданственного* паче всего прилежать нужно». Эта радищевская мысль, как увидим ниже, была глубоко усвоена как Пниным, так и В. В. Попугаевым.

Далее Пнин говорит о важности и пользе изучения истории, которая содержит богатый и поучительный материал, создающий правильные представления о моральных качествах «гражданственного человека». Это целая программа морального воспитания на примерах истории, в высокой степени интересная как постановка проблемы, имевшей важное значение для всей передовой русской литературы конца XVIII — начала XIX века и с наибольшей полнотою разрешенной в революционной поэзии декабристской эпохи.

«Наука сия есть одна, — пишет Пнин об истории, — которая лучше послужить может к образованию в гражданственном человеке характера и направить его к совершенству добродетели, к утверждению чувствования чести, добронра-

вия, праводушия. История покажет примеры великих добродетелей и пороков, сим самым может возжечь огонь побуждения к последованию первым и отвращению от последних. Когда видят, как оживотворенные *любовию к отечеству*, сею первейшею добродетелию гражданина, *Катоны, Бруты, Курции* презирали жизнь, помышляя единственно о благе общественном; когда видят *Регула*, идущего на жесточайшие мучения, дабы не нарушить своего слова, видят *Кира* и *Сципиона*, подающих явные опыты своего воздержания и целомудрия... а с другой стороны, когда видят поступки вероломные, распущенные, расточительные или означающие подлое и гнусное сребролюбие... — тогда восчувствуют и нимало не усумнятся о том, в чью пользу должны изъясниться и кому последовать.[68] Примеры и великие действия, в истории читаемые, не могут не производить в сердце сильного впечатления. Следовательно... к истории гражданственной прилежать необходимо нужно, потому что она есть, как я выше сего уже сказал, самое лучшее средство, к образованию гражданина и человека служащее».

Эта программная установка была творчески реализована Пниным в его гражданских стихах, в которых, как увидим в своем месте, уже решалась проблема создания образа и характера героя-гражданина, героя-патриота.

Остальные три «Письма из Торжка» посвящены книжкам бульварного писаки Глеба Громова — «Любовь, книжка золотая», «Любовники и супруги, или мужчины и женщины (некоторые). И то, и сио. Читай, смекай и, может быть, слюбится» и «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными), изображены и сравнены Правдолюбом» (все три книжки были изданы в 1798 году; первая помечена инициалами Гл. Гр., вторая — Г. Г., третья — анонимна). Книжки эти совершенно ничтожны в литературном отношении, на три четверти составлены из чужих произведений, но в свое время пользовались известным успехом в низовой чиновничьей и офицерской среде в силу некоторых особых свойств: это типичные образцы массовой скабрезной литературы, рассчитанной на невзыскательные вкусы мещанского читателя.

Пнин подверг писания Громова самой резкой критике как сочинения, с одной стороны, безнравственные, а с другой стороны, воплотившие в себе дух рептильной, лакейской

литературы, которая не знает, в чем «состоит долг честного человека, долг гражданина, долг писателя». «Хотя в числе русских сочинений, нам известных, и есть множество пустых, вздорных и ничего в себе не заключающих, однако по сие время не было еще у нас ни одного такого, которое бы содержало в себе столько наглости и дерзости». Откровенную порнографию Громова Пнин судил с точки зрения высоких моральных представлений о любви: «Любовь, служащая основанием всех человеческих добродетелей, есть целию его поруганий». В том, что Пнин говорил на эту тему, звучит протест против дворянской «куртуазности» и легкости нравов, которые проникали и в другие слои общества: «Любовь и волокитство никогда не дóлжно смешивать между собою; каждое из них имеет особенный корень: первая произращает добродетель и блаженство, другое производит порок, несчастие, презрение». За всем этим сквозит личное чувство горечи и негодования, понятное у человека, бывшего жертвой «волокитства». Впоследствии Пнин широко развил эту тему в своем «Вопле невинности, отвергаемой законами».

В заключение остается сказать о выдающейся роли, которую сыграли издатели «Санктпетербургского журнала» в распространении среди русских читателей идей материалистической философии. Если учесть, что в двенадцати книжках журнала были помещены переводы двух отрывков из Вольнея — вступление и предисловие к его знаменитым «Руинам» (ч. I, стр. 212—223 — «Развалины»; ч. II, стр. 211—214 — «Отрывок») и одиннадцати глав из «Системы природы» и «Всеобщей морали» Гольбаха, то об этом приходится говорить не как о случайном явлении, а как о намеренной и планомерной пропаганде материалистического учения.[69]

Гольбах и Вольней пользовались в русских официальных кругах столь прочно установившейся репутацией безбожников и ниспровергателей абсолютистского «порядка», что имена их в подцензурной печати, разумеется, не могли быть названы. Также не упоминались в «Санктпетербургском журнале» и названия их сочинений. Более того: все статьи, за исключением одной, были помещены без каких-либо пояснений о том, что они представляют собою переводы. Только одна (первая) статья, взятая из Гольбаха, сопровождалась глухим указанием: «Перевел с *иностранного* языка Петр

Яновский» (т. е. был скрыт *французский* источник перевода). Как видим, издатели приняли все меры к тому, чтобы обмануть бдительность цензуры.

Имя переводчика П. А. Яновского мало что говорит нам. Это был, повидимому, типичный литературный поденщик. В русской культуре конца XVIII века он не оставил никакого самостоятельного следа.[70] О личных отношениях Пнина с Яновским ничего не известно. Нужно думать, что он был привлечен в «Санктпетербургский журнал» в качестве литературного ремесленника, выполняющего определенную работу по выбору и назначению издателя. В данном случае ему было поручено перевести отрывки из книг Гольбаха (о том, что Яновский перевел не только первую статью, но и все остальные, свидетельствует их стилевое единообразие).

В то же время философские воззрения И. П. Пнина, поскольку они отразились в его литературных произведениях (главным образом стихотворных, о которых речь пойдет ниже — в IV главе), носили характер определенно материалистический, причем в них наличествуют черты, сближающие Пнина именно с Гольбахом. Пнин и сам подчеркнул свое знакомство с философией Гольбаха, выбрав эпиграф из него для своей программной «Оды на правосудие». Стихи Пнина свидетельствуют также и о близком знакомстве его с Вольнеем: в них нашли прямое отражение философские мотивы «Руин». Все это дает основание с уверенностью говорить о том, что пропаганда идей Гольбаха и Вольнея на страницах «Санктпетербургского журнала» велась по инициативе Пнина.

Переводы из Гольбаха появились в журнале в следующей последовательности и под следующими заглавиями: 1) «О природе» (ч. I, стр. 197—206; перевод I главы «Системы природы», с купюрами и изменениями), 2) «О движении и начале оного» (ч. I, стр. 293—310; перевод II главы «Системы природы», с купюрами и добавлением «заключительных слов», вставленных, повидимому, по цензурным соображениям), 3) «Невоздержание» (ч. II, стр. 222—223; перевод последних абзацев X главы третьего раздела «Всеобщей морали», с добавлениями), 4) «Глас неба» (ч. III, стр. 28—40; перевод заключительной главы «Системы природы», с купюрами), 5) «О праздности» (ч. III, стр. 54—57; вольный и сокращенный перевод VIII главы третьего раз-

дела «Всеобщей морали»), 6) «О нравоучении, должностях и обязанностях нравственных» (ч. III, стр. 58—63; полный и точный перевод I главы «Всеобщей морали»), 7) «О человечестве» (ч. III, стр. 32—34; перевод, в извлечениях и с дополнениями, VII главы второго раздела «Всеобщей морали»), 8) «Благодеяние» (ч. III, стр. 54—60; вольная композиция на тему IX главы второго раздела «Всеобщей морали», с буквальным переводом некоторых отдельных фраз Гольбаха), 9) «О человеке и его природе» (ч. IV, стр. 79—82; полный и точный перевод II главы «Всеобщей морали»), 10) «О удовольствии и печали; о благополучии» (ч. IV, стр. 202—214; полный перевод IV главы «Всеобщей морали»), 11) «О совести» (ч. IV, стр. 273—283; перевод XIII главы первого раздела «Всеобщей морали», с купюрами).[71]

Сравнение переводов с оригиналом показывает, что переводчик (или издатель) вольно обращался с текстом Гольбаха: делал перестановки, вносил сокращения, допускал собственные дополнения. В ряде случаев купюры и дополнения существенно искажали смысл оригинала; как правило, отбрасывались либо приобретали сглаженный, смягченный характер прямые выпады Гольбаха против «дурных правительств» и его открытые атеистические суждения. Так, например, в первой же статье («О природе») был выброшен абзац, в котором Гольбах говорит о том, что «благодаря незнанию своей собственной природы, своих собственных стремлений, своих потребностей и своих прав человек, живя в обществе, утратил свободу и стал рабом», стал жертвой «дурных правительств».[72] И в дальнейшем из текста Гольбаха последовательно устраняются в переводе именно те места, которые имели непосредственное политическое звучание. Такая же судьба постигла атеистические выводы Гольбаха: они либо опускались вовсе, либо подменялись деистической точкой зрения.

Возникает вопрос: делалось ли это в силу цензурных условий или же диктовалось собственными убеждениями издателя «Санктпетербургского журнала»? Стихи Пнина рекомендуют его как убежденного материалиста, в ряде случаев высказывавшегося в духе чистого атеизма. Кроме того, в переводах «Санктпетербургского журнала» сохранялись в неприкосновенности исходные принципиальные положения

Гольбаха, равно как и его общие, отвлеченные рассуждения, прямо не касающиеся ни «дурных правительств», ни «божественного промысла». Наконец, дополнения, внесенные в перевод, порою настолько противоречат общему смыслу гольбаховского текста, что в ряде случаев можно заподозрить переводчика (или издателя) в умышленной иронии и в расчете на то, что эта ирония дойдет до сознания вдумчивого читателя.

Так, например, вторая глава «Системы природы» завершается в переводе концовкой, которая самым очевидным и нелепым образом противоречит всему, что было сказано в предшествующих строках о вечном существовании материи и присущем ей движении, независимо от какой-либо сверхъестественной силы. Сохранив в неприкосновенности эту мысль Гольбаха, переводчик (или издатель) вдруг провозглашает нечто обратное: «Итак, признавать вещество естественно вечное и естественно в движении от самой вечности есть тщеславиться невежеством и безбожием». Столь же показательны приемы сглаживания текста Гольбаха, примененные в переводе заключительной главы «Системы природы» (написанной Дидро). Здесь убрано все, что касалось отрицания бога и осуждения тиранов; фраза: «государи, эти земные божества» заменена фразой: «Сии надменные и напыщенные вельможи», а вся глава вместо названия «Резюме кодекса природы» получила новое и вполне неожиданное: «Глас неба».

Все это убеждает в том, что вставки, купюры и изменения, коснувшиеся наиболее «законопреступных» суждений Гольбаха, были вызваны необходимостью приспособиться к требованиям цензуры.

Переводы из «Всеобщей морали» по самому характеру материала не потребовали столь далеко идущих мер предосторожности. Абстрактное морализирование, общие рассуждения о «страстях» и нравственных нормах поведения не представляли собою такой взрывчатый материал, как открыто безбожные идеи «Системы природы». Цензурные соображения в данном случае отчасти теряли свою силу, и главы из «Всеобщей морали» переводились в «Санктпетербургском журнале» гораздо ближе к подлиннику.

Общий смысл материалистической этики Гольбаха, исходившей из физической природы и социальной практики

человека и отвергавшей религиозное обоснование морали («Наука о нравах должна быть почерпнута на земле, а не на небесах»), был полностью сохранен в переводе: «Нравоучение есть наука отношений, между людьми находящихся, и должностей, из отношений сих проистекающих. Или: нравоучение есть познание того, чего существа благоразумные и рассудительные должны непосредственно избегать, если желают сохранить себя и жить благополучно в обществе». Социальная сторона этической концепции материализма, опиравшейся на теорию «общественного договора», подчеркнута в переводе с достаточной ясностью: «Узы людей, одних с другими соединяющие, не что иное суть, как обязательства и должности, которым они подчинились по последствиям отношений, между ими существующих. Сии обязанности, сии должности суть договоры, без которых не можно взаимного приобрести счастия. Таковы суть узы, связующие отца с детьми, государя с подданными, общество с сочленами и проч.».

Пропаганда Гольбаха, предпринятая издателями «Санкт-петербургского журнала», была крайним для того времени проявлением философского радикализма. Однако, как уже отмечалось, разделяя взгляды материалистов в области мировоззрения, издатели журнала занимали гораздо более скромную позицию в решении вопросов социально-политических. Между их принципиальными теоретическими положениями и практическими выводами обнаруживается явное противоречие. Показательна в этом смысле помещенная в журнале переводная статья «Рассуждение о предрассудках» (ч. II, стр. 22—62 и 171—207), которой издатели, как видно, придавали серьезное значение. Во всяком случае, в редакционном примечании к этой статье было сказано, что она «по важности предмета заслуживает особенного читателева внимания».

Между тем статья предостерегала против «крайностей», к которым часто устремляется «разум человеческий», осуждала «необузданную любовь к свободе», призывала к политической умеренности: «Отечество с ужасом извергает из своих недр сии отважные и благородные умы, которые, не покоряясь утвержденным законам и мнениям... усиливаются вводить опасные мнения». Соглашаясь, что реформы полезны и необходимы, автор статьи, тем не менее, реши-

тельно возражал против революционных методов общественного переустройства, полагая, что «нельзя выводить народ из состояния равновесия», ибо в этом случае «он понесется без направления» и не сумеет «воспользоваться советами мудрости».

Издатели «Санктпетербургского журнала» в примечании заявили о своей солидарности с автором этой статьи, отметив «глубокомыслие», с каким он «предлагает истины, против которых немалое число из новейших любомудров с толикою ревностию восстают, стараясь оные испровергнуть». Тем самым «Рассуждение о предрассудках» может рассматриваться как документ, до известной степени выражающий точку зрения издателей журнала.

Правда, Пнин вряд ли мог согласиться с автором «Рассуждения», когда тот утверждал, что успех социального преобразования может быть обеспечен лишь при том условии, если «народ уже предуготовлен к принятию истины». В отличие от дюжинных реформистов, Пнин, как увидим дальше, выдвигал радикальное требование сперва освободить русских крестьян, а потом уже заняться их просвещением, отчетливо понимая, что «истинное просвещение» остается химерой, пока существует рабство. Однако при всем том в своих практических выводах, сделанных применительно к условиям русской действительности, он уклонился от революционного решения социально-политической проблемы.

4

В следующие за изданием «Санктпетербургского «журнала» два года (1799—1800) следы Пнина снова теряются. Что он делал и где находился в эти тяжелые годы павловского режима — неизвестно; на этот счет не сохранилось решительно никаких данных.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года дворянские заговорщики удушили Павла I — и, по словам официального историка, «миллионы людей возродились к новой жизни».[73] Вместе с другими «возродился» и Пнин. Меньше чем через месяц после переворота он возвращается на государственную службу. В апреле 1801 года «числящийся по герольдии в чине коллежского асессора Иван Пнин» был назначен в новообразованный Государственный совет на скромную

8 Зак. 1026.

должность письмоводителя. Официальная дата его вступления на службу — 7 мая 1801 года, но фактически он приступил к исполнению своих обязанностей раньше: среди копий с протоколов Государственного совета встречаются его автографы («Списывал письмоводитель Пнин»), помеченные апрелем 1801 года.[74]

К 1801 году относится событие, имевшее для Пнина, несомненно, очень большое значение. Мы имеем в виду его знакомство с А. Н. Радищевым.

В литературе, посвященной Пнину и выясняющей происхождение его философских и социально-политических взглядов, устойчиво держалось мнение, что он был «учеником» и близким другом Радищева, выходцем из «радищевского кружка».[75] В свое время существовала даже ни на чем не основанная версия, будто Пнин по просьбе Радищева написал для его книги оду «Вольность».[76] Подобная точка зрения нуждается в уточнении. Пнин, конечно, знал «Путешествие из Петербурга в Москву» и другие напечатанные сочинения Радищева, идеи которого безусловно оказали на него очень сильное и глубокое влияние. Но вместе с тем следует оговорить, что мировоззрение Пнина сложилось в своих основах под непосредственным воздействием самой русской действительности и что, в частности, к материализму он пришел, очевидно, независимо от Радищева. Во всяком случае не приходится говорить о том, что философские воззрения Пнина сформировались под влиянием радищевского трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии», поскольку Пнин уже в 1798 году заявил себя убежденным материалистом, трактат же «О человеке» был написан Радищевым в ссылке и не мог быть известен Пнину. Все это подтверждается данными биографий обоих писателей.

Пнин мог познакомиться с Радищевым не раньше, как в 1801 году. В. П. Семенников в своей книге о Радищеве высказал предположение, что знакомство их состоялось еще до появления «Путешествия из Петербурга в Москву» и что Радищев сотрудничал в «Санктпетербургском журнале».[77] В позднейшей своей работе «Литературно-общественный круг Радищева» В. П. Семенников говорил об этом в еще более категорическом тоне, но уже решительно без всяких к тому оснований. Считая неизвестно почему, что Пнин в годы своего пребывания в Московском Благо-

родном пансионе был там «своим человеком среди руководящей масонской группы», полагая далее «более чем вероятным», что он примыкал к Обществу друзей словесных наук и «едва ли не состоял в числе его членов», Семенников писал: «Не сомневаюсь, что именно через это общество началось знакомство Пнина с Радищевым». [78]

Все это весьма мало вероятно. Трудно предположить, чтобы Пнин, в ту пору еще шестнадцатилетний юноша, воспитанник закрытого военно-учебного заведения, имел случай завязать с Радищевым сколько-нибудь близкие отношения (в 1790 году, когда появилась книга Радищева, Пнин, правда, уже был выпущен из корпуса, но находился вне Петербурга, в армии). К тому же предположение Семенникова не имеет под собой никакой фактической почвы. Пнин поселился в Петербурге не раньше 1797 года, Радищев в это время находился еще в ссылке, в Илимском остроге. В июле 1797 года амнистированный Радищев прямо из ссылки проехал в Калужскую губернию (на четыре дня заехав в Москву), в начале 1798 года отправился оттуда к отцу, в Саратовскую губернию, где провел год, затем, с начала 1799 вплоть до конца марта 1801 года, жил в своей деревеньке Немцово. В Петербург Радищев приехал в апреле 1801 года, 6 августа состоялся указ Сената о зачислении его в Комиссию составления законов, а 31 августа он уехал на коронацию в Москву. Только 21 декабря 1801 года он вернулся в Петербург и поселился в 4-й роте Семеновского полка, где и прожил до смерти (12 сентября 1802 года). Таким образом, знакомство Пнина с Радищевым могло состояться не раньше весны — лета 1801 года, а скорее — по возвращении Радищева из Москвы.

О том же, что знакомство это состоялось, мы знаем из воспоминаний сына Радищева — Павла Александровича. Вспоминая последние месяцы жизни отца, он писал: «Особы, посещавшие Радищева во время последнего пребывания в Петербурге, были... Бородавицын, Брежинский, Пнин — молодые люди, слушавшие его с восторгом». [79] Второй из упомянутых П. А. Радищевым «молодых людей» — поручик Андрей Петрович Брежинский, малозаметный стихотворец, сотрудник «Друга просвещения» (1805) и «Духа журналов» (1817). [80] Что же касается Бородавицына, то, несомненно, имеется в виду Иван Сергеевич

Бородавицын, сын богатого смоленского и орловского помещика, сослуживец А. Н. Радищева по Комиссии составления законов.[81] Об отношениях Пнина с Брежинским и Бородавицыным никаких сведений не имеется.

Под свежим впечатлением трагической смерти Радищева Пнин с замечательной энергией выразил свое глубокое сочувствие его личности и его делу в сильном стихотворении, воссоздающем мужественный образ писателя-патриота и гражданского трибуна:

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон;
Уста, что истину вещали,
Увы! — навеки замолчали,
И пламенник ума погас;
Кто к счастью вел путем свободы
. . . .
Навек, навек оставил нас!

Оставил и прешел к покою.
Благословим его мы прах!
Кто столько жертвовал собою
Не для своих, но общих благ,
Кто был отечеству сын верный,
Был гражданин, отец примерный
И смело правду говорил,
Кто ни пред кем не изгибался,
До гроба лестию гнушался,
Я чаю, тот — довольно жил.

Текст этого стихотворения, сообщенный П. А. Радищевым в его воспоминаниях об отце,[82] вызывает сомнения в своей достоверности: девятый стих, замененный у нас строкой точек, в первопечатной публикации вообще отсутствует; между тем несомненно, что в данном случае стих был пропущен (быть может, из цензурных соображений), благодаря чему нарушена цельность десятистрочной строфы. Судя по тому, что стихотворение написано традиционной одической строфой, преимущественно применявшейся Пниным в одах, можно предположить, что до нас дошел только фрагмент большого стихотворного произведения. Заметим попутно, что вторая строка («Мой друг, уже во гробе он!») обычно понимается как свидетельство дружеской близости Пнина с Радищевым, — тогда как нам кажется, что Пнин называет здесь своим другом не Радищева, а того, к кому

обращены стихи; и другие строки также свидетельствуют скорее о том, что перед нами отрывок из послания Пнина к какому-то его «другу» — по поводу смерти Радищева. [83]

К тому же 1801 году относится и другое крупное событие в жизни Пнина — смерть его отца кн. Н. В. Репнина. В конце 1799 года Репнин очутился в немилости и «принужден был оставить службу со всеми своими адъютантами». В начале марта 1801 года он уехал в нижегородское поместье, но манифест о воцарении Александра вернул его в Москву. Здесь он получил лестный рескрипт от нового императора, но скоропостижно скончался 12 мая. Мужского потомства Репнин не оставил; его единственный («законный») сын умер еще в 1774 году, то есть через год после рождения И. П. Пнина. Все имущество покойного фельдмаршала перешло к его внуку по женской линии кн. Николаю Волконскому. К нему же впоследствии перешло и самое имя Репнина: «дабы знаменитый род князей Репниных, столь славно отечеству послуживших, навечно остался в незабвенной памяти российского дворянства, князю Волконскому высочайше повелено было потомственно именоваться князем Репниным». [84]

Пнин в завещании фельдмаршала упомянут не был, и современники связывали с этим обстоятельством преждевременную его кончину от скоротечной чахотки. Насколько справедливы эти догадки, судить трудно, но несомненно, что Пнин упорно надеялся, что Репнин признает его своим сыном, и что крушение этих надежд было воспринято им крайне болезненно. Об этом свидетельствует его «Вопль невинности, отвергаемой законами» — замечательный памфлет, проникнутый духом просветительных моральных идей, изобличающий безнравственность крепостников, бесправное существование их «незаконнорожденных» отпрысков и лживость законодательства, прикрывающего преступления крепостников против «природы» и «чувства».

«Вопль невинности» был написан в 1802 году, в атмосфере общественного оживления и политических надежд, пробудившихся под впечатлением либеральных обещаний Александра I. Руководствуясь соображениями практического порядка, Пнин адресовал свое сочинение молодому царю, и этим объясняется комплиментарный тон вступительной части: «Наконец воцарились милость и правосудие!

Голос бедного услышан на престоле! Заслуги награждены, собственность вступила в свои права, добродетель уважена! Наконец настали сии счастливые времена! Природа восторжествовала; талант восстал из пыли, в которой доселе пресмыкался, и истина везде без страха уже показываться может. Человек сделался человеком; священное чувство человечества возвратило душе его ее благородство и ее величие».

Не приходится сомневаться, что Пнин, как и многие другие, поверил в фальшивые обещания Александра и расточал ему комплименты, так сказать, авансом: говорил скорее о том, что *хотел бы* видеть в России, нежели о том, чему уже являлся свидетелем. Александр заявил в манифесте о воцарении, что собирается править «по законам и по сердцу» Екатерины, и Пнин неоднократно напоминает ему об этом, начиная с эпиграфа: «Родившийся требует призрения», дипломатично взятого из «Наказа» Екатерины. Обращаясь к Александру, Пнин не упускает случая преподать ему поучение в просветительском духе: «Да блаженствуют народы под скипетром твоим... Да основание народного блаженства утвердится на законах, из природы извлеченных», и т. п.

Непосредственным поводом к написанию «Вопля невинности» послужили, очевидно, обстоятельства личной жизни Пнина (именно — отпавшие после смерти кн. Репнина надежды на легализацию своего общественного положения). Однако, обращаясь к царю, он не преследовал никакой личной выгоды, ни о чем не просил для себя, не ходатайствовал о возвращении по праву принадлежавшей ему древней и знатной фамилии, но выступил как бы от имени всех «незаконнорожденных», являвшихся жертвами несправедливого законодательства и общественных предрассудков. Тем самым резкий протест Пнина против одного из отвратительных пережитков феодализма, укоренившегося в быту и в сознании крепостников, приобретал широкое общественное значение. Чувство личной обиды и пережитых нравственных страданий, естественно, еще более усилило гражданский пафос Пнина. «Мой долг, — писал он, — есть изобразить истину в настоящем ее виде».

«Я, может быть, первый отважился излить перед престолом твоим чувствования отверженной природы, — обра-

щался Пнин к Александру, — но я — россиянин, молод и невинно-несчастлив. Вот причины, которые, кажется, довольно достаточны для возбуждения к себе твоего внимания... Я один из числа тех несчастных, которых называют незаконнорожденными». Далее в сильных выражениях Пнин на собственном примере показывает, какая судьба ждет внебрачных детей: «Брошенный на сей свет с печальною печатию своего происхождения, в сиротстве, не находя вокруг себя [ничего], кроме ужасной пустоты; лишенный выгод, с общественною жизнию сопряженных, встречая повсюду преграды, поставляемые предрассудками, на коих самые законы основаны; и в том обществе, которого я часть составляю, в котором, равное с прочими имея право на мой покой и на мое счастие, не находить [ничего], кроме горести и отчаяния, и быть в беспрерывной борьбе с общим мнением, есть, государь, самое тяжкое наказание, достойное одного только злейшего преступника. Поставленный однажды в сем мире, ужели я и мне подобные должны в оном страдать, не видя для себя никакой отрады? Если никто не воспротиворечит мне, что я существую, что также имел некогда родителей и что глас, могущественнейший глас природы, дает мне название сына, то для чего же, когда на один шаг приступаю к правам сыновним, тогда законы государственные меня отвергают и не признают меня таковым?.. Для чего законодательство столь отдалилось здесь от природы? Ужели сын должен во всю жизнь свою наказываться за пороки своего отца?» Пнин утверждает, что никто из внебрачных детей не захотел бы «вступить в сей свет, если бы только мог знать, какая участь его в оном ожидает».

Исходя в своей критике несправедливого законодательства о «незаконнорожденных» из теории естественного права, апеллируя к «природе», подчеркивая, что «законы общественные тогда лишь назваться могут справедливыми», когда не противоречат «законам природы», Пнин рисует яркие, впечатляющие картины бесправного существования внебрачных детей — «ужасные картины, посрамляющие человечество». Хорошо еще, если отец, «заглушив чувства свои», отдает внебрачного ребенка в воспитательный дом: «В таком случае младенец, не зная, кому обязан он своим рождением, ничего чрез то не претерпевая, питает

сыновнюю привязанность к тому месту, которое призрело его и воспитало». Но что может быть «жесточее сей несправедливости, прискорбнее для нежного сына, как, знав своего отца, не сметь называть его сим именем». В свете личного житейского опыта Пнин с чувством горячего негодования говорит об особенно жалкой и тяжелой судьбе «незаконного» ребенка дворянского происхождения, которого отец «под личиною друга человечества» именует «воспитанником». Он указывает, что сплошь и рядом в помещичьих семьях отцы держат «воспитанников» «наравне с своими слугами», что «нередко случается, что брат наследует своего брата, что сестра наследует сестру свою, то есть так называемые незаконные дети делаются собственностию, делаются крепостными людьми законных детей, несмотря, что те и другие суть дети одного отца». Даже и в том случае, если отец, «поступая согласно с совестию», заботится о внебрачном ребенке, воспитывает его, — то и тогда после смерти отца «мать впадает с невинными жертвами своими в бездну зол»: законы «не примут их жалоб», законным наследникам ничего не стоит от них отступиться. «Печальный опыт доказывает, что сии несчастные существа, лишенные всякой помощи, чаще всего влачат горестную жизнь, претерпевая язвительные насмешки, довершающие их нищету и отчаяние».

Требуя, чтобы закон, во-первых, наказывал внебрачные связи («обратя весь стыд и поношение» прежде всего на отца, поскольку мать сама бывает часто жертвой обмана), а во-вторых, обеспечил права «невинно-несчастных» детей, Пнин выдвинул ряд практических предложений, которые, как пишет он, «может быть, при первом взгляде поразят воображение и покажутся странными», но, «тем не менее, справедливы, ибо основаны на природе». Предложения его вкратце сводились к следующему: 1) отец должен иметь право открыто признать внебрачного ребенка своим, уравнять его с «законными» детьми; 2) если отец отрекается от ребенка, а мать или сам ребенок могут доказать его отцовство, — «сии дети входят также во все права законных детей»; 3) если мать или ребенок не могут доказать, кто является отцом, — «справедливость ограничивает право сих детей одною только свободою избирать себе род состояния, какой они пожелают».

Главную причину исследованного им явления — «сего нравственного зла» — Пнин видит в современном браке, и высказывания его на эту тему представляют весьма значительный общественно-исторический интерес, как выражение взглядов передовой радикально-демократической интеллигенции на растленную «мораль» бар-крепостников. Брак для Пнина — «священное постановление, долженствующее составлять душу государственного тела, быть основанием общественного здания» («Супружество, назидая, сберегает нравы, нравы сберегают законы, законы сберегают свободу»). Эту свою мысль он подкрепляет примерами, взятыми из истории, главным образом римской.

В этой связи Пнин развернул в «Вопле невинности» замечательную по силе гражданского чувства критику семьи и брака в современном ему дворянском обществе. Он характеризует обычный дворянский брак как циничную куплю-продажу и узаконенный разврат: «Если возьмем мы теперь супружество в том состоянии, в каком оно есть, а не в том, в каком быть должно... то увидим, что оно большею частию не иное что изображает, как подлый торг богатства и тщеславия, как совокупление имений, а не союз людей... Супруги, таким образом соединенные, без взаимного почтения, без взаимного дружества, без взаимного желания нравиться, как могут наслаждаться тем счастием, которым природа награждает только сердца, любовию сопряженные. Нет, такое соединение супругов есть не иное что, как заговор противу общества, противу добродетели и нравов. Кажется, что жена не мужу своему принадлежит, но тому, кто только пожелает над нею победы. Печальная истина! почто являешься ты мне между моими соотечественниками! Но ты, чтобы еще более поразить меня, представляешь мне зрелище, возмущающее природу, унижающее человечество! Там жестокая мать приносит в жертву корыстолюбию и тщеславию невинность и честь своих дочерей и, ввергнув их в поношение и несчастие, сама украшается таковыми трофеями! .. Здесь безрассудный, подлый муж, гоняясь за бесславием, ведет с веселым лицом жену свою на ложе сладострастного вельможи, дабы сей в толпе, его окружающей, взглянул на него с улыбкою и пожал у него руку... Прелюбодейство не возбуждает никакого стыда... Роскошь, волокитство и кокетство сделались

стихиею общества... Честная любовь сделалась редкою вещию».

В памфлете Пнина с большой силой звучат радищевские обличительные ноты. В целом ряде моментов «Вопль невинности» близко соотносится с «Путешествием из Петербурга в Москву», где Радищев неоднократно касался вопроса о распутстве крепостников, для которых «деревенские девки суть твари, созданные на их угождение» (глава «Едрово»), затрагивал тему «незаконнорожденного» — «плачевного плода обмана или насилия» (глава «Медное» и др.), нарисовал потрясающую картину нравственных страданий крепостного, случайно, по прихоти помещика, получившего образование, но оставшегося бесправным рабом (глава «Городня»), обличал аморальность и безответственность брачных отношений в дворянской среде (см., например, «басню» о бароне Дурындине в главе «Зайцово», также главу «Едрово»).[85]

В своем памфлете Пнин уделил особое внимание вопросу о пороках семейного воспитания в дворянской среде, как следствии «пренебрежения домашнею жизнию». Основы правильного воспитания он усматривал в «поощрении к работе» (которое заставит людей «убегать праздности, как источника их развращения»), в «побуждении к патриотизму и добродетели», в награждении нравственных поступков. Он доказывал, что нельзя вверять воспитание «наемникам», которые, сами «будучи в уничижении» у дворян, не в состоянии внушить своим воспитанникам «благородных и великодушных чувствований», не способны «поселить в них любовь к отечеству, любовь к общему добру и научить их познанию должностей человека и гражданина».

Обличая безнравственность дворянского общества, Пнин требовал «непременного обуздания толь предосудительного образа жизни», предусматривая в этой связи «лишение выгод, от всего общества присоединенных к чистоте нравов, денежное наказание, стыд или бесславие, принуждение скрываться от людей, бесчестие всенародное, изгнание из города и из общества», — «словом: все наказания, зависящие от судопроизводства исправительного, довольны укротить дерзость обоего пола». Однако главную задачу законодательства Пнин видел не в наказании,

а в предупреждении преступления. Как просветитель и гуманист, он отвергал жестокие законы против «прелюбодейства и прелюбодеяния», существовавшие в Риме и оставшиеся в силе «в некоторых европейских державах», — потому что «кровавые эшафоты и пылающие костры, воздвигнутые ими на погубление несчастных жертв, не достойны быть представленными пред взоры кротости и человеколюбия!»

«Вопль невинности» был прочитан Александром I и «удостоен высочайшего внимания и награды» 24 ноября 1802 года.[86] Награда заключалась в перстне, который Пнин получил при письме одного из «молодых друзей» Александра — Н. Н. Новосильцева.[87]

Однако цели своей Пнин не достиг: его «Вопль» остался гласом вопиющего в пустыне, ибо царь ограничился только «знаком монаршего благоволения» и никакого практического хода предложениям Пнина не дал. Варварское законодательство о «незаконнорожденных» продолжало действовать в России еще столетие с лишним и было уничтожено лишь Октябрьской социалистической революцией. После выступления Пнина оно было еще усилено: если раньше в редчайших случаях «незаконные» дети могли быть «сопричтены» к «законным» по «высочайшей милости», то в 1829 году Николай I указал: «Существующие на предмет сей правила отменить и впредь не давать хода прошениям ни об усыновлении воспитанников, ни о сопричтении к законным детям до брака рожденных».[88]

Убедившись в безрезультатности своего обращения к царю, Пнин, очевидно, решил опубликовать свое сочинение, сперва явно не предназначавшееся к печати. На обороте последнего листа белового автографа «Вопля невинности» имеется следующая приписка Пнина (сделанная позже, другими чернилами): «Напечатание сего сочинения принести может величайшую пользу. Во-первых, повсеминутный страх увидеть предлагаемые мною законы учрежденными будет сильно удерживать людей от порочных связей, в которые (не будучи теперь ничем обуздываемы) вдаются они со всею стремительностью. Во-вторых, истины, в оном изображенные, могут также сильно действовать на сердца, удобные к принятию оных; и вообще сочинение сие побудит людей к обращению взоров своих на их

поведение, напомнит им о святости исполнений их должностей и тем самым приуготовит уже половину желаемого дела».[89]

Пнину не удалось опубликовать свое сочинение, или он не успел это сделать, и «Вопль невинности» увидел свет лишь спустя 87 лет после того, как был написан.[90] Тем не менее еще при жизни Пнина памфлет его получил, очевидно, довольно широкое распространение и произвел сильное впечатление в передовых кругах русского общества. О том, что «Вопль невинности» ходил по рукам, свидетельствуют дошедшие до нас пять современных списков его.[91] В кругу друзей Пнина это сочинение ставилось ему в особенную заслугу.

Невинность смело защищая,
Ты предрассудки попирал;
Но, сам под игом их страдая,
Неробкий голос возвышал
К отраде тех существ невинных,
Не знающих родства, друзей,
Отцами, ближними гонимых
В несчастной участи своей, —

писал Н. А. Радищев (сын) в стихотворении «На смерть И. П. Пнина».[92] А Д. И. Языков в поминальной речи о Пнине говорил: «Его «Вопль невинности» раздался громко во всех сердцах: он исторг слезы у чувствительных и смягчил ожесточенных; быть может, он возвратит похищенные права у невинных и соорудит ему памятник тверже всякого металла и камня».[93]

Нужно думать, что памфлет Пнина не только «раздался в сердцах» его современников, но и оставил след в сознании людей младшего поколения. Этому должны были способствовать как идейное содержание, так и высокие литературные качества «Вопля», делающие его выдающимся памятником русской радикальной публицистики начала XIX века. Не исключено, что он подсказал юному Пушкину несколько неожиданную в его лицейском творчестве тему «плода любви несчастной», воплощенную в известном «Романсе» (1814).[94]

В начале 1803 года, когда комплектовались штаты вновь учрежденных министерств, Пнин оставил службу в канцелярии Государственного совета и определился на

должность экспедитора в департамент Министерства народного просвещения. Директором канцелярии нового министерства был назначен И. И. Мартынов, старинный приятель Пнина, сотрудник «Санктпетербургского журнала». Ему было поручено сформировать штат, и, очевидно, он рекомендовал Пнина министру гр. П. В. Завадовскому. Во «всеподданнейшем» докладе от 24 января 1803 года Завадовский ходатайствовал о назначении директором своей канцелярии И. И. Мартынова, а экспедиторами — «отставного поручика Дунина-Борковского и служащего в канцелярии Государственного совета коллежского асессора Пнина, как таких людей, которые в дарованиях, знаниях, в примерном поведении и усердном исполнении должности мною испытаны». Резолюция Александра I гласит: «Быть по сему».[95] Пнин получил назначение экспедитором первой экспедиции, где были сосредоточены дела цензурного ведомства.

С этого времени начинается и подъем творческой деятельности Пнина. Он пишет много стихов, трудится над «Опытом о просвещении относительно к России». Круг его литературных знакомств значительно расширяется и приобретает более четкие очертания.

Департамент Министерства народного просвещения в начале 1800-х годов являлся средоточием кружка молодых литераторов. Одновременно с Пниным сюда определились на службу Н. А. Радищев, Д. И. Языков, К. Н. Батюшков; несколько позже к ним примкнул Н. И. Гнедич. Участником и покровителем этого департаментского кружка был упомянутый уже И. И. Мартынов. Все это были люди, близкие Пнину по своим литературным убеждениям.*

Известно также, что Пнин был «своим человеком» в доме видного писателя М. Н. Муравьева, назначенного в 1803 году товарищем министра народного просвещения (туда ввел его, вероятно, К. Н. Батюшков — племянник Муравьева). В доме Муравьева Пнин должен был встре-

---

* Вторым таким «литературным» учреждением была в Петербурге в 1800-е годы Комиссия составления законов, где служили многие члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В этом отношении и департамент и комиссия напоминают знаменитое гнездо русского «любомудрия» 1820-х годов — московский архив Коллегии иностранных дел.

чаться со многими крупнейшими деятелями литературы и просвещения, в частности, с Г. Р. Державиным, В. В. Капнистом, И. М. Муравьевым-Апостолом, А. Н. Олениным. Бывал Пнин и среди литературной молодежи, собиравшейся у издателя «Журнала российской словесности» Н. П. Брусилова и у издателя «Журнала для пользы и удовольствия» А. Н. Варенцова. Из других литературных знакомств Пнина мы знаем о его, повидимому, близких отношениях с известным митрополитом Евгением Болховитиновым. Евгений упоминает о Пнине в письме к Д. И. Хвостову от 22 августа 1805 года, [96] но возможно, что он знал Пнина еще мальчиком, так как по окончании Московской духовной академии состоял священником при церкви в имении кн. Н. В. Репнина — Репьевке. [97]

Значительно более крупным событием в жизни Пнина было его сближение с группой радикально настроенных молодых литераторов, художников и ученых из Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В заседании Общества 16 ноября 1802 года Пнин был избран действительным членом Общества по предложению В. В. Попугаева, одного из основателей и деятельнейших участников этого объединения. [98] Сближению Пнина с Вольным обществом, очевидно, способствовало то обстоятельство, что два сослуживца его по департаменту Министерства народного просвещения — Н. А. Радищев и Д. И. Языков — были членами Общества. Согласно уставу, В. В. Попугаев, рекомендуя Пнина, представил его оду «Сон». Стихотворение было признано отвечающим требованиям «пиитики и вкуса», и Пнину было послано следующее извещение: «Государь мой! Общество, читавши представленную по воле вашей г. Попугаевым пиесу вашу «На сон», определило принять вас в члены в силу 3 параграфа своего постановления. Извещая вас о сем, остаюсь и проч. А. Востоков, секретарь Общества». [99]

Любопытно, что В. В. Попугаев, рекомендовавший Пнина в члены Общества, уже после смерти его, в 1807 году, отвечая на несправедливые обвинения по своему адресу со стороны враждовавших с ним Д. И. Языкова и А. Е. Измайлова, задел покойника, упомянув о «тех, которые по три и по четыре года в Обществе не бывали, ничего не делали, кроме какой-нибудь оды «Сон»

ничего не представляли».[100] Судя по этому замечанию Попугаева, Пнин не принимал в занятиях Общества деятельного участия. Так оно и было на самом деле. Это видно из протокола заседания 5 декабря 1803 года, на котором решено было обратиться к Пнину с вопросом, почему он не посещает собраний Общества. Во исполнение этого решения Пнину была послана следующая записка: «Вольное общество любителей словесности, коего вы член, но в заседании коего вы уже более четырех месяцев не присутствовали, требует, чтобы вы в непродолжительном времени объяснили письменно причину сего долговременного отсутствия». 16 января 1804 года Пнин лично явился в Общество с извинением, объяснив, что причиной его «долговременного отсутствия» было незнание места, где Общество собирается. Но и впоследствии Пнин не принимал в занятиях Общества сколько-нибудь активного участия: из отчета за 1804—1805 годы видно, что до 15 июля 1805 года он присутствовал всего только на одном заседании, между тем как за это время состоялось 22 «ординарных» и 4 «экстраординарных» заседания.[101]

Тем не менее Пнин пользовался среди членов Вольного общества столь большим уважением и авторитетом, что 15 июля 1805 года, «чувствуя цену его талантов», они избрали его своим президентом (подробнее см. в следующей главе, стр. 233—234). Как передают современники, Пнин был намерен расширить и оживить деятельность Общества и даже ради этого будто бы оставил службу, но не успел привести своих намерений в действие. Уже неизлечимо больной, он посетил Общество в звании президента всего один раз.

5

В 1804 году Пнин опубликовал свое основное публицистическое произведение — «Опыт о просвещении относительно к России», в котором более или менее систематически изложил свои социально-политические воззрения. Книга вышла в свет «с дозволения С.-Петербургского гражданского губернатора»,[102] без каких-либо цензурных осложнений, свободно продавалась в книжных лавках и

снискала успех у читателей. Однако через некоторое время нераспроданная часть тиража по доносу была конфискована «гражданским правительством» (то есть полицейскими властями).[103] Вслед за тем цензурное ведомство запретило второе издание книги. Обстоятельства этого дела, довольно сложные и необычные, сводятся к следующему.

Еще в рукописи Пнин через Н. Н. Новосильцева представил свое сочинение царю. Александр I его одобрил, и Пнин даже получил какое-то награждение. Больше того: как известно со слов самого Пнина, царь предложил переиздать книгу на казенный счет, дополнив ее высказываниями по крестьянскому вопросу. Пнин выполнил это пожелание, сообразуясь с указаниями, сделанными ему Н. Н. Новосильцевым и другим (самым либеральным) членом кружка «молодых друзей» — гр. П. А. Строгановым. Включив в книгу «рукописное дополнение, сделанное по воле монарха и заключающее в себе определение крестьянской собственности, примененное к настоящему положению вещей», он представил ее в только что образованный при Главном правлении училищ цензурный комитет на предмет получения визы для переиздания. Тем временем часть тиража первого издания, лежавшая в книжных лавках, уже была конфискована.

Граф Строганов, исправлявший должность попечителя Петербургского учебного округа, 15 ноября 1804 года предложил рассмотреть дополненную книгу цензурному комитету, который, в свою очередь, поручил «адъюнкт-профессору и цензору» Г. М. Яценко (или Яценкову, как писали тогда в официальных бумагах) представить письменный отзыв. Яценко был убежденным реакционером и на поприще цензуры действовал весьма ревностно. По иронии судьбы впоследствии, в качестве редактора повременного издания «Дух журналов» (1815—1820), он и сам подвергся цензурным преследованиям, несмотря на то, что журнал его (прекращенный за стремление «действовать в противность видам и интересам правительства») в вопросе о крепостном праве занимал реакционную аристократически-фритредерскую позицию.

На основании отзыва, представленного Яценко, цензурный комитет в составе цензоров И. Тимковского, Христиана Зона и самого Яценко, при секретаре А. Красов-

ском, в заседании 2 декабря 1804 года единогласно вынес решение, выводы которого сводились к тому, что сочинение Пнина «в настоящем его виде всемерно удалять должно от напечатания», ибо «своими рассуждениями о всяческом рабстве и наших крестьянах», «дерзкими выходками против помещиков» оно «разгорячению умов и воспалению страстей темного класса людей способствовать может».[104] О своем решении цензурный комитет известил П. А. Строганова, препроводив ему и «донесение» Яценко и книгу Пнина с его рукописными дополнениями.[105] Ввиду важного значения, которое имел отзыв Яценко для судьбы книги, приводим его полностью.

В С.-Петербургский цензурный комитет
от адъюнкт-профессора и цензора Яценкова

Донесение

Сего ноября 18 дня комитет представил мне на рассмотрение печатную книгу «Опыт о просвещении относительно к России», соч. г. Пнина, конфискованную гражданским правительством, которую, однако, сочинитель намерен перепечатать с разными переменами и дополнениями, кои также доставлены комитету на рассмотрение, равно как и самая книга при предложении от его сиятельства графа Павла Алекс[андровича] Строганова.

Я безотложно занялся рассматриванием сего сочинения, а нашедши в нем разные места, подлежащие сомнению, представляю оные комитету на рассмотрение в общем собрании.

Сомнения мои пали наибольше на ту часть сочинения, где автор с жаром и энтузиазмом жалуется на злосчастное состояние русских крестьян, коих собственность, свобода и даже самая жизнь, по мнению его, находятся в руках какого-нибудь капризного паши; на те места, где он восстает против прав помещиков, укоряет их в неправедном присвоении власти над крестьянами; на те, наконец, места, в коих он собирает над главою России черную тучу и, как зловещий пророк, предвещает рассыпаться ее основаниям.

Зак. 1026.

След[*овательно*], вся часть книги от стр. 41 до 56, а в дополнениях от стр. 16 до 26, по мнению моему, противна правилам цензурного устава.

Впрочем, хотя бы то и справедливо было, что русские крестьяне не имеют собственности, ни гражданской свободы, однако зло сие есть зло, веками вкоренившееся, и требует осторожного и повременного исправления. Мудрые наши монархи усмотрели его давно, но, зная, что сильный перелом всегда разрушает машину правления, не хотели вдруг искоренить сие зло, дабы не навлечь чрез то еще большего бедствия. Правительство в сем случае действует подобно искусному врачу; меры его кротки и медленны, но тем не менее безопасны и спасительны. Если бы сочинитель нашел или думал найти какое-нибудь новое средство, дабы достигнуть скорее и вместе безопаснее к предполагаемой им цели, т. е. к истреблению рабства в России, то приличнее бы было предложить оное проектом правительству. А разгорячать умы, воспалять страсти в сердцах такого класса людей, каковы суть наши крестьяне, это значит в самом деле собирать над Россией черную губительную тучу.

При всем том я думаю, что все место, приведенное из г. Болтина, не подлежит ни малейшей критике со стороны цензуры. Оно почерпнуто из исторических истин и представлено с благоразумною осторожностию и скромностию. После того, что сказал Болтин о сем предмете, мне кажется, нечего уже сказать больше. Только на стр. 13 дополнений желал бы я исключить слово *жизнию* из сего места: «с того времени сделались помещики таковыми же властителями над имением и *жизнию* крестьян и холопей своих»; ибо это мнение несправедливо: помещик в России не есть властелин *над жизнию* крестьян.

Мне следует теперь предложить комитету прочие места, меньше важные, которые я желал бы переменить и смягчить в этом сочинении.

На стр. 11 в книге (или на 1 стр. поправок): «Мысль — чтобы невежественным народом управлять страхом и жестокими законами — поселилась к несчастию в головах великих людей и многих законодателей». Это нарекание явно относится на Петра Великого, ибо автор в сем месте говорит именно об нем. Но подобное нарекание на

просветителя и образователя России есть черное пятно на сердце неблагодарности.

На стр. 3 дополнений: «Насильство и невежество, составляя характер правления Турции, не имея ничего для себя священного, губят взаимно граждан, не разбирая жертв»... Хочу верить, что эту мрачную картину списал автор с Турции, а не с России, как то иному легко показаться может. Но и для турецкого правления это язвительная клевета: будто народ сей не имеет ничего для себя священного и губит себя взаимно, не разбирая жертв.

На стр. 70 и 71 в книге: «Купцы не имеют совсем взаимной вспомогательности и никогда не стараются поддерживать друг друга в несчастных случаях. Напротив того, богатый, видя неудачу и готовящуюся гибель бедного, не только не подает ему руку помощи, но еще спешит притеснить его, дабы воспользоваться его несчастием». — Этим местом поругано целое сословие купеческое без всякого выключения, что и несправедливо и оскорбительно.

На стр. 72 в книге: «Вместо ответа покажут они (купцы) сто или двести тысяч рублей, вынесенных ими из массы общих купеческих капиталов». — Эта укоризна на взятки требует доказательств, а без того она послужит во вред доказчика. И вообще это место о дворянстве купечества не сообразно с указом, коим сие злоупотребление навпредь прекращается.

На стр. 115 и 116 в книге: «Все прочие гражданственные состояния, исключая дворянское, были правительством забыты»; «видя несправедливость, угнетавшую столь долго нижнего разряда граждан, державши их в самом глубочайшем невежестве» — укоризна на правительство, совсем незаслуженная.

На стр. 118 в книге: «В сей механической экзерциции состоит вся тактика, в корпусах преподаваемая» — несправедливый упрек на корпусы, коим Россия обязана славнейшими своими генералами.

На стр. 119 в книге: «В службу же гражданскую определяют людей без всякого разбору». — Пятно гражданским чиновникам и вместе охуждение худых мер правительства.

Представляя сии мои сомнения комитету, обязанным себя нахожу объявить собственное мое мнение о сей книге, которое да будет уже принято моим голосом: я думаю, что

оное сочинение г-на Пнина, в настоящем его виде, всемерно удалять должно от напечатания, яко противное правилам устава. Цензор Григорий Яценков. [106]

Граф Строганов, ознакомившись с мнением Яценко, поддержанным всеми членами цензурного комитета (и познакомив с ним самого Пнина), согласился на исключение из книги «указанных цензором мест». [107] Таким образом, сперва речь шла всего лишь об отдельных и в общем не слишком значительных купюрах, но не о запрещении всей книги в целом.

Пнин также беспрекословно согласился на эти купюры, но бурно реагировал на цензорские приемы Яценко и на самый тон его отзыва, усмотрев в нем оскорбление своей чести как писателя и гражданина. При этом Пнин основывался на знаменитом «либеральном» параграфе только что введенного в действие цензурного устава, в силу которого цензору предписывалось при суждении о книге руководствоваться «благоразумным снисхождением» и особенно остерегаться «пристрастного истолкования» мест, кажущихся неблагонамеренными: «Когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, — сказано было в уставе, — в таком случае лучше истолковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать» (§ 21).

Безусловно с ведома Строганова (а может быть, и по его совету) Пнин обратился в высшую инстанцию — в Главное правление училищ — с прошением, в котором отводил от себя обвинения, высказанные Яценко, и приносил жалобу на его неправильные, произвольные действия. Вот текст этого документа:

В Главное училищное правление

Прошение

Прочитавши полученные мною от его сиятельства графа Пав[ла] Алек[сандровича] Строганова представленные ему цензурным комитетом на книгу мою: «*Опыт о просве*[*щении*] *относит*[*ельно*] *к России*» замечания, беспрекословно переменил я и выбросил из книги моей все те места, которые были противны мнениям цензуры. Таким образом,

как сочинитель, я все сделал для комитета; надеюсь, что и комитет с своей стороны равномерно сделает все для человека, тем чувствительнее оскорбляющегося, что почитаю цензуру местом от правительства для пользы, а не для причинения обид учрежденным, имеющим свои постановления, свои правила и долженствующим руководствоваться беспристрастнейшим суждением, но не во зло употреблять права, ей предоставленные, поступать против ⟨собственных⟩ -* своих обязанностей и позволять себе такие выражения, которые, заключая в себе личность, падают на честь человека. Таковой поступок комитета побуждает меня принести Главному училищ правлению, как верховному судилищу, жалобу мою, с полным уверением, что обрету надлежащую справедливость.

Цензор Яценко, рассматривавший мою книгу, выбрал из различных мест оной по нескольку слов и, составив по собственному своему произволу из них речи, на 1-й странице своих замечаний выдает их за собственные мои. Я согласен, что приведенные там слова находятся в моей книге, однакож совсем не в том разуме. Цензор, вместо того, чтобы следовать порядку, в котором они находятся, не знаю почему, с каким-то неблаговидным намерением старался везде разрывать связь понятий и составлять такие выражения, каких в сочинении моем вовсе нет. На 2-й стран[ице] своих замечаний называет он меня *зловещим пророком, собирающим черную тучу на главу России, чтоб она рассыпалась в своем основании*. Ужасная мысль! Какая туча может быть чернее ее? Эта мысль цензора Яценкова. Самый величайший из неприятелей моих, сказав сие обо мне, не мог бы более меня обидеть. Никогда не собирал я тучи на главу России; никогда *не грозил исторгнуть у помещиков их достояние;* сам цензор в этом сомневается: ибо не говорит о сем утвердительно, а употребляет слово *кажется* грозит исторгнуть и проч[ее]; притом все сии выражения находятся только в замечаниях комитета, но их нет в моей книге. Посмотрите на стран[ицу] «   » ** и вы увидите мысль мою и мое желание. *Я не собирал тучи на главу России*, но думал, каким бы образом предохранить

* В угловых скобках — зачеркнутое Пниным.
** Цифра в подлиннике не проставлена.

ее от оной. Опыт многих столетий, свидетельство собственной истории нашей и многих других народов дают в сем достаточные уроки для времен настоящих. Взглядывать на будущее, делать из настоящего свои о нем заключения не есть *злое пророчество,* но есть священная обязанность. Тот, кто любит свое отечество, тот имеет чувство, которое ничем не может быть удержано: оно подобно тонкому эфиру, все тела проницающему. Оно из-за пределов настоящего времени увлекает мысль в будущее, печалит и восхищает нас, предусматривая несчастную или счастливую участь потомства.

Всякий писатель, пишущий о предметах государственных, никогда не должен терять из виду будущее. Ибо целый народ никогда не умирает, ибо государство, каким бы ни было подвержено сильным потрясениям, переменяет только вид свой, но вовсе никогда не истребляется. И потому сочинитель обязан истины, им предусматриваемые, представлять так, как он часто находит их. Он должен в сем случае последовать искусному живописцу, коего картина тем совершеннее бывает, чем краски, им употребляемые, соответственнее предметам, им изображаемым. — Впрочем, все сказанное мною о необходимости крестьянской собственности, все истины, к сему предмету относящиеся, почерпнул я из премудрого Наказа Великия Екатерины. Она внушила мне оные. Она возбудила во мне тот жар и энтузиазм, который цензор ставит мне в преступление. — Рукописное дополнение, сделанное мною по воле монарха, заключает в себе определение крестьянской собственности, примененное мною к настоящему положению вещей.

Далее: цензор, на 4-й страни[це] своих замечаний, хочет, чтобы я переменил и смягчил те места, которые мною переменены уже были по воле его превосх[одительства] Ник[олая] Ник[олаевича] Новосильцова и были им одобрены. Следовательно, проходить сии места вновь и распространяться о них не было никакой надобности. Но цель цензора в сем случае видна. Он хотел по-своему переправить период сей и потому сделал к нему дополнение, приписав *сердцу моему черное пятно неблагодарности.* Вам, высокопочтенные мужи, вашей мудрости отдаю я на суд: имеет ли цензурный комитет право уполномочить одного из своих членов поносить честь сочинителя? Имеет ли право

делать заключения свои о душевных его качествах и, еще более, представлять мнения свои о его нравственности высшему начальству? Это есть чувствительнейшая обида. Таковой поступок комитета явно доказывает неуважение его к законам, нарушение его оных; ибо закон запрещает всякую личность и обиду. Цензурный комитет учрежден для рассматривания книг, но не для рассматривания добродетелей и пороков сочинителя. Его должность и его суждения простираются только на те сочинения, кои подлинно содержат в себе места, противные данным ему правилам. Цензор вправе показать автору его заблуждения, вправе предложить ему полезные советы, но не вправе делать ему выговоры, то есть поступать так, как цензор Яценков поступил со мною.

Наконец цензурный комитет заключает замечания свои еще новою, гораздо чувствительнейшею для меня обидою: называет меня *доносчиком* в том, в чем он совсем не понимает содержания предложенных мною мыслей. Разве это есть *укоризна на взятки*, когда я сказал, что купцы, переходя из состояния купеческого в состояние дворянское, выносят по сту или по двести тысяч рублей из массы общих купеческих капиталов. Комитет совсем не хотел понимать меня; старался приводить из книги моей места совсем иначе, нежели они у меня изображены ⟨давая им совсем иное значение⟩; и даже простирая критику свою на те места, которые мною уже переменены были и одобрены начальством. Все сие хотя весьма оскорбительно, однакоже ⟨не так, как⟩ еще оскорбительнее сего непозволенная личность, им против меня употребленная. Сия-то личность побуждает меня Главному училищ правлению на цензурный комитет приносить жалобу мою, тем более, что книга моя, будучи его превосх[одительством] Нико[лаем] Нико[лаевичем] Навасильцовым представлена его импера[торскому] величеству, удостоена монаршего благоволения (что из прилагаемого при сем в копии письма видеть можно), [108] одобрена бывшею тогда под начальством гражданского губернатора цензурою; потом вновь рассматривана была Н. Н. Навасильцовым и его сиятель[ством] графом П. А. Строгановым, мною по воле их переправлена, дополнена, и, наконец, по докладам их государю императору воспоследовало монаршее повеление печатать ее на счет казны,

Из всех сих случаев Главное училищ правление легко усмотреть может поступок цензурного комитета, в рассуждении коего, по причиненным им мне обидам, прошу себе законного удовлетворения.[109]

Пнин не только не получил «законного удовлетворения», но пострадал еще больше. В силу каких-то неясных обстоятельств делу его был дан новый ход. Цензурный комитет пересмотрел свое решение, — и если раньше речь шла о частичных сокращениях и переправках текста, то теперь переиздание «Опыта о просвещении» было безусловно и окончательно запрещено, причем даже влиятельные покровители Пнина — Строганов и Новосильцев — не сочли возможным (или нужным) выступить в его защиту. Цензурный комитет не ограничился запрещением второго издания книги, но вынес также решение отобрать у книгопродавцев имевшиеся в наличности экземпляры первого издания.[110] Сделано было это, вероятно, в порядке подтверждения действий полицейских властей, еще раньше конфисковавших книгу по собственной инициативе.

Предание приписывает главную роль в запрещении книги Пнина Гавриилу Геракову — учителю истории в кадетском корпусе и бесталанному писателю, автору многочисленных охранительных псевдо-патриотических сочинений. Гераков, якобы, подал на Пнина донос, пробудивший бдительность цензуры.[111] Однако никаких следов доноса Геракова в делах цензурного ведомства не обнаружено; впрочем, он мог сделать и устный «извет». При всем том вряд ли сигнал доносчика имел решающее значение для судьбы книги Пнина. Более существенным и интересным представляется неразрешенный вопрос, каким образом Пнин мог подвергнуться цензурному гонению, несмотря на поддержку таких людей, как Строганов и Новосильцев, и более того — несмотря на «благоволение» к нему самого царя.

Прямо ответить на этот вопрос невозможно ввиду отсутствия точных документальных данных. Однако парадоксальный на первый взгляд факт запрещения книги, одобренной царем, покажется не столь уж необыкновенным, если вникнуть в обстоятельства дела. Внимание, с которым

на первых порах отнеслись к Пнину Александр I и его «молодые друзья», само по себе понятно: они знали автора «Опыта» еще со времени «Санктпетербургского журнала» и, протежируя ему, как бы отдавали дань собственному либеральному прошлому. Но именно — прошлому, ибо от их былого либерализма в это время уже не осталось и следа. Некогда они, действительно, думали об изменении государственного строя в России, увлеченно разрабатывали проекты разного рода реформ, щеголяли друг перед другом своими «республиканскими» настроениями. По словам А. Чарторижского, молодой Александр говорил ему, что «совершенно не разделяет воззрений и принципов правительства и двора», что «ненавидит деспотизм» и «любит свободу, которая равно должна принадлежать всем людям», признавался даже, что «чрезвычайно интересовался французской революцией» и, «не одобряя ее ужасных заблуждений, все же желает успеха республике».[112] В кругу «молодых друзей» предполагалось, что по воцарении Александра их планы будут претворены в жизнь, и Чарторижский, по просьбе наследника, даже заготовил на сей случай проект манифеста.

Однако, как только Александр воцарился, пришел конец его красноречивой декламации о «любви к свободе». Либеральные увлечения юности уступили место заботам о сохранении в полной силе принципов абсолютизма. «Молодые друзья» также пережили эту метаморфозу. Обсуждение вопроса о реформах еще продолжалось, но реальный смысл обсуждения был уже совершенно иной. Как формулирует советский историк, «боязнь идей, порожденных буржуазной революцией, и стремление вырвать у революции ее наиболее опасное оружие — идеи свободы и равенства, вот что толкало Александра на обсуждение с молодыми друзьями ряда преобразовательных проектов и вот что определяло внешний либерализм, который столь характерен для первых лет его царствования».[113] К 1804 году подлинная сущность «внешнего либерализма», как более усовершенствованной формы охранения самодержавия и крепостничества, выявилась уже во всей своей очевидности.

Успех книги Пнина, в которой, как увидим дальше, при всей политической умеренности автора прямо и недвусмысленно ставился вопрос о ликвидации крепостного права

и в горячих выражениях говорилось о «злосчастном состоянии» русских крестьян, не мог не привлечь внимания реакционеров-крепостников, оказывавших постоянное и сильное давление на правительственную политику в крестьянском вопросе. К тому же Пнин не облек свою проповедь в форму частного «предложения», адресованного непосредственно царю и правительству, а выступил открыто — в печати. По-видимому впечатление, произведенное его книгой в обществе, превысило меру либеральной терпимости официальных кругов.

Нужно добавить также, что на практике самодержавная воля игравшего в либерализм Александра I нередко уступала мнению сановников, умудренных государственным опытом. Так, например, когда Александр I в 1801 году решил издать указ о запрещении публиковать в газетах объявления о продаже крепостных без земли, Непременный государственный совет возразил против этого, и Александр вынужден был согласиться с волеизъявлением заседавших в Совете вельмож. В другой раз, в 1803 году, когда гр. С. П. Румянцев представил царю проект указа о «свободных хлебопашцах» и просил дозволения для «первого примера» перевести на новое положение собственных крепостных, Государственный совет нашел, что «при усилившейся в умах мысли об освобождении крестьян малейший повод и прикосновение к этому предмету могут произвести опасные заблуждения», и настоял на отмене «общего указа», допустив, в виде исключения, действие данного правила «на каждый случай» со специального разрешения царя. [114]

Так и в случае с запрещением книги Пнина можно допустить, что решающую роль в этом деле сыграл протест влиятельных крепостников, чье мнение восторжествовало над неосмотрительной «снисходительностью» Александра I и его «молодых друзей». На дошедшем до нас экземпляре «Опыта о просвещении» с рукописными добавлениями, внесенными Пниным, имеется помета: «Сочинение удержано государем». По этому поводу было высказано соображение, что помету нужно понимать следующим образом: Александр I «удержал» книгу не в том смысле, что запретил ее, а в том смысле, что оставил ее у себя. [115] Такое толкование представляется неубедительным. Невозможно, разу-

меется, допустить, что Александру I пришлось стушеваться перед цензором Яценко. Конечно, не может быть никаких сомнений в том, что цензурная репрессия в отношении Пнина была учинена с ведома и согласия царя. Он просто по всегдашней своей манере остался в стороне. Случай с Пниным вносит добавочный, пусть мелкий, но характерный штрих в «двуязычный лик» Александра (говоря словами Пушкина), который был «фальшив, как пена морская», и с изрядной ловкостью скрывал под маской напускного либерализма жестокий нрав «самовластительного злодея».

Формально инициатива запрещения книги Пнина исходила от цензурного комитета, который всегда мог сослаться, что поступил по духу и букве устава. Протест Пнина против произвольных, якобы, действий Яценко, по существу, не имел смысла, ибо цензурный устав 1804 года содержал один параграф, фактически сводивший на нет все либеральные льготы, предусмотренные в других параграфах: «Если в цензуру прислана будет рукопись, исполненная мыслей и выражений, явно отвергающих бытие божие, вооружающаяся против веры и законов отечества, оскорбляющая верховную власть или совершенно противная духу общественного устройства и тишины, то комитет немедленно объявляет о такой рукописи правительству для отыскания сочинителя и поступления с ним по законам» (§ 19). Ясно, что растяжимую формулировку «противная духу общественного устройства и тишины» можно было толковать как угодно распространенно и что книгу Пнина можно было без особых затруднений подвести под действие данного пункта устава.

Так внешним образом и получилось, что недреманное око цензора Яценко усмотрело крамолу там, где ее не видели ни царь, ни его ближайшие советники. «Опыт о просвещении» был зачислен в разряд особо крамольных книг, и на долгие годы (если справедливо глухое упоминание, на которое мы уже ссылались, «Опыт» был запрещен к переизданию и в 1818 году). Пнина объявили «зловещим пророком», собирающим «черную тучу» крестьянского восстания. Между тем ни о каком восстании он и не помышлял и был прав не только формально, но и по существу, когда решительно отводил от себя подобного рода

обвинения. Об этом свидетельствует как общий смысл его социально-политических воззрений, так и те практические выводы, к которым пришел он в «Опыте о просвещении относительно к России». К рассмотрению их мы сейчас и перейдем.

6

Книга Пнина появилась в то время, когда вопрос о просвещении оживленно обсуждался в обществе, причем обсуждение носило не отвлеченный, а практический характер — в связи с предпринятыми правительством реформами в этой области. В сентябре 1802 года было учреждено Министерство народного просвещения, деятельность которого должна была охватывать всю сферу культурной жизни в стране: ведению министра поручались Главное правление училищ, Академия наук, Российская академия, университеты и все другие научные учреждения и учебные заведения, также библиотеки, музеи, типографии, цензура, периодические издания, а сам он был назван «министром народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук». Специальная комиссия занималась разработкой проекта «устава об общественном воспитании». В январе 1803 года были утверждены «Предварительные правила народного просвещения», намечавшие перспективы дальнейшего развития сети учебно-воспитательных учреждений, начиная с приходских училищ и кончая университетами. Пнин был в курсе всех этих дел — и по службе своей в новом ведомстве и по связям с людьми, принимавшими непосредственное участие в разработке и реализации правительственных проектов в области просвещения (М. Н. Муравьев, И. И. Мартынов).

Книга Пнина и явилась одним из откликов на эти правительственные мероприятия. В значительной части она была посвящена практическим предложениям относительно лучшего устройства образовательного дела в России. Но центр тяжести книги — вовсе не в этих практических предложениях. Пнин ставил вопрос о просвещении широко и принципиально — не в культурно-бытовой, а в социально-политической плоскости, неразрывно связывая его с общим вопросом о дальнейших путях исторического развития России.

Книга Пнина состоит из трех разделов: «В чем состоять должно истинное просвещение?», «Все ли состояния в России требуют одинакового просвещения?» и «Что может наиболее споспешествовать просвещению?». Книге предпосланы два эпиграфа. Первый из них гласит: «Воспитание должно быть согласовано с природой власти, управляющей народом» и взят из «Проекта закона о народном учении» Ж.-А. Шапталя — видного французского ученого и политического деятеля (в период буржуазной революции — жирондист, впоследствии, при Наполеоне, член Государственного совета и министр внутренних дел). Второй эпиграф был выбран из самого «Опыта о просвещении»: «Блаженны те государи и те страны, где гражданин, имея свободу мыслить, может безбоязненно сообщать истины, заключающие в себе благо общественное!»

Из этих эпиграфов уже видна общая идейная установка Пнина, в которой нашли выражение как консервативные, так и прогрессивные элементы его мировоззрения: с одной стороны, убежденность в том, что просвещение должно быть согласовано с «природой власти» (то есть, применительно к русским условиям, с самодержавием), и, с другой стороны, требование «свободы мысли» во имя просветительского «общего блага».

В своих теоретических предпосылках Пнин исходил из моральных и социальных идей просветителей и материалистов. Это обнаруживается уже в самом начале «Опыта», где он излагает свои представления о природе государственной власти. Различая понятия «повелевать» и «управлять», Пнин пишет, что «Россия имела многих обладателей, но правителей мало».[116] Власть деспотическая, зависящая единственно от «расположения духа» повелителя, не имеет ничего общего с «управлением», ибо «управлять народом значит пещись о нем, наблюдать правосудие, сохранять законы, поощрять трудолюбие, награждать добродетель, распространять просвещение... словом, созидать общее благо». Задача мудрого законодателя и правителя состоит в том, чтобы «открыть всем свободный путь» к «общему благу» — этому «единственному предмету желаний гражданина».

В этой связи Пнин обращается к личности Петра I. Он характеризует Петра как великого государя, который забо-

тился о «пользе народа» и «явил истинный дух законодательства». Но, вместе с тем, Пнин упрекает Петра в поспешности и суровости, с какими он претворял в жизнь свои грандиозные замыслы. «Гений сего премудрого государя, не могший терпеть никаких ограничений, никакой постепенности... но желая вдруг преобразовать Россию... предпринимал для сего нередко такие меры, которые не произвели желанных успехов, но впоследствии показали даже в некоторых случаях совсем тому противное».

В этой характеристике Петра есть нечто от концепции Радищева, который первый в русской литературе оценил Петра одновременно и как «мужа необыкновенного», выдающегося преобразователя, и как «властного самодержавца», деспота, «истребившего последние признаки дикой вольности своего отечества» («Письмо к другу, жительствующему в Тобольске»). [117]

Всецело в духе общественно-моральных идей Просвещения Пнин решительно отрицает, что народом можно управлять посредством «страха и жестоких законов». Мысль эта, — пишет он, — «есть сколько несправедлива, столько и противна природе». Об этом же говорится в его стихотворной притче «Верховая лошадь», мораль которой сводится к тому, что, управляя людьми, никоим образом не следует «нужный свет скрывать от их очей», потому что «лишенные зренья» они становятся только «опаснее для управленья». Первопричину общественного зла Пнин видит в невежестве народа. Невежество порождает заблуждения, предрассудки и пороки, но их следует не наказывать, а предупреждать, так как суровое наказание может лишь ожесточить виновника, но не послужит к его исправлению.

Решая проблему соотношения человека и общества, Пнин доказывает, что человек общественный — «гражданин» представляет собою органическую часть целого, что он должен твердо знать «прямые отношения, связующие его с прочими гражданами», и свои обязанности перед управляющей им властью. Гражданину надлежит подчинять свои личные интересы общественным и стремиться к «общему благу», которое Пнин понимает как «величайшее блаженство величайшего числа людей». Путь к «общему благу» лежит через просвещение, которое единственно способно укротить «дурные» антиобщественные страсти человека, развить его

благородные задатки и побуждения и направить их к единой для человечества цели.

Переходя к вопросу: «Что такое есть просвещение?», Пнин сразу же подчеркивает, что это «*предмет политический*», и четко определяет его существо: уровень истинного просвещения измеряется не внешними показателями, не числом «сочинителей» или ученых, но степенью политической зрелости народа, в котором каждый ясно сознает свои общественные права и обязанности. «Все искусство законодателя, предпринимающего начертать законы для народа, в невежестве пребывающего, — пишет Пнин, — должно состоять в том, чтобы частные страсти направить к единой цели, общее добро заключающей, и к коей не строгостью наказаний, удобных произвесть в душах большее только ожесточение, но чрез *просвещение* можно довести людей».

Но как только Пнин начинает делать из этих теоретических положений практические выводы применительно к русской действительности, он все дальше и дальше отходит от провозглашенных им вначале общих принципов. На первый план выдвигается идея «равновесия» общественных сил, реальный политический смысл которой заключался в признании законности существования общества, разделенного на классы, а говоря точнее, применительно к России, в признании сословной монархии. «Просвещение, в настоящем смысле приемлемое, состоит в том, когда каждый член общества, в каком бы звании ни находился, совершенно знает и исполняет свои должности: то есть когда начальство с своей стороны свято исполняет обязанности вверенной оному власти, а нижнего разряда люди ненарушимо исполняют обязанности своего повиновения. Если сии два состояния не переступают своих мер, сохраняя должное в отношениях своих равновесие, тогда просвещение достигло желаемой цели».

Сама по себе, в своем теоретическом выражении, идея двусторонних «обязанностей» управляющих и управляемых также восходит к социальным концепциям Просвещения, в которых она получала обоснование в свете теории общественного договора.

Нарушения «равновесия» исторически сложившихся устоев государственного строя Пнин, как увидим дальше,

весьма опасался. В этом пункте со всей очевидностью и выявляется ограниченность его общественно-политической программы. Через всю его книгу красной нитью проходит идея сословной и имущественной иерархии, как основы основ нормального, благоустроенного общества. С особенной ясностью видно это из отношения Пнина к французской буржуазной революции, из того, как воспринял он её принципы и лозунги.

Революционная Франция, с точки зрения Пнина, служит примером пагубного нарушения «равновесия гражданственных взаимностей». При всей «блистательной учености» своих писателей, ученых и философов, Франция «далеко еще отстоит от истинного образования, ибо там, где царствует просвещение, там спокойствие и блаженство суть уделом каждого гражданина». Франция же, «совершив ужасный переворот своего преобразования», явила собою картину всеобщего волнения. Вожди революции, в представлении Пнина, это — «мнимые мудрецы», отвлеченные «метафизики», которые вопреки разуму разрушили «все преждебывшие государственные постановления» и «на сих печальных развалинах положили основание зданию своей толико ужасной по действию и соблазнительной по правилам конституции». Речь идет о якобинской конституции 1793 года, которая, по мнению Пнина, «заключает в себе более метафизических рассуждений, нежели простых, вразумительных истин». Насколько худо была продумана эта конституция, — говорит Пнин, — видно из ее недолговечности: прошло немного лет — и «жребий» Франции «находится уже в руках иноземца» (Бонапарта). В своем осуждении революции Пнин доходит до мысли о том, что она только способствовала еще большему укреплению принципов абсолютизма, начало которым было положено военной диктатурой Наполеона: «Вся революция предпринята была для Бонапарта, чтобы возвесть его на бурбонский престол, поднести ему титул императора и вручить гораздо бо̀льшую власть, нежели каковою пользоваться некогда могли короли французские. . . Что ж сделала она для собственной своей славы, того я не вижу».

Из четырех главных лозунгов буржуазной революции, зафиксированных в конституции 1793 года, — права человека, свобода, равенство и собственность, — Пнин безогово-

рочно принимает лишь первый и последний, причем производит характерную перестановку: на первое место выдвигает буржуазный принцип «священной и неприкосновенной» частной *собственности,* понимаемой как основное и неотчуждаемое *право* человека, которое, в свою очередь, предполагает его *свободу.* Что же касается *равенства,* то для него в общественно-политической концепции Пнина места вообще не нашлось. Больше того: он заявил себя решительным противником равенства.

Пнин исходит при этом из переоценки естественных прав человека. Для него существуют только «права гражданина», ибо, в его понимании, человек, не находящийся в отношениях с обществом, это — «дикий или естественный человек, который только умственно разумеем быть может». У такого человека нет и не может быть никаких прав, так как он, «живя сам собою, без всякого отношения к другим, руководствуется одними только *естественными побуждениями или нуждами,* им самим удовлетворяемыми». Права же непременно предполагают общественные отношения, пожертвование «частными интересами» в пользу «общего блага». Только перейдя «из недр природы в недра общества», становясь *гражданином,* человек начинает «познавать» свои права. «Естественный человек» примитивно эгоистичен, — «напротив того, истинный гражданин на всякое мгновение готов пожертвовать собою и не столько печется о своем сохранении, сколько о сохранении своего отечества».

Из этого делается тот вывод, что *«мнимые права человека* противуположны *правам гражданина»* и что утверждение этих мнимых прав «ведет к погибели, поселяет дух раздоров, возжигает всеобщий пожар». На этой почве произросло *«древо вольности,* коего очаровательные по наружности своей плоды заключают в себе сокровенный яд, который, силою своею победя силу рассудка, воспламеня воображение, производит то бешенство и неистовство, в каковых только Франция могла дать примеры, долженствующие в летописях мира изображенны быть кровавыми чертами». Творцы якобинской конституции 1793 года хотели «сим мечтательным путем достигнуть народного счастия», но этот путь завел их в «страшную бездну». Абсолютная свобода, как полагает Пнин, «есть не иное что, как

призрак воспаленного воображения», потому что она «никогда не была уделом человека, в каком бы состоянии он ни находился»: в «естественном», «диком» состоянии он *зависит* от своих «нужд», в гражданском состоянии — от «общественных законов».

Еще решительнее отвергает Пнин принцип равенства, «уничтожающего всякое право *собственности*». Равенство для него — «исчадие раздоров», «дух безначалия, перемешавший все гражданственные состояния, вооруживший... своевольство противу порядка». Пнин, вопреки Руссо, не находит равенства «ни в истории протекших веков, ни в недрах природы». Напротив, он доказывает, что «неравенство сил человеческих соединило и сохраняет людей», что от него «произошли общества, от обществ произошли законы, от законов стали зависеть гражданственное благосостояние и твердость».

В заключение Пнин выражает уверенность в том, что народы убедятся в мнимом «великолепии» провозглашенного революцией равенства и, «наконец, уверятся, что все состояния, начиная от земледельца до монарха, необходимо нужны, поелику каждое из оных есть не что иное, как звено, государственную цепь составляющее». Вывод, к которому приходит Пнин, заключается в том, что нужно всеми мерами сохранять стабильность состояний: «Сей общественный узел рассекать опасно; напротив того, всеми мерами стараться надобно сохранять оный. И потому от мудрости законодателя зависеть уже будет каждому из сих состояний внушить нужду взаимной зависимости, положить каждому из оных пределы, из которых выходить было бы ужасно, определить каждому состоянию его права, предписать его обязанность и уметь употребить средства для предупреждения злоупотреблений, на которые неблагонамерение и эгоизм покушаться могут».

Как видим, о революционности Пнина говорить не приходится. Наоборот: опыт французской буржуазной революции в ее якобинском выражении напугал Пнина и внушил ему мысль о спасительности «равновесия гражданственных взаимностей» как залога, обеспечивающего «Общую безопасность и счастье». Ограниченность социально-политических воззрений Пнина проступает особенно резко, когда

от общих рассуждений он переходит к вопросу о «просвещении относительно к России».

Отправляясь от понимания сословного и имущественного неравенства как естественной основы общества, разделенного на классы, Пнин полагает, что исторически сложившаяся форма русской государственности — сословная монархия — должна оставаться непоколебленной. Четыре сословия — крестьянство, мещанство, дворянство и духовенство — не должны смешиваться друг с другом и соблюдать положенные каждому из них границы. «Россия, по свойству своего правления будучи монархическою державою, по сей самой причине имеет тем бо́льшую надобность в неравенстве состояний, поелику оное служит твердейшею для нее подпорою».

Пнин отдает себе отчет в том, что между отдельными сословиями существуют противоречия и антагонизм — «презрение» и «самая ненависть», которая способна вызвать «пожар, кроющийся под пеплом». И он озабочен поисками верных средств, способных предотвратить этот пожар. Для этого надлежит внушить всем и каждому уважение к любому «гражданственному состоянию» и обеспечить строгими законами его неотъемлемые права. «Один из главнейших предметов законодательства, — пишет Пнин, — есть тот, чтобы заставить каждого общественного члена любить то состояние, в котором он находится; чтобы купец, ремесленник, земледелец и проч., в ревностном исполнении должностей своих поставляя всю свою славу, были уверены, что хорошее поведение, честное имя и добродетели не имеют степеней различия, но требуют от всех равного уважения». Не без натяжки Пнин следующим образом формулирует свой опорный тезис: «*Права* граждан, без сомнения, должны быть все *равны*, но *преимущества* их не могут быть одинаковы».

Каковы же эти равные права при неодинаковых преимуществах? Это — право *неприкосновенной собственности* и право *личной безопасности* гражданина. Пнин распространяет эти права на все «состояния» и видит в них единственную панацею от социальных зол и прочную основу правопорядка. Он соглашается, что неравенство состояний порою становится «несносным, тягостным бременем, возмущает умы и нередко разрывает общественный узел», но это про-

исходит только в неупорядоченном, непросвещенном обществе. И, напротив, неравенство состояний благодетельно в том случае, когда действуют разумные и справедливые законы, когда народ просвещен, когда каждый знает свои права и обязанности, когда уважена собственность и обеспечена безопасность каждого члена общества. Священной и неприкосновенной собственности посвящены в «Опыте о просвещении» самые пылкие страницы: «Собственность! священное право! душа общежития! источник законов, мать изобилия и удовольствий! Где ты уважена, где ты неприкосновенна, та только благословенна страна, там только спокоен и благополучен гражданин. Но ты бежишь от звука цепей! Ты чуждаешься невольников. Права твои не могут существовать ни в рабстве, ни в безначалии, поелику ты обитаешь только в царстве законов. Собственность! где нет тебя, там не может быть правосудия».

Так Пнин приходит к отчетливому реалистическому пониманию того решающего обстоятельства, что между «правами гражданина» и русской крепостнической действительностью лежит пропасть. Отсюда — его требование ликвидации пережитков феодального строя.

В решении данного вопроса и проявились та критическая сила и тот гражданский пафос, которые делают «Опыт о просвещении» выдающимся явлением русской передовой общественной мысли и не позволяют считать Пнина (при всей ограниченности его политического идеала) всего-навсего заурядным либералом, каких было множество. Если бы идейное содержание «Опыта о просвещении» исчерпывалось изложенным выше, не было бы никаких оснований говорить о Пнине как о представителе радикально-демократического направления в русской литературе и общественности. Но в том-то и заключается сложность и двойственность его идеологического облика, что, признав законность имущественного неравенства и сословной иерархии, он *не мирился с рабством* и в решении *этого* вопроса не шел ни на какие компромиссы. Он доказывал, что крепостничество, лишающее русского крестьянина элементарных человеческих прав, находится в вопиющем противоречии с представлением о нормальном общественно-политическом укладе. И в своей книге он выдвинул радикальное требование освободить крестьян от крепостной зависимости.

Обосновывая понятие собственности как основы нормального общественного уклада, Пнин подверг сильной и смелой критике крепостнические порядки в России, где «права собственности попраны, где правосудие известно по одному только названию», где «все зависит единственно от случая». В рукописном добавлении, сделанном для второго издания «Опыта», он применил обычный маскировочный прием: назвал Турцию, но подразумевал Россию, — и, конечно, любой читатель понял бы его правильно. Недаром цензор Ященко ядовито заметил по поводу данного места: «Хочу верить, что эту мрачную картину списал автор с Турции, а не с России, как то иному легко показаться может».

А то, что говорил Пнин о «Турции», звучало настоящим обвинительным актом против деспотизма и произвола: «К чему служат старание, труды к приобретению имения там, где и жизнь и смерть каждого определяется по жребию; там, где одной неистовой воли какого-нибудь паши довольно, чтоб испровергнуть счастие и лишить имущества многих честных граждан? Там все, покрыто будучи неизвестностию, не только истребляет лучшие способности, погашает благотворный дух трудолюбия и промышленности, но даже, унижая самое достоинство человека, держит людей как бы во мраке темниц, где слышны одни только жалостные стоны несчастных и раздаются звуки тяжелых цепей их. Владычество насильства и невежества не терпит никаких прав: там всякий или тиран, или жертва. Турция служит очевидным сему доказательством. Насильство и невежество, составляя характер ее правления, не имея ничего для себя священного, губят взаимно граждан, не разбирая жертв».

Рисуя яркую картину самодержавно-крепостнического гнета и произвола, Пнин дает полную волю своему горячему патриотическому чувству: «Россия! к тебе стремятся все мои мысли, все мои желания! Дражайшее отечество! Каким приятнейшим чувствованием наполняется сердце, обращаясь к тебе!» Он утверждает, что самое чувство «просвещенного патриотизма» может возникнуть лишь там, где власть правительства основана на «благоразумных, человеколюбивых и с целию гражданских обществ согласных правилах». Только там, где человек «уверен в своей безопасности и

собственности», он постигает любовь к отечеству, которая, «возжигая души граждан», «движет их к великим и чудным делам». Любовь к отечеству — это самая высокая и благородная человеческая страсть: «нет страсти, которая бы более ее возвышала душевные способности, была обильнее в добродетелях, в пожертвованиях, в великих примерах». Поэтому «всякое просвещенное правительство, сколько возможно стараться должно возбуждать оную в сердцах граждан и иметь в виду не благоденствие только некоторого числа, но всех людей без изъятия, ибо благополучие государства познается не по блеску дворов, не по великолепию придворных и беспредельной власти дворян, но по доброте правления и по состоянию народа».

Обращаясь к состоянию русского народа, Пнин указывает, что из четырех сословий, имеющихся в России, «одно только земледельческое является в страдательном лице». Он соглашается, что крестьянство должно нести «государственные повинности», но категорически утверждает, что «всякое другое требование есть уже зло». Со всей прямотой и резкостью протестует он против «беспредельной власти» помещиков над жизнью, трудом и достоянием крестьян: «Как можно, чтобы участь толико полезнейшего сословия граждан, от которых зависит могущество и богатство государства, состояла в неограниченной власти некоторого числа людей, которые, позабыв в них подобных себе человеков, — человеков, их питающих и даже прихотям их удовлетворяющих, — поступают с ними иногда хуже, нежели с скотами, им принадлежащими. Ужасная мысль! как согласить тебя с целию гражданских обществ, как согласить тебя с правосудием, долженствующим служить оным основанием?»

В рукописном добавлении к первоначальному тексту «Опыта», остановившем внимание цензора, Пнин с особенной энергией говорит в защиту крепостных рабов, которые «находятся в самом бедственном состоянии, в отчаянии влачат дни свои и проклинают жизнь свою и своих господ». Когда он изобличает жестокость рабовладельцев, речь его проникается высоким пафосом гражданского негодования и оскорбленного патриотического чувства: «Сие ужасное злоупотребление власти помещиков над их крестьянами, [сия непомерная над ними помещиков власть, сие рабство,

в котором они их содержат,] * сей бесчеловечный торг, который они ими производят, столько унижают Россию перед всеми европейскими державами, что без душевного прискорбия нельзя произнести сей истины. Горестно, весьма горестно для россиянина, свое отечество любящего, видеть в нем дела, совершающиеся только в отечестве негров».

В горячих выражениях Пнин призывает Александра I освободить крестьян: «Снять оковы с народа, возвратить людей человечеству, граждан — государству есть такое благодеяние, которое делает царей бессмертными. . . *Исправить сие зло и возвратить земледельцу его достоинство состоит во власти правительства*». Он апеллирует и к совести самих крепостников: «Владельцы! .. ужели достойны осуждения крестьяне, имеющие одинакие с вами от природы чувства, когда жалуются на жестокость некоторых бесчеловечных владельцев, вопиют против несправедливости, отъемлющей у них, сверх положенной на них подати, плоды труднейших работ и их промыслов?» **

Радикальное решение крестьянского вопроса Пнин видел в предоставлении крестьянам права собственности, сопровождая свою мысль все той же аргументацией: собственность — основа всякой животворной деятельности и «узел, скрепляющий общество». Пугая дворян и правительство призраком нового Пугачева, он доказывал, что, покуда не обеспечена крестьянская собственность, «будущее, истекая из настоящего положения вещей, знаменует черную тучу, страшную бурю в себе заключающую». В контексте рассуждений Пнина эта мысль, конечно, не может быть истолкована как призыв к крестьянскому восстанию (как показалось это цензору Яценко), а, наоборот, свидетельствует о том, что и сам Пнин страшился надвигающейся «бури», грозившей уничтожить любезное его сердцу «равновесие» общественных сил. Поэтому он всячески убеждает Александра I прежде всего, в качестве самой неотложной меры, в законодательном порядке утвердить за крестьянином право на собственность: «Самый важнейший предмет, долженствующий теперь занимать законодателя, есть тот,

---

* Взятое в прямые скобки было сразу же вымарано цензором.
** Это место также было вычеркнуто цензором.

чтобы предписать законы, могущие определить собственность земледельческого состояния, могущие защитить оную от насилий, словом: сделать оную неприкосновенною». * Только после этого можно будет внушить крестьянину «его *права*, его *обязанности*», «надежным образом привязать земледельцев к земле» и, наконец, «с уверительностью приступить к их образованию, открыть им путь к истинному просвещению».

Здесь — центральный пункт всей социально-политической программы Пнина.

Обоснованию понятия права крестьянской собственности посвящено самое обширное рукописное добавление, сделанное для второго издания «Опыта». Чтобы подкрепить свои доказательства и сделать их более убедительными для тех, к кому он обращался, Пнин сразу же указал, что, «соображаясь с настоящим положением вещей», будет руководствоваться не только «рассудком», но и «собственными нашими законами и государственными постановлениями». В этих целях Пнин, уже раньше ссылавшийся, из тактических соображений, на «Наказ» Екатерины (в котором глухо говорилось о «собственном рабов имуществе»), делает экскурс в область истории крепостного права в России.

Экскурс этот представляет собою дословную выписку из книги И. Н. Болтина «Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка» (1788), — с пропуском цитат из Леклерка, которые приведены у Болтина.[118] Исторический экскурс понадобился Пнину для того, чтобы показать, что «старинные русские крестьяне, будучи вольными, имели владельцев и имели собственность, не имев земли; помещики владели крестьянами, не имев власти учинить их невольниками, получали с них оброки, не могучи их грабить». На исторических примерах Пнин имел целью доказать незаконность установившихся впоследствии крепостных отношений, сделавших помещиков «властелинами над имением и жизнью крестьян»: «Нет закона, делающего лично крестьян помещикам крепостными: обычай, мало-помалу введенный, обращать их в дворовых людей, прямо в про-

---

* Подчеркнуто Пниным.

тивность уложенныя статьи о нем, и под названием дворовых продавать их поодиночке, сначала быв терпим, послабляем, превратно толкуем, обратился, наконец, чрез долговременное употребление в закон».

Выписав соответствующие суждения Болтина (и толкуя их довольно свободно), Пнин добавил от себя: «Не ясно ли из сего всякий видеть может, сколь государственные постановления, существовавшие во времена предков наших по сему предмету, были превосходны, как ценили они человечество, как защищали собственность и охраняли безопасность гражданина; как холоп, крестьянин, владелец уравнены были в законе, как наблюдаемы были права каждого из них, как закон поддерживал равновесие во взаимных обязанностях сих сословий и, наконец, как сохранялся порядок во всех частях. Прекраснейшие постановления! вы изменились со временами, вам последовали другие, кои не токмо не приносят чести просвещенному нашему веку, но *унижают человечество*».

Нет нужды говорить о том, насколько не соответствовало исторической действительности идиллическое изображение «старинных крестьян», которое дал Пнин. Не приходится сомневаться, что сам он отлично понимал это и поступился исторической истиной ради того, чтобы резче подчеркнуть ухудшение положения крепостных в XVIII веке сравнительно с прежним временем. Идеализация прошлого нужна была ему лишь для того, чтобы яснее сказать о современности: «Ежели мы состояние крестьян настоящих сравним с состоянием наших старинных, то какое разительное между ними найдем различие! Те были вольны, а наши рабы; те имели собственность, а наши не имеют оной, потому что закон ее не охраняет; те имели права свои, а наши лишены их».

Что же понимал Пнин под крестьянской собственностью и в каких формах мыслил предоставление права собственности русским крестьянам? Различая собственность движимую и недвижимую, он писал: «Я с моей стороны желал бы, *соображаясь с настоящими обстоятельствами,* чтобы господские крестьяне имели *хотя движимую собственность* на таком основании, дабы, платя помещикам на них положенное, могли они уже совершенно по своей воле, без страха, располагать ею и были уверены, что уже никто у них

оной отъять не может». Тут же Пнин пояснил, что́ именно разумел он под движимой собственностью: «Она заключаться должна в скоте, птицах, изделиях, в ремесленных произведениях, орудиях для различных работ, ими употребляемых, и других хозяйственных вещах; также принадлежать сюда должны хоромные, гуменные и прочие строения, их иждивением сделанные». Права крестьян на эту собственность должны охраняться законом. Гражданское право крестьян «простираться должно и на все то, чего требуют от них помещики противно законам, и также на все бесчеловечные поступки, которые они от некоторых несправедливым образом претерпевают».

Таким образом, в своем решении крестьянского вопроса Пнин пришел к двум основным выводам: во-первых, *прежде чем говорить о просвещении крестьян, нужно их освободить;* во-вторых, при освобождении *предоставить им право собственности.*

При этом следует обратить внимание на одно очень важное обстоятельство. Все писавшие о Пнине с особенной настойчивостью подчеркивали ограниченность выдвинутого им требования освободить крестьян с одной только движимой собственностью, то есть *без земли.* Действительно, безземельное освобождение не могло служить радикальным решением крестьянского вопроса, поскольку в условиях эпохи неизбежно привело бы лишь к новым формам закрепощения (батрачество у помещиков, эксплоатация фабричного труда). Однако говорить о какой-то особой, буржуазной ограниченности Пнина в *данном* случае нет достаточных оснований, поскольку он сам считал безземельное освобождение мерой недостаточной и предварительной, рассматривал ее всего лишь как *первый шаг* на пути к полному освобождению крестьян. Он сказал об этом совершенно ясно и недвусмысленно: «Положив таким образом начало оной [крестьянской собственности], *сколь, впрочем, оно ни недостаточно и ограниченно,* со всем тем впоследствии произведет великую пользу. *За первым шагом последует другой.* Мудрые постановления и время распространят сие начало».

Кроме того, Пнин не умолчал и о недвижимой собственности. Он упоминает о праве крестьян на «недвижимое имение» и о праве их откупаться от помещиков, ссылаясь при

этом на известный указ о «свободных хлебопашцах» (1803), разрешавший владельцам отпускать крепостных за откуп или даром, но непременно с землею. В этой связи он с похвалою отзывается также о «прекраснейших распоряжениях, сделанных недавно для крестьян лифляндских, в обеспечение их собственности, их прав и благосостояния», имея в виду указ от 20 февраля 1804 года, который закреплял за прибалтийскими крестьянами собственность на движимость и предусматривал пользование ими землею. Само собою разумеется, что в этих ссылках Пнина на законодательные мероприятия правительства отразились и его вера в благие намерения Александра I и его надежды на то, что новые «прекраснейшие распоряжения» получат повсеместное и широкое практическое применение. Проживи Пнин дольше, он безусловно убедился бы в необоснованности своей веры и в иллюзорности своих надежд, но в 1804 году у него, как и у многих других, были известные объективные основания для оптимистического взгляда на будущее.

Оценивая Пнина с исторической точки зрения как провозвестника освободительных, антикрепостнических идей, нельзя забывать о том, что в России первых лет XIX века он не видел и не мог видеть тех общественных сил, которые способны были бы уничтожить самодержавно-крепостническую действительность и положить начало новому общественному строю. Поэтому, говоря о Пнине, следует подчеркивать не столько исторически понятную ограниченность и просветительский утопизм его социальных воззрений, сколько то обстоятельство, что своим требованием обеспечить крестьянскую собственность он почти на шестьдесят лет предупредил законодательное решение этой проблемы.

Значительность выступления Пнина становится особенно ощутимой, если учесть, что в его время самые красноречивые либералы дружным хором лицемерно твердили, что сначала необходимо «просветить» рабов, а потом уже подумать о даровании им прав, ибо иначе они не будут знать, что делать со своими правами. Карамзин же без обиняков утверждал, что крестьянина можно допустить к свободе тогда лишь, когда *владелец его* сочтет, что он уже способен «хорошо воспользоваться» свободой. Пнину, нужно думать, была совершенно ясна вся ложь и фальшь подобных утвер-

ждений, и он с замечательной прямотой и последовательностью доказывал, что ни о каком просвещении не может быть и речи, если «просвещаемый» лишен элементарных человеческих прав и томится в неволе. Наблюдая окружавшую его жизнь, Пнин, конечно, имел много случаев убедиться в трагической судьбе крепостных, получивших образование и оставшихся бесправными рабами.

В своем решении крестьянского вопроса Пнин не только оказался на десять голов выше либеральных краснобаев, но и поднялся над ограниченностью западно-европейских просветителей, игнорировавших реальные, насущные интересы народных масс. Ведь даже Руссо доказывал, что психологическое «освобождение» раба должно предшествовать его социальному и политическому освобождению. В недвусмысленных высказываниях Пнина по данному вопросу нельзя не видеть влияния идей Радищева — единственного в свое время мыслителя и революционного деятеля, безоговорочно вставшего на защиту интересов закрепощенного крестьянства.

Тем самым определяется место Пнина в истории русской общественной мысли и литературы как представителя и проводника радищевской традиции. При всей умеренности и половинчатости своих практических выводов, не будучи революционером, отвергая мысль о насильственном уничтожении рабства и самодержавия, оставаясь на почве защиты сословных привилегий, он вдохновлялся проповедью Радищева как в своей обличительной критике крепостничества, так и в обосновании гражданских и экономических прав крестьянства.

При этом не следует забывать, что и сам Радищев, размышляя о путях и средствах ликвидации крепостничества, допускал возможность «постепенного освобождения» крестьян по инициативе самого правящего класса. Конструктивные предложения Пнина вполне согласуются с радищевским «Проектом в будущем» («Путешествие», глава «Хотилов»), где намечены этапы такого «постепенного освобождения»: «Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего... Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обрабатываемой, должны они иметь собственностию... Приобретен-

ное крестьянином имение ему принадлежать долженствует; никто его оного да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звание гражданина... Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную... За сим следует совершенное уничтожение рабства». [119]

Но мысль Радищева шла дальше и глубже. По мере того как он терял веру в «мирное» освобождение «сверху», он убеждался в необходимости и закономерности революционного решения крестьянской проблемы, «надежду полагал на бунт от мужиков» (как верно подметила Екатерина II) и пришел к окончательному выводу в знаменитом заключении главы «Медное», что свободы ожидать дóлжно не от благих советов народолюбцев, «но от самой тяжести порабощения». Подняться на такую высоту политической мысли, сделать такие революционные выводы Пнин не сумел, да и не мог в силу ограниченности своего мировоззрения (не говоря уже о том, что он не обладал радищевским темпераментом борца-революционера). И все же у нас есть достаточные основания считать его одним из преемников Радищева в решении главной задачи общественно-исторического развития России — уничтожения крепостного права.

Среди ближайших преемников Радищева не было ни одного, кто мог бы хотя относительно стать вровень с ним, так что не приходится мерить их на радищевский аршин. Правда, среди них был В. В. Попугаев — самый последовательный из радищевцев, но его основные публицистические работы в свое время не дошли до читателя. Именно Пнину, писателю авторитетному и влиятельному, выпало на долю остаться в русской литературе 1800-х годов наиболее заметным представителем «радищевского направления».

Социальная критика Пнина не осталась втуне: она произвела сильное впечатление на его современников, ее безусловно должны были учитывать деятели освободительного движения последующей эпохи — декабристы. В этой связи любопытно и поучительно сличить «Опыт о просвещении» с основным социально-политическим документом декабризма — «Русской правдой» П. И. Пестеля. Здесь обнаруживаются разительные соответствия, свидетельствующие

прежде всего об единых истоках русской прогрессивной общественной мысли, но не исключающие также возможности и непосредственного знакомства Пестеля с книгой Пнина.[120]

Вторая половина «Опыта», посвященная непосредственно вопросу о просвещении, представляет значительно меньший исторический интерес. Здесь Пнин возвращается к консервативно-сословной точке зрения, к своей исходной мысли о «равных правах» и «неодинаковых преимуществах». Он постулирует всеобщее *право* на обучение, но устанавливает различные «степени просвещения» применительно к каждому из четырех сословий, существовавших в России.

При этом Пнин всецело остается во власти абстрактной нормативной морали просветителей. Первейшую задачу предлагаемой им «системы образования» он видит во внушении людям общественных «добродетелей» — с тем, «дабы граждан сделать *наперед добродетельными*, а потом уже *просвещенными*». Он выбирает нормативные моральные категории в качестве «исключительных добродетелей» каждого сословия, «из круга коих не должно оно выходить». Для крестьянства таким «нравственным уставом» должны быть «трудолюбие и трезвость», для мещанства (под которым Пнин разумеет «вообще средний род людей в России») — «исправность и честность», для дворянства — «правосудие и всегда готовое пожертвование собою пользам отечества», для духовенства — «благочестие и примерное поведение».

Пнин подробно аргументирует, почему именно эти качества должны составлять «нравственный устав» для того или иного сословия. Наиболее существенны его рассуждения относительно дворянских «добродетелей». Это — целый моральный кодекс, которым должен руководствоваться «истинно просвещенный» дворянин. На первое место Пнин ставит правосудие, потому что дворянам доверена жизнь и судьба крепостных крестьян — «подобных им человеков, подобных им членов общества». Тем самым на дворян возложены особенно высокие моральные обязанности. И Пнин обращается к ним с горячим словом убеждения: «Величие души должно быть вашим украшением... Дворяне! возлюбите правосудие, наблюдайте его; да будет оно любезней-

шим чувством вашим в рассуждении подвластных вам. Знайте, что расстояние, между вас и ими находящееся, разделяет только два сердца, что природа никогда не теряет своего владычества и что ваше завсегда уступить ему должно. Знайте, что их покой есть ваше счастие, их счастие — ваша слава, их к вам любовь — ваше бессмертие!»

Дворянин обязан преисполниться сознанием своего патриотического долга: раз он пользуется «отличнейшими преимуществами в обществе», отечество может требовать от него «более услуг, более пожертвований», нежели от других. Он должен «поставлять главною целию своею любовь к общему добру, отдалять, истреблять все противящееся оному и питать в груди своей сей благородный жар, сей жар, который служит источником всех великих деяний». Однако, — замечает Пнин, — «к несчастию, у нас, как и везде, дворян по имени едва ли не больше, нежели дворян по сердцу или по достоинствам душевным». И далее он резкими чертами набрасывает обобщенный портрет невежественного и подлого крепостника: «Но такой дворянин, который породою своею, а не числом оказанных им отечеству услуг доказывает свое превосходство, такой дворянин, который в достоинстве предков своих, а не в своих собственных поставляет всю свою знаменитость, такой дворянин, который, заключась в самого себя, ненавидя истины, насмехаясь над добродетелью и имея подлую душу, думает посредством богатства своего иметь право на почтение к себе других, — такой дворянин совершенно противоречит сему названию, доказывает презрительное свое невежество, свою тщету и наглую надменность».

Когда каждому сословию, — пишет Пнин, — будут «внушены» свойственные ему добродетели, тогда будет положено «твердое основание, на котором должно воздвигнуто быть величественное здание просвещения гражданственного», а поскольку сословия «различны по своим добродетелям», постольку же «должны они различествовать между собою как в степенях, так и в образе своего просвещения». Таким абстрактно-рационалистическим путем Пнин приходит к доказательству, что каждый человек «должен иметь просвещение, соответственное состоянию, в котором он находится, ремеслу, которым он занимается, и роду жизни, который он ведет». Крестьяне, мещане, дворяне, духовные должны

обучаться в «соответственных их званию училищах», потому что каждый человек должен получить не общее образование, а «нужные познания, дабы приличным образом исполнять должности, для которых он призван в общество».

В порядке конкретизации этих общих положений Пнин разработал подробное «Руководство к просвещению главнейших государственных сословий в России». Руководство это не является плодом самостоятельной мысли Пнина: он положил в основу его «Проект закона о народном учении» Ж.-А. Шапталя, в котором нашла свое выражение самая идея «неравенства степеней учения» для различных классов общества.[121]

План Пнина предусматривал определенный круг учебных занятий для каждого сословия. Так, например: поскольку «земледелие есть единственная цель земледельца, то весьма естественно, чтобы и учение его не на иной какой предмет обращено было, как на предмет, сему предназначению его соответственнейший. Словом, земледельца должно обучать земледелию» (в двухклассных приходских училищах). Для «среднего рода людей» Пнин рекомендовал заводить низшие («мещанские») и высшие («купеческие или коммерческие») училища.

Что касается просвещения дворян, то в этой части Пнин подверг основательной критике постановку учебного и воспитательного дела в кадетских корпусах, где детей донимают шагистикой, вместо того чтобы учить «существеннейшим наукам», настаивал на необходимости преподавания юридических наук, «особливо учения отечественным законам», и предлагал учредить юнкерские школы в Москве, Казани и Вильне. Вообще же, как полагал Пнин, дворянское воспитание в России «отдалено от настоящего предмета»: «Юношество учится, а не воспитывается». В этой связи он ссылался на «полезную» книгу А. Ф. Бестужева («Опыт военного воспитания относительно благородного юношества»), «прекрасно уже разрешившего вопрос, в чем должно состоять просвещение дворян». Укажем попутно, что А. Ф. Бестужев в своем трактате также предусматривал различные нормы просвещения и воспитания для различных классов общества, доказывая, что «в нынешние времена невозможно, чтобы всякий разряд общества воспитываем был одинаковым образом», и что «воспитание может быть

повсеместное, но не одинаково; общественное, но не единственно».[122]

Любопытны замечания Пнина относительно духовенства. Он указывает, что многие священники «пребывают в пагубнейшем невежестве» и вместо того, чтобы подавать пример в добродетелях, «предаются постыдным страстям и тем самым подают повод другим к беспорядочной жизни и разврату». Самым решительным образом протестует Пнин против схоластического семинарского образования, которое велось не на русском, а на латинском языке, непонятном народу: «Для чего учить наукам на языке латинском, а не на языке отечественном? .. Равномерно, к чему служит учение мертвым языкам? Не полезнее ли бы было вместо их обучать языкам более употребительнейшим?» Высмеивая «риторические цветки высокопарного слога, который, надутостию своею затемняя ясность мыслей, производит скуку или смех», Пнин особо подчеркивает, что духовенство тем более должно владеть «самым простым, ясным и для всех вразумительным слогом», что ему приходится обращаться «не к ученым, но к народу».

В данном вопросе Пнин безусловно следовал за Радищевым, который считал, что учение должно вестись на родном языке, и в «Путешествии» со всей настойчивостью возражал против латинской схоластики в системе семинарского образования. Устами одного из персонажей своей книги — семинариста — Радищев говорил: «Какое пособие к учению, когда науки не суть таинства, для сведущих латинский язык токмо отверстые, но преподаются на языке народном! .. для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавалися науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных... Как не потужить... что у нас нет училищ, где бы науки преподавалися на языке народном».[123]

На заключительных страницах «Опыта» Пнин ставит вопрос: «что может наиболее споспешествовать просвещению» и «возбуждать дух деятельности»? Самым могущественным средством в этом смысле он считает «поощрение»: «Там, где правительство награждает труды, поощряет дарования, венчает славою патриотические подвиги, покрови-

11 Зак. 1026.

тельствует искусства, художества и науки, там всегда рождаться будут и патриоты, и художники, и ученые, и философы». Он взывает к «мудрости» Александра I, убеждает его «возвратить права разуму гонимому и стесненному, освободить его от уз, злобным невежеством на него наложенных».

Из частных замечаний Пнина заслуживают внимания предложение правительству взять на себя инициативу в деле перевода на русский язык, издания и распространения «необходимейших для нас и лучших иностранных писателей сочинений» и — особенно — весьма знаменательные соображения насчет русского театра. Отмечая большую воспитательную и просветительную роль театра, Пнин говорит, что он «составляет отрасль народного просвещения», и настаивает на передаче управления «публичными театрами» из придворного ведомства в Министерство народного просвещения. Попутно он высказывается о желательности учреждения новых театров «в губерниях», о необеспеченности русских актеров, которые «гораздо ниже иностранных актеров поставлены», о скудости русского репертуара (в последнем случае Пнин предлагал Министерству народного просвещения заказывать переводы полезных пьес, а также «задавать собственным нашим авторам предметы для сочинения театральных пиес»).

Мысли Пнина о судьбах русского театра остались вне поля зрения его историков. Между тем они представляют высокий интерес. Пнин рассматривал театр как могущественное средство нравственного и общественного воспитания в духе передовых идей. «Театр есть не иное что, как *школа нравов*», — писал он. В эпоху засилья иностранного развлекательного репертуара он с замечательной энергией выступил в защиту русского национального театрального искусства: «Скажу как россиянин, любящий свое отечество, что нельзя без чувствительнейшего прискорбия смотреть на состояние, в котором находится отечественный театр наш. Не скрою того, что лучше желал бы я, дабы русский театр, при всех своих недостатках, предпочтен был всем прочим театрам и чтоб лучший из актеров и лучшие из актрис наших противу лучшего из актеров и актрис французских если не вдвое, то, по крайней мере, равное бы с ними получали жалованье... Такое распоряжение послу-

жит великим для русских актеров *поощрением*. Безбедность их состояния извлечет их из уныния, поселит в них желание превосходить друг друга и таким образом, поставя их на путь славы, даст им новую душу для жизни театральной».

Вообще в «Опыте о просвещении» Пнин твердо стоит на почве защиты интересов русской национальной культуры. Он написал свою книгу для того, чтобы показать пути и средства к «возрождению *народного духа*». В свете этой четкой формулировки полностью раскрывается идейный смысл того поистине пламенного патриотического воодушевления, с каким излагал он свои заветные мысли о «дражайшем отечестве» — «благословенной России» — и о русском народе. Он говорил, что «все минуты жизни россиянина должны быть беспрерывными пожертвованиями для благ России, для счастья отечества», и судя по тому, что мы знаем о Пнине, это убеждение было нормой и правилом его общественного поведения.

«Опыт о просвещении» (равно как и другие произведения Пнина) рекомендует его как человека, ревновавшего о величии и славе России и с глубочайшей болью переживавшего все тяжелое и мрачное, что было в окружавшей его действительности и что оскорбляло в нем чувство национального достоинства. «Какой россиянин, отечество свое любящий, — писал он, — может равнодушно смотреть на печальные картины, взору его представляющиеся! Как возможет он утаить горестные чувствования, исполняющие сердце его!»

Обостренное национальное чувство Пнина не имеет ничего общего с казенным «патриотизмом» присяжных бардов самодержавия и крепостничества. Любовь к родине естественно и нерасторжимо сочеталась в его сознании с ненавистью к деспотизму, ко всяческому насилию и угнетению. Это было глубоко прогрессивное и демократическое в своей основе чувство гордости за русский народ, за его труд, подвиги и культуру, за тот «народный дух», о возрождении которого мечтал Пнин. Перед этим всепоглощающим чувством отступают на второй план его сословные заблуждения. Нельзя не оценить по достоинству благородную веру Пнина в народ («народ никогда не умирает») и в будущее («писатель... никогда не должен терять из виду буду-

щее»). Эта вера позволила ему смотреть далеко вперед, внушила ему твердое убеждение в том, что России суждено сыграть великую роль в исторической жизни всего человечества: «Я уверен, что если Россия получит свойственное ей образование, то есть когда физическим ее силам будут соответствовать силы нравственные, тогда держава сия утвердит благоденствие целого мира».

В общественно-литературной деятельности Пнина была еще одна замечательная черта: вся она проникнута духом страстного протеста против космополитизма, укоренившегося в быту и культурном обиходе верхов дворянского общества. В «Опыте о просвещении» Пнин доказывал, что главная цель воспитания, просвещения состоит в том, чтобы «приуготовить для России россиян, а не иностранцев, дабы приуготовить полезных сынов отечеству, а не таких людей, которые бы гнушались тем, что есть отечественное, и презирали бы свой собственный язык». С гневом и возмущением говорил Пнин о тех, кто раболепствовал перед чужим, оставаясь позорно равнодушным к своему, отечественному: «Нет, такие люди недостойны называться россиянами, недостойны украшаться славою, с сим именем сопряженною. Сердце россиянина должно исполнено быть благородной гордости. Россиянин должен чувствовать превосходство свое перед всеми гражданами чуждых стран».

Эти прямые слова доныне сохранили свою силу и убедительность, лишний раз свидетельствуя о том, что вся передовая русская литература и общественная мысль вдохновлялись высокими идеями прогрессивного патриотизма. В истории борьбы русских писателей и мыслителей за национальное достоинство и самобытность русской культуры Пнину по праву принадлежит заметное место; и в этом отношении он продолжал дело Радищева и явился одним из предшественников декабристов, Грибоедова, Пушкина.

7

Запретив «Опыт о просвещении», власти предержащие попытались запечатать уста вольнолюбивому писателю, смело высказывавшему свои убеждения. Однако из попытки их ничего не вышло. Пнин тяжело переживал

запрещение книги, на которую возлагал много надежд, но цензурные преследования нисколько не надломили его, не принудили его к молчанию, а, напротив, побудили к новым трудам. Именно в последний год жизни литературная деятельность Пнина становится особенно интенсивной.

Отказавшись почему-то от мысли издать собрание своих стихотворений («Моя лира») и «склонясь на просьбы журналистов», он чаще стал печатать стихи в некоторых повременных изданиях («Северный вестник», «Журнал российской словесности», «Журнал для пользы и удовольствия»), трудился над новым публицистическим сочинением «О возбуждении патриотизма» (если верить Н. Гречу, оно было закончено полностью) и в последние месяцы жизни писал драму «Велизарий» (написано было только первое действие). Кроме того, он предполагал с 1806 года издавать собственный журнал, под знаменательным заглавием: «Народный вестник», и даже составил его программу, отличавшуюся большим разнообразием. Близкий Пнину Н. П. Брусилов писал, что «Народный вестник», «если судить по программе и талантам издателя... конечно, был бы лучшим произведением нашей словесности и далеко бы оставил за собою все журналы, доселе у нас бывшие». Также и А. Е. Измайлов после смерти Пнина восклицал с сожалением: «Ах! для чего он не успел окончить свою славу Народным вестником».[124]

Важно отметить, что после катастрофы, постигшей «Опыт о просвещении», Пнин укрепился в своих оппозиционных настроениях. Цензурные преследования безусловно поспособствовали прояснению его политического зрения: он начал терять утешительную веру в благие намерения Александра I. Трудно, конечно, предугадать, какое направление принял бы его дальнейший писательский путь, проживи он дольше, но не приходится сомневаться, что в обстановке аракчеевского режима он должен был убедиться в окончательном крушении своих надежд и нашел бы место среди участников передового общественного движения 1810-х годов.

Во всяком случае, некоторые из дошедших до нас последних произведений Пнина ясно говорят о его разочаровании в «либеральной» политике Александра, фальшь кото-

рой к тому времени становилась все более очевидной. Одним из таких произведений является остроумный диалог «Сочинитель и Цензор», снабженный ироническим подзаголовком: «Перевод с манжурского». Напечатан диалог был уже после смерти Пнина в «Журнале российской словесности» (1805, ч. III, № 12), со следующим примечанием издателя (Н. Брусилова): «Вот одно из последних сочинений любезного человека, которого смерть похитила рано и не дала ему оправдать на деле ту любовь к отечеству, которая пылала в его сердце. Счастлив тот, который и за гробом может быть любим!»

Диалог написан на тему о правах цензора и о пределах его вмешательства в авторскую волю. Содержание его вкратце сводится к следующему. Писатель приносит цензору свое сочинение под названием «Истина». Тот испуганно восклицает: «Истина? О! ее до́лжно рассмотреть, и строго рассмотреть». — «Вы, мне кажется, излишний берете на себя труд, — отвечает Цензору Сочинитель. — Рассматривать истину? Что это значит? Я вам скажу, государь мой, что она не моя и что она существует уже несколько тысяч лет. Божественный *Кун* (Конфуций) начертал оную в премудрых своих законах. Так говорит он: «Смертные! любите друг друга, не обижайте друг друга, не отнимайте ничего друг у друга, просвещайте друг друга, храните справедливость друг к другу, ибо она есть основание общежития, душа порядка и, следовательно, необходима для вашего благополучия». Вот содержание моего сочинения». Однако законы Куна повергают Цензора в еще больший страх, и, пробегая глазами листы, он бормочет: «Да... ну... это еще можно... но этого... этого... никак пропустить нельзя!»

Далее Сочинитель и Цензор обмениваются такими репликами: «Сочинитель. Для чего же, смею спросить? — Цензор. Для того, что *я не позволяю* — следовательно, это непозволительно. — Сочинитель. Да разве вы больше, г. цензор, имеете права не позволить печатать мою *Истину*, нежели я предлагать оную? — Цензор. Конечно, потому что я отвечаю за нее. — Сочинитель. Как? вы должны отвечать за мою книгу? А я разве сам не могу отвечать за мою *Истину*? Вы присваиваете себе, государь мой, совсем не принадлежащее вам право. Вы не можете отве-

чать ни за образ мыслей моих, ни за дела мои; я уже не дитя и не имею нужды в дядьке».

Кстати сказать, эти слова Сочинителя ближайшим образом соответствуют тому, что говорил о цензуре Радищев в «Путешествии» (глава «Торжок»): «Цензура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, от чего нередко бывают кривые ноги» и т. д.[125]

Далее у Пнина Цензор утверждает, что, в противоположность Сочинителю, он не может «заблуждаться», так как руководствуется уставом, и, наконец, предлагает Сочинителю издать книгу, выбросив недозволенные места. Тот возражает: «Вы, отнимая душу у моей истины, лишая всех ее красот, хотите, чтобы я согласился в угождение вам обезобразить ее, сделать ее нелепою? Нет, г. цензор, ваше требование бесчеловечно; виноват ли я, что истина вам не нравится и что вы ее не понимаете?» Замечание Цензора, что «не всякая истина должна быть напечатана», вызывает горячую отповедь Сочинителя: «Почему же? Познание истины ведет к благополучию. Лишать человека сего познания значит препятствовать ему в его благополучии, значит лишать его способов сделаться счастливым... Притом же истинно великий муж не опасается слушать истину, не требует, чтобы ему слепо верили, но желает, чтобы его понимали».

Любопытно, что Пнин и в данном случае устами Сочинителя апеллирует к «священному праву собственности»: «*Истина* моя стоила мне величайших трудов; я не щадил для нее моего здоровья, просиживал для нее дни и ночи, словом, книга моя есть моя собственность. А стеснять собственность, как говорит премудрый *Кун*, никогда не дóлжно, ибо через сие нарушается справедливость и порядок».

Непримиримость взглядов Сочинителя и Цензора выражена в диалоге следующим образом: «Ц е н з о р (*гордо*). Я говорю с вами как цензор с сочинителем. С о ч и н и т е л ь (*с благородным чувством*). А я говорю с вами как гражданин с гражданином. Ц е н з о р. Какая дерзость!» В заключение Сочинитель жалуется «благодетельному *Куну*» на вопиющее нарушение законов и справедливости

и, прощаясь с Цензором, говорит: «Знайте, однакож, что *Истина* моя пребудет неизменно в сердце моем, исполненном любви к человечеству и которое не имеет нужды ни в каких свидетельствах, кроме собственной моей совести».

Очевиден злободневный смысл этой живой сценки. Пнин откликнулся ею на «либеральный» цензурный устав 1804 года, одной из первых жертв которого явился его «Опыт о просвещении». Писатели консервативного и либерального толка на все лады восхваляли этот устав,[126] Пнина же он совершенно не удовлетворил. Он возражает против самого принципа предварительной цензуры, протестует против своевольного вмешательства цензора в работу писателя, настаивает на том, что писатель сам должен нести ответственность за свои мысли и мнения.

Диалог был написан, конечно, по личному поводу и представляет собою еще один ответ Пнина на запрещение «Опыта» (кроме официальной жалобы, поданной в Главное правление училищ). Это видно как из содержания диалога, так и из отдельных деталей. В частности, обращенные к Цензору слова Сочинителя о том, что «его засвидетельствование можно назвать ничего не значущим, ибо *опыт* показывает, что оно нисколько не обеспечивает ни книги, ни сочинителя», явно имеют в виду историю с «Опытом о просвещении», сперва дозволенным цензурою, а потом запрещенным (самое слово «опыт» играет здесь семантически двупланную роль).

О разочаровании Пнина в александровском режиме свидетельствуют также некоторые другие его произведения. Таково, например, сатирическое стихотворение «Карикатура» (с защитным подзаголовком: «Подражание английскому»), вычеркнутое цензором из июльской книжки «Журнала российской словесности» за 1805 год:

«Что это, кумушка? — сказал медведь лисице, —
Смотри, пожалуй: Лев наш едет в колеснице,
И точно на таких, каков и сам он, львах!
Неужто же пошли они в упряжку сами,
Неужто силою? Они ведь тож с кохтями?» —
«Ты слеп стал, куманек: он едет на ослах!»[127]

Стихотворение это содержит совершенно прозрачный намек на Александра I и его министров, в числе которых

были люди весьма недалекого ума, вроде министра юстиции кн. Лопухина.

Характерна для умонастроений Пнина в последний год его жизни и та тема, которую избрал он для незаконченной им драмы. Тема Велизария в литературе XVIII века приобрела отчетливый политический смысл — особенно в знаменитом романе Мармонтеля, в котором Велизарий был изображен как гражданский герой, образец мужества, великодушия и благородства, ставший жертвой вероломства и гонений императора Юстиниана. Роман Мармонтеля пользовался широкой и прочной популярностью в русском обществе (переводы его выходили неоднократно — в 1768, 1769, 1773, 1785, 1802, 1803 и 1804 гг.) и воспринимался как протест против самовластия. «Ни одно сочинение не заслужило у нас такого отличия, как политический и нравственный роман г. Мармонтеля», — писал И. И. Дмитриев, отмечая, что многие страницы в романе «дышат либерализмом, ненавистью к ласкателям и самовластию».[128] Реакционеры усматривали в этой книге «разрушение божественного закона». Не приходится сомневаться, что и в драме Пнина образ Велизария был бы истолкован в духе освободительных идей.[129] Если учесть, что Пнин, судя по «Опыту о просвещении», живо интересовался судьбами русского театра и, в частности, проблемой обновления его репертуара, он, конечно, имел в виду практически решить эту проблему в своей драме; тем более досадно, что замысел его остался незавершенным.

С увлечением предавшись литературным трудам, Пнин вместе с тем продолжал службу в департаменте Министерства народного просвещения (6 февраля 1804 года «за отличное усердие» он был награжден чином надворного советника). В середине 1805 года он подал прошение об отставке, по одним данным — по причине болезненного своего состояния, по другим — желая целиком посвятить себя литературной деятельности.

Во «всеподданнейшем» прошении от 21 июля 1805 года он писал: «Исполнен будучи ревности к службе, я бы желал продолжать оную до конца моей жизни, но болезнь моя лишает меня сей способности вопреки моему усердию. Почему всеподданнейше прошу, дабы... повелено было сие мое прошение принять и меня от службы с следующим

чином уволить, из получаемого ныне мною жалованья какую-либо часть определить мне в пенсион и выдать мне единовременно годовое мое жалование». По докладу товарища министра народного просвещения М. Н. Муравьева 12 августа 1805 года Пнин был уволен в отставку, «с пожалованием следующего чина (коллежского советника), с обращением третьей части жалованья в пенсион и с выдачей годового оклада единовременно». В указе Александра I министру финансов гр. А. И. Васильеву от 19 августа сказано, что Пнину назначается пенсион и выдается единовременная денежная награда «в пособие недостаточного состояния его».[130]

Однако Пнину так и не довелось воспользоваться пожалованными ему наградой и пенсионом: только 18 сентября Экспедиция государственных расходов запросила департамент Министерства народного просвещения о том, где желает Пнин получать деньги.

Запрос этот запоздал, ибо как раз накануне, 17 сентября, Пнин умер.

О личной жизни Пнина, о его семье ничего не известно, кроме того, что в 1803 году у него родился сын.[131] Жена Пнина умерла, повидимому, раньше мужа; во всяком случае, она не присутствовала при его кончине. Может быть, ее памяти он посвятил прочувствованное стихотворение «Плач над гробом друга моего сердца»:

Увы! свершилось всё — и смертной той уж нет,
Которая мне в рай преобращала свет.
Покойся, милая! Спи в гробе сем, Анета,
Уж более тебя не тронут бури света.
Удары счастия, что в жизни нас разят,
Покоя твоего уже не возмутят;
А я, с пленяющим навек расставшись взглядом,
Я медленным томлюсь и неисцельным ядом...
О, друг души моей! когда то справедливо,
Что сердце чувствовать по смерти станет живо
Всё то, что чувствует во время жизни сей,
То знай, что вечность лишь — предел любви моей.

Известно, что последние годы жизни Пнин провел в полном одиночестве. Сын его, очевидно, воспитывался на стороне. При нем был только «служитель» — какой-то немец Годфрид Буш. Имущество Пнина после его смерти было передано в дворянскую опеку.

Трудная жизнь, тяжелые душевные переживания, неудача с «Опытом о просвещении», цензурные преследования — все это, вероятно, подорвало и без того слабое здоровье Пнина. У него развилась жестокая чахотка.

Один из современников запечатлел в воспоминаниях образ Пнина. Он «был невысок ростом, худощав, притом очень жив в движениях своих, любезен и учтив в обращении со всеми, остроумен и добродушен. Все знавшие его были к нему искренно привязаны, и смерть его жестоко поразила друзей его, приятелей и просто знакомых. Не знаем, удалось ли бы ему сделать что-либо великое и прочное: здоровье его было слабое и шаткое. Пылкая и деятельная душа рвалась из слабой оболочки».[132]

В кругу литературных друзей и соратников Пнина преждевременная смерть его была воспринята как чрезвычайно тяжелая утрата. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств посвятило памяти своего президента два специальных заседания — 20 сентября и 7 октября 1805 года, на которых выступили с речами В. В. Попугаев, Д. И. Языков, А. Е. Измайлов и Ф. И. Ленкевич, Н. П. Брусилов огласил некрологическую статью «О Пнине и его сочинениях», а Н. А. Радищев, Н. Ф. Остолопов, А. А. Писарев и те же Измайлов и Ленкевич читали стихи на смерть Пнина. «С каким рвением члены друг перед другом старались почтить память несчастного Пнина, тщились изобразить нелестную скорбь о потере невозвратной!» — писал по поводу этих заседаний Брусилов.[133] Кроме того, на смерть Пнина откликнулись стихами К. Н. Батюшков, С. Н. Глинка и А. Н. Варенцов. Все эти стихи (за исключением стихотворения Ленкевича) и некрологическая статья Брусилова тогда же появились в печати, — тем самым смерть Пнина стала предметом общественного внимания.

Члены Вольного общества, поминая Пнина, выражали уверенность в том, что потомство не забудет и по достоинству оценит его, «соорудит ему памятник тверже всякого металла и камня». Впрочем, они постановили соорудить ему также и надмогильный памятник «из металла и камня» с краткой надписью, предложенной А. Х. Востоковым: «Пнину — друзья». Брусилов в своей некрологической статье подчеркнул нарочитый смысл этого проекта, сводив-

шийся к тому, чтобы смерть частного человека представить фактом общественного значения: «Сей будет единственный памятник, воздвигнутый *целым обществом одному человеку*». В траурном заседании 20 сентября была объявлена подписка на сооружение памятника; в бумагах Вольного общества сохранился лист с именами 18 человек, сделавших пожертвования для этой цели. Тогда же членам-художникам было предложено приготовить эскизы памятника и представить их на рассмотрение и утверждение Общества. В октябре 1805 года И. И. Гальберг представил сделанные им рисунки, однако они не были утверждены Обществом. Второй проект был заказан И. И. Теребеневу, который только в марте 1807 года исполнил возложенное на него поручение. Эскиз Теребенева был утвержден, и ему же было поручено отлить бюст Пнина «с доставленной из Общества модели», что и было исполнено им еще несколько лет спустя.[134] Так почти целое десятилетие тянулось дело о памятнике Пнину и, наконец, заглохло окончательно: «памятник остался одним из тех булыжников, которыми, по словам пословицы, вымощен ад».[135]

Но в свое время, сразу же после смерти Пнина, друзья писателя сделали многое для прославления и популяризации его личности и дела. Организованные ими поминки по Пнину вылились в открытую идейную манифестацию, которая приобрела известное общественное значение. Для членов Вольного общества и некоторых примыкавших к ним литераторов смерть Пнина послужила поводом к тому, чтобы демонстративно высказать свои взгляды на «гражданственное» назначение писателя, — точно так же как в 1802 году они (в том числе и сам Пнин) пытались сделать это в связи с кончиной Радищева. Политическая репутация Радищева и особые обстоятельства его смерти не позволили им тогда высказаться в должной мере; теперь же у них появилось больше легальных возможностей для подобного рода манифестации. Этим объясняется единство общего идейного смысла и целенаправленности их дружных откликов, в свете которых поминки по Пнину представляются существенным эпизодом идейно-литературной борьбы, происходившей в 1800-е годы.

Пнин был провозглашен *«другом человечества»*, «поэтом-философом» и *«поэтом истины»*, «не боявшимся

правду говорить», возвышавшим *«неробкий голос»* в защиту достоинства, свободы и прав человека, образцом *писателя-гражданина*, «добродетельного и просвещенного», самоотверженно трудившегося для *«пользы народной»* и блага родины, но вместе с тем — «несчастного», *павшего жертвой социальной несправедливости.* Такова общая идейно-политическая установка всех поминальных речей и стихотворений. Все они выдержаны, так сказать, в одном тоне.

Д. И. Языков говорил в своей речи: «Несчастие преследовало [Пнина] с самой той минуты, как увидел он свет... без родителей, без родственников — жил он один во всей вселенной. Отечество было его родителем, друзья — родственниками: сердце его билось для них горячейшею любовию. Нет более Пнина, но память его останется незабвенною: она будет чтиться друзьями его, она будет благословляться теми несчастными, кои невинным образом осуждаются предрассудками и мнением при самом рождении своем».

Тот же образ поэта-страдальца, жертвы общественных предрассудков, «зависти», «клеветы» и «гонения людей» воссоздают стихи С. Глинки:

Оставив бытие, ты перестал страдать...
Покойся! для души чувствительной и нежной
Терпеть и бедствовать есть жребий неизбежный.
Покойся! в мире сем нигде покоя нет.
Шаг к скорби был тебе — шаг первый в этот свет!

«Несчастный наш Пнин!.. — восклицал и А. Е. Измайлов. — Я любил его, да и можно ли было не любить человека с редкими дарованиями, с отличными сведениями и с превосходным сердцем? Все сии достоинства украшали Пнина... Какой патриотизм воодушевлял почти все его сочинения! Какими сильными чертами пламенное его перо изображало права и благо народа!.. О, смерть, смерть! для чего не щадишь ты ни друзей просвещения, ни друзей человечества? Разве нет на земле злобных невежд, извергов, утесняющих невинность, над которыми бы ты могла насытить наперед свою ярость?..»

В своих стихах Измайлов ставит Пнина в пример и самому себе и будущим поколениям:

Твое век имя будет славно
И память вечно драгоценна
Для нас и для потомков наших!
Когда писать что должен буду
Для пользы я моих сограждан,
Тогда, о Пнин, мой друг любезный!
Приду я на твою могилу
И, тень твою воображая,
Твоим исполнясь вдохновеньем,
Писать тут лучше, лучше стану.
Когда же мне судьба судила
Еще прожить на свете долго
И небо мне сынов дарует,
То им доставлю воспитанье
По правилам, изображенным
В твоем полезнейшем журнале.
Тебя в пример им ставить буду...

Н. П. Брусилов называет Пнина «защитником угнетенных, утешителем несчастных»: «Пнин был рожден поэтом истины. Лира его не гремела похвал лести; он хвалил иногда, но самая похвала его имела на себе печать истины... Я оплакиваю в нем не поэта славного, но человека доброго, друга истинного... Ах! титло *доброго* есть первейшее и достойнейшее человека!.. Будучи весьма небогат, он любил помогать несчастным. С жаром друга человечества всякую скорбь угнетенного людьми или судьбою человека брал он близко к сердцу своему и не щадил ни трудов, ни покоя, ни иждивения для облегчения судьбы несчастных».

С Брусиловым перекликается юный Батюшков:

Пнин чувствам дружества с восторгом предавался;
Несчастным не одно он золото дарил...
Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.
Пнин был согражданам полезен,
Пером от злой судьбы невинность защищал,
В беседах дружеских любезен,
Друзей в родных он обращал.

А. Варенцов восхваляет Пнина за то, что он «ценил истину превыше всего на свете; вся жизнь его была как бы *отливком* сего качества». Н. Остолопов подчеркивает гражданское мужество Пнина: :

Мы будем помнить, как старался
Он просвещенье ускорить
И что нимало не боялся
В твореньях правду говорить.

Об этом же говорит Николай Радищев, убежденный, что имя Пнина навсегда останется в благодарной памяти потомства:

Ты с жизнию вкусил печали,
Но твердо их умел сносить,
Тебя любили, почитали,
Несчастных ты умел любить...
На что ж труды твои служили?
Ты сам стал жертвой смерти злой.
Нет, нет, они соорудили
Тебе тот памятник святой,
Который время не свергает,
Что крепче мрамора стоит;
Пнина всяк добрым называет,
И всякий — прах его почтит.

Единство тона и идейно-смыслового содержания, воплощенное во всех этих отзывах и характеристиках, создает целостный образ *поэта-гражданина*. Это, пожалуй, первая в русской литературе осознанная попытка создания такого образа — принципиально нового, всеми своими чертами противостоящего закреплявшемуся в практике карамзинистов образу поэта-эпикурейца, «любимца муз» и «баловня счастья». В этом образе оттенены и выделены черты гражданского *героя*, человека, отличающегося стойкостью и чистотой своих убеждений, человека, чья духовная сила торжествует над властью неблагоприятных жизненных обстоятельств. Даже тема «дружбы», столь характерная для литературной практики карамзинистов, приобретает в данном случае совершенно иной смысл: это уже не дружба за «чашей вина», но дружба во имя общих духовных целей, во имя искания некоей общей «истины».

Образ поэта-гражданина приобретает конкретность и жизненную убедительность, обогащаясь подробностями, находившими опору в событиях личной жизни «несчастного Пнина». Здесь перед нами уже — один из первых опытов создания «литературной биографии». Отсюда историко-литературная перспектива ведет к усложненному и программно заостренному образу поэта-гражданина в декаб-

ристской поэзии. Нужно добавить, что первоначальному оформлению этого образа, которое находим мы в стихах на смерть Пнина, значительно способствовала его собственная поэзия. Она давала дополнительные основания для подобного идейного осмысления его человеческого и писательского облика, поскольку (как увидим в своем месте) проблема психологического типа, воплощенного в лирическом «я», уже решалась Пниным, и именно в таком духе.

Глава вторая

ВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ, НАУК И ХУДОЖЕСТВ

Сближение И. П. Пнина с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств и та общественная демонстрация, которая была предпринята участниками кружка в связи со смертью своего президента, — факты вполне закономерные.

Молодые писатели и ученые, объединившиеся в Вольном обществе (если иметь в виду небольшую группу его инициаторов), в самом начале XIX столетия открыто выступили «под знаком Радищева» и представляли в своем лице демократическую оппозицию в тогдашней русской литературе. Деятельность этого кружка имеет весьма существенное значение для правильного понимания русского общественного и литературного процесса во всем его объеме. Именно в связи с деятельностью руководящих участников Вольного общества вопрос о радищевской традиции в литературе и общественной мысли 1800-х годов приобретает конкретный смысл.

В пределах нашей темы заслуживает рассмотрения только первый период деятельности Вольного общества, ограниченный годами 1801—1807. В 1808 году Общество, в результате длительной распри, расколовшей его участников на две антагонистические группы, вступает в период постепенного умирания. Руководство объединением переходит от радищевцев к благонамеренным литераторам и ученым. При новых руководителях Общество теряет все характерные черты своего первоначального идеологического облика.

1

Вольное общество любителей словесности, наук и художеств образовалось в Петербурге 15 июля 1801 года и открыло свои заседания первоначально под названием Дружеского общества любителей изящного. Учредителями его были несколько молодых людей, только что выпущенных из гимназии, находившейся при Академии наук: И. М. Борн, В. В. Попугаев, В. В. Дмитриев, А. Г. Волков, В. И. Красовский и М. К. Михайлов.[1] Из них Борн и Попугаев «подали первую идею Общества» и в течение некоторого времени были его руководителями.

В 1800-е годы признанным литературным центром России была Москва: там жили Карамзин и Дмитриев — вожди «молодой литературы», там началось возрождение русской журналистики («Вестник Европы»). «До 1812 года и лет десять после средоточием русской литературы была Москва, — писал современник, — и те писатели, которые не жили в ней постоянно... примыкали к ней же и печатали свои произведения больше в московских изданиях».[2] Тем большего внимания заслуживает родившаяся в среде петербургских академических гимназистов идея организации учено-литературного общества.

Ввиду полного отсутствия каких-либо документальных данных трудно сказать, что именно побудило неоперившихся юношей, только что вышедших из стен закрытого учебного заведения, составить подобное объединение. Н. И. Греч, вступивший в Вольное общество значительно позже, но хорошо осведомленный о первых годах его существования, справедливо связывал идею организации Общества с оживлением в литературе, которым ознаменовалась ликвидация павловского режима.

По словам Греча, в 1801 году «вся Россия была в поэтическом упоении»: «Вновь раздался голос литературы... Молодые люди старались опередить друг друга на этом поприще; возникли юные блистательные таланты: Жуковский, Батюшков, кн. Вяземский, Гнедич. Заговорили и прежние: Крылов, Озеров, Шишков, Пнин, кн. Шаховской. Появились журналы, альманахи, критика и полемика...»; «дремавшие дотоле юношеские силы пришли в брожение. Несколько молодых людей, получивших образование в Ака-

демической гимназии в С.-Петербурге, пригласив еще посторонних любителей словесности, задумали составить литературное и ученое общество». [3]

Также и другой член Вольного общества, А. Ф. Мерзляков, вспоминал впоследствии: «В сие время блистательно обнаружилась охота и склонность к словесности во всяком звании... Сей дух, быстрый и благотворительный, произвел весьма многие частные ученые собрания литературные, в которых молодые люди, знакомством или дружеством соединенные, сочиняли, переводили, разбирали свои переводы и сочинения и таким образом совершенствовали себя на трудном пути словесности и вкуса. В Петербурге и Москве существовали таковые общества, не думающие ни об известности своей, ни о выгодах, но живущие единственно удовольствиями, внутри самих себя заключенными, одним словом наслаждениями учения; говорю о собраниях дружеских потому особенно, что я сам во многих из них участвовал... Пламенная любовь к литературе, простые, искренние расположения друг к другу, свобода, сладостная беспечность, любезная мечтательность, взаимное доверие, любовь к *человечеству*, ко всему изящному, стремительность к добру невинная, охотная, бескорыстная, даже исступленная — вот что было жизнию наших собраний, наших разговоров, наших действий!» [4] (Мерзляков имел в виду, вероятно, Вольное общество и московское Дружеское литературное общество братьев Тургеневых и Кайсаровых).

Академическая гимназия, из стен которой вышли учредители Вольного общества, была основана еще в 1726 году (это была первая в России попытка создания средней общеобразовательной школы нового типа) — с целью подготовки научных кадров для Академии наук.

В ряду русских учебных заведений XVIII века Академическая гимназия особенно выделялась демократическим составом учащихся. Контингент ее воспитанников в подавляющем большинстве составляли выходцы из низших социальных слоев, из мещанского, «солдатского» и даже крепостного званий. В списках гимназистов за 1790-е годы мы встречаем сыновей канцеляристов и академических мастеровых, лекарей и священников, мелких придворных служащих (камердинеров, художников, певчих, кучеров,

музыкантов и т. д.), ремесленников и, реже, сыновей мелких чиновников недворянского происхождения, военнослужащих «из обер-офицерских детей» и купцов (последних единицы). Как видим, Академическая гимназия на рубеже XVIII—XIX столетий была настоящим гнездом и рассадником разночинцев.

Скудость материалов не дает возможности судить о предметах и методах преподавания в гимназических классах, а также о бытовых условиях, в которых росли и развивались гимназисты. Судя по некоторым косвенным данным, жизнь «казенных» воспитанников, обычно числившихся «пансионерами» кого-либо из представителей царской семьи (кроме них имелись и «своекоштные» воспитанники), была крайне безрадостной. На содержание (обучение, питание и экипировку) «казенного» воспитанника отпускались мизерные суммы; в гимназии царила суровая дисциплина, за малейшее ослушание воспитанник подвергался тяжелому наказанию.

Но, вместе с тем, преподавание наук стояло в Академической гимназии на достаточной по тем временам высоте. Руководство гимназической учебной жизнью осуществлялось Академией наук, бывшей центром научной мысли в России XVIII века. Кадры гимназических преподавателей состояли преимущественно из адъюнктов Академии. Особо отличившиеся гимназисты старших классов награждались званием «академического студента» и допускались в качестве лаборантов и помощников к практической научной работе под руководством виднейших ученых специалистов — академиков. В уставе Академии наук, утвержденном в 1747 году, задачи Академической гимназии были определены следующим образом: «Чтоб число студентов могло всегда наполняться, то учредить гимназию, при которой двадцать человек молодых людей содержать на коште академическом, и годных производить в студенты, а негодных отдавать в Академию художеств».[5]

Большое внимание в плане гимназического преподавания уделялось естественнонаучным дисциплинам. Из названных выше гимназистов — учредителей Вольного общества В. В. Дмитриев работал в области астрономии, А. Г. Волков позже стал адъюнктом химических наук, В. И. Красовский занимался физикой, минералогией и ма-

тематикой; сохранившиеся материалы свидетельствуют также о естественнонаучных интересах В. В. Попугаева. И это обстоятельство важно подчеркнуть, поскольку специальные научные интересы академических гимназистов нашли отражение как в энциклопедической программе занятий Вольного общества, так и в творческой практике иных его участников.

В то же время в Академической гимназии не оставались в пренебрежении и гуманитарные науки. Н. И. Греч отмечал, что учредители Вольного общества «были приготовлены к занятиям литературою строгим учением».[6] Достаточно широкие познания их в области философии, истории, филологии, русской и иностранных литератур свидетельствуют о серьезности полученного ими в Академической гимназии гуманитарного образования. Все они свободно владели французским языком, а иные из них — и немецким, и английским, и итальянским.

В бумагах Академической гимназии сохранился список книг, «отпущенных» в гимназическую библиотеку по распоряжению президента Академии наук кн. Е. Р. Дашковой. Список этот, конечно, не может дать полного представления о составе гимназической библиотеки в целом, но и на основании его можно заключить, что в библиотеке были хорошо представлены отделы истории, классической и новейшей литературы и языкознания. Среди книг в этом списке мы находим и современные русские журналы и труды Вольтера, Лабрюйера, Мармонтеля и других французских авторов, — наряду с «Естественной историей» Бюффона и трактатами Ньютона и Лейбница.

Атмосфера в Академической гимназии была насыщена литературными интересами. Все шесть учредителей Вольного общества уже в гимназии практически (но, разумеется, дилетантски) занимались литературой — писали и переводили в стихах и в прозе. Попугаев и Волков, в бытность гимназистами, уже успели подготовить к печати и провести через цензуру сборник своих стихотворений «Минуты муз» (в свет не вышедший).

Нужно думать, что самая идея организации Дружеского общества любителей изящного родилась из этих разобщенных литературных занятий академических гимназистов. Много лет спустя пятый президент Вольного

общества, А. Е. Измайлов, коснувшись истории кружка, указал, что основатели его «согласились между собою собираться, чтобы читать вместе свои сочинения и переводы и пользоваться взаимными замечаниями и советами».[7]

В «Краткой истории» Общества, предпосланной изданному в 1804 году под редакцией В. В. Попугаева «Периодическому изданию», круг деятельности его был определен следующим образом:

«Предметом упражнений своих избрало Общество словесность, науки и художества и в рассуждении сего поставило себе две главные цели:

1. Взаимно себя усовершенствовать в сих трех отраслях способностей человеческих,

2. Споспешествовать по силам своим к усовершенствованию сих трех отраслей.

Связию Общество положило дружество и согласие, вследствие чего избрало девизом своим: Concordia res parvae crescunt, discordia — magnae dilabuntur. * Для хранения внутреннего порядка и просматривания упражнений назначены были чрез каждые три месяца экстраординарные общие собрания, для ведения журнала поставлено звание секретаря, на три месяца выбираемого».[8]

Вскоре к организаторам кружка «присоединились и другие молодые же любители словесности»: воспитанник кадетского корпуса С. А. Шубников, воспитанник Академии художеств А. Х. Востоков, выпущенные из Горного кадетского корпуса А. М. Яковлев и П. М. Иванов.

Особенно расширился состав членов Общества в 1802 году, когда вступили в него: только что окончивший Московский университет белорусский попович Ф. П. Вронченко, художник из донских казаков Ф. Ф. Репнин, сибиряк Г. И. Спасский, художник А. И. Иванов, молодые чиновники и начинающие литераторы А. Е. Измайлов, Н. Ф. Остолопов и М. Олешев, купец-самоучка И. Д. Ертов, историк и переводчик Д. И. Языков, Д. Ф. Бринкен (офицер, служивший в кадетском корпусе, поэт и математик), И. А. Кованько, Н. И. Судаков, казанский купец-поэт Г. П. Каменев, историк и поэт

---

* Согласием растут малые дела, несогласием — уничтожаются великие.

Н. С. Арцыбашев, И. П. Пнин, археолог А. И. Ермолаев, академик А. Ф. Севастьянов. В начале 1803 года к ним присоединились: Н. А. Радищев (сын автора «Путешествия»), Э. И. Крюгер, скульптор И. И. Теребенев, профессор Дерптского университета Г. А. Глинка (первый русский профессор из дворян), доктор медицины И. О. Тимковский (впоследствии снискавший печальную известность в качестве усердного и пугливого цензора) и архитектор И. И. Гальберг. По уставу Общества петербургские жители избирались в действительные члены, иногородние — в корреспонденты.

Подавляющее большинство названных здесь лиц, как и учредители Вольного общества, — типичные разночинцы, выходцы из среды мелкого служилого чиновничества, духовенства, купечества или люди вовсе безвестного происхождения (Попугаев, Борн, Дмитриев). Если и были среди них дворяне, то либо «незаконнорожденные» (Пнин и Востоков), либо совершенно захудалые. Так, например, отец Измайлова владел всего семью «душами» крепостных, а Кованько, которого современники запомнили как человека «бедного и несчастного»,[9] сам рекомендовал себя в стихах в более чем скромных выражениях: «В моем лице обыкновенность, отменности ни искры нет . . . Душой моею лишь владею . . . к тому ж чин маленький имею».

Все они жили трудами рук своих, тянули лямку службы в разных департаментах либо занимались ученой и педагогической деятельностью. Характерной особенностью кружка является то обстоятельство, что, наряду с мелкими чиновниками, в нем участвовало много интеллигентов-практиков — учителя, химики, астрономы, специалисты по горному делу, врачи, архитекторы. В условиях общественного и культурного быта 1800-х годов этот кружок был единственным в своем роде объединением людей разночинно-демократического происхождения и интеллигентного труда.

По самому своему составу Вольное общество было явлением принципиально новым в русской культурной жизни начала XIX века, в которой главная и руководящая роль принадлежала дворянам. Материально необеспеченные, не занимавшие сколько-нибудь прочного общественного положения, молодые разночинцы 1800-х годов, есте-

ственно, держались особняком и если соприкасались с дворянской средой, то лишь по обстоятельствам службы и деловым поводам. В равной мере не смыкались они и с дворянскими литературными кругами.

Типична для этой разночинной среды фигура А. Х. Востокова — самого крупного поэта Вольного общества. На примере его жизни можно особенно ясно увидеть, каким нелегким путем шла к культуре новая демократическая интеллигенция и как в социально-исторических условиях эпохи формировалась личность человека нового общественного поведения.

2

Подобно И. П. Пнину, Александр Христофорович Востоков был внебрачным отпрыском знатной фамилии и также испытал все тягости своего двусмысленного общественного положения. Отцом его был остзейский дворянин, майор Х. И. Остен-Сакен. Родился Востоков (16 марта 1781 года) в Аренсбурге (городок на острове Эзель) и в младенчестве еще был отдан на воспитание в Ревель к какой-то вдове, майорше Трейблут, которую он называл «маменькой».

Здесь его окрестили Александром-Вольдемаром (крестным отцом был «соседний кирпичник»), фамилии же до семилетнего возраста он не имел вовсе. О происхождении фамилии «Востоков» сам он рассказал следующее: «Перед отправлением меня из Ревеля, где я жил, в Петербург — придумали мне фамилию. Er soll Osteneck heissen: так написано было в письме, которое получила воспитательница моя от отца моего из Аренсбурга. Не знаю, почему-то эта фамилия мне с самого начала не понравилась, и я никогда не мог к ней привыкнуть. Сие было главною причиною, побудившею меня издать в свет первые сочинения мои под вымышленным прозвищем Востокова».[10]

В Ревеле Востоков рос в нищенской обстановке, в домике, стоявшем в городском предместье. Домик «перегорожен был на две половины... На левой стороне находились хлевы для трех коров, на правой — две жилые горницы». Тут же обитал еще один «незаконнорожденный» воспитанник майорши Трейблут. Старик — гарнизонный сержант Савелий был первым наставником Востокова в русском

языке. С ним Востоков ходил гулять «в город на ярманку, в корабельную гавань, на солдатское учение». «Первое мое воспитание, — вспоминал Востоков, — было весьма скудно: я имел для чтения Библию и иногда слушал сказки и басни, которые мне сержант в зимние вечера рассказывал... На пятом году стали меня учить грамоте немецкой».

Когда Востокову минуло семь лет, отец вспомнил о нем и решил отправить в Петербург на учение. В домике майорши Трейблут событие это восприняли как крутой поворот в судьбе мальчика. «Мне начали твердить о будущем моем состоянии, о Петербурге, об отце моем», — пишет Востоков. Его снарядили в путь, снабдили «овчинным тулупом и диравыми портками», а крестный отец его — кирпичник — дал ему на дорогу рубль медными деньгами.

Однако никакого поворота в судьбе Востокова не произошло. Он продолжал влачить жалкое существование «незаконнорожденного». В Петербурге у Востокова были знатные родственники — бароны Остен-Сакены, занимавшие очень высокое служебное и общественное положение. Сначала его поселили у одного барона, квартировавшего в Зимнем дворце, потом — у другого барона, саксонского посланника при петербургском дворе. Оба поспешили сбыть его с рук. При содействии третьего барона, будущего фельдмаршала, мальчика отдали в Сухопутный кадетский корпус.

Востоков числился в корпусе не кадетом, а гимназистом. Гимназистами назывались там воспитанники недворянского происхождения; готовили их на должности корпусных учителей и освобождали от специально-военных занятий. Учился Востоков очень усердно и много читал. Он научился рисовать, набрался «познаний исторических и сказочных», развил в себе «охоту к словесности» и вскоре «начал кое-что писать, разумеется, детское».

Самых ранних произведений Востокова мы не знаем, но сохранились его стихи, написанные в 1793—1794 годах. Среди всякого рода пустяковых эпиграмм, шарад, эпитафий, песенок и пасторалей юного поэта встречаются стихи, примечательные своим «философическим» содержанием и свидетельствующие о том, что Востоков уже в очень

раннем возрасте усвоил в самой общей форме просветительные идеи. Такова, например, ода «Счастье»:

Доколе будешь ты гоняться
За ложным счастьем, человек?
Ты будешь счастьем наслаждаться
Не целый свой превратный век.
Пройдут твои счастливы лета,
Настанет грусть и нищета, —
Что значит счастье сего света —
Оно пустая лишь мечта!
В палатах мраморных, огромных
Сегодня зрят вельмож, царей,
Но завтра зрят усталых, томных,
Лишенных знатности своей.
Они рубашками покрыты,
Насилу пищу достают,
Сколь прежде были знамениты, —
Теперь столь бедными слывут.
О, счастье, сколько ты превратно,
Сколь ты обманываешь мир...

Эта тема превратности счастья приобретает у юного Востокова лирический характер в грустных размышлениях о «горестной участи» человека, гонимого «жестокой судьбой». В стихах Востокова появляются имена Вольтера, Руссо и Я. Б. Княжнина — автора запрещенной трагедии «Вадим Новгородский». Несомненно, что уже в корпусе им овладели вольнолюбивые настроения.

Упрочению литературных интересов и развитию свободолюбивых настроений Востокова должна была способствовать обстановка, окружавшая его в корпусе. Здесь жива была память об авторе республиканского «Вадима» (Я. Б. Княжнин служил в корпусе преподавателем), здесь еще со времен Сумарокова (в 1740-е годы организовавшего в корпусе известные театральные представления) увлечение литературой и театром было устойчивой традицией. В корпусе, по словам одного из его воспитанников, «дух литературный преобладал над всеми науками», а «любовь к русской словесности и отечественному языку... переходила от одного кадетского поколения к другому».[11]

Значительную роль в духовной жизни и интеллектуальном развитии Востокова сыграл П. С. Железников — выдающийся преподаватель Сухопутного кадетского корпуса, ученик Я. Б. Княжнина. Это был человек передовых

убеждений. В 1800—1804 гг. он издал литературную хрестоматию «Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам Первого кадетского корпуса», предназначенную «служить и образцом штиля и материею для размышления». Эта книга сильно способствовала распространению освободительных идей среди русской молодежи 1800—1810-х годов. Реакционер Н. И. Греч, говоря о Рылееве, полагал, что он «набрался вздору» именно из хрестоматии Железникова, где были помещены «разные республиканские рассказы, описания, речи из тогдашних журналов». «Утверждают, что мятежники 14 декабря были большею частью лицеисты, — писал Греч. — Неправда: были два лицеиста: Пущин и Кюхельбекер... Большею частью были в числе их воспитанники 1-го кадетского корпуса, читатели «Библиотеки» Железникова», в которой излагались «заманчивые идеи либерализма, свободы, равенства, республиканских доблестей». [12]

В этой-то книге (часть II, 1802 года), напугавшей воображение реакционеров, и появились первые напечатанные стихи Востокова — еще без имени автора, но с лестным примечанием П. С. Железникова, предрекавшего молодому поэту, что «некогда заслужит он особенное внимание публики».

Должен быть отмечен в биографии Востокова и кадет С. А. Шубников, ставший его ближайшим другом. Поклонник и знаток просветительной литературы, переводчик Вольтера, Дидро и Вольнея, Шубников привил Востокову интерес к философии, снабжал его книгами, направлял его литературные занятия в определенную сторону — соответственно своим собственным идейным устремлениям.

В начале 1794 года Востоков оставил кадетский корпус, так как, будучи неизлечимым заикой, оказался непригоден к должности учителя, на которую его готовили. Высокопоставленные родственники попробовали было определить его в военную службу, но заикание и в этом случае служило препятствием. Наконец его пристроили в Академию художеств — «по тому суждению, что в этой Академии говорить не нужно». [13]

В Академии художеств Востоков учился до 1802 года, сперва в живописном, потом в архитектурном классе. Новая обстановка, в которой он очутился, резко отличалась

от окружавшей его в кадетском корпусе. Хотя его и угнетала там суровая дисциплина, но были у него и задушевные друзья, и любимые педагоги, и общие с ними интересы. Академия же была пристанищем буйной молодежи, в большинстве далекой от того, чем до сих пор жил Востоков. Здесь господствовал дух «богемы», воспитанники щеголяли распущенностью и грубостью нравов.

Учебные занятия не интересовали Востокова, талантом художника он одарен не был, а условия жизни в Академии оказались трудными. «Предавшись ремеслу архитектурному, я прозябал, — вспоминал он впоследствии. — Может быть, для того судьба оставляла меня так долго в сем бездействии и чувственной дремоте, чтобы приуготовить к живейшим душевным наслаждениям. Много терпел прискорбного от окружающих меня людей и учился терпеть».

Впрочем, вскоре Востокову удалось собрать вокруг себя несколько товарищей, живших, подобно ему, идейными интересами. Это были: В. П. Осипов, А. И. Ермолаев, И. А. Иванов, А. Д. Фуфаев, Ф. Ф. Репнин, И. И. Теребенев, С. И. Гальберг. Некоторые из них оставили след в истории русского искусства. Во главе с Востоковым они составили тесный кружок, даже своего рода секретное общество «остенекистов» (по настоящей фамилии Востокова — Остенек) и серьезно занимались самообразованием. Все они увлекались литературой, зачитывались только что вышедшим (в апреле 1794 года) альманахом Карамзина «Аглая», восторгались его «Бедной Лизой». Осипов даже переписал «Аглаю» всю целиком, а Иванов, будучи в Москве, совершил паломничество на знаменитый «Лизин пруд» и прислал приятелям план местности, описанной Карамзиным.

Когда по воцарении Павла I в Академии художеств, говоря словами Востокова, «пошли новые преобразования» и «между учениками завязалась игра в солдаты», он «не участвовал в этой игре»; его «занятия были ученые: чтение книг с товарищами». Сохранились свидетельства тому, что в кружке «остенекистов» обсуждались не только литературные, но и политические вопросы. «Читаем Вольтера... Негодуем на Павла I», — записал Востоков в дневнике 1799 года. Из уцелевших писем А. И. Ермолаева известно, что годом раньше Востоков написал какую-то «политиче-

скую статью» и живо интересовался политическими событиями во Франции.[14]

При этом политические вопросы обсуждались в кружке Востокова в таком плане и в таком тоне, что их приходилось засекречивать. В апреле 1800 года И. А. Иванов писал Востокову (тайнописью): «С недавнего времени по случаю возымел причину опасаться нашего утфипилизму [то же, что и «остенекизм». — *В. О.*], особливо когда дело касается до чего-нибудь такого!! Ныне во всем наблюдается строгое смотрение, посылки на почте расшиваются, нет ли чего-нибудь запрещенного; итак, надобно остерег... ох! окараууливаться. * Советую тебе кзишь [т. е. сжечь] мои [письма] и прошу позволения гюшисфофь [т. е. зачеркнуть] в твоих то, что мне захочется».[15] Не приходится сомневаться, что «негодование на Павла» окрашивало интимные разговоры «остенекистов» в совершенно определенные политические тона.

В Академии художеств Востоков начал усердно заниматься «сочинительством», «особенно пристрастился к стихотворству», но пробовал силы также и в прозе: в 1796 году писал какой-то роман «на заказ», в 1799 году — повесть «Конклатский мыс». В 1797 году он приступил к переводу нашумевшего во всей Европе французского антиклерикального романа Дюлорана «Le compère Mathieu» (1766), который дал ему С. А. Шубников.[16]

В сентябре 1800 года Востоков кончил академический курс, но был оставлен в Академии еще на три года пансионером. Через год С. А. Шубников ввел его в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. В своей «Летописи» Востоков записал по этому поводу: «Вхожу в Общество... Круг познаний моих распространяется от знакомств и обстоятельств».

3

Так со всех сторон тянулись друг к другу молодые люди, вышедшие из социальных низов, с трудом преодолевавшие сопротивление времени, среды, обстоятельств, —

---

* Смысл оговорки Иванова в том, что Павел I запретил в 1797 году употреблять «якобинское» слово «стража» и приказал заменить его словом «караул».

тянулись друг к другу и собирались в интимные кружки, чтобы сообща удовлетворить свои духовные интересы и культурные запросы.

Дружеское Общество любителей изящного собралось впервые 15 июля 1801 года, через четыре месяца после ликвидации павловского режима, когда еще не улеглось бурное общественное возбуждение, ознаменовавшее начало нового царствования.

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный зрак, —

эти стихи из оды Державина на воцарение Александра I хорошо передают охватившее всех чувство радости по поводу того, что пришел конец дикому сумасбродству и произволу Павла, которые в последний период его правления достигли апогея. Не говоря уже о гонениях на малейшие проблески независимой мысли, самый быт при Павле стал невыносимым. В 1801 году население Петербурга было буквально терроризировано. В 8 часов вечера в домах гасили огни, на улицах расставлялись рогатки, — всюду воцарялись глухая темь и мертвая тишина, и только разъезжали конные патрули, которым было приказано хватать всех, появившихся в неурочный час. Вот, к примеру, как вспоминал один из современников об этих днях зимы и ранней весны 1801 года: «Никто не был уверен, что будет с ним на следующий день. Тайная канцелярия при генерал-прокуроре подвергала допросам с истязаниями. Всеобщее уныние и беспокойство было всеми ощущаемо и предвещало то, что такое положение продлиться не может».[17] Типична для тех дней история, случившаяся с приятелем Востокова И. А. Ивановым. В январе 1801 года, надебоширив по пьяному делу, он был схвачен полицией, приведен к царю и судим уголовным судом. Только счастливый случай спас его от жестокого наказания. Естественно, такого рода эпизоды усиливали дух оппозиции павловскому режиму в кругу будущих членов Вольного общества, еще более раздували их «негодование на Павла».

Тем более восторженно встретили они весть об убийстве царя-тирана. «Марта 12-го рано поутру, проснувшись, слышу о смерти Павловой. Радость... «Ода достой-

ным», — записал Востоков в своей лапидарной «Летописи».[18]

«Ода достойным», которою Востоков откликнулся на событие 12 марта 1801 года, наилучшим образом свидетельствует о настроениях, господствовавших в кружке радищевцев. Это — программное политическое стихотворение, замечательное своим тираноборческим пафосом, насыщенное «вольной» лексикой, бывшей при Павле под запретом («граждане», «отечество», «общее благо» и т. д.), — и недаром несколько позже, когда члены Вольного общества издали свой первый альманах («Свиток муз»), он открывался этой одой. Пером Востокова радищевцы заявили о своем отношении к совершившемуся событию и определили свою позицию в условиях нового царствования. Политический смысл оды обнажен с полной ясностью; Востоков оправдывает и восхваляет цареубийц:

Нет, — кто, видев, как страждет отечество,
Жаркой в сердце не чувствовал ревности
И в виновном осталося бездействии, —
　　Тот не стоит моих похвал.

Но кто жертвует жизнью, имением,
Чтоб избавить сограждан от бедствия
И доставить им участь счастливую, —
　　Пой, святая, тому свой гимн!

Также и И. М. Борн в «Оде Калистрата», посвященной В. В. Попугаеву и очевидным образом представляющей собою такой же отклик на убийство Павла, воскрешает героические образы афинских тираноубийц Гармодия и Аристогитона и воздает им славу как борцам за народную свободу:

Венчаю меч мой миртовыми ветвьми,
Равно как Гармодий и Аристогейтон,
Когда сражен ими был тиран, когда
Вольность и правосудие восстали.
. . . .
Вечно пребудет на земле слава
Гармодия и Аристогейтона!
Тиран пал от руки вашей! вольность
Дана вами Афинам и правосудие!

Однако стихи Востокова и Борна, при всем их высоком и полноценном тираноборческом пафосе, лишний раз

свидетельствуют об ограниченности политической мысли радищевцев сравнительно с революционным сознанием самого Радищева. Горячо приветствуя устранение царя-тирана, радищевцы тем не менее возлагали известные надежды на «благоразумие», «милосердие» и «честные правила» Александра I, в то время как Радищеву была совершенно ясна вся необоснованность подобных надежд. В «Песне исторической», говоря о гибели «тирана люта» Тиверия (также в порядке отклика на убийство Павла I), Радищев доказывал, что и казнь тирана ничего не переменит в судьбе народной, если остается в силе самый принцип самовластия:

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий;
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоку выю,
То что нужды, кто им правит;
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новый
Будет благ и будет кроток;
Но надолго ль — на мгновенье;
А потом он, усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души...

Стихи о «тиране новом» явно направлены в адрес Александра I и разоблачают его лживую, демагогическую «кротость», маскировавшую подлинную антинародную сущность самодержавия.

Молодые свободолюбцы — учредители Вольного общества — не сделали таких глубоких и прямолинейных революционных выводов. Они несомненно разделяли чувства «всеобщего торжества» и «восторга», о которых, вспоминая о 1801 годе, единодушно говорят современники. Тогда «кругом пошли головы от смелого говора о государственных вопросах. . . надежда, как вино, веселила сердца».[19] Либеральная репутация и щедрые посулы нового царя, в свою очередь, произвели на учредителей Вольного общества известное впечатление.

Первые мероприятия Александра создавали почву для подобного рода восторженных настроений и далеко идущих надежд. Ведь новый царь объявил, что, радея о «нерушимом

блаженстве» всех своих подданных, он намерен править, руководствуясь «единым действием закона». Ведь в первые десять дней царствования он освободил из тюремного заключения и вернул из ссылки около 500 человек, пострадавших при Павле (в числе окончательно амнистированных был и А. Н. Радищев), а общее число лиц, которым были по указу от 15 марта 1801 года возвращены служебные и гражданские права, простиралось до 12 тысяч. Ведь один за другим появлялись указы, свидетельствовавшие о том, что правительство взяло в политике либеральный курс: 15 марта были амнистированы беглецы, скрывавшиеся за границей; 16 марта было снято запрещение на ввоз товаров из-за границы; 19 марта последовал указ о том, чтобы полиция не чинила «обид и притеснений»; 22 марта был разрешен свободный пропуск через границу едущих из России и в Россию; 31 марта отменено запрещение на ввоз в Россию книг из-за границы и разрешено «распечатать» частные типографии; 2 апреля уничтожена Тайная экспедиция, причем в указе говорилось, что «в благоустроенном государстве все преступления должны быть объемлемы, судимы и наказуемы общею силою закона»; 28 мая запрещены объявления в печати о продаже людей без земли; 5 июня объявлено об учреждении Комиссии составления законов, и т. д. В июне же был учрежден Негласный комитет, состоявший из «молодых друзей» Александра, и в общество проникли слухи, что они разрабатывают широкий план государственных реформ.

Разрешение ввозить книги из-за границы и открыть частные типографии мотивировалось в указе Александра I «желанием доставить все возможные способы к распространению полезных наук и художеств». Таким образом, само правительство как бы подсказывало молодым «любителям изящного» путь и формы их деятельности. Учредив Общество, они и поставили себе целью «споспешествовать по силам своим» развитию «наук и художеств».

Устремление этих молодых людей к «истине» и «просвещению» носило широкий, можно сказать, всеобъемлющий характер. Они были озабочены решением вопросов общего мировоззрения, по-новому оценивали опыт истории, настойчиво пытались разрешить глубоко волновавшие их проблемы, выдвинутые современностью, думали о будущем.

Они были полны напряженного интереса к жизни и к судьбам человечества.

«Друзья! Мы прожили великие годы; мы в краткое время бытия нашего видели более, нежели что производили многие веки, поглощенные в бездне минувшего. Мы видели ложное величие попранным, права неизменные и вечные опять восстановленными; мы познали, что истина и добродетель превыше всего! Зло превратилось в обильный источник благ! Мрак рассеялся, и ум разорвал оковы, в кои невежество со всеми гнусными его исчадиями заключили человечество. Но сии великие перемены были только частны... Семена посеяны — зреют — созрели, и жатва начинается», — так обращался к своим товарищам по Вольному обществу И. М. Борн. [20]

Эта красноречивая декларация отчетливо характеризует идейные устремления молодых людей «разночинного состояния», вступивших в жизнь в «великие годы» конца XVIII века. Глубоко переживая тяжелые условия окружавшей их действительности, на собственном опыте познавая невыносимый гнет феодально-абсолютистского государства, они чутко откликались на лозунги буржуазной революции, поправшей «ложное величие» старого мира и провозгласившей незыблемые права человека. Их воодушевляла вера в окончательную победу разума и добродетели над невежеством и злом; они пришли к убеждению, что перед человечеством открываются широчайшие перспективы духовного развития и общественной практики.

Политические события эпохи французской буржуазной революции внушили поклонникам просветительства надежду на близкое разрешение социальных противоречий. Они нередко погружались в расплывчатые и иллюзорные мечтания. Тот же И. М. Борн, обращаясь к счастливому «златому веку» глубокой древности, спрашивал: «Ужели златой век... есть только мечта поэтическая? ужели род человеческий должен вечно стремиться и вечно быть несчастлив?» Нет, — отвечал он, — «и наш век есть век прекрасный. Не будем неблагодарны; признаемся, что просвещение, распространяясь более и более, направляет дух человеческий к его величию, ко благу целого. Грудь наша бьется вольнее, мы дышим в приятном веянии зари, предвещающей светлый день, будущий лучший век». [21]

Это чувство надежды было особенно сильно развито у А. Х. Востокова. Он вдохновенно мечтал о грядущем «златом веке Астреи», увлекался химерическим проектом «вечного мира», разработанным аббатом де Сен-Пьером и в России известным в популяризации Руссо, призывал на «путь здравомыслия и добродетели». Вера в мирный прогресс, предвещающий конечное торжество «блага» и «справедливости», характерна для всех высказываний Востокова по вопросам социально-политического порядка. Мы не располагаем точными данными, которые бы позволили судить о том, как решал Востоков проблему русского крепостничества. Правда, глубокую причину социального зла он видел в экономическом неравенстве, но притти к устранению этого зла можно было, как полагал он, лишь путем просвещения. «Роскошь и бедность, — писал Востоков, — пагубными своими препираниями рождают пороки, развращение и плутовство, деспотизм и рабство. Уврачевание сих зол зависит от уравнения имуществ и от распространенного в людях благонравия, а сии не от чего иного могут проистекать, как от просвещения; следственно, просвещение родит спокойствие и обеспечение». [22]

«Истинное просвещение, истинная наука, путь здравомыслия и добродетели» в понимании Востокова были единственно верной гарантией к достижению «златого века Астреи». Подробно обосновал он эту мысль в «Речи о просвещении человеческого рода», прочитанной в Вольном обществе 15 июля 1802 года. [23] В основном замечания Востокова сводились к утверждению, что только «равная степень просвещения» всех народов, населяющих земной шар, может служить залогом всеобщего «блага», которое должно «поглотить наконец все зло и сделать землю раем»: «Для благосостояния всех и каждого надобно сего желать, — говорил Востоков, имея в виду утопический проект де Сен-Пьера. — Однакоже и через это еще не будет выполнено намерение вышнего промысла, правящего ходом просвещения. Не хочет он, чтобы один народ или одна часть света исключительно дарами его наслаждалась, между тем как бóльшая половина людей страдает еще под злом и в невежестве пресмыкается. Нет, он требует равновесия как в физическом, так и в моральном мире! И для того-то не прежде земля осенится вечным миром, не прежде *добродетель*

и *правосудие* с *вольностью* и *равенством* утвердят на ней постоянное свое жилище, пока не получат все народы до единого *равную степень просвещения*. На сей конец провидение посылает иногда те революции, которые колеблют, расстраивают здания обществ и часто рушат великолепное, огромное, — чтобы из камней оного настроить множество простых, посредственных домов, которые в свою очередь увеличиваются и украшаются».

Главную роль в деле «уравнения просвещения и счастия народов» Востоков, очевидно не без влияния идей Рейналя, отводил «коммерции, или взаимному народов сношению, если только не основано оно на одном прибытке, ибо в таком случае непросвещенные ничего не получат от просвещенных кроме новых пороков, нового порабощения». Мысль свою Востоков подкрепляет выразительными примерами из древней и новой истории, в частности из истории колониальных завоеваний испанцев и португальцев, которые всегда «искали обманывать, грабить, смерти предавать сильных, а слабых чинить рабами и не токмо не просветили их, но погасили и те немногие искры света, кои начинали было являться в простодушных питомцах природы». Из всего этого Востоков делает следующий вывод: «Коммерция бесполезна и даже вредна просвещению рода человеческого, когда не управляет ею дух человеколюбия (*людимость, людскость, Humanité*)». В заключение Востоков утверждал право всех народов на национальное, политическое и культурное самоопределение. «Следствие всего этого будет такое, — кончал он, — что все четыре или пять частей света *равно просветятся* и все они будут то же представлять, что теперь видим в одной Европе и что прежде видели в одной Греции, — желательное златое время для всякого друга человечества».

О цельной и единой идеологической программе в отношении Вольного общества говорить не приходится. Напротив, в высказываниях различных его участников по философским, социально-политическим и культурно-историческим вопросам мы находим целую гамму разнообразных оттенков восприятия и понимания просветительства. Если наиболее радикальные из них, как Попугаев и Борн, поднимались до выражения якобинских идей, если Пнин был материалистом, стоявшим на грани атеизма, — то на

взглядах большинства членов Вольного общества лежит отпечаток умеренности, отказа от радикальных методов разрушения феодально-крепостнического строя и отжившего мировоззрения в пользу компромиссной формы просвещенного абсолютизма и философии нравственного самоусовершенствования.

Критикуя в духе Просвещения социальные устои, политические учреждения, государственно-правовые формы, сословно-классовые привилегии, мораль и культуру феодально-крепостнического строя — за то, что они находятся в противоречии с требованиями разума и законами природы, большинство участников Вольного общества выдвигало в качестве своего социального идеала общественный строй, основанный на принципах «священной собственности» и «твердых законов». Их положительная программа сильно уступала той критике феодальных пережитков, которую они вели, и нередко в достаточно резкой форме.

Но все они были охвачены искренним и горячим желанием активно участвовать в распространении «истины» и «просвещения», дабы приблизить «будущий лучший век». И. М. Борн в уже цитированном очерке «Ночь» обращался к своим сотоварищам с призывом «действовать» в пользу человечества: «Итак, не будем унывать, наипаче же не погрузимся в сию холодность духа, сию беспечность и нерадение ко всему, что велико. Будем действовать, хотя не всегда возможем предвидеть плодов от наших дел. Довольно, когда намерение было благое. Не всякое добро увенчается видимым успехом, но сумма всеобщего блага умножится и будет возрастать в бесконечность».[24]

Это стремление к активной деятельности во имя «всеобщего блага» руководило учредителями Вольного общества, когда они собирали в его круг своих ровесников и единомышленников. Тема «деятельности» выдвинута на первый план и в программных речах В. В. Попугаева и И. М. Борна, с которыми они выступили в первую годовщину существования кружка, в «чрезвычайном собрании» 15 июля 1802 года.

«...так, друзья мои, на собственном опыте познали мы, сколь великую принесло нам пользу сие взаимное сообщение наших сведений, наших сомнений, — говорит Попугаев. —

...В сем малом кругу деятельность наша оживилась! Наши упражнения и рассуждения, имевшие целию взаимное образование, возрастали с нашим усердием — и мы всегда предчувствовали, что найдутся люди, познающие цену нашего сословия!.. Благословим сей день, благословим минуту, влившую в сердце наше чувство истины, и поставим себе священным долгом ее искать и в ней усовершаться! Что может быть прекраснее, как сословие молодых людей, стремящихся к взаимному себя усовершенствованию и соединившихся для общей пользы в круг дружества... Да пылает огнь Дружества в сердцах наших, потщимся напрячь все силы нашей деятельности — и [в] следующий [год] мы узрим прекрасные плоды».

С еще большей энергией говорил на эту тему И. М. Борн: «И се утвердилось Общество наше. Все пылают ревностию подвизаться к единой цели: к познанию и распространению истины. Но каковы успехи наши? Не охладел ли кто из нас?.. Уже самое равнодушие есть преступление! Друзья мои! если есть между нами таковый, то пусть оставит нас... если есть между нами такой, который в холодном сердце и в ограниченном смысле не объял цели нашей, который не печется всеми силами быть полезну, а может быть, даже... черная мысль!.. употребит во зло нашу к нему доверенность, тот — стой, воображение! недостойно нас питать подозрение... Нет между нами такого человека. Ревность моя преступила пределы, — простите!..»

Далее Борн упрекал «друзей-сочленов» в недостаточной активности: «Друзья мои! вопию к вам: прилежание и деятельность должны быть жизнию нашей. Издания «Свитка муз» мало. Кто из вас сообщал рассуждения о разных частях наук, о философии, морали? Кто изобретал или кто собирал материи касательно лучших способов воспитания детей, сей первой потребности жизни? Кто подавал свои мысли об уврачевании неисчетных зол человечества?.. Вот поле, любезные друзья и сотрудники! поле обширное для ваших способностей и вашей ревности ко благу отечества, ко благу всех людей. Всякое начало трудно; но, не унывая и неутомимо действуя, человек творит чудеса. Итак, да ознаменуется будущий год большею деятельностию... В сей день, друзья-сочлены! оживимся вновь сею великою мыслию: Просвещение есть истинная цель нашей жизни.

В достижении оного познаем мы величие и достоинство человеческое».

Отмечая «особливое усердие» некоторых членов кружка, Борн ставил их в пример остальным как образец «ревности и прилежания». «Горе тому, кто, одарен будучи великими способностями, не употребил их в пользу людей, — заканчивал Борн. — Восстанем, друзья-сочлены, ободримся, будем *жить* в благороднейшем смысле сего слова. Некогда, — о мысль, которая одна в состоянии нас подкрепить! — некогда, при светлом закате дней наших, узрим мы вокруг себя блестящие ряды дел своих, плоды деятельной и с пользою проведенной жизни. Друзья-сочлены! мы жили не напрасно, мы сделали все то, что *могли* сделать. Сегодня, проникнувши в обязанности и должность члена нашего Общества, запечатлеем их в своем сердце и возобновим торжественно слово: быть и оставаться верными друзьями Просвещения, Истины и Добродетели». [25]

В этом стремлении «жить в благороднейшем смысле слова», в этом высоком представлении о «величии и достоинстве человеческом» чувствуется влияние идей Радищева. «Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому», — писал Радищев в «Беседе о том, что есть сын Отечества». [26]

Мы щедро процитировали речи Попугаева и Борна, потому что они очень хорошо передают ту идейно-психологическую атмосферу, в которой жили и старались «действовать» молодые разночинные интеллигенты из Вольного общества. Здесь также ярко отразился культ «дружбы и согласия», с особенной настойчивостью пропагандировавшийся и всячески насаждавшийся в кружке, — впрочем, как увидим дальше, без заметного успеха. Останавливают внимание слова Борна о людях, которые могли бы злоупотребить «доверенностью» остальных. В этом можно видеть намек на известную конспирацию, которую считали нужным ввести руководители кружка из боязни возбудить подозрения властей предержащих. Некоторые данные о занятиях Вольного общества в первый год его существования позволяют высказать такого рода догадку.

«Жить в благороднейшем смысле сего слова» для Борна, Попугаева и их друзей значило практически и активно действовать в «пользу людей». Свой нравственный и гражданский долг они понимали как бескорыстное и самоотверженное *служение* своим идеалам — «истине», «просвещению» и «добродетели». Этим объясняется тот возвышенный, патетический стиль, который своеобразно окрашивает все их речи и литературные произведения. Вот типический пример: «Святая истина! бессмертный гений божества! Освяти мою душу слабую, но горящую любовию к тебе! да удостоюсь доверенности и одобрения моих друзей, в кругу которых обещаюсь торжественно посвятить тебе и сердце и перо мое. . .» [27]

Глубокая вера в могущество человеческого разума и успехи просвещения питала патриотическое чувство этих бескорыстных и пламенных поборников «истины». Для их умонастроения характерна мысль, отчетливо сформулированная Радищевым: «Истинный человек и сын Отечества есть одно и то же». [28] В меру всех своих возможностей они хотели содействовать общественному и культурному прогрессу России. Отмечая, что Россия уже «озарилась сиянием истины», Борн выражал твердую уверенность в том, что приближается время торжества национальной русской культуры: «Она [Россия] произвела и будет производить мужей великих. Ниспустись, златое время, на величайшее из царств земных, и да ускорится тем всеобщее просвещение вселенной». [29]

Этим общим идейным установкам должна была отвечать обширная и разносторонняя программа практической деятельности Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

4

Круг занятий Вольного общества на основании сохранившихся материалов может быть очерчен достаточно четко. С самого начала Общество, в состав которого, наряду с литераторами, входили ученые-практики и художники, меньше всего стремилось замкнуться в сфере собственно литературных интересов. Программа занятий Общества охватывала не только словесность, но и науки и искусства.

Протоколы заседаний за первые четыре месяца существования Общества, к сожалению, не уцелели. В «Краткой истории», опубликованной в «Периодическом издании», о «первом годе» сказано лишь: «Занятия Общества в сие время состояли по большей части в аналитическом чтении авторов российских и иностранных, особенно же из российских — Державина, из иностранных — Рейналя».[30]

Из дошедших до нас протоколов заседаний Вольного общества (первый из них помечен 24 ноября 1801 года) видно, что здесь читались и обсуждались как сочинения и переводы самих членов Общества, так и многие примечательные произведения русской и западно-европейской литературы, философии и публицистики, равно как и современные русские журналы. А. Е. Измайлов вспоминал впоследствии, что «главное занятие Общества составляли переводы: переводили *важные* и *полезные* книги, например творения Бентама, Монтескье, Мабли, Филанжиери, Беккарии, Канара и проч. Немногие из сих переводов напечатаны и даже окончены, но время на оные употреблено с пользою».[31]

Действительно, в первые годы существования Общества преимущественное внимание уделялось здесь «важным и полезным» вопросам — философским, социально-политическим и историческим. Подчас Общество коллективно подсказывало отдельным участникам предмет их занятий. Так, например, А. М. Яковлеву было поручено «от имени Общества» переводить «Lettres sur J. J. Rousseau, par M-me Staël». Художественная литература на заседаниях Общества занимала явно подчиненное место. Кроме стихотворений (Попугаева, Востокова, Борна, А. Волкова, Остолопова, Г. Каменева, Измайлова и др.) здесь было прочитано и обсуждено за два года всего несколько беллетристических произведений: роман Н. Ф. Остолопова «Амалия»,[32] роман Августа Лафонтена «Опасный опыт» (перевод Д. И. Языкова),[33] комедия М. Олешева «Женитьба по жребию», французская комедия «Эгоизм и любовь к ближнему» (перевод Языкова), драма Метастазио «Необитаемый остров» (перевод Остолопова), роман Арнода «Армянские князья» (перевод Н. И. Судакова), роман Г. И. Спасского «Пармен и София».

В то же время протоколы заседаний Общества пестрят именами Дидро, Вольтера (переводы С. А. Шубникова),

Рейналя (переводы В. В. Дмитриева), Вольнея (переводы Шубникова и Попугаева), Д'Обантона (трактат «О человеке», перевод П. М. Иванова), Румфорда (переводы Борна), Беккарии («Рассуждение о преступлении и наказании», перевод Языкова),[34] Мабли (переводы Языкова и Остолопова), Монтескье («Дух законов», перевод Языкова),[35] Филанджиери («О законоположении», перевод Попугаева), Геренштванда («О политической экономии», перевод М. В. Крюковского),[36] Канара («О политической экономии», перевод Н. И. Судакова) и т. д.

Просветительная литература XVIII века стояла в центре внимания членов Вольного общества. Ознакомившись (в июле 1802 года) с представленным Д. И. Языковым переводом «Рассуждения о преступлении и наказании» Беккарии, Общество, «уважа цель автора и переводчика, предположило следующие собрания заниматься предпочтительно сим переводом и, изъявляя благодарность своему члену, просило представить сие сочинение государю; желание Общества [было] исполнено, и российская словесность обогатилась сим драгоценным сочинением для законоположения».[37] Также и в заседании 30 ноября 1802 года Общество «назначило переводить сочинение бессмертного Монтескье, вследствие чего, для сличения переводов, назначен особый комитет из тех, коим сделано сие предпоручение. Оный составили гг.: Языков, Волков, Востоков, Борн и Попугаев. Перевод сей, будучи начат, для некоторых внутренних обстоятельств на время был оставлен».[38]

Подчеркнутое внимание членов Вольного общества к просветительной литературе отчетливо характеризует направленность их идеологических интересов. Особенно знаменательны в этом отношении имена Вольнея и Рейналя. Попугаев переводил «Руины» Вольнея — книгу совершенно атеистическую, в которой были подвергнуты разрушительной критике самые основы религии. В глазах реакционеров Вольней и его книга были одним из самых страшных «исчадий» французской революции. Умеренные члены Вольного общества расценили занятия Вольнеем как недопустимую политическую неосторожность и были крайне недовольны, что об этом упоминалось в составленной Попугаевым «Истории Общества», которой мы еще коснемся.

Столь же показателен для направления политической мысли радикальных членов Вольного общества их интерес к Рейналю. Мы уже видели, что «аналитическое чтение» Рейналя составляло предмет преимущественных занятий Общества в первый год его существования. Читалось, конечно, основное сочинение Рейналя — многотомная «Философская и политическая история обеих Индий», одно из самых выдающихся произведений просветительной литературы, затрагивавшее обширный круг философских, моральных и политических проблем и проникнутое высоким революционным пафосом. Яркие, впечатляющие картины колониального рабства и тирании колонизаторов производили сильное впечатление на русских читателей Рейналя, поскольку свободно ассоциировались с крепостническим рабством в России. В передовых кругах русского общества имя Рейналя пользовалось очень высоким уважением. Известно, как ценил Рейналя Радищев; в стихотворении «Древность», с большими основаниями приписываемом Радищеву, Рейналь изображен «с хартией в руке гражданской, как оракул вольныя страны».

Среди учредителей Вольного общества был горячий поклонник и пропагандист Рейналя — Василий Васильевич Дмитриев. В 1802 году он представил в Общество свои переводы отрывков из «Философской и политической истории обеих Индий» — «Гордость» и «О законодателях, именующих себя пророками». Второй из этих переводов сохранился в бумагах Вольного общества в позднейшей (1810 года) редакции (под заглавием: «О законодателях, предписывающих законы народам своим именем богов»). Основной смысл этой статьи сводится к следующему: «Всякий законодатель, который осмеливается представлять народу, что законы его писаны по воле божьей, есть богохулитель и злодей».

Вскоре Дмитриев уехал на службу в Сибирь, но и там не оставлял мысли о пропаганде идей Рейналя. В 1804 году он обратился к Вольному обществу с призывом заняться коллективным переводом «Философской и политической истории» — «сего бессмертного памятника ума, знаний и сердца человеческого», сочинения, «наполненного предметами, относящимися к пользе, благосостоянию и спокойствию всех народов». «Сколько сокровищ еще от русских

скрывается в иностранной словесности, — писал Дмитриев, обосновывая свое предложение. — Сколько драгоценностей прошедшего века в творениях великих умов считаются бесполезными для большей части тех из наших соотечественников (разумею не учившихся иностранным языкам), которые с желанием, достойным Патриота, напитали бы оными душу свою и, обогатя природные дарования вящщими сведениями, посвятили бы их в действиях своих пользе общей! Почему ж, имея столь превосходный случай, не доказать и нам своего к общему благу усердия? Почему не пересадить в отечество такое растение, с которого полезные и приятные плоды если и не мы, то по крайней мере потомки наши собрать могут? Почтенные друзья мои! Соображаю, что вы угадываете мысль мою,—и прежде, нежели назову сие полезное для отечества нашего растение, — вы произносите имя, бессмертное имя Рейналя».

Из письма Дмитриева ясно видно, что он ратовал за пропаганду идей Рейналя среди возможно более широкого круга читателей, — не только образованных людей дворянского сословия (которые могли читать Рейналя в подлиннике), но и «не учившихся иностранным языкам».

Предлагая членам Вольного общества коллективно перевести обширный труд Рейналя, Дмитриев оставлял за собою перевод третьего и десятого томов «Философской истории», — во-первых, потому что эти томы уже были им частично переведены, а во-вторых, потому что перевод десятого тома был сопряжен с особыми затруднениями: здесь Рейналь касался истории и государственного устройства России, и Дмитриев отчетливо понимал, что в этом случае «без особливых ремарок обойтись будет не можно». Сообразуясь с цензурными условиями, он хотел в максимальной мере сохранить общий смысл сочинения Рейналя для русских читателей. Для этого у него были вполне веские основания, так как благодаря благонамеренному усердию других переводчиков «Философская история» в русском переложении теряла всю свою политическую остроту. В 1805 году вышел в свет первый том «Истории» в переводе реакционных литераторов Г. Городчанинова и В. Анастасевича (всего до 1811 года было издано шесть томов). В этом издании, осуществленном «по высочайшему повелению»,

книга Рейналя была совершенно изуродована: она была сокращена почти вдвое, и из нее было изъято все революционное содержание.[39] Дмитриев, в письмах, адресованных в Вольное общество, горько жаловался на искажение мыслей любимого писателя. Сообщая о своем путешествии по Сибири, он писал: «Рейналь был со мною — всегда при моем сердце. Я делал во многих случаях сравнение с его замечаниями, и чувства мои были согласны с его чувствами. Но каков он у нас в переводе?.. Непохож на Рейналя... Вздыхаю и... молчу».

Предложение Дмитриева перевести «Историю» Рейналя было встречено в Вольном обществе с полным сочувствием. А. Х. Востоков по обязанности секретаря Общества писал ему: «Все соплескали душевно изображенным в письме вашем чувствованиям, находя их достойными сочлена нашего». Общество, по словам Востокова, «весьма готово было приступить» к переводу, но в дальнейшем вынуждено было отказаться от него, во-первых, по настоянию Д. И. Языкова, «представившего неудобство, с каковым обыкновенно сопряжено бывает разделение одного увража на многих переводчиков», и, во-вторых, ввиду того, что в Москве в это время уже готовился перевод Г. Городчанинова и В. Анастасевича. Так ценная инициатива Дмитриева осталась не реализованной, причем можно предположить, что возражения Языкова были продиктованы не только соображениями практического порядка, но имели и более глубокие идейные основания. Языков, как увидим дальше, систематически препятствовал всем начинаниям радикальных членов Вольного общества, которые сколько-нибудь выходили за рамки благонамеренной учено-литературной деятельности.[40]

В. В. Дмитриев вообще представляет собою одну из наиболее любопытных фигур среди членов Вольного общества. То немногое, что о нем известно, рекомендует его как человека с определенными философскими и политическими интересами. Помимо Рейналя его сильно увлекали философы-материалисты. Он полностью перевел трактаты Гельвеция «О разуме» и «О человеке» и написал «Анализ сочинений Гельвеция». В 1809 году он печатно объявил о своем намерении издать эти труды,[41] однако ни один из них в свет не появился.

В. В. Дмитриев интересен также как один из ранних в России «областных литераторов». По делам службы он совершал частые и длительные путешествия по Сибири. Путешествиям этим посвящена бо́льшая часть оригинальных произведений Дмитриева. Он был горячим патриотом Сибири — своей «дикой родины», описал ее в обширном сочинении «Красоты диких мест отечества моего».

При этом интересы Дмитриева вовсе не сосредоточивались только на «красотах» сибирской природы. Напротив, его внимание было обращено главным образом на явления социальной жизни. Делясь с членами Вольного общества своими путевыми впечатлениями, он писал о себе в третьем лице: «Любопытство водит его из края в край обширной Сибири. Наблюдения открывают пред ним приятную перспективу добра и пользы для отечества! О, друзья мои! Здесь-то может правление показать всю силу стремления своего ко благу народов!» Дмитриева интересовали наблюдения над «ходом образования народов» в Сибири. «Занимательно для друга человечества наблюдать ход сей — и нигде в отечестве моем не найдется, кажется, убедительнее на то примеров, как в сей обширной части его. Скитающиеся орды по югу, востоку, северу чрез многие климаты простирающейся Сибири представляют разнообразные в смысле сем картины для кисти философа и моралиста... Мысль моя обращалася на малые сибирские общества, на недостатки их самые важнейшие — воспитание, на немногие города ее, их влияние на коммерцию, на степень успеха в сфере образования. Вообще же смотрел я глазом патриота на настоящую пользу от Сибири отечеству и на будущую...» [42]

Мысль о необходимости изучать жизнь туземных народов Сибири Дмитриев высказал также в статье «О путешествиях вообще», полагая «священным долгом и обязанностью познать состояние и прочих членов сего великого семейства». [43]

В 1806—1807 гг. Дмитриев собирался издать свои литературные труды (стихи, прозу, переводы из Гельвеция и др.) в виде ежемесячного журнала «Ореады». Издание должно было выходить под наблюдением Вольного общества на средства Дмитриева. Он прислал в Общество материал для двух книжек, но в дальнейшем дело остановилось.[44]

Только в 1809 году вышла первая и единственная книжка «Ореад», целиком заполненная произведениями и переводами Дмитриева. Вернувшись в Петербург в середине 1807 года, Дмитриев принимал деятельное участие в трудах Вольного общества, но с конца 1810 года следы его теряются.

Наряду с переводами значительнейших произведений просветительной литературы в Вольном обществе в 1801—1804 гг. было прочитано и подвергнуто всестороннему обсуждению много работ самих участников кружка на темы политические, философские, исторические, социально-экономические и литературно-критические. В подавляющем большинстве они до нас не дошли и известны лишь по заглавиям. Помимо многочисленных сочинений В. В. Попугаева (о них — в следующей главе), упомянем работы В. И. Красовского («Об английской трагедии», «О духовной словесности в России», «Велисарий, в темнице умирающий»), В. В. Дмитриева («О театре»), А. Х. Востокова («О механизме правления», «О просвещении человеческого рода», «Нечто о слове: эгоизм»), И. М. Борна («О бедствиях человеческих», «О гордости», «Эскиз рассуждения об успехах просвещения», «Жизнь Говарда», «Воззвание к республике наук»), А. Е. Измайлова («Рассуждение о нищих»),[45] Н. Ф. Остолопова («Нечто о якутах»).

Читались в Вольном обществе также переводы из классических авторов (Платон, Тацит и др.), сочинения Карамзина («Историческое слово Екатерине II»). Попугаев докладывал здесь о своем «открытии касательно радужных цветов». На заседаниях велись «любопытные о русском языке рассуждения», причем решено было «замечать в особой книге удачно выдумываемые и переводимые слова».

Уже из этого краткого и сухого перечня видно, насколько серьезный характер носили заседания Вольного общества, еще не заявившего в ту пору (1801—1802 гг.) громогласно о своем существовании, но тем не менее бывшего в Петербурге восьмисотых годов единственным живым литературным объединением.

В делах Министерства народного просвещения[46] сохранилась «роспись занятий» членов Вольного общества, также свидетельствующая о широте и многообразии их научных интересов. Из «росписи» этой видно, что предметом заня-

тий большинства членов Общества была *литература:* русская (Борн, Бринкен, Волков, Востоков, Дмитриев, Измайлов, Каменев, Красовский, Остолопов, Пнин, Попугаев, Н. Радищев, Судаков, Спасский, Шубников, Языков, Яковлев, Арцыбашев, Глинка, Кованько, Ермолаев, Чернявский), французская (Борн, Бринкен, Волков, Востоков, Дмитриев, Измайлов, Каменев, Красовский, Остолопов, Пнин, Попугаев, Радищев, Судаков, Шубников, Языков, Яковлев, Арцыбашев, Вронченко, Ермолаев), немецкая (Борн, Волков, Востоков, Дмитриев, Каменев, Красовский, Остолопов, Пнин, Попугаев, Языков, Арцыбашев, Вронченко, Ермолаев), английская (Волков, Красовский, Радищев), итальянская (Волков, Остолопов, Попугаев, Арцыбашев), «гишпанская» (Арцыбашев) и латинская (Волков, Попугаев, Спасский, Вронченко). Некоторые члены Общества, согласно этой «росписи», объявили, что специализируются также и в иных областях: в *«философских науках»* (Попугаев), *истории* (Борн, Дмитриев, Ермолаев), *математике* (Бринкен), *химии* (Волков, Крюгер), *физике* (Красовский, Крюгер, Ертов), *«горных науках»* (П. Иванов, Яковлев), *архитектуре* (Гальберг, Востоков), *«живописи исторической»* (А. Иванов, Репнин), *скульптуре* (Теребенев). В эпоху 1800-х годов Вольное общество по кругу занятий являлось своего рода маленькой неофициальной академией, свободной при этом от академической рутины.

Во исполнение пункта устава, гласившего, что целью Вольного общества является не только «взаимное усовершенствование», но и «споспешествование общему благу», в мае 1802 года было специально постановлено «всякого сочинения, романического, исторического, морального или философического, — *объявлять цель»*. Немногие сохранившиеся в бумагах Общества «объявления цели» свидетельствуют о том, что членами Вольного общества была усвоена идея социально-практического назначения литературы, что они ясно представляли себе всю значительность той роли, которую литература может играть в деле нравственного и общественно-политического воспитания людей. Так, например, В. В. Попугаев, представив перевод из «Analyses historiques de la société» Сен-Ламбера, объявил, что «надеется сею и следующею из оного артикула пиесами доставить читателю случай к суждению о переменах, происходящих

в правлении и народном духе» («что Обществом и было признано»). Г. И. Спасский объяснял, что цель его романа «Пармен и София» «есть та, чтобы показать пороки людей, являющиеся в различных видах». «Спартанцы» Попугаева «имели целию доказать, что рабство виною уничтожения государств и что делание военнопленных невольниками ведет к рабству», а его же трактат «О исполнительности законов» был написан в доказательство того, что «одних законов к счастию народа не довольно; нужны просвещенные люди в правах человечества» и т. д.

Большое внимание уделялось в Вольном обществе идее практической филантропии. Она настойчиво пропагандировалась и в специальных работах публицистического характера и в художественных произведениях.

А. Е. Измайлов в брошюре «Рассуждение о нищих; каким способом можно уменьшить у нас в России великое число оных и доставить всем прочим безнужное пропитание безо всякого на то иждивения от казны» (1804) предлагал приписать всех нищих (разделяя их на три категории: из отставных солдат, из крестьян и из увечных) к церковным приходам, где в организованном порядке должно было производиться распределение средств, собранных среди населения; кроме того, Измайлов предлагал учредить для нищих специальные убежища. «Нищета и бедность, сии два несносные в общежитии бедствия, — писал Измайлов, — такие представляют нам ужасные картины и такие пагубные влекут за собою следствия, что, по мнению моему, давно бы уже должны были обратить на себя внимание искусных политиков и патриотов». В другом сочинении — «Вчерашний день, или Некоторые размышления о жалованьи и о пенсиях», представленном в Вольное общество в 1805 году,[47] Измайлов в полубеллетристической форме доказывал, что большое жалованье несправедливо дается людям и без того состоятельным. С редким простодушием он предлагал обеспеченным дворянам отказаться от получаемых ими окладов и пенсионов в пользу бедствующих мелких чиновников и отставных военных. В Вольном обществе «размышления» Измайлова «заслужили единогласное одобрение по своему духу патриотизма».[48]

М. В. Крюковской, впоследствии известный драматург, автор патриотической трагедии «Пожарский», поместил

в «Периодическом издании» 1804 года (стр. 47—51) статью «Проект благотворительного сбора в пользу бедных девиц», в которой приглашал «верных сынов отечества» ревностно содействовать «благотворительным мерам» правительства «в пользу бедных и несчастных». «Такое усердие утешительно для друзей человечества и заслуживает особенную признательность общества», — писал Крюковской.

И. М. Борн составил не дошедшую до нас биографию Джона Говарда — знаменитого английского филантропа, старавшегося об улучшении тюремного быта. В. В. Попугаев, в свою очередь, славил Говарда в стихах как «друга, брата всех человеков»:

Ты в мире счастьем ближних жил,
Стремился к бедным всей душою,
В тебе утеху находил
Гонимый бедствами, судьбою!

Пожертвование купцом Ангерстейном (в 1801 году) значительной суммы на расширение московского госпиталя вызвало восторженное стихотворение Попугаева («Стихи на случай великодушного поступка Ангерстейна»), в котором жертвователь прославлялся как «новый Говард».

Примеры пропаганды филантропических идей членами Вольного общества можно было бы многократно умножить.[49]

Филантропизм окрашивал и личные взаимоотношения членов Вольного общества, всячески пропагандировавших патетический стиль «верной дружбы» и «сердечного согласия». Характерно в этом отношении неизданное письмо жестоко бедствовавшего художника Ф. Ф. Репнина (от 16 декабря 1804 года); он усердно благодарил друзей-сочленов, «великодушному старанию» которых был обязан определению на службу в Екатеринославе. Особенно горячо отзывался Репнин о В. В. Попугаеве, «который не оставался во все время моего здесь пребывания помогать мне в нужде бескорыстнейшим образом». «В отдалении, — писал Репнин, — могу утешаться и справедливо гордиться мыслию, что принадлежу к обществу, коего члены соединены еще более благородными чувствованиями, нежели любовию к наукам и художествам».[50]

Общественный резонанс широкой и многосторонней деятельности Вольного общества вначале был очень невелик. Бо́льшая часть сочинений и переводов членов кружка не попала в печать. В Петербурге в ту пору не было литературных журналов, а своей собственной издательской базы эта необеспеченная разночинная молодежь также не имела.

Впрочем, уже в 1801 году в Вольном обществе возникли издательские проекты, которые вскоре были частично осуществлены. Не располагая достаточными средствами на издание журнала, члены Общества к январю 1802 года подготовили небольшой альманах стихотворений и в апреле того же 1802 года выпустили его в свет под названием «Свиток муз», кн. I. Здесь были напечатаны стихотворения Востокова, А. Волкова, В. Красовского, М. Михайлова, Борна и Попугаева. Предполагалось открыть альманах предисловием, но впоследствии оно было отменено. По словам А. Е. Измайлова, первая книжка «Свитка муз» и особенно стихи Востокова «обратили на себя внимание публики».[51] Председатель Медико-филантропического комитета (где служил И. М. Борн) камергер А. А. Витовтов, по собственной инициативе, «без всякого искания со стороны Общества», передал экземпляр сборника Александру I.

В марте 1803 года была издана и вторая книжка «Свитка муз» (со стихотворениями Востокова, Борна, Попугаева, Волкова, М. Олешева, Остолопова, Д. Бринкена, Красовского и И. Кованьки), «принятая любителями отечественной словесности столь же благосклонно, как и первая».[52]

Первую годовщину свою Общество отметило «чрезвычайным» собранием 15 июля 1802 года. В речах Попугаева, Борна и Востокова уже подводились некоторые итоги и намечались дальнейшие перспективы. Из речей видно также, что еще в самом начале своего существования Общество потерпело урон от «ложного честолюбия некоторых недостойных членов» и что в числе инициаторов Общества было еще несколько академических гимназистов (кто именно — неизвестно), покинувших «дружеский круг» на первом же заседании. Борн вспоминал, как он с Попугаевым «в счастливую минуту приняли намерение» составить кружок, «вместе восхищались сею мыслию, проводили нередко целые часы в рассуждении о сем предмете, пригласили ближайших

к нам бывших наших сотоварищей в ученьи; но, ах! разногласие и недоумение или даже самая недоверчивость расстроили первое наше заседание». Борн предлагал «не жалеть» об ушедших и в заключение выражал надежду, что «каждый будущий таковый день года» будет для членов кружка «обильнее в сердечных чувствованиях и во вкушении лучших плодов жизни».

5

Расширившись в составе, Вольное общество уже в 1802 году фактически переросло рамки дружеского, интимного кружка. На его деятельность начали обращать внимание «посторонние любители словесности», слухи о его собраниях стали проникать в светские и литературные салоны. Общество занялось регламентацией внутреннего распорядка, выработкой устава, издательскими проектами. С 1802 года заседания Общества происходили еженедельно — в квартире И. М. Борна, в здании немецкого училища св. Петра на Невском проспекте. «Залу собрания расписал Зауэрвейт [53] эмблемами наук и литературы. Эта живопись долго просвечивалась сквозь слой прозаической белой краски, которою впоследствии покрыли храм поэзии». [54]

Много внимания уделялось в Вольном обществе организационным вопросам, регламентации внутреннего распорядка. На одном из первых же заседаний была учреждена должность секретаря, на обязанности которого лежало ведение «журнала заседаний», переписка с отсутствующими членами Общества и пр. Секретари избирались первоначально на трехмесячный, впоследствии на годовой срок. Первым секретарем был В. В. Попугаев, вторым — А. Г. Волков, третьим — И. М. Борн, четвертым — А. Х. Востоков (остававшийся секретарем в течение трех лет — с марта 1802 по март 1805 года).

Первые руководители Общества, Борн и Попугаев, настойчиво стремились к насаждению в кружке строгой дисциплины. Имена отсутствующих в заседании членов вносились в «журнал»; от пропустивших несколько заседаний требовалось письменное объяснение; длительное непосещение

кружка грозило исключением. Каждый член обязан был представить в Общество ежемесячно хотя бы одну пьесу (оригинальную или переводную — безразлично). В первую годовщину основания Общества, 15 июля 1802 года, Попугаевым были составлены аттестации на каждого члена, с подробным перечислением фактов, свидетельствующих о его «ревности» или «бездействии». Требования дисциплины и творческой активности отличают Вольное общество от дворянских литературных объединений обычного типа, пребывание в которых носило по большей части формально-почетный характер и не влекло за собою никаких непременных обязательств.

В ноябре 1801 года определено было «для большей удобности разбиться Обществу на два собрания: 1) собрание для словесности и наук и 2) для управления общественных занятий и исключительного занятия по части отвлеченных познаний; последнее [собрание] имело также в виду начертание общественного статута».[55]

По инициативе членов-художников Репнина, Андрея Иванова и Востокова в апреле 1802 года обсуждался вопрос об организации специального «Общества художников», которое «имело бы сношение с Обществом словесности». Проект этот, однако, не был осуществлен.

В мае 1802 года была учреждена вторая (после секретарской) выборная должность — корректора: «для избежания вперед великих орфографических погрешностей» в сочинениях членов Общества. Корректор должен был «отвечать за таковые погрешности». Избран корректором был И. М. Борн. Тогда же была учреждена и должность рецензента (избран на нее был В. И. Красовский, в помощники ему определен А. Х. Востоков). Было положено, что рецензент дает отзыв на каждое произведение, читанное в обществе, причем «всякому члену позволялось делать возражения на сии рецензии». Этим правом воспользовался, например, Попугаев: не согласный с отзывом Красовского о его стихах, он представил свои письменные возражения. Подчас такие рецензии носили весьма решительный характер. Так, например, ознакомившись с планом романа Г. И. Спасского, рецензент нашел план этот «слишком обширным и весьма много в частные подробности входящим», почему и советовал автору «оный оставить, тем более

что еще не окончен». Общество в целом согласилось с этим отзывом, и он был записан в протоколе как решение Общества.

В сентябре 1802 года Общество приняло по проекту Попугаева разделение на три «факультета»: исторический, естественных наук и художеств. Первый из них был вскоре переименован в философский. «Как факультет исторический занимает в себе только один предмет, — читаем в «журнале», — то предлагается Обществу распространить его и присоединить к нему политику и даже философию, что переменит самое его наименование в факультет философии. Таковое переименование будет тем лучше, что в наших трех факультетах будут заключаться все отрасли наук, т. е. в философическом — *умственные*, в факультете естественных наук — *извлеченные из природы вещей познания*, а в факультете художеств — *все художества*». Впоследствии это разделение, кажется, было отменено; практического же значения оно вообще не имело, поскольку состав членов Вольного общества был невелик.

В октябре 1802 года было утверждено «постановление» о внутренней цензуре Общества и сконструирован первый «Комитет цензуры» в составе Востокова, Красовского, Волкова, Борна, Остолопова и Языкова (в 1803 году Красовского и Остолопова заменили Н. Радищев и Попугаев). «Комитету цензуры» были присвоены функции общего руководства объединением.

Преимущественное внимание в плане организационных мероприятий уделялось в Обществе выработке устава. В годовом собрании 15 июля 1802 года обсуждались «Главные статьи постановления Общества», представляющие своего рода моральный кодекс. Статьи эти суть следующие:

«1. Дружба и согласие должны быть символом членов.

2. Всяк должен предлагать мнения свои без всякой застенчивости, без всякой надменности.

3. Каждому члену позволяется делать возражения другому, но неоскорбительно.

4. В общих суждениях большинство голосов решает, но не уничтожает мнение члена. Ему позволяется оное предлагать вторично, третично и столько раз, сколько ему заблагорассудится, — но по прошествии некоторого времени, если

он уверен в своем сомнении, ибо Общество может ошибаться.

5. Все суждения о члене должны приводиться в его присутствии, и ничего за глаза, найпаче худого, о нем говорить не должно.

6. Чтоб достигнуть к своей цели, член должен итти прямою дорогою, не делая никаких подъисков, ни околичностей, и ложь (если сделана она без хорошей цели) не должна быть терпима.

7. Вне Общества должен член удерживаться от бесполезного или неосторожного разглашения наших упражнений пред людьми, не могущими о том судить.

8. Все правила честного человека сопрягаются с должностью члена нашего Общества вне оного.

9. Член, не исполняющий в точности постановлений Общества, в первый раз записывается в журнал, второй — получает выговор в журнале, третий — исключается».

Обращает внимание седьмой пункт этого документа, лишний раз свидетельствующий о том, что даже в обстановке официального «либерализма» 1801—1802 гг. члены Вольного общества все же считали нужным засекречивать свои «упражнения» из соображений политической предосторожности.

Одновременно с «Главными статьями» был выработан «Порядок Общества», состоящий из длинного ряда пунктов, в том числе следующих:

«Все члены имеют равные голоса, и первенства никто не имеет;

В заседаниях нет местных преимуществ;

Общество имеет секретаря, которого голос не более и не менее голоса члена. Секретарь смотрит за наблюдением постановления Общества и лишается навсегда сего звания, если три раза сие упустил;

Никто из членов не может печатать своих сочинений без особенного соизволения Общества, ибо доброе имя каждого члена соединено с честью всего Общества;

Новые члены принимаются в Общество *единственно* по представленным сочинениям и переводам, а художники — по произведениям их искусства».

На основании этих тезисов Д. И. Языкову было поручено разработать проект устава Общества. В конце декабря

1802 года такой «первый опыт статута» был Языковым представлен и обсуждался, дополнялся и изменялся вплоть до августа 1803 года. Языков предложил «присоединить к статуту вторую часть, имеющую *филантропические виды*, но оная на сей раз была оставлена», очевидно по недостатку материальных средств, хотя Общество «сие и приняло с должною благодарностью к достойному сему сочлену, показавшему столь отличные чувствия человечества».[56] В августе 1803 года были утверждены некоторые дополнительные к уставу статьи «касательно порядка внутреннего, упражнений и обязанностей членов и особенно цензуры и президента, назначаемого по новому уставу». В окончательной редакции устав был подписан всем наличным составом членов Общества (Бринкен, Волков, Дмитриев, Каменев, П. Иванов, Яковлев и Репнин находились в это время вне Петербурга) и в октябре 1803 года подан на имя царя с прошением об официальном утверждении Общества.

Еще за полгода до того в Обществе читаны были проекты писем на имя царя и попечителя петербургского учебного округа Н. Н. Новосильцева (при посредстве которого Общество возбуждало свое ходатайство). Подача прошений была отложена ввиду затянувшейся переработки устава.

Вокруг вопроса об официальном признании в Обществе шла борьба. Учредители Общества — Борн, Попугаев и Волков — выступали за сохранение прежней интимной обстановки; новые члены во главе с Д. И. Языковым настойчиво стремились к тому, чтобы вывести Общество на более широкую дорогу. В ходе прений И. М. Борн сделал (в апреле 1803 года) следующее заявление: «Мнение мое есть: не подавать до времени устава нашего государю императору. Выставлять себя наружу и подвергаться требованиям публики я нахожу для нас ненужным. Пускай обращают на нас внимание исподволь». Мнение это, поддержанное Попугаевым и Волковым, было «отринуто большинством голосов», и тогда же Попугаев был избран депутатом к Новосильцеву, дабы «испросить позволение на законное открытие общественных заседаний». Выбран Попугаев был, вероятно, из соображений практических: он был лично известен Новосильцеву.

Новосильцев — в ту пору один из наиболее влиятельных русских сановников, близкий друг царя — пользовался репутацией либерала и мецената. [57] Он принял Попугаева «весьма ласково» (как сообщал тот в своем рапорте Обществу), но в течение долгого времени не удосуживался передать Александру I прошение и «статут» Общества, а также присоединенную к ним вторую книжку «Свитка муз». Попугаев неоднократно отправлялся к Новосильцеву «для истребования решительного ответа», а 14 июля к попечителю была отправлена целая делегация в составе Попугаева, Борна и художника Андрея Иванова, доложивших в Обществе «об успехах посольства своего». Новосильцев, по словам делегатов, «весьма снисходительно отозвался обо всем Обществе, признал, что постановление [т. е. устав] заслуживает всякого одобрения, и обещал в короткое время предстательствовать о нас государю».

Только в сентябре 1803 года делу был дан официальный ход, и прошение Общества поступило к царю. Вот текст этого документа, поданного за подписью И. М. Борна «от имени всего Общества»:

«Общество любителей словесности, образовавшееся на дружеской связи 15-го июля 1801 года, имея целию сколько взаимное усовершенствование участвующих в оном, столько и споспешествование, сообразно силам своим, благу общему, имело счастие удостоиться внимания вашего императорского величества чрез благосклонное предстательство его превосходительства г. Витовтова, взявшего на себя труд представить первый опыт упражнений оного, под названием «Свитка муз», августейшей особе вашего императорского величества. Ныне, увелича круг свой многими членами и имея надежду со временем произвести что-либо более полезное и сообразное с целию своего образования, осмеливается представить вашему императорскому величеству вторую часть той же книги, прося высочайшего вашего императорского величества соизволения позволить оному открыть свои заседания законным образом под названием: Вольного общества любителей словесности».

Прошение Общества было препровождено «по высочайшему повелению» на рассмотрение Главного правления училищ, которое признало, что Общество «имеет целию взаимное усовершение составляющих оное молодых людей в сло-

весных науках и художествах и что принятые им на сей конец правила не только не содержат в себе ничего противного государственным законам, но соответствуют даже прямой цели просвещения», почему и было определено довести до сведения царя, что «Главное училищ правление, с удовольствием одобряя похвальную цель Вольного общества любителей словесности, не находит препятствия дозволить ему открыть и продолжать его заседания на основании предположенного им устава».[58]

В заседании 17 ноября 1803 года Борн и Попугаев доложили, что, посетив Новосильцева, «имели они удовольствие слышать от него объявление монаршего соизволения на полное открытие Общества». Вскоре же было получено от Новосильцева формальное свидетельство «в том, что Обществу позволяется открыть свои заседания в С.-Петербурге под названием *Вольного общества любителей словесности*, с тем, чтобы в оных не было ничего противного законам и правилам благопристойности» (свидетельство помечено 26 ноября 1803 года).

После официального утверждения в Вольном обществе наступило большое оживление. «С сей счастливой эпохи Общество получило, так сказать, совершенно новое бытие».[59]

В заседании «Комитета цензуры» 13 ноября В. В. Попугаев выступил с речью, в которой указывал на ослабление дисциплины среди членов Общества, на «охлаждение» их к задачам и целям кружка, подчеркивал, что, после того как Общество «явилось глазам публики», «требуется деятельность». «Если оная будет таковая же [что и прежде], — замечал он, — то мы покроем себя стыдом». О том же говорил и И. М. Борн (5 декабря): «Желание Общества исполнилось. Настоящее общее собрание постановит новый порядок в производстве дел. Как одному из первых, принявших участие в кругу нашем, надлежит мне напомянуть почтенному сию [sic] сословию, что цель наша есть взаимное друг друга образование и усовершенствование. Не забудем никогда сей цели! Всякое уклонение от оной, *самодовольство* будет нарушением предположения нашего. Я хочу сказать, что мы все, с бо́льшими или меньшими способностями, — мы все должны действовать. Дерево может, конечно, иметь гнилые сучья, кои сами собою отвалятся, но сила корня его существует, и дерево не перестанет цвести и приносить

плоды. Почтенный наш сочлен Василий Васильевич Попугаев, коего с благодарностью торжественно признаю твердейшею подпорою Общества, заметил уже, что некоторые из нас забыли свои обязанности. Какая горестная истина! Что было причиною сего забвения? «Мы ждали подтверждения Общества». Разве оно не существует почти уже два года с половиною? Сие *мнимое* подтверждение требовало по крайней мере большей деятельности. Будем прилежны и оправдаем доверенность правления». [60]

Тогда же Попугаев выступил с предложением поднести дипломы почетных членов Общества некоторым его «покровителям», а также некоторым видным деятелям литературы, науки и искусства.

«Общество благонамеренным предстательством достойного покровителя округа г. камергера Новосильцева имеет право открыть публично свои заседания, — заявил Попугаев. — Мы не можем не быть благодарны по крайней мере нашею признательностию к сему достойному мужу, кою мы обязаны изъявлять ему, — но вместе, по крайней мере равно, одолжены мы в том и г. Витовтову, как первому, который по собственному направлению сердца обратил на нас свое внимание. Я предлагаю Обществу изъявить благодарность Общества и вместе поднести им звание почетных Общества членов, как весьма важным виновникам поддержания Общества... Также думаю я, не справедливо ли будет, если Общество признает достоинство отличившихся в нашем отечестве своими личными достоинствами, по части троякого предмета нашего, мужей и почтет их тем же званием. Между таковыми я предложить осмеливаюсь по части словесности гг.: Карамзина, Дмитриева, Державина, Хераскова; по части наук гг.: Гурьева и Фуса; по части художеств гг.: Угрюмова, Мартоса, Доеня и достойного покровителя художеств графа Строганова. Осмеливаюсь предложить почтить портретом в Обществе покойного академика Лепехина». [61]

Предложение Попугаева о введении в Обществе института почетного членства принято на этот раз не было, но позже (в 1805 году) все названные лица были избраны в число почетных членов Общества. Вместе с тем Попугаев предлагал отметить каким-либо почетным образом некоторых особо отличившихся членов Общества: «В самом кругу

нашем между присутствующими сочленами видим мы много отличившихся как своими дарованиями, давшими вес Обществу, так и усердием, поддержавшим в течение трех лет целость нашего круга, что по моему мнению есть весьма важно, и их услуга для Общества, а может быть и для Отечества вечно неоцененна. Таковы: г. Борн, столь усердно содействовавший при образовании нашего круга, столь ревностно старавшийся о поддержании оного, столь отличный по своим знаниям и талантам; г. Волков, бывший также при образовании Общества и своими знаниями и талантами столько содействовавший к чести оного; г. Красовский, также участвовавший в первом образовании и столь усердный в поддержании оного целости; г. Востоков, хотя не участвовавший в образовании круга нашего, но неутомимым служением Обществу столько имеющий право на нашу благодарность, своими талантами столько сделавший чести Обществу; г. Языков, столь усердный ко благу Общества и столько содействовавший к настоящему оного утверждению. Все сии достойные члены должны и имеют право на признательность Общества, которую мы от лица Общества обязаны им изъявить торжественно и таким образом, чтобы память того в истории наших летописей была незабвенна. Итак, гг. мои, я надеюсь, что Общество обратит на сие внимание и уважит мое предложение, впрочем справедливое, ибо положить твердое начало есть важнее, нежели с честию довершить. Я не определяю, каким образом Общество может это сделать. Это в его власти. По моему мнению, некоторые могут быть удостоены в Обществе портретов; некоторым в дипломах, кои им дадутся, может Общество изъявить свою признательность; некоторых может оно представить к награждению публичному. Впрочем, сие представляю рассмотрению общему».[62]

Это предложение Попугаева также не встретило поддержки у его сотоварищей.

Декабрь 1803 года — своего рода рубеж в истории Вольного общества. Сведения об его официальном утверждении и о происшедших в нем организационных переменах проникли в печать. Издатели журнала «Северный вестник», «ожидая от деятельности сего сословия, споспешествующего общему благу, плодов, могущих служить к пользе наук», обращались к Обществу с просьбой сообщать журналу хро-

нику его занятий.[63] Начиная с февраля 1804 года, отчеты о заседаниях Вольного общества регулярно печатались в «Северном вестнике».

Реорганизация кружка вызвала приток в него новых членов. В 1804 году в Вольное общество вступили: М. В. Крюковской, И. П. Лапен, художник А. И. Зауэрвейт, А. Ф. Мерзляков, А. А. Писарев, Н. П. Брусилов, А. Тимме (смотритель Выборгского училища, принятый «особенно для корреспонденции с иностранными академиями», что свидетельствует о стремлении Общества установить международные учено-литературные связи). Желавших вступить в «высочайше учрежденное» Общество оказалось, вероятно, не мало, и требования, предъявлявшиеся кандидатам, были повышены. Новых членов принимали теперь с бо́льшим разбором, нежели прежде. Так, например, К. Н. Батюшков был принят (в апреле 1805 года) с оговоркою: представленная им «Сатира», написанная «в подражание французскому», вызвала следующий отзыв цензора (Востокова): «Для вступления молодому автору в Общество надобно, чтоб он представил что-нибудь из трудов своих».

Получив официальные права, или, как выразился И. М. Борн, «выставив себя наружу», Вольное общество сразу утратило свой первоначальный облик, превратилось из интимного кружка безвестных «любителей изящного» в достаточно обширную по составу организацию общественного характера, играющую заметную роль в культурной жизни столицы.

Но вместе с тем уже в это время, в связи с расширением Общества, возникли предпосылки его перерождения, наступившего в недалеком будущем. Кружок возник в самый разгар «александровской весны», в атмосфере всеобщих «восторгов» и «надежд», — и это обстоятельство ближайшим образом определило его цели и задачи. Между тем в исходе 1803 года общественно-политическая обстановка в стране существенно изменилась, — и это обстоятельство, в свою очередь, не могло не повлиять на судьбу дружеского объединения радикально настроенных представителей разночинно-демократической молодежи. Сама жизнь препятствовала им свободно и в полную меру развернуть общественно-полезную деятельность в духе владевших ими идей и настроений.

В конце 1803 года «александровская весна» была уже явно на ущербе. Молодой царь кончал свою игру в либерализм, ни о каких реформах он уже не помышлял, а, наоборот, был озабочен укреплением принципов самодержавия. Многозначительные намеки на ликвидацию крепостного права имели своим единственным следствием мнимолиберальный указ о «свободных землепашцах». Открытый поворот в сторону реакции произошел несколько позже, но отказ от либерального курса правительственной политики уже в это время сказывался все более ощутимо. В 1803 году был возвращен на службу Аракчеев (вскоре вернувший себе прежнее влияние) и произошли перемены в составе Комитета министров, причем большинство новых назначений способствовало разрушению либеральной репутации Александра I, — так, например, министром юстиции был назначен бывший павловский фаворит кн. П. В. Лопухин, человек, совершенно неспособный к делам и пользовавшийся в обществе самой дурной славой. «Негласный комитет», на который либералы возлагали столько надежд, в 1803 году фактически прекратил свою деятельность, а в конце года и вовсе распался.

По-новому складывавшаяся общественно-политическая обстановка, отказ правящих кругов от внешнего либерализма, естественно, не создавали благоприятных условий для практической деятельности вольнолюбивых мечтателей, стремившихся «действовать» во имя «истины» и «общего блага». Даже наиболее радикальные из них силою обстоятельств вынуждены были переключиться из сферы общественного «действия» в сферу литературного творчества.

6

Да и в самом Вольном обществе далеко не все было благополучно. «Дружеское сословие» раздирали ожесточенные распри. Общество раскололось на две группы. Первую из них составляли В. В. Попугаев и И. М. Борн, к которым примыкало еще несколько членов-учредителей. Вторую возглавлял Д. И. Языков — человек совершенно иных взглядов. Он ни в малой мере не разделял увлечений

и интересов, воодушевлявших инициаторов кружка. Роль, которую сыграл Языков в истории объединения и в дальнейшей судьбе Попугаева и Борна, характеризует его крайне невыгодно.

Смысл разгоревшейся в Обществе к 1804 году фракционной борьбы значительно глубже, нежели это может показаться с первого взгляда. Борьба эта носила принципиальный, идейный характер, хотя и принимала подчас формы мелочной склоки. Споры по организационным вопросам служили отражением более глубоких и острых противоречий, корни которых лежали в идеологической сфере. В Обществе боролись две тенденции, два направления, которые в общей форме можно охарактеризовать как радикально-демократическое и либеральное. Попугаев и Борн стремились направить деятельность Общества на разрешение общественных вопросов, призывали «ревновать к благу отечества, к благу всех людей», — Языков и его единомышленники выбрали благонамеренный путь литературной и ученой деятельности, очищенной от налета политического и философского радикализма. Многие перипетии этой борьбы неясны, поскольку скудость сохранившихся материалов по истории Вольного общества позволяет больше высказывать догадки и предположения, нежели оперировать точными фактами. [64]

Есть основания предполагать, что Д. И. Языков уже с самого начала своего пребывания в Вольном обществе был антагонистом пламенно-вольнолюбивого Попугаева. Начало открытого конфликта между ними восходит к середине 1803 года, когда в результате какого-то шумного столкновения, обстоятельства которого темны, Языков прислал в Общество следующее заявление: «По некоторым причинам, о которых упоминать не нужно, не могу я более носить лестного для меня названия члена почтенного Общества любителей словесности. С прискорбием слагая с себя оное и благодаря за те приятные часы, которые я с удовольствием проводил в беседах Общества, прошу в особенности всех членов, составляющих оное, не лишать меня своего знакомства, хотя связь, соединявшая меня с Обществом, теперь и [раз]рушилась». Однако Языкова удалось уговорить взять обратно его заявление, и в годовом собрании 15 июля 1803 года он объявил, что согласен остаться в Обществе.

В марте 1804 года «Комитет цензуры» вынес Языкову «выговор в журнале» за непосещение заседаний. Обидевшийся Языков в письме на имя Борна сложил с себя звание цензора и просил «переместить его в список корреспондентов или оставить действительным членом с позволением ходить в собрание, когда дозволит время», ссылаясь на занятость свою делами службы. Просьба Языкова сначала не была уважена, и вдобавок ему был объявлен строгий выговор за «удержание» письма Н. Радищева, адресованного Обществу. Кроме того, от Языкова были затребованы в весьма категорическом тоне «не взнесенные еще деньги и окончательный отчет» за проданные в Москве (при посредстве Языкова) экземпляры первой книжки «Свитка муз». Из разнообразных документов, сохранившихся в «деле» Языкова, видно, что отношения его с тогдашними руководителями Общества были весьма напряженными.

В июле 1804 года хлопотливый Попугаев выступил с очередным проектом преобразования Общества. Из проекта этого видно, что к тому времени «дух взаимного дружественного сношения» в Обществе уже выветрился. Попугаев писал между прочим следующее: «Общество в настоящем его положении, как то видно из журналов, приметным образом ослабело. Сила корня его хотя и показана в произведениях, кои Общество доставило чрез своих членов, каковы многие философские, политические и литературные сочинения в стихах и прозе, что Общество действительно стремилось к пользе, [им] предположенной, особенно к цели служить своими трудами публике соразмерно способностям. Но дух общественности, дух взаимного дружественного сношения в своих сведениях и в своих слабостях с продолжением времени приметно умалился, а сие есть важнейшею точкою нашего соединения, есть корень, из которого долженствует проистечь и взаимное наше усовершенствование и заслуги Общества в пользу публики».

Причину всех неполадок Попугаев видел в несовершенстве организационной стороны дела и в несовершенстве устава: «Общее собрание судит окончательно о предложениях, Обществу членами делаемых. Сей закон, повидимому, есть справедлив; но когда проникнем в сложность цели нашего Общества, мы увидим, что он требует в своем существе некоторых изменений и исключений. Общее мне-

ние собрания в такой только точке может быть сообразно с целию постановления, когда оное касается точек, с коих интересы всех соединены неразрывно. Наше Общество, соединяя в своем кругу изящных занятий три цели усовершенствования: в художествах, умственных и опытных науках и словесности, состоит из троякого рода членов, коих цель хотя и не противоположна, но не соединяется в совершенно одной точке. Должно признаться, что Общество состоит из трех обществ; сии три отделения не могут в суждениях сообразоваться большинству голосов всего сословия. Каждое сословие отдельно знает всегда лучше свой предмет, нежели два другие; но оно может получить многие новые сведения от суждения других. В нашем большинстве голосов собрания на основании сего лежит семя, сеющее раздор, ибо художник, или занимающийся науками, или, наконец, литератор, видя свое справедливое мнение отверженно большинством голосов двух других сословий... может оскорбиться, почесть самое постановление Общества нимало не полезным, не объяв возможности исправить неудобства, охладеть и отчуждаться от него».

В заключение Попугаев предлагал вернуться к принятому одно время (по его же инициативе), а впоследствии отмененному разделению Общества на три «отделения» — «сообразно качеству предмета»: 1) словесности (которое «можем содержать в себе и технологию, потому более, что оная от сословия литераторов может занять бо́льшую ясность и точность в выражениях и терминах»), 2) «познаний умозрительных и опытных» и 3) художеств. Каждое отделение, по мысли Попугаева, должно было иметь своего секретаря и вести свой журнал заседаний. Принцип большинства голосов Попугаев предлагал сохранить только при разрешении общих вопросов (изменение и утверждение устава, финансовые и организационные дела и т. д.). «Сие разделение, — кончал Попугаев, — сблизит людей, одним предметом занятых, естественно свяжет их узлом теснейшим». Проект этот был отклонен, отчасти из-за малочисленного состава Общества, при котором «из трех человек нельзя составить целого отделения художеств».

Языковская группа настойчиво стремилась к захвату президентского кресла. В годовом собрании 15 июля 1804 года президентом был избран уже не И. М. Борн,

а Н. А. Радищев, и только ввиду его отказа Борн, собравший следующее за Радищевым большинство голосов, сохранил свое звание президента, — с тем чтобы через год уступить его И. П. Пнину. Основные удары Языкова и его сторонников были направлены, как видно из документов, не столько против Борна, сколько против Попугаева.

Новое серьезное столкновение между Языковым и Попугаевым произошло в октябре 1804 года. Поводом для него послужила изданная под редакцией Попугаева первая книжка «Периодического издания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».

Еще в феврале 1804 года Общество «решило издать третью книжку своих трудов, но уже не в виде альманаха, а периодического издания», хотя «сроку выхода его» и не назначалось.[65] Составлением первого сборника занимался «Комитет цензуры»; обязанности редактора были возложены на Попугаева. По первоначальному плану в сборник должен был войти ряд произведений, впоследствии исключенных. Из них наибольший интерес представляют: речь Востокова «О просвещении человеческого рода» и переводы (в отрывках) из Филанджиери, Гереншванда и Канара с объяснительными к ним статьями переводчиков (Попугаева, Крюковского и Судакова).

«Периодическое издание» было отредактировано крайне небрежно, изобиловало грубейшими опечатками, а открывавшая сборник «Краткая история Вольного общества», написанная по поручению «Комитета цензуры» Попугаевым, изобиловала мелочными подробностями (ценными, впрочем, для нас) и была изложена чрезвычайно скверным языком, а в иных случаях и просто безграмотно (с грамматикой Попугаев, как это видно из его писаний, был вообще не в ладах).

Когда книга вышла в свет, Языков и близкий приятель его Н. А. Радищев подали, «по должности своей цензоров», обширное заявление, целиком направленное против Попугаева. «История Общества, — писали они, — составлена совершенно непристойным образом. Чистосердечие не всегда бывает добродетелью, а здесь оно простерто до излишества и в некоторых местах преступает границы, предписываемые благоразумием». Речи Попугаева и Борна, помещенные в сборнике, по мнению авторов заявления,

«нимало не следовали быть преданы тиснению». «Мы отдаем полную справедливость их усердию и дарованиям, — писали Языков и Радищев, — но да позволено будет нам сказать, что причины, побудившие их к произношению сих речей, совсем не приносят чести Обществу, ибо читатель ничего более из них не узнает, как то, что собрание 1801 года было очень *бурно*, из чего может даже вывести заключение, что в нем дрались». В речи Попугаева авторы заявления усмотрели «оскорбительные слова» по адресу некоторых членов Общества. «Притом же речи сии не могут служить руководством и для будущих писателей нашей истории, предположив, что такие найдутся, ибо в речи г. Попугаева названы оставшиеся члены от первоначального образования Общества только: Борн, Волков, Красовский, а в речи г. Борна: Дмитриев, Волков и Красовский, что явное есть противоречие».

Значительно существеннее были другие замечания Языкова и Радищева, свидетельствующие о том, что возражения их шли также по линии обвинения руководства Общества в политической неосторожности. Они особо подчеркивали «неблагонамеренность» упоминаний о Рейнале и Вольнее: «На стр. V [истории Общества], — указывали они, — сказано, что Общество *особенно* занималось чтением сочинений *Рейналя*, а на VI представлена г. Попугаевым 123 глава [опечатка: нужно читать: 1, 2, и 3 главы. — *В. О.*] перевода из *Волнея* (Ruines). Что подумает об нас правительство, узнав, что мы *преимущественно* занимаемся такими сочинениями, кои от оного запрещены?» Языков и Радищев полагали, что «все статьи сии долженствовало бы только хранить в общественном журнале, а не печатать в издании, ибо мы за это ничего более не получим, кроме укоризны и насмешек». [66]

Вторая часть заявления целиком посвящена орфографическим ошибкам Попугаева и небрежной корректуре «Периодического издания», «некоторые места» которого «совершенно непонятны». Кроме того, Языков и Радищев отмечали «неуместность» помещения в издании Общества стихотворения какой-то «княжны Катерины К. . .», не принадлежащей к Обществу. Стихотворение это, действительно более чем посредственное, было помещено в «Периодическом издании» с таким примечанием: «Общество

с удовольствием исполняет желание любезной незнакомки, благодарит за лестный отзыв и просит ее продолжать свое благорасположение к себе». Справедливость требует отметить, что стихи княжны были приняты в сборник на заседании «Комитета цензуры», а не единолично Попугаевым.

В заключение Языков и Радищев предлагали уничтожить написанную Попугаевым историю Общества и будущее издание общественных трудов возложить на другого члена, а «в издании философических и политических сочинений иметь большую осмотрительность, дабы не подвергнуть Общество ответу перед правительством» (поскольку, в силу цензурного устава 1804 года, цензурование сочинений, «от ученых обществ, правительством утвержденных, издаваемых», возлагалось «на попечение и отчет самых тех мест и их начальников»).

Заявление Языкова и Радищева было рассмотрено в заседании 22 октября, и Попугаеву было предложено представить свои объяснения, что он и сделал через день в специально для этой цели созванном общем собрании. Тогда же выяснилось, что Попугаев успел уже вручить три экземпляра «Периодического издания»: Александру I, министру народного просвещения гр. П. В. Завадовскому и товарищу министра М. Н. Муравьеву.

В «объяснении» своем Попугаев подчеркнул, что Языков и Радищев по должности цензоров обязаны были сделать свое заявление о «несообразности издания», худом выборе и размещении пьес — своевременно, когда вопрос об издании обсуждался в «Комитете цензуры». Попугаев снимал с себя ответственность за издание, возлагая ее на «Комитет цензуры» в целом, и в свою очередь выдвигал обвинения против Языкова: «Настоящее дело показывает, что господин цензор Языков не хотел вникнуть при всем своем усердии в постановление наше; вот печальные следствия того небрежения, которое иногда оказывается в членах наших. Сие небрежение, рано или поздно уничтожив согласие пагубным недоразумением, может отверзнуть гроб нашему Обществу, с такими трудами, с такими пожертвованиями установленному. И кто знает — какие еще последствия повлечет дело сего собрания».

Вслед за тем Попугаев подробно «ответствовал на каждый пункт возражений» Языкова и Радищева. По вопросу

о переводе из «Руин» Вольнея он замечал: «Книга запрещена! Это правда, но 1, 2 и 3 глава не содержит ничего вредного! Это токмо мысли чувствительного философа о перемене дел человеческих на развалинах; сии три главы написаны пером магическим и, будучи невинны, стоют быть на нашем языке. Притом оные уже напечатаны, под надзором строжайшей цензуры, нежели настоящая, в журнале члена нашего г. Пнина» (т. е. в «Санктпетербургском журнале» 1798 года). «Вот мое оправдание, милостивые государи! — кончал Попугаев. — Я уверен, что всякое сердце, любящее справедливость, оправдает меня. Впрочем, я жду решения с совестию спокойной и чистым сердечным уверением, что я всегда действовал как истинный член Общества».

Высказать свои соображения по поводу возникшего дела было предложено А. Х. Востокову, который заявил следующее: «В настоящем положении остается нам, не тратя времени и не жалея иждивения, исправить допущенные нами в издании нашем погрешности; конечно, лучше бы было не доходить до них, прочитывая в Обществе все, что готовится к печати, и ведя корректуру общими силами, но, с одной стороны, сопряжено это с неудобствами, с другой, хотя и можно того из почтенных членов, на чьих руках была корректура и кто писал историю [т. е. Попугаева. — *В. О.*], винить в недосмотрении и опрометчивости, однакоже мы еще виновнее, ведая сии за ним погрешности, столь предосудительные всем прочим украшающим его добрым качествам, усердию и благонамерению, — ведая сие, зачем были мы столь мало заботливы о делах Общества? Зачем оставляли ему одному исправлять то, от чего зависит честь и доброе имя всего Общества? Да позволят мне привести одно место из речи, произнесенной мною 15 июля 1804 года: «Если мы все не оживимся равною деятельностью и не употребим совокупные усилия наши к снисканию себе от публики общего уважения, то легко допустить, что собратство наше со всею его благонамеренностью и целию сделается ребяческою игрушкою и посмешищем в глазах сторонних людей, а теперь едва ли не сбудется это, ежели мы не предускорим деятельными мерами. Ежели есть способ выручить три экземпляра, выпущенные нами [т. е. врученные Попугаевым Александру I, Завадов-

скому и Муравьеву. — *В. О.*], и, уничтоживши весь завод напечатанной истории и двух речей, перепечатать историю с надлежащими переменами, как предложено было почтенными членами в прошлую субботу, то осмелюсь представить приготовленную мною историю, совершенно по прежнему начертанию, но сокращенную и с нужными выпущениями».

«Комитет цензуры», выслушав отзыв Востокова, «признал отчасти справедливость доводов г. Попугаева, оставаясь, однакож, вообще согласным с мнением гг. цензоров Языкова и Радищева», и вынес постановление перепечатать «Историю Общества», а три поднесенных «высоким особам» экземпляра «истребовать назад, а буде возможно учинить их недействительными, поднесши вновь тем же особам другие экземпляры с перепечатанною историею и с вынесенными на конце опечатками».

В ноябре 1804 года Востоков представил выправленную им «Историю», доведя изложение до «четвертого года Общества», т. е. до 15 июля 1804 года. Старую «Историю» было положено из книги изъять и заменить ее новой. В архиве Общества имеется записка Попугаева к Языкову (от 27 июля 1805 года), из которой видно, что «Периодическое издание» перепечатывалось в количестве шестисот экземпляров. Однако через год после представления новой «Истории», в ноябре 1805 года, «Комитет цензуры» предложил Обществу вовсе уничтожить злополучную книгу, оставив в библиотеке Общества один только экземпляр, «из которого выбрав некоторые сочинения и переводы, разместить их в будущие периодические издания». Предложение это было принято, и от книгопродавца Заикина были «истребованы» отданные ему на комиссию экземпляры и «преданы уничтожению». Тем не менее в наших книгохранилищах встречаются экземпляры «Периодического издания», причем в некоторых сохранены обе «Истории» Общества. Что же касается планов издания следующих выпусков сборника, то в ноябре 1804 года был намечен состав второй книжки, куда должны были войти произведения: Д. Ф. Бринкена, Н. А. Радищева, В. В. Попугаева, Н. Ф. Остолопова, А. А. Писарева, И. И. Чернявского, А. Е. Измайлова, А. Ф. Мерзлякова, И. М. Борна, Н. С. Арцыбашева и Г. П. Каменева. Дело об издании

этой книжки тянулось до середины 1805 года и в конце концов заглохло.

Конфликт по поводу «Периодического издания» был серьезным ударом по авторитету Попугаева в Вольном обществе и открыл собою полосу непрерывных на него нападений со стороны языковской группы. В частности, борьба с Попугаевым велась вокруг представленной им в цензуру Общества рукописи «Опыта о благоденствии народных обществ», о котором речь пойдет в следующей главе.

Члены Вольного общества прилагали старания к тому, чтобы слухи о распрях в их кружке не проникали за его пределы. В опубликованном отчете о годовом собрании 15 июля 1805 года было особо подчеркнуто, что «прошедший год отличается величайшею деятельностью, доказывающею, что существование всякого общества основывается и поддерживается единодушным и добровольным стремлением к предположенной цели». [67]

В 1805 году была предпринята попытка консолидации сил Вольного общества и еще большего расширения круга его деятельности, связанная с привлечением на руководящую роль в кружке И. П. Пнина. Выбранный членом Общества еще в 1802 году, Пнин не принимал в течение трех лет сколько-нибудь деятельного участия в его занятиях и очень редко появлялся на заседаниях. Тем не менее 15 июля 1805 года (за два месяца до смерти) он был избран президентом Общества. Причину этого следует видеть прежде всего в популярности Пнина в литературных кругах Петербурга. Кроме того, из всех членов Вольного общества Пнин в 1805 году, несомненно, был наиболее крупной фигурой по масштабам своей литературной деятельности.

Во всяком случае, как передают современники, с именем Пнина связывались надежды на оживление Вольного общества. «Знаем, что предполагалось усилить и распространить деятельность Общества. Старания эти были прерваны кончиною Пнина», — писал Н. И. Греч. [68] А. Е. Измайлов, выступая с речью на поминках Пнина, говорил: «Вам, почтенные мои сочлены, вам всех более был он известен. Вы, чувствуя цену его талантов и следуя благородному беспристрастию, избрали его президентом нашего Общества. Он действительно достоин был сего звания и, чтобы

изъявить нам свою благодарность за сделанное ему предпочтение, оставил службу и все свое время хотел посвятить трудам для славы Общества и для пользы народной. Мы ожидали от него плодов, но, увы! не ожидали того, что через два месяца будем оплакивать его кончину!»[69] Также и Н. П. Брусилов в некрологической статье о Пнине писал, что он «не успел произвести в действие того, что он хотел предпринять для чести Общества и, смею сказать, для пользы словесности».[70]

Трудно сказать, какое направление приняла бы деятельность Вольного общества под руководством Пнина. Единственным крупным (в масштабах истории Общества) мероприятием, проведенным по инициативе Пнина, была разработка проекта нового устава. Устав этот был утвержден в заседании 29 июля 1805 года, и тогда же определено было издать его на русском, французском и немецком языках (русский и немецкий тексты были изданы в 1805 году отдельными брошюрами; французского издания, кажется, не появилось).

По новому уставу 1805 года было учреждено звание почетного члена Вольного общества. Первыми почетными членами были избраны шестнадцать человек видных сановников, литературных корифеев, крупных ученых и художников: президент Академии художеств гр. А. С. Строганов, министр народного просвещения гр. П. В. Завадовский, товарищ министра и попечитель московского учебного округа М. Н. Муравьев, К. П. Ридигер, Г. Р. Державин, М. М. Херасков, Н. Н. Новосильцев, камергер А. А. Витовтов, И. И. Дмитриев, А. Н. Оленин, Н. М. Карамзин, академики С. Е. Гурьев и Н. И. Фус, скульптор И. П. Мартос, художники Г. И. Угрюмов и Дойен. Впоследствии, в том же 1805 году, почетными членами Общества были избраны: историк А. Л. Шлецер, П. Г. Демидов, В. А. Озеров, И. И. Мартынов, академик В. М. Севергин, кн. Е. Р. Дашкова, академик Н. Я. Озерецковский, А. С. Шишков, попечитель Харьковского университета гр. С. О. Потоцкий, ректор Харьковского уинверситета И. С. Рижский; в 1806 году секретарь Академии наук В. И. Эмс; в 1807 году: В. В. Капнист, тобольский губернатор А. М. Корнилов (по предложению служившего при нем В. В. Дмитриева), полковник Семеновского полка и литератор

И. А. Вельяминов, поэт кн. И. М. Долгоруков; в 1810 году Евгений Болховитинов и М. М. Сперанский.[71]

После смерти Пнина языковская группа переходит в решительное наступление и вскоре одерживает полную победу. Хотя на место Пнина президентом был избран попрежнему И. М. Борн (и даже переизбран в 1806 году), руководящую роль в Обществе фактически он утратил. Избрание его президентом в 1806 году объяснялось, вероятно, тем обстоятельством, что Языкова с середины 1806 до середины 1807 года не было в Петербурге (он путешествовал по России). В июле 1806 года даже Попугаев был избран секретарем Общества. На время путешествия Языкова фракционная борьба в Обществе затихла, — с тем чтобы с новой силой вспыхнуть в 1807 году.

7

В годовом собрании 15 июля 1807 года произошло окончательное падение Борна и Попугаева. Они были забаллотированы на выборах; президентом стал Языков, а секретарем Измайлов. Общество вступило в новый период существования и вместе с тем стало приходить в явный упадок (из новых членов в 1807 году в Общество вступили поэты И. Г. Аристов, В. Ф. Вельяминов-Зернов и С. С. Бобров). В отчете за 1807 год указывалось, что «собрания стали редки из-за малочисленности членов»; отчасти это было связано с политической обстановкой 1807 года: ряд членов Общества должен был отправиться на театр военных действий.

Новый президент Общества, Д. И. Языков, предпринял попытку оживить деятельность умиравшей организации, предложив проект издания большого ежемесячного литературного журнала. Для этого имелись серьезные основания.

В 1804—1806 гг. в распоряжении членов Вольного общества было несколько журналов, издававшихся либо самими участниками Общества, либо лицами, близко к нему стоявшими: «Северный вестник» и «Лицей» И. И. Мартынова, «Журнал российской словесности» Н. П. Брусилова, «Любитель словесности» Н. Ф. Остолопова, «Журнал для пользы и удовольствия» А. Н. Варенцова. В 1807 году

положение резко изменилось. «Северный вестник», «Журнал российской словесности», «Любитель словесности» прекратили свое существование, и Петербург снова остался без литературного журнала.

Проект Языкова осуществлен не был, вероятно, по причине недостатка у Общества материальных средств, а также отсутствия достаточного числа сотрудников. Поскольку в истории русской журналистики проект Языкова не освещался, имеет смысл привести здесь некоторые документы об этом интересном журнальном предприятии, сохранившиеся в архиве Вольного общества.

В заседании 27 июля 1807 года Языков внес следующее предложение:

«Науки и словесность ничем так не распространяются, как ежемесячными или ежедневными изданиями. Мы видим сему примеры во Франции, Германии и Англии, да и наше отечество можем причесть также к ним. По разнообразности предметов, составляющих обыкновенно таковые издания, каждый человек, какого бы он звания не был, находит в них что-нибудь для себя занимательное и даже полезное. Новые открытия разного рода, известия примечательные о республике ученых распространяются скорее: охота к словесности делается повсеместнее, общественнее.

По сим причинам смею предложить Обществу открыть новое поприще для упражняющихся в науках, словесности и художествах. Сколь много словесность наша выиграла от «Собеседника», ежемесячного издания Академии наук, говорить нечего: это всякому известно. Я предпочитаю ежемесячное издание потому, что таковые издания скорее читаются и расходятся, нежели таковые, кои выходят в неизвестное и неопределенное время. Не предвижу опасности, чтобы оно могло остановиться за недостатком припасов, ибо ежели и один человек может продолжать таковое издание года два, а иногда и более, то кольми паче общество, считающее между своими членами толико ревностных и трудолюбивых людей. Я не предчитаю к сему гд. почетных членов, из коих многие не откажутся вспомоществовать нам своими произведениями. К тому же можем мы принять в участие и всю ученую публику.

Содержание предметов сего издания, по моему мнению, должно быть таково:

I. Словесность: а) стихи, б) проза.

II. Науки.

III. Художества.

IV. Театр: а) рассмотрение новых драматических произведений, б) игра актеров, в) правила театральные, писанные славнейшими людьми, чего еще совершенно нет на русском языке.

V. Смесь: а) ученые известия разного рода: открытия, перемены, заведения, транзакции ученых обществ и пр., б) некрологи и биографии, в) анекдоты.

VI. Рассмотрение книг: а) русских, б) иностранных.

Распределение трудов между членами Общества. Каждый член должен непременно принять на себя обработание какой-нибудь части из вышесказанного и доставлять к известному времени, однакож не возбраняется ему заняться и другими, если имеет довольно на то времени. Гд. отсутствующих членов и корреспондентов секретарь известит о сем предположении Общества. Но г-да почетные члены известятся не прежде, как по издании 1-го №, который отошлется им при письме с предложением о принятии участия в сем общественном издании. По моему мнению, и публику не прежде сего приглашать должно.

Рассмотрение припасов. Все сочинения, доставляемые как от членов Общества, так и от посторонних для помещения в ежемесячное издание, отдаются в цензуру Общества, которая рассматривает их и избирает по всей строгости критики без всякого пристрастия. Для сего должна она собираться по крайней мере в две недели один раз или по приглашению президента.

Издание. По выборе сочинений цензура поручает издание одному из своих членов, о котором дает знать Обществу, так же как и о выбранных сочинениях. Издатель печется обо всем, до сего принадлежащем, и дает отчет цензуре».

Общество «приняло с удовольствием» предложение Языкова, — за исключением Попугаева, который (вероятно, в результате каких-либо новых трений с Языковым)

объявил, что «в журнале Общества участия иметь не может». Остальные члены Общества распределились по отделам журнала следующим образом: по части «словесности» — все, по части «наук» — Языков и В. В. Дмитриев, «художеств» — Востоков, «театра» — Языков и Остолопов, «критики русской» — Остолопов, Востоков и Измайлов, «критики иностранной» — Борн. На издержки по изданию члены Общества обязались вносить ежемесячно по десять рублей. В отступление от предложенного Языковым порядка некоторым почетным членам Общества (М. М. Хераскову, И. И. Дмитриеву, Н. М. Карамзину и И. И. Мартынову) были отправлены (в сентябре 1807 года) письма с просьбой «украсить» журнал «превосходными их произведениями» и «тем споспешествовать распространению наук и отечественной словесности». [72]

В архиве Общества сохранились автограф ответного письма Карамзина [73] и выписка из письма И. И. Дмитриева. Карамзин, принося «искреннюю благодарность» за «обязательное письмо и план журнала», писал: «Сердечно желаю, чтобы почтенное Общество любителей наук и художеств более и более способствовало их успехам. Я желал бы также и сам участвовать в похвальных трудах его, если бы мог сверх моей обыкновенной и ежедневной работы [Карамзин готовил уже в то время свою «Историю». — *В. О.*] написать что-нибудь достойное внимания». Столь же вежливым, но твердым отказом ответил Обществу и Дмитриев, преподавший, впрочем, несколько практических советов: «Порадовался я намерению Общества издавать журнал; план его довольно хорош, но обширен. Мне кажется, лучше бы ограничить себя только словесностию, учеными известиями и статьей о художествах. Для последней я рекомендовал бы вам «Histoire de l'art», par Winkelmann, описание некоторых картин из Дидеротовых сочинений, «Traité de peinture», par Barelon, «Vies des peintres», par London и преимущественно его же «Manuel du Museum». Впрочем, мое мнение не устав: чем больше, тем лучше, лишь бы все было так, как должно. Охотно бы я, пользуясь приглашением вашим, сообщил что-либо из моих произведений в журнал ваш, но теперь, право, ничего нет нового».

Тем временем вокруг проекта издания журнала продолжалась старая распря Языкова и Попугаева, согласив-

шегося, в конце концов, принять участие в этом предприятии. В начале сентября Попугаев представил в Общество очередное «Мнение от члена В.О.Л.С.Н. и художеств Василья Попугаева»:

«В прошедшем заседании рассуждаемо было о предметах, которые должны взойтить в состав нашего издания, вследствие предложения Д. И. Языкова, президента Общества, назначенного. По поводу сему я с моей стороны имею честь предложить собранию следующее: *Во-первых*. По части словесности, думаю я, Общество весьма благоразумно сделает, если назначит к изданию только тё сочинения и переводы, которые имеет Общество уже представленными, или и те, которые члены имеют уже готовыми, хотя оные не представлены. Собрав все, Общество потом может уже однажды твердо означить, что составит сущность нашего издания по сей части, не подвергаясь опасности поставить себя в необходимость для накопления страниц печатать все без разбору, что в противном случае очень быть может. *Во-вторых*. По части наук поставляю долгом заметить, что мы в сей части равномерно можем поместить токмо то, что уже в Обществе обработано, и потому оная должна заключать одни нравственные и политические предметы — поелику в сем отделении человеческих познаний у нас находятся уже конченные сочинения и переводы. Также по сему отделению можем мы присоединить и рассуждения о словесности. *В-третьих*. Советую Обществу вообще удержаться от издания ежемесячного, а ограничить себя выдаванием каждые три или четыре месяца по книжке — может быть, в первом жару особенно против сего восстанут, но если рассмотреть хладнокровно, то, конечно, найдут, что я справедлив».

Члены «Комитета цензуры» (Языков, Писарев, Остолопов, Измайлов) «со вниманием рассматривали сие мнение В. В. Попугаева, но не могли найти, почему бы он был в сем случае справедлив, и рассудили выдавать журнал помесячно, как то и прежде положено было, во-первых, потому, что ежемесячные издания обыкновенно разбираются более, нежели те, которые выходят в свет через три или четыре месяца, чему доказательством служат многие опыты, а во-вторых, и по той причине, что выдавать в три или четыре месяца одну только книжку было бы некоторым

образом предосудительно для Общества, имеющего у себя столь много достойных, ревностных и трудолюбивых членов.

Вслед за тем члены «Комитета цензуры» подняли вопрос о погрешностях в «журналах», веденных Попугаевым в 1806 году во время недолгого его секретарства. Придирки их были крайне мелочны и обвинения недобросовестны. Попугаев в ответ «сложил с себя звание члена Общества» и был исключен из его списков. Вслед за Попугаевым из Общества вышел и И. М. Борн. Впрочем, спустя некоторое время Попугаев вернулся в Общество, но уже не играл в нем, по существу, никакой роли.

В то самое время, когда в Обществе обсуждался журнальный проект Языкова, поэт и прозаик А. П. Бенитцкий, вступивший в кружок в конце 1806 года, подал «Мнение относительно некоторых перемен и прибавлений в уставе Общества». Предложения Бенитцкого сводились к чистке Общества за счет освобождения от «бесполезных» членов и к активизации его деятельности путем установления поощрительных и почетных наград.

«Всякое сословие при установлении своем имеет намерение быть полезным, — писал Бенитцкий, — следовательно, труды есть предмет собирающегося общества — не бездействие... Рассматривая ближе намерение, с коим составилось наше Общество, будучи побуждаем искренним желанием видеть его приходящим час от часу в лучшее состояние... и чувствуя, какую мы от занятий наших можем получить выгоду и славу, — предлагаю IV статьи, на которые и прошу гг. членов обратить свое внимание».

В «первой статье» Бенитцкий указывал на необходимость повысить требования, предъявляемые вступающим в Общество. Представленный кандидатом опыт «должен быть не опыт детский»: «Сонет, рондо, триолет, стишки на родины или крестины, пара басенок или — с другой стороны — легкая в прозе сказочка не могут доставить права на важное и почтенное звание члена ученого Общества». Бенитцкий рекомендовал при выборе новых членов пользоваться закрытой баллотировкой, при которой «все затруднения исчезнут», ибо «*личность* не будет уже иметь места». Во «второй статье» предлагалось строго соблюдать в Обществе «постепенность званий», «различие санов» действи-

тельного члена и члена-корреспондента. В качестве особых отличий Бенитцкий предлагал завести «большие» и «малые» жетоны и медали. В «третьей статье» доказывалась необходимость безусловной и своевременной уплаты членских взносов, составлявших годовой капитал Общества в 690 рублей (при двадцати одном действительном члене и одиннадцати корреспондентах). И наконец, «четвертая статья» имела в виду обеспечение дисциплины в Обществе, аккуратное посещение заседаний и т. д., причем предлагалась целая система поощрительных наград: каждый член, посетивший двадцать заседаний Общества, получает жетон; имеющему шесть жетонов выдается диплом на звание «действительного заслуженного члена» и т. д.

Предложение Бенитцкого долго обсуждалось в Обществе, но реальных результатов не имело. Заметим, что в большинстве члены Вольного общества были людьми крайне ограниченными в своих средствах и не имели возможности вносить в Общество такие значительные по тем временам суммы, как предложенные более состоятельным Бенитцким.

К сентябрю 1807 года относится также интересный проект издания силами Общества первого на русском языке энциклопедического словаря. Повод к обсуждению этого проекта дал В. В. Дмитриев, предложивший Обществу коллективно и «со всей деятельностию» заняться переводом какого-либо «важного, полезного и обширного» сочинения.

«Обозревая настоящее положение нашего сословия, — писал Дмитриев в своем предложении, — вникая в полный состав его, нахожу, что оно при всей мудрости и пользе своего начала, при всех подъемлемых им трудах — не приводит в исполнение главнейшую свою обязанность — ту, которая лежит, так сказать, у всех соприсутствующих здесь на сердце и остается еще в недействии... Друзья Просвещения! Обратитесь со мною к тому времени, когда сие самое сословие, при политических бурях, на горизонте Отечества носившихся, собиралося под мирным кровом Дружбы, когда милые Музы занимались с ним в тишине неизвестности, когда любовь, согласие и взаимность были единственными его законами и оградою, — тогда не имело оно

никаких вне себя обязанностей. Но когда... воля монарха утвердила навсегда в России существование Общества... тогда явилися и другие обязанности Общества, столь же многоразличные, сколько имеет оно отношений к Правлению и Народу... Уже седьмой год, как преобразовано, утверждено навсегда сие сословие, а мы не сделали и начала к исполнению сей особенной нашей обязанности. Друзья Просвещения! решим это колебание, соединим силы способностей наших на труд новый... Приступим к такому делу, которое будет полезно народу».

Далее Дмитриев писал: «Мысль сия занимала меня во время самого моего отсутствия — во время странствования моего по диким и малообитаемым местам Отечества. Ибо она относилася ко благу нашего Общества, а благо оного занимало меня и на краю мира — и там, где ревущие волны готовились поглотить меня, где пропасти зияли, где змей, пресмыкаяся, шипел у ног моих, где зверь дикий наполнял рыканием своим дремоту лесную. Из самой Сибири переносился я с сею мыслию к Обществу».

Со своей стороны Дмитриев предлагал Обществу заняться переводом на русский язык многотомной «Всеобщей истории, английским ученым сословием изданной». «Сей перевод, — писал он, — может быть украшением лучшей из библиотек университетов и гимназий, — следовательно, это будет *перевод для России*».

Инициатива Дмитриева была встречена «со всеобщим удовольствием и одобрением», но определено было заняться не переводом «Всеобщей истории», а «преложением на российский язык энциклопедии». В специально созданный «Комитет о составлении энциклопедии» вошли: Д. И. Языков, В. В. Дмитриев, Н. Ф. Остолопов, В. Ф. Вельяминов-Зернов, И. М. Борн, А. Х. Востоков, А. П. Беницкий и А. Д. Хрущов, «принявшие себе за основание издаваемую в Париже «Методическую энциклопедию», дополняя те предметы, коих недостает в оной, а особливо относительно России». По отделам энциклопедии обязанности сотрудников распределены были следующим образом: военное дело — И. А. Вельяминов (почетный член Общества), «свободные художества» — А. А. Писарев, грамматика и словесность — А. Х. Востоков, «древности» — В. Ф. Велья-

минов-Зернов, математика — В. В. Дмитриев, законоведение — Д. И. Языков (И. М. Борн к тому времени уже вышел из Общества). Но и этот проект, подобно журналу Языкова, осуществлен не был.

1807-м годом кончается первый, наиболее интересный период деятельности Вольного общества. Дальнейшая история его выходит за пределы нашей темы, и потому скажем о последующем периоде совсем коротко.

В дневнике А. Х. Востокова содержатся данные, свидетельствующие о том, что в 1808—1809 гг. Общество пришло в полный упадок. Собрания происходили крайне редко и нерегулярно; так, например, 13 июля 1808 года члены Общества собрались «после трехмесячной праздности», и А. Е. Измайлов «вызвал охотников помогать ему в издании ученого журнала», предложение это, однако, не возбудило энергии его товарищей; 15 июля члены «тщетно пришли в собрание»: «Языков запискою своею распустил оное»; 26 ноября происходили выборы «Комитета цензуры», в который вошли: Языков, Измайлов, Писарев, Дмитриев, Ленкевич, Востоков и А. Иванов (президентом был избран Языков, секретарем — Измайлов). В 1809 году положение еще более ухудшилось: 14 августа «после полугодовой праздности собрались только для того, чтоб разойтись, ничего не сделавши».[74] На бездеятельность Общества обратили внимание даже в Министерстве народного просвещения. В декабре 1810 года министр гр. А. К. Разумовский затребовал от Общества «сведения о занятиях и настоящем положении», указав, что «за последние годы Министерству просвещения от сего общества не представлено отчета». Языков в ответ сообщил, что с 1808 по август 1810 года Общество почти вовсе не собиралось «за отсутствием большей части членов». Оправдание это не совсем справедливо, так как в Петербурге оставалось все же достаточное число членов, и причины их бездействия следует искать, вероятно, в утрате ими интереса к самой идее Общества.

В конце 1810 года деятельность Общества несколько оживилась. Собрания стали происходить чаще — на квартире Д. И. Языкова (в здании Главного правления училищ, так называемом «Щукином доме»). Из старых членов Общества здесь бывали: Востоков, Попугаев, Дмитриев,

Ленкевич, Писарев, Измайлов; из новых, вступивших в 1810 году: Н. И. Греч, П. А. Никольский, М. В. Милонов, Д. В. Дашков, П. А. Буженинов. В заседании 23 ноября 1810 года Языков был «подтвержден в звании президента».

В 1811 году из Общества был окончательно вытеснен В. В. Попугаев. Вслед за ним и Д. И. Языков подал (при не вполне выясненных обстоятельствах) следующее заявление, помеченное 18 марта 1811 г.: «Некоторые причины принуждают меня не принимать более участия в трудах Общества: почему, возвращая при сем диплом свой, слагаю с себя звание действительного члена» (Языков был переведен в число почетных членов). Новым президентом был избран Д. В. Дашков, при котором Общество «сделалось средоточием оппозиции славянофилам».[75]

«Это Общество, — пишет Греч, — называлось в публике *Михайловским*, потому что заседания его происходили (по выбытии Д. И. Языкова) в зале Медико-филантропического комитета, помещавшегося в Михайловском замке. Вскоре оно обогатилось новыми членами. В числе их были Д. Н. Блудов, Д. П. Северин, К. Н. Батюшков,[76] Д. М. Княжевич, К. Ф. Грамматин, В. Л. Пушкин, И. М. Фовицкий, В. И. Панаев, С. П. Жихарев, В. С. Филимонов, Н. Ф. Ильин, М. Е. Лобанов. Усиленное и оживленное новыми членами, Общество положило издавать с 1812 года ежемесячный литературный журнал... В продолжение четырех длинных заседаний толковали и спорили о заглавии и наконец, после жарких и упорных прений, решили называть его «Санктпетербургским вестником». Сначала дело шло довольно хорошо: некоторые статьи обратили на журнал внимание публики... Но уже с третьей книжки начались разногласия и раздоры. «Вестник» направлен был прямо против славянофилов: это не понравилось некоторым членам, связанным почему-либо с партиею Шишкова. Других давило превосходство ума и дарований одного из членов. Сделали так, что он должен был выйти из Общества...[77] «С.-Петербургский вестник» прекратился на десятой книжке, в октябре 1812 года. Тогда было не до литературы: бо́льшая часть членов разбрелась в разные стороны. Общество закрылось. Но и без тревог той эпохи оно прекратилось бы само собою. В нем не было

общего интереса, не было единства воли и направления». [78]

Четыре года спустя, в декабре 1816 года, «по взаимному соглашению немногих остававшихся в столице действительных членов», Общество возобновило свою деятельность уже на совершенно иной основе и в ином составе, под председательством А. Е. Измайлова, и занялось выработкой нового устава (по проекту А. Х. Востокова). Деятельность обновленного Общества могла бы иметь довольно серьезное значение, так как Н. И. Греч «предложил сему сословию издавать свой журнал «Сын Отечества» от имени Общества, с тем, чтобы он, Греч, в звании редактора принял на себя все сопряженные по изданию труды и ответственность». Общество «приняло предложение с благодарностию и постановило отныне заниматься цензурою статей сего журнала, до наук, художеств и словесности относящихся». Но министр народного просвещения кн. А. Н. Голицын, узнав об этом, объявил Гречу выговор за его «столь же странные, сколь неосновательные поступки», напомнив, что «журнал свой издавал он с высочайшего сведения и соизволения» и о своем желании передать его Вольному обществу обязан был «предварительно представить начальству». Разрешения на передачу журнала Обществу дано не было. [79]

В 1816 году Вольное общество вступило в третий и последний период своего существования. Состав его пополнился некоторыми прогрессивными писателями. На первых порах они даже активно участвовали в его занятиях, но вскоре перекочевали в Общество соревнователей просвещения и благотворения, ставшее одним из периферийных органов декабристского Союза Благоденствия. Под руководством А. Е. Измайлова Вольное общество выродилось в захолустное объединение мелких писателей, сотрудников журнала «Благонамеренный». Оставаясь на периферии большой литературной жизни, оно просуществовало до середины двадцатых годов.

* * *

Конец Вольного общества в его ранней формации ознаменовался вытеснением из него не только радикалов и демократов Попугаева и Борна, но и антагониста их — умереннейшего либерала Языкова. Он также вынужден был уступить руководящую роль новым людям (вроде Д. В. Дашкова), которых уже ничто не связывало — даже в порядке воспоминаний — с учредителями Вольного общества. Приход Дашкова и его друзей, стоявших на почве карамзинизма, означал победу того общественно-литературного направления, которое было глубоко враждебно демократическим литераторам начала 1800-х годов.

Закономерность выдвижения новых людей и распада кружка в его первом составе проясняется в свете общественно-политических событий эпохи. Из материалов, приведенных выше, видно, что Вольное общество фактически потеряло свое лицо в 1807 году. К этому времени уже совершился поворот правительственной политики в сторону реакции, наметившийся в 1803—1804 гг. Это сказалось во всех областях культурной деятельности. Пятилетие 1807—1811 — в общем довольно пустая и темная полоса в истории общественного движения, несмотря на то, что на эти годы приходятся проекты Сперанского. Понадобился великий катаклизм 1812 года, небывалый подъем национального самосознания широчайших народных масс, чтобы в России с новой силой пробудилась независимая общественная мысль, чтобы возникло революционное движение декабристов.

Демократы «разночинного состояния» из Вольного общества навряд ли сумели бы найти общий язык с будущими декабристами — даже в том случае, если бы судьба их сложилась более удачно. По самой своей социальной природе, по общественному поведению, по всему складу своих представлений о жизни и о культуре они были бы чужаками в среде дворянских революционеров. Трудно представить себе, скажем, Трубецкого и Лунина или даже Никиту Муравьева в одной компании с Попугаевым. От подобных разночинцев эти аристократы и блестящие гвардейцы были так же далеки, как и от народа. Разве что с наиболее демократическими представителями декабризма из Общества

соединенных славян Попугаев и его товарищи могли бы почувствовать себя в своей среде.

Да кроме того, ко времени, когда началось декабристское движение, эти люди были либо грубо выброшены из жизни, как Попугаев, который умер в 1816 году в полной безвестности, либо простились с вольнолюбивыми «мечтами юности», как Борн, который жил еще долго, но уже не помышлял ни о каком «действии» во имя «общего блага». Большинство участников Вольного общества первого состава уступило давлению суровой действительности. Востоков целиком ушел в науку, В. Красовский впал в мистицизм, М. Михайлов и Н. Остолопов стали заурядными чиновниками.

Показательна в этом смысле судьба И. М. Борна. Уйдя из Вольного общества, он стал секретарем принца Георга Ольденбургского и в 1809 году уехал с ним в Тверь. Простившись с Петербургом, Борн простился и с литературой.[80] Он быстро ассимилировался в новой обстановке. Перерождению Борна способствовали условия, в которых он очутился в Твери. Принц Ольденбургский был женат на любимой сестре Александра I — в. кн. Екатерине Павловне. Тверской салон Екатерины Павловны был одним из идеологических и организационных центров дворянской реакции 1800-х годов. В напряженной борьбе, разгоревшейся в придворных и бюрократических кругах вокруг проектов Сперанского, тверской двор играл весьма крупную роль. Екатерина Павловна пользовалась большим влиянием на Александра I, к ее голосу внимательно прислушивались в высших правительственных сферах. Постоянными посетителями салона Екатерины Павловны были гр. Ф. В. Ростопчин — один из виднейших руководителей реакционной оппозиции — и Н. М. Карамзин — ее идеолог. Именно здесь в ответ на «План государственного преобразования» Сперанского была выдвинута знаменитая записка Карамзина «О древней и новой России». Карамзин писал ее по прямому заказу Екатерины Павловны.[81] В этом-то гнезде реакции и очутился Борн. Прямых свидетельств тому, что он изменил своим идеям, не имеется, но, во всяком случае, он уже не жил ими и как писатель замолчал навсегда.[82]

В связи с личными судьбами большинства учредителей Вольного общества символический смысл приобретают строки Востокова, которые он (уже в двадцатые годы) надписывал на книге своих стихотворений:

О чем я в юности мечтал,
Ведом надеждою отрадной,
Что наконец и опыт хладный
Иль опроверг, иль оправдал, —
Найдете здесь изображенным,
И возвратитесь вы со мной
К дням беззаботным и блаженным,
Когда мы зрели мир иной...

Но горячие юношеские мечты и надежды этих людей, остывшие впоследствии под воздействием «хладного опыта» действительности, оставили свой след в истории русской мысли и культуры. Они ознаменовали собою целый этап в развитии прогрессивных идей в России в период между Радищевым и декабристами.

Среди людей этого круга выделяется В. В. Попугаев — поэт и публицист с ярко выраженными радикально-демократическими убеждениями. Его деятельность представляется особенно значительной в плане выяснения радищевской традиции в русской общественной мысли и литературе начала XIX века.

Глава третья

ВАСИЛИЙ ПОПУГАЕВ

В. В. Попугаев жил и умер в безвестности. И в дальнейшем в отношении его была учинена обидная несправедливость. До настоящего времени он остается в числе забытых писателей. Буржуазные ученые — историки общественной мысли и литературы начала XIX века — даже не потрудились прочесть то, что он написал. Между тем роль, которую играл Попугаев в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств, вся совокупность его взглядов и мнений, выраженных с замечательной для своего времени энергией, последовательностью и принципиальностью, наконец, его незаурядный общественный темперамент — все это, рекомендуя Попугаева как наиболее интересную фигуру в кругу радищевцев 1800-х годов, обеспечивает за ним бесспорное право на достаточно видное место в истории русской литературы и общественной мысли.

1

Сведения, которыми мы располагаем о Попугаеве, настолько скудны, отрывочны и случайны, что имеет очевидный смысл собрать их воедино, не поступаясь мелочами, и постараться в меру возможного, хотя бы отчасти, восстановить картину его жизненного пути. [1] Сквозь эту тусклую и далеко не полную картину проступает привлекательный образ Попугаева — образ человека крайне пылкого и несуразного (а многим, кто с ним общался, казавшегося просто нелепым), но при всем том исполненного большого внутреннего благородства,

«Василий Васильевич Попугаев, — писал хорошо знавший его Н. И. Греч, — принадлежал к разряду неузнанных гениев, которые часто встречаются во все времена. Одаренный доброй душою и пылким воображением, вдохновенный самыми чистыми намерениями, равнодушный к суждениям света и житейским отношениям, он бросался во все стороны, начинал многое и не кончил ничего. Он умер в безвестности».[2] Далее Греч, называя Попугаева «пламенным, эксцентрическим поэтом, неистовым другом правды и гонителем зла, непостоянным, вспыльчивым, благородным и простодушным», отмечает, что он не только не встретил признания даже в своем литературном кругу, но был «предметом насмешек со стороны людей, не понимавших и не стоивших его». Больше того: он испытал настоящие гонения и был вытеснен из литературы.

Вероятно, многое в житейских неудачах Попугаева следует отнести за счет его непомерной вспыльчивости. То, что известно о Попугаеве, характеризует его как человека очень доброго и отзывчивого. Сам бедняк, он охотно помогал ближним. А. Е. Измайлов рассказывает, например, что однажды пришел к Попугаеву «один бедный человек» и попросил у него взаймы, — «а денег у В. В. не было; он не знал, что делать, но, взглянув нечаянно на новый свой фрак, который за несколько перед тем часов принесен был к нему от портного, принудил гостя взять этот фрак», а сам стал ходить в старом.[3] Но вместе с тем этот добряк был в быту человеком трудным — суетливым, с преувеличенными понятиями о «долге дружбы». Нужно думать, он изрядно досаждал приятелям, требуя от них такого же рвения, с каким сам относился к любому делу. В Вольном обществе «пылкость» и рвение Попугаева служили причиной постоянных споров и недоразумений.

Показателен в этой связи следующий эпизод. Попугаев ввел в Общество А. Ф. Севастьянова, человека немолодого и с учеными заслугами (он был адъюнктом Академии наук и членом Российской академии). Тот за недосугом неаккуратно посещал собрания «дружеского сословия», и Попугаев по обязанности секретаря сделал ему выговор, не постеснявшись в выражениях. Обидевшийся Севастьянов сложил с себя звание члена Общества, заявив, что не желает подвергаться «нападениям» Попугаева, «не имеющим иного

основания, кроме его пылкого характера». Общество затребовало у Попугаева объяснения, и он, подчеркнув, что поступок Севастьянова «приводит его в странное удивление», ответил так: «Г. Севастьянов, предложенный Обществу мною, нимало не подавал мне поводу ожидать от его такой чудной переменчивости мыслей. Я очень жалею, что столь мало знал людей, предложив Обществу *его*! Но в этом, дóлжно признаться, обмануло меня, во-первых, достоинство Академии адъюнкта, во-вторых, его пламенное усердие которое он показывал на словах, и обещание участвовать в трудах наших, в чем он уверял меня со всем пламенным рвением, каковое можно ожидать от человека, достойного быть участником трудов ваших, друзья и сочлены мои. В заключение присоединю, что я радуюсь, по крайней мере, о том, что сей образ оставления им нашего Общества может заставить нас не жалеть о нем». [4] Весь Попугаев — в этой тираде, которая объясняет отчасти, почему его собственное «пламенное рвение» подчас оказывалось затруднительным для его товарищей.

Родился Попугаев в 1778 (или в 1779) году. Происхождение его было самое демократическое. Вероятнее всего, он вышел из «крепостного состояния». Отвечая однажды на запрос начальства, он пояснил: «Отец мой служил при императорской Шпалерной мануфактуре живописцем; как художник пользовался правом носить шпагу, но имел ли чин — не знаю и доказательств в руках не имею». [5] Впрочем, «живописец» в штате Шпалерной мануфактуры был человеком не из последних: на 146 рабочих и служащих полагался всего один мастер «живописного класса». [6]

О семье и о раннем детстве Попугаева ровным счетом ничего не известно, кроме того, что он рано потерял отца, а мать его вышла замуж вторично. Семи лет отроду его определили в гимназию Академии наук. В делах Академической гимназии имеется следующий документ, помеченный 7 февраля 1785 года: «Жена бывшего живописца Василья Попугаева вдова Анна Попугаева желает отдать малолетнего своего сына Василья в гимназию Академии наук на казенное содержание». На документе — резолюция директора гимназии кн. Дашковой: «Принять оного на государево содержание».

Зачисленный в гимназию 1 июля 1785 года, Попугаев провел в ее стенах двенадцать лет. В 1790 году он был зачислен «пансионером» великих князей Александра и Константина, из «комнат» которых выдавалось на его питание, обмундирование и обучение по 110 рублей в год.

В конце 1795 года «за прилежности и успехи в науках, а равно и в поведении» Попугаев, выдержав полагающийся экзамен, был переведен из «гимназистов» в «студенты» (одновременно со своими будущими товарищами по Вольному обществу — А. Г. Волковым, В. В. Дмитриевым, В. И. Красовским и Н. И. Судаковым). Впрочем, в октябре 1796 года он совершил какой-то проступок и «по жалобе математического учителя» (Буканова) был «отослан» на две недели в «художнические ученики». Обычно это наказание применялось к «гимназистам», но не к «студентам».

В январе 1797 года, уже при Павле I, девятнадцатилетний Попугаев «с соизволения родителей» (то есть матери и отчима) испросил увольнение из гимназии, «имея желание вступить в действительную службу». Уволен он был «по отобрании у него всех казенных вещей и книг, кроме имеющегося на нем платья, белья и обуви». Это — штрих, свидетельствующий о его, повидимому, весьма жалком материальном положении.

При увольнении Попугаеву был выдан аттестат (на основании свидетельства за подписью академика П. Иноходцева), в котором сказано, что он «обучался языкам латинскому, французскому и немецкому с изрядным успехом, в последние два года нарочито также успел в аглицком и итальянском языках и собственным упражнением во всех оных еще более усовершиться может. Сверх того с похвальным прилежанием и успехом упражнялся в чистой математике, истории, географии, физике и минералогии. При бывших экзаменах в отличие награждаем был книгами, вел себя добропорядочно и заслужил от гг. учителей похвалу и одобрение». [7]

Обычные формулировки аттестата в данном случае, нужно думать, имели реальное содержание. Во всяком случае, публицистические работы Попугаева свидетельствуют об основательности и многосторонности его знаний, особенно в области истории. Об интересе Попугаева к опытным наукам говорит его «Рассуждение о цветах радуги»

(на французском языке), представленное им в марте 1802 года в Академию наук, но в печать не попавшее. [8]

По выходе из Академической гимназии, в том же январе 1797 года, Попугаев определился на службу в петербургскую цензуру (находившуюся тогда в ведении Управы благочиния), на мизерную должность «чтеца». Здесь он служил довольно долго, но никакой карьеры не сделал (в январе 1801 года его произвели в чин губернского секретаря). Кроме того, в 1801—1802 гг. он занимался педагогической деятельностью — преподавал русский язык и русскую литературу в немецкой школе св. Петра. [9]

По упразднении цензуры Управы благочиния, в мае 1802 года, Попугаев, как сказано в его послужном списке, «остался без должности». Вскоре, однако, в его судьбе произошел довольно решительный поворот. В декабре того же 1802 года он был *«по высочайшему повелению»* назначен в Комиссию составления законов, где жива была память о Радищеве, скончавшемся всего за два месяца перед тем.

Обстоятельства необычного назначения безвестного молодого чиновника в столь важное учреждение и притом по указанию самого царя выясняются из письма влиятельнейшего сановника того времени, одного из «молодых друзей» Александра I — Н. Н. Новосильцева к начальнику Комиссии составления законов гр. П. В. Завадовскому. По некоторым данным можно предполагать, что Попугаев был както связан с Новосильцевым и пользовался его покровительством.

«Государь император, — писал Новосильцев Завадовскому, — снисходя на всеподданнейшее прошение губернского секретаря Василья Попугаева, поднесшего его императорскому величеству две книги своего сочинения — одну под названием «Опыта о влиянии просвещения на правление и законы», а другую — «О твердости законов», — высочайше повелеть соизволил: по желанию просителя поместить его в Комиссию о составлении законов к должности, способностям его соответственной». [10] Какую именно должность занял Попугаев в Комиссии — неизвестно; из документов видно только, что ему был назначен годовой оклад в размере 400 рублей. В числе сослуживцев Попугаева были молодые писатели — его товарищи по Вольному обществу:

А. Х. Востоков, драматург М. В. Крюковской, поэт Ф. И. Ленкевич, поэт и прозаик А. П. Бенитцкий.

В 1804 году Попугаев представил Александру I новый свой труд — перевод «Творений» Гаэтано Филанджиери (то есть, вероятно, извлечения из его обширной «Науки о законодательстве»), до нас не дошедший. На этот раз он получил от царя подарок — брильянтовый перстень ценою в 425 рублей. В делах Комиссии составления законов имеется копия письма, с которым Попугаев обратился к царю при представлении этого перевода. Здесь он ссылался на «ободрение», с которым царь отнесся к его прежним «слабым трудам», а также на «благосклонное покровительство и особое внимание» своего начальника — министра юстиции гр. Завадовского. Все это, — писал Попугаев, — «вперило мне смелость посвятить несколько свободные часы на перевод творения знаменитого Филанджиери, коего имя, я уверен, в глазах вашего императорского величества даст цену в прочем слабому труду моему и удостоит вашего благоволения, с коим вы приняли первый опыт пера моего».

Таким образом выясняется, что Попугаев сумел заметно выдвинуться из рядов мелких чиновников Комиссии составления законов и обратить на себя внимание самого царя своими трудами в области юриспруденции. Он пользовался опекой высшего начальства. Граф Завадовский, сдавая в 1804 году начальствование над Комиссией составления законов кн. П. В. Лопухину, не только выдал Попугаеву аттестат «в том, что он должность, на него возложенную... отправлял при похвальном поведении с отличным усердием, а тем самым заслужил право на воздаяние», но сверх того и в личном письме к Лопухину «почел долгом препоручить» Попугаева «в его покровительство, как известного со стороны усердия его к трудолюбию».

По службе Попугаев преуспевал: в 1804 и 1805 гг. получил в награду от царя золотую табакерку и 500 рублей деньгами, — вероятно, также за какие-нибудь представленные сочинения. В июле 1804 года он был назначен редакторским помощником (с производством в титулярные советники), в декабре 1808 года «за особенное усердие к службе» получил чин коллежского асессора, а в марте 1809 года — назначен помощником начальника архива.

Но в августе 1811 года служебная карьера Попугаева по невыясненным причинам неожиданно оборвалась: он был *уволен* из Комиссии составления законов, и опять *«по высочайшему повелению»*. С этого момента жизнь Попугаева, как и его литературная деятельность, пошла на ущерб.

В 1812 году он получил место столоначальника в экспедиции Главного управления путей сообщения, — вероятно, при содействии ближайшего своего приятеля И. М. Борна, состоявшего секретарем при главном директоре путей сообщения принце Георге Ольденбургском. В 1816 году Попугаев еще служил в канцелярии Совета путей сообщения, в должности переводчика и в чине надворного советника.[11] Это последняя дата в его биографии. В дальнейшем следы его теряются. По словам Н. И. Греча, он умер в том же 1816 году в Твери, где И. М. Борн доставил ему какое-то место.[12]

2

Этим исчерпываются скудные сведения о жизни и служебной деятельности В. В. Попугаева, которыми мы располагаем. Не в лучшем положении находится и его литературная биография.

Писать Попугаев начал еще в бытность учеником Академической гимназии. Самые ранние из его произведений, известных нам, относятся к 1798—1799 гг., самые поздние — к 1811 году. В эти двенадцать лет Попугаев широко развернул интенсивную и разностороннюю литературно-публицистическую деятельность. Он писал стихи — интимно-лирические и гражданские, повести, статьи и трактаты по вопросам философии, социологии, политики, экономики, истории, права, педагогики, эстетики, литературы. Он вторгался и в область естественнонаучных знаний.

Попугаеву удалось издать всего три небольшие книжки. Первая из них вышла в 1800 году. Это сентиментальная повесть «Аптекарский остров, или Бедствия любви», написанная явно в подражание популярным образцам такого жанра. Герой повести — юноша-поэт Н * — кончает жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Повесть, вероятно, в известной мере автобиографична. Сохранилось стихотворение Попугаева «К Аптекарскому острову»,

написанное около 1799 года; очевидно, эта окраинная часть Петербурга сыграла в жизни Попугаева какую-то особую роль. Литературных достоинств повесть Попугаева не имеет.

В 1801 году Попугаев издал миниатюрный сборник стихотворений «Минуты муз» («Книжка I», — второй не выходило), а в 1807 году — первую часть обширного трактата «О благоденствии народных обществ». Эта книжка была издана анонимно; на титульном листе означено: «Сочинение члена Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».

Кроме того, отдельные произведения Попугаева появлялись изредка в сборниках и журналах: в «Свитке муз» (1802—1803), «Любителе словесности» (1806), «Вестнике Европы» (1806), «Талии» (1807), а больше всего — в «Периодическом издании» Вольного общества (1804), которого он был редактором. Здесь, кроме очерка «Негр» и двух стихотворений Попугаева, составленной им «Краткой истории» Вольного общества и речи, произнесенной в собрании Общества 15 июля 1802 года, появился ряд его интересных статей, представляющих собою извлечения из второй, отдельно не изданной, части трактата «О благоденствии народных обществ». Статьи эти посвящены вопросу о воспитании, оживленно обсуждавшемуся в кругах передовой русской интеллигенции 1800-х годов.

Бо́льшая часть написанного Попугаевым затерялась и утрачена, очевидно, безвозвратно и известна лишь по глухим упоминаниям в протоколах и других бумагах Вольного общества. Кроме уже названных: перевода «Творений» Филанджиери (1802—1803), третьей части трактата «О благоденствии народных обществ» (1805) и еще одной крупной работы — «Изложение основных начал общественных законов» (1806—1811), перу Попугаева принадлежали, в числе других, следующие статьи и заметки: «О поэзии» (1801), «Рассуждение о причинах медленного усовершенствования правлений», «Вечера Сократа и Аполлодора», «Спартанцы», «Рассуждение о человеческом языке», «О феодальном праве», «Несчастное семейство», «Общий план законоположения», «О равновесии обитателей городов и землепашцев», «О падении землепашества и следствиях сего», «О ремеслах и искусствах» (все — 1802 года), «Опыт о высоком изящных искусств» (1804, — в четырех частях: 1. О словесности

вообще, 2. О поэзии, 3. О прозе, 4. О словесности российской), «Общее рассуждение о словесности, ее начале, ее гармонии и разделении ее на поэзию и прозу» (1804), «О государственной филантропии» (1804—1805), «Об участи земледельцев», «Рассуждение о монетных представителях скопляемого труда в благородных металлах и ассигнациях» (1808). Заслуживает также упоминания выполненный Попугаевым в 1802 году перевод трех глав из «Руин» Вольнея.

Литературная деятельность Попугаева была неразрывно связана с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств. Вместе с И. М. Борном он был основателем Общества и самым ревностным его сотрудником (в первые годы существования кружка), дважды, в 1801 и 1806 гг., избирался секретарем Общества, в течение ряда лет входил в «Комитет цензуры». Он не пропускал ни одного заседания, чаще других выступал с чтением своих произведений, с речами и различными проектами. В «Свидетельствах членов, данных 15 июля 1802 года», о Попугаеве сказано: «...в образовании Общества участвовавший и возымевший с Борном первую к тому идею, был прилежнее всех в упражнениях общественных и один из усерднейших в подавании советов».[13] Усердие Попугаева, между прочим, сказалось и в той активности, с какою он вербовал для Общества новых членов (по его рекомендации был принят, в частности, И. П. Пнин).

Но вместе с тем положение Попугаева в Вольном обществе с самого начала было очень непрочным. Н. И. Греч, упоминая о насмешках, которыми преследовали Попугаева «люди, не понимавшие и не стоившие его», ближайшим образом имел в виду его недоброжелателей в самом Вольном обществе, в первую очередь — Д. И. Языкова и А. Е. Измайлова.

Попугаев с его напряженным интересом к социально-политическим вопросам представлял в Вольном обществе левое, наиболее радикальное крыло. Когда же руководящая роль в Обществе перешла к людям гораздо более умеренных взглядов, стремившимся переключить деятельность кружка в сферу чисто литературную и научную, — он не пожелал мириться с новыми порядками, горячо протестовал против них и в конце концов, после длительной и упорной борьбы, был вытеснен из Общества.

Выше, в связи с историей Вольного общества, уже говорилось об участии Попугаева во фракционной борьбе, раздиравшей «дружеское сословие». Здесь остается привести несколько дополнительных данных.

Не будет преувеличением сказать, что пребывание в Вольном обществе свелось для Попугаева к непрерывным конфликтам, обидам и огорчениям. Уже в начале 1803 года, получив выговор «за неприличный поступок с членом Севастьяновым», он слагает с себя «отличительное звание цензора» (что, впрочем, не было уважено Обществом, ибо, как сказано в протоколе, «цензор может, равно как и всякий другой член, впасть в проступок и получить выговор без предосуждения своему званию» [14]). В следующем году разразился скандал по поводу изданной под редакцией Попугаева первой части «Периодического издания», которого мы уже касались (стр. 228—233).

Отношения Попугаева с его антагонистами особенно обострились в 1807 году. После того как на перевыборном собрании 15 июля 1807 года в Вольном обществе произошел своего рода переворот и Борн лишился звания президента, а Попугаев звания секретаря, — Д. И. Языков вкупе со своими единомышленниками (А. Е. Измайловым, А. А. Писаревым, Н. Ф. Остолоповым) возбудил против Попугаева новое дело. На этот раз языковская фракция, желая во что бы то ни стало дискредитировать Попугаева, усмотрела в веденных им по обязанности секретаря журналах заседаний «многие выражения, противные вежливости, отступления от правил, в уставе Общества предписанных, и целые периоды, написанные таким темным и необыкновенным слогом, что едва оные кому понять можно». Все замечания, сделанные Языковым, носят характер совершенно мелочных придирок. Так, например, невежливость Попугаева заключалась в том, что «господа почетные члены Общества. . . означены одними только именами их фамилий, да и генерал-фельдмаршал Михаил Федотович Каменский назван. . . просто Каменским». Другое обвинение сводилось к тому, что в справке о Вольном обществе, предназначенной для Адрес-календаря, Попугаев назвал себя «ученым секретарем» Общества.

Для полноты картины распрей и раскола в Вольном обществе стоит добавить, что замечания Языкова, Измайлова

и других были поданы от всего «Комитета цензуры», однако два «цензора» — Борн и Востоков — подписать их отказались.

Попугаев очень болезненно воспринял это новое и явно пристрастное нападение своих недоброжелателей. В тот же день, когда Языков представил свои замечания, он заявил, что уходит из Общества, а к следующему заседанию прислал пространную и страстную «отповедь». Здесь он в ироническом тоне писал, что «цензура нимало не двигалась никакой личностью», когда «нашла справедливым осрамить» его, Попугаева, «пред лицом Общества и самого Министерства народного просвещения», что «таковой поступок совершенно согласуется с правилами, кои Общество приняло за свое начало при основании, — *Дружества* и *Согласия,* — и есть награждение в полной мере трудам и усердию беспристрастия, — беспристрастия, коим особенно всегда отличался г. президент, ныне избранный, Дмитрий Иванович Языков, который столь ревностно всегда соблюдал пользу Общества, что, помня, что я некогда оному оказал некоторые малые услуги, в знак признательности того не пропускал никогда случая представить Обществу сделать мне выговор в журнале... Дóлжно признаться, что басня Эзопова «Волк и овца» исполнена не более прекрасных начал справедливости».

Далее Попугаев с той же горькой иронией говорил о себе, о том, что забракованный Языковым устав Общества был писан «тою рукою, которая положила первый камень общественному основанию и тем совершенно доказала свою неспособность к такому делу», что «тот, кто виновник был всегда столь важных преступлений, был всегда первым предлагавшим Обществу признать труды г. Языкова, в пользу Общества понесенные, что он в течение четырех лет деланные себе личности забывал и смотрел на пользу Общества». В заключение Попугаев «для сохранения в Обществе согласия и дабы не быть в оном яблоком раздора» сообщал, что «осуждает самого себя на отдаление», и просил «господ бывших сочленов» не обвинять его за этот поступок: «Общество может быть уверено, что одно желание общей пользы в сем было мне руководством». [15]

Однако Попугаев из Общества все же не вышел; очевидно, его убедили остаться. Но после 1807 года он уже окон-

чательно устранился от активного участия в занятиях кружка, редко появлялся на собраниях.

В начале 1811 года в члены Вольного общества вступил Т. С. Борноволоков — член-корреспондент Академии наук, мракобес и реакционер, автор анонимно изданной книжки «Изобличенный Вольтер» (1792) и некоторых других сочинений. Общественно-политическая физиономия Борноволокова, конечно, делала его в глазах Попугаева фигурой одиозной и неприемлемой в качестве члена Вольного общества. Вскоре между ними вспыхнула бурная ссора, обстоятельства которой в точности неизвестны. Она была расценена антагонистами Попугаева как новый пример его «нетерпимости».

В заседании 11 марта 1811 года А. Е. Измайлов и многочисленная группа «новых членов» (Дашков, Северин, Грамматин, Милонов, Никольский, Княжевич, сам Борноволоков), очевидно не без инспирации Д. И. Языкова, потребовали исключения Попугаева из Общества. Он попытался предупредить событие и в тот же день послал Языкову письмо, в котором сообщал: «Не желая быть причиною расстроения Общества, которого упадок был бы для меня крайне чувствителен, вижу я себя в необходимости, хотя и с сожалением, отказаться от лестного названия члена Общества, — но что делать, когда мое пребывание в Обществе может лишить Общество достойного оного члена г-на Борноволокова. Я, сохраняя к нему все мое уважение и вместе желая оного сохранить для Общества, отказываюсь участвовать в наших трудах и прошу меня из списка членов вычеркнуть». [16]

В заседании 18 марта 1811 года было «определено оставить сию бумагу без уважения, так как г. Попугаев исключен уже прежде из Общества по журналу прежнего собрания».

Не приходится сомневаться, что пылкий и самолюбивый Попугаев сильно страдал от неприкровенных и грубых насмешек (вплоть до плоского осмеяния его фамилии), которым подвергался со стороны молодых писателей-карамзинистов, с недавнего времени задававших тон в Вольном обществе. Обстоятельства его исключения отчасти выясняются из дневниковой записи Д. И. Хвостова: «Последовал раздор в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств... Там юноши Милонов, Никольский и

другие до того вознегодовали на Попугаева, что явно при чтении его пиес смеялись. Он сердился. Насмешники сказали: выпишем его из членов, мы не хотим иметь с собой *птицы*».[17]

Так грубо и обидно были порваны последние связи Попугаева с «дружеским сословием», которому он отдал лучшие годы жизни и столько настоящей человеческой и писательской страсти. Изгнанный из Вольного общества, он уже не нашел никакого другого пристанища и, очевидно, вынужден был вовсе прекратить литературную деятельность. Во всяком случае, не имеется никаких сведений о том, что он продолжал ее после 1811 года.

3

Как видно уже из перечня сочинений Попугаева, его интересы были сосредоточены по преимуществу на вопросах политических, юридических и социально-экономических. Перед нами не только писатель, но и — в первую очередь — публицист.

Действительно, в области художественного творчества Попугаев работал менее интенсивно, очевидно сам не чувствуя к нему призвания. Талантом поэта он одарен не был. Его сентиментально-эротическая лирика слаба и не дает ему права даже на самое скромное место в истории русской поэзии. Зато очень интересны и весомы гражданские стихи Попугаева. Они также не отличаются заметными художественными достоинствами, но примечательны по своему идейному содержанию. В них нашли весьма четкое выражение социально-политические идеи, воодушевлявшие Попугаева, и они служат своего рода стихотворным комментарием к его публицистике. Гражданская лирика Попугаева — это программная поэзия радищевцев 1800-х годов, и рассмотреть ее с этой точки зрения уместнее в другой связи.

Публицистическая проза Попугаева дошла до нас, к сожалению, далеко не полностью, в случайно сохранившихся отрывках. Но и по этим отрывкам можно составить достаточно точное представление о характере и направлении его общественных интересов. То немногое, что дошло до нас, позволяет сказать, что в лице Попугаева русская передовая общественная мысль начала XIX века потеряла безусловно

крупную силу, которая только по обстоятельствам не смогла проявить себя в полную меру.

В идеологическом облике Попугаева отчетливо проступают радищевские черты. Лучшее, что написал Попугаев, рекомендует его как убежденного и последовательного демократа, непримиримого врага рабства, смелого обличителя социального неравенства, человека, преисполненного горячим патриотическим чувством — «любовью к Отечеству святой» (говоря словами самого Попугаева). [18]

Вся совокупность мнений Попугаева, высказанных зачастую обиняком и в эзоповской форме, говорит в пользу того, что по вопросам общественным и политическим он занимал позицию неизмеримо более радикальную, нежели все остальные писатели и публицисты из круга Вольного общества. Из числа всех ближайших преемников Радищева Попугаев по всему складу своих убеждений, по главным темам своей публицистической практики и по направлению, в котором эти темы разрабатывались, наиболее приблизился к революционному решению проблемы крепостничества.

Конечно, при этом не следует не только равнять Попугаева с Радищевым, но и забывать о дистанции, отделявшей его от великого писателя-революционера. Даже он не сумел преодолеть до конца ту политическую робость, которая вообще характерна для преемников Радищева. Если Радищев громогласно призывал к народной революции, то высказывания Попугаева не дают достаточных оснований для такого вывода.

Но о том, что Попугаев более других *приблизился* к радищевской позиции, со всей очевидностью свидетельствуют его сочинения, начиная с очерка «Негр», написанного в развитие темы, выдвинутой Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву». Это — гневный и страстный протест против тирании, одно из самых смелых и сильных обличений рабства в подцензурной печати начала XIX века, открыто намекавшее на крепостную кабалу русских крестьян.

Очерк «Негр», написанный, вероятно, в 1801 году (Попугаев читал его в Вольном обществе 24 ноября 1801 года), был опубликован дважды — в «Периодическом издании» 1804 года и в сборнике «Талия» 1807 года, оба раза в одной и той же редакции. Самый факт двукратного опубликования очерка без внесения в его текст каких-либо изменений

говорит о том, что Попугаев придавал этому произведению особо важное, принципиальное значение и перепечатал его в целях агитационно-пропагандистских.

В первой публикации «Негр» был снабжен защитным подзаголовком: «Перевод с испанского». На самом деле это, конечно, оригинальное произведение Попугаева, — такого рода маскирующие подзаголовки, имевшие целью обмануть бдительность цензуры, были в ходу в русской литературе в конце XVIII — начале XIX века. В «Краткой истории» Вольного общества, помещенной в «Периодическом издании» 1804 года, очерк отмечен дважды (стр. III и VI) — первый раз под заглавием «Негр», второй раз под заглавием «История негра», но оба раза как *сочинение* Попугаева. При перепечатке очерка в сборнике «Талия» подзаголовок «перевод с испанского» был снят.

Тема рабства, «невольничества», географически прикрепленная к разного рода колониальным странам, была довольно широко распространена в русской литературе 1800-х годов как иносказательная форма обличения отечественного крепостнического строя. Тема эта вызывала у читателя вполне конкретные представления социально-политического и морального порядка, приобретала обнаженную злободневность, поскольку читатель соответственно переосмыслял картины рабства в англо-американских либо испано-португальских колониях, легко ассоциировал их с картиной русской действительности.

В этом плане писали, например, об индейцах, порабощенных испанцами. В известном стихотворении близко стоявшего к Вольному обществу Н. И. Гнедича «Перуанец к испанцу» (1805), — одном из самых полноценных произведений русской политической поэзии начала XIX века, исполненном подлинно революционного пафоса, — за гневными филиппиками против тирании испанцев без труда угадывалось разоблачение русского крепостничества. Иногда в подобную же оболочку облекалась бытовая сатира, — таково, например, иносказательное стихотворение члена Вольного общества А. Е. Измайлова «Сонет одного ирокойца, написанный на его природном языке», в котором под «Канадой» подразумевалась Россия (напечатано в том же «Периодическом издании» 1804 года, где и «Негр» Попугаева).

Писали в этом плане и о неграх. И. П. Пнин в рукописном добавлении к «Опыту о просвещении», как мы видели, сравнивал кабалу русских крепостных с положением негров-невольников. Широкой известностью у русского читателя пользовалась драма А. Коцебу «Негры-невольники». В Вольном обществе этой драмой интересовались живейшим образом: член Общества П. М. Иванов перевел ее и издал свой перевод в 1802 году. Другой перевод — Андрея Тургенева — появился в 1803 году под заглавием «Негры в неволе», но выполнен был раньше: член Вольного общества Г. П. Каменев в 1800 году уже слушал этот перевод в чтении А. Тургенева, о чем не преминул сообщить в Казань третьему члену Общества — С. А. Москотильникову.[19] В московском «Журнале новостей» (1805 год, март) был помещен отрывок из книги «Американец в неволе», где также речь шла о бесчеловечном «торге невольниками на берегу Гвинеи», об «ужасном истреблении негров», причем с особенным сочувствием говорилось о мужестве и высоких нравственных качествах негров.[20] Об устойчивости темы «негра», как иносказательного выражения протеста против крепостничества, можно судить по тому, что она сохраняла свою политическую актуальность и в декабристскую эпоху.[21] Молодой Лермонтов, набрасывая сюжет трагедии, еще привлекает эту тему: «Прежде от матерей и отцов продавали дочерей казакам на ярмарках, как негров: это в трагедии поместить».[22]

Наконец, — и это ближе всего определяет существо попугаевского очерка, — о неграх писал Радищев. Попугаеву, конечно, были известны пламенные страницы «Путешествия», посвященные неграм-невольникам (глава «Хотилов») и теснейшим образом связанные с самыми заветными мыслями Радищева о русских крестьянах, томящихся в «тяжких узах рабства и неволи». Непосредственно имея в виду Соединенные Штаты Америки и британские колонии, Радищев гневными словами клеймит «обычай варварский в продаже черных невольников», «зверский обычай порабощать себе подобного человека». Он рисует яркую, впечатляющую картину того, как колонизаторы, «опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей», усугубили и умножили свое преступление. «Злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя бога истины,

учители кротости и человеколюбия, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладнокровное убийство порабощения приобретением невольников куплею».

Далее Радищев говорит о рабском труде негров-невольников в Соединенных Штатах: «Сии-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенагала, отринутые своих домов и семейств, преселенные в неведомые им страны, под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейся. И мы страну опустошения... назовем блаженною страною, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысящи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова? О дабы опустети паки обильным сим странам! дабы терние и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все драгие Америки произведения! Вострепещите, о, возлюбленные мои, да не скажут о вас: «премени имя, повесть о тебе вещает».[23] В заключительных словах этой тирады — явный намек на рабство крестьян в России.

Все это очень близко подводит к очерку Попугаева, — даже в отдельных деталях. В этом небольшом произведении нет глубины радищевской мысли и силы радищевского слова, но при всем том оно остается в русской литературе 1800-х годов одним из наиболее ярких проявлений антикрепостнического протеста, преемственно связанных с «Путешествием» Радищева.

В основе очерка лежит патетический монолог негра Амру, захваченного в неволю «свирепейшим тигра» европейцем, отягченного цепями и разлученного с возлюбленной подругой Зюльмой. «Европеец, славящийся своим просвещением и человеколюбием, сколь ужасное ты чудовище! — восклицает Амру. — Ты предпочитаешь себя неграм, чем ты их превосходишь? — Никогда негр не отягчал оковами белого!» Далее Попугаев устами Амру говорит, что если мирные негры, доведенные своими поработителями до отчаяния, и брались за оружие, то не для того, чтобы закабалить белого человека, но единственно «дабы защитить собственную безопасность, жизнь и имение от жадного его корыстолюбия и вероломства». Попугаев всячески оттеняет храбрость, благородство и великодушие негров, подчеркивает, что негр, «ожесточенный тиранством белых», часто «поражением тысяч оных торжествовал свои победы» и что «рабский ужас

низких душ заставлял скрываться тиранов из областей храбрых негров». [24]

Финал монолога Амру звучит особенно патетически и полон злободневного для своего времени смысла: «Скоро загремят оковы во всем отечестве нашем, в сей славной обители праотцев наших, в земле независимости... Но хотя негры и подпадут неволе, свет будет знать, что не недостаток храбрости в них сему виною, а коварство — подлый, низкий порок белых... А вы, о варвары! страшитесь гнева небес за коварное сердце ваше, вы погибнете без всякой пощады; глас трубы правосудия загремит на вас по скончании века; вы дадите отчет за отъятие воли нашей! — Кто дал вам на сие право? Кто позволил вам делать невольниками собратий ваших? Негр не может принадлежать белому ни по каким правам. Воля не есть продажною; цена золота всего света не в силах оной заплатить, и никакой тиран ею располагать не должен».

Нужно по достоинству оценить не только гражданский пафос, но и жизненную конкретность этого обличения варваров-рабовладельцев. Здесь «негритянский» сюжет служит уже совершенно прозрачным покровом, из-под которого сквозит конкретная и острейшая тема русской жизни. Обращает на себя внимание самая фразеология Попугаева — слова с очень определенным и устойчивым смыслом, применявшиеся в литературном языке для характеристики именно России: «славная обитель праотцев наших», «земля независимости». В этой связи уместно напомнить, что и Радищев в «Путешествии», говоря о «зверском обычае порабощать себе подобного человека, возродившемся в знойных полосах Ассии», применял подобную фразеологию: «И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей...»

Говоря об очерке Попугаева, следует также упомянуть знаменитую книгу аббата Рейналя «Философская и политическая история о колониях и коммерции европейцев в обеих Индиях». Мы уже видели, что в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств эта книга одно время служила предметом самого углубленного изучения. «Философская и политическая история обеих Индий» изобиловала драматическими рассказами о несчастной судьбе колониаль-

ных рабов, и можно предположить, что рассказы эти сыграли дополнительную роль как в обращении Попугаева к теме «негра», так и в литературном оформлении его замысла.[25]

4

Каково же было позитивное содержание общественно-политических взглядов и мнений Попугаева? Ответ на этот вопрос дает главный труд его жизни — обширный трактат «О благоденствии народных обществ», в котором отразились как сильные, так и слабые стороны его идеологии.

Трактат этот имеет свою «творческую историю» — длительную и довольно любопытную. Задуман он был, очевидно, в 1801 году, после воцарения Александра I, когда в атмосфере официального либерализма один за другим появлялись разного рода политические проекты.

Первый этап работы Попугаева над трактатом отражен в неизданной рукописи, озаглавленной: «О благополучии народных тел. Книга первая».[26] Рукопись эта (автограф Попугаева) состоит из двух разделов: «О влиянии просвещения на правление» и «О твердости конституции и законов». Оба эти сочинения, как мы уже знаем, были представлены Попугаевым Александру I в 1802 году (под несколько измененными заглавиями: «Опыт о влиянии просвещения на правление и законы» и «О твердости законов»). Из протоколов Вольного общества видно, что оба сочинения были прочитаны Попугаевым по частям на заседаниях Общества в конце 1801 либо в начале 1802 года (не позже марта 1802 года).

Парадная рукопись, представленная Попугаевым царю, не найдена.[27] Рукопись, которой мы располагаем (она также имеет парадный вид: это беловой автограф, облеченный в шелковый переплет с золотым обрезом), относится, по всем данным, к 1803 году. На титульном листе ее означено, что автор — «участвующий в Комиссии законов». Попугаев был зачислен в Комиссию составления законов в декабре 1802 года, после того как направил Александру свои сочинения. С другой стороны, следует учесть то обстоятельство, что в предназначенной для царя рукописи Попугаев изме-

нил заглавие второго сочинения, убрав слово «конституция». Отсюда можно предположить, что рукопись 1803 года содержит полный и первоначальный текст сочинений Попугаева и что в экземпляре, представленном царю, он счел нужным несколько поубавить выражения, что и выразилось, в частности, в изъятии слова «конституция».

Рукописи 1803 года «О благополучии народных тел» предпосланы эпиграф из Тацита: «Rara temporum felicitate, ubi sentire quo velis, et qua sentias, dicere licet», * посвящение «Александру Первому — благодетельнейшему из монархов» и обращение к «почтенному читателю». Из этого обращения выясняется первоначальный план трактата: «В сем сочинении осмеливается тебе автор представить общее рассуждение о благополучии народов, оснующееся на четырех главных пунктах: влиянии просвещения на правление, твердости законов и конституции, равновесии народных классов и, наконец, коммерции. В первой сей книге заключаются рассуждения о первых двух предметах, во второй — о следующих. Предмет важен, но, может быть, силы его недостаточны? Благосклонность!»

Таким образом, перед нами половина трактата — два первых раздела, которые, в свою очередь, состоят из ряда глав. В первом разделе их четыре: «О влиянии просвещения на правление», «О просвещении народном и оного следствиях», «О необходимой связи законов и просвещения», «О исполнительности законов»; во втором — пять: «О влиянии законов и конституции на политическое тело», «О связи и твердости республик», «О монархии», «О разделении властей политического тела», «О просвещении и личном достоинстве управляющих».

В дальнейшем Попугаев продолжал работу над трактатом, существенно изменив и расширив первоначальный план сочинения. Второй этап его работы отражен в книжке «О благоденствии народных обществ. Часть первая», издан-

---

* Это изречение (из I главы первой книги «Истории» Тацита) было поставлено эпиграфом к первому тому сочинений Г. Р. Державина (издание 1797 года), в следующем переводе: «О, время благополучное и редкое, когда мыслить и говорить не воспрещалось». Это же изречение процитировал Радищев в «Песне исторической» (стихи 1685—1690): «Когда Тацит, сей достойный...» и т. д.

ной анонимно в 1807 году. Здесь в обширном «Изложении основных начал сочинения» намечено другое содержание и другое деление частей. Предметом первой части служили «причины и ход общественности», «начала законов» и «начала торговли». Во второй части речь должна была итти о просвещении. Здесь Попугаев имел в виду осветить три вопроса: во-первых, о «влиянии просвещения на государственные общества, на законы и правление», во-вторых, об «образовании граждан до такой степени, дабы каждый видел цель своего назначения», и, в-третьих, об «образовании ученых, дабы посредством того распространить и усовершить круг человеческих познаний». В третьей части Попугаев предполагал изложить свои мысли о «человеколюбии, как основании государственных постановлений вообще», и о «взаимности отношений классов граждан питающих и питаемых и равновесии оных, как начале государственной экономии». В заключение Попугаев заявлял, что намерен впоследствии, «если досуг и обстоятельства позволят», в ряде работ на более частные темы «развить подробнее сие, так сказать, общее очертание своего предмета».

Попугаев осуществил свой обширный замысел: все три части трактата «О благоденствии народных обществ» (по новому плану) были представлены им в «цензуру» Вольного общества в декабре 1804 года. Написаны они были, очевидно, раньше; во всяком случае, отдельные главы читались в Вольном обществе в 1802—1803 гг., а ряд глав из второй части (о просвещении и воспитании) были опубликованы в «Периодическом издании» 1804 года.

Однако труд Попугаева постигла печальная судьба. Прежде всего, подготавливая трактат к печати, он сам вынужден был приноровливаться к требованиям цензуры. Сличение первоначального текста второго раздела рукописи 1803 года («О твердости конституции и законов») с дублирующими его страницами книжки, изданной в 1807 году, показывает, что Попугаев значительно смягчил весь тон изложения и поступился целым рядом наиболее радикальных своих соображений. Во второй редакции вытравлен республиканский налет, отчетливо проступающий в первоначальном тексте, выброшено все, что касалось крепостного права в России, и — напротив — выдвинута на первый план благонамеренная концепция «просвещенного государя», — с явным расче-

том на то, что она будет ассоциироваться с либеральной легендой об Александре I. Две главы первоначального текста, — пожалуй, наиболее интересные («О влиянии просвещения на правление» и «О просвещении и личном достоинстве управляющих»), — Попугаев вообще не внес в новую редакцию.

Но ни обширные купюры, ни благонамеренные оговорки не помогли Попугаеву. Когда в декабре 1804 года он представил переработанную рукопись трактата в Вольное общество, у него возникли осложнения с «цензурой» Общества. Замечания его антагониста Д. И. Языкова, судившего рукопись согласно «высочайше изданного устава о цензуре», носили, как увидим дальше, характер политических обвинений. Попугаев, заинтересованный в опубликовании главного своего труда, пошел на новые уступки, но дело тянулось до осени 1805 года, когда, после многочисленных исправлений, внесенных автором, Языков, наконец, одобрил первую часть трактата к напечатанию.

Таким образом, книга Попугаева дошла до нас в неполном виде (вовсе неизвестна ее третья часть — «о человеколюбии» и «о взаимном равновесии классов») и в значительной мере приноровленная к требованиям цензуры. Реконструируя замысел Попугаева, целесообразнее рассмотреть его трактат в последовательности затронутых им проблем, переходя от более общих к более частным, то есть — выяснить его взгляды сперва на «основные начала общественности», затем на «законы и правление» и, наконец, на просвещение и воспитание.

5

Трактат Попугаева рекомендует его как просветителя, возлагающего свои политические надежды в основном на «твердость» законов и распространение просвещения. Но из ряда многих русских писателей и публицистов начала XIX века, стоявших на просветительских позициях, Попугаева выделяют его явно выраженные демократические убеждения и республиканские симпатии. Взгляды его отнюдь не могут быть сведены к популярной в то время и обоснованной во многих политических проектах либеральной идее сочетания монархического образа правления с началами

твердого правопорядка, при условии, если последние обеспечиваются нерушимыми законами. Попугаев мыслил шире и глубже. В качестве идеальной формы государственного строя он имел в виду республиканский строй, основанный на всеобщем гражданском равноправии. Только тема эта звучит у него, по обстоятельствам времени и цензурным условиям, приглушенно — главным образом в исторических экскурсах, посвященных республиканским обществам древности.

Подобно всем просветителям Попугаев исходит в основах своих взглядов на общество и государство из теории естественного права. Он берет за отправную точку истории человечества «естественное состояние» человека и вслед за тем уже идет к постановке вопроса о человеке как члене общества. Но при этом он пересматривает обычное руссоистское понимание «естественного состояния», которое оказывается для него неприемлемым как состояние индивидуальное, внеобщественное. По данному вопросу он открыто возражает Руссо, и эти возражения в высшей степени характерны для самого существа его концепции.

В первой главе трактата Попугаев критикует и отвергает утопическую идеализацию первобытного «естественного состояния» как, якобы, счастливого и наисовершеннейшего для человека. Он настаивает на том, что такое «естественное состояние» — всего лишь первая, самая низшая и к тому же безвозвратно пройденная ступень на историческом пути человечества и что подлинно естественным для человека является состояние общественное, ибо человек создан для общества, *«ведется самой природою»* к усвоению *«начал общественности»*.[28] В решении данного вопроса Попугаев исходит из учения философов-материалистов, которые объясняли общественные свойства человека законами природы, обусловившими прогресс общественных отношений, культуры, просвещения, правовых норм.

Особенно важна и знаменательна близость, которая в данном случае обнаруживается у Попугаева с Радищевым, решительно отвергавшим метафизическое представление Руссо об антиобщественной природе человека. В трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» Радищев утверждал, что «человек рожден для общежития», — в порядке прямого опровержения Руссо, его «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства среди людей»,

где доказывалось, что общественное бытие вовсе не есть прирожденное, органическое свойство человека, но возникло в результате появления собственности и развития цивилизации. В другом случае, в наброске «О добродетелях и награждениях» (оставшемся неизданным), Радищев, явно полемизируя с Руссо, писал, что люди, «немощны, дебелы, расслабленны во единице, едва не всесильны стали в сообщении, творяй чудеса, яко боги», что «силы человеческие, дремавшие, уснувшие паче или поистине мертвые в единственности, воспрянули в общественном сожитии, укрепилися взаимно, распространилися, возвысились. . .»[29]

Такая постановка вопроса о взаимоотношениях человека и общества была одним из крупнейших достижений радищевской мысли. Если по Руссо интересы человеческой личности вступают в противоречие с законами общества, то по Радищеву истинная и полноценная деятельность человека мыслится лишь в органической и неразрывной связи его с обществом, в целостном сочетании личных и общественных интересов, обеспечивающем индивидуальную свободу человека.

Подобную точку зрения на общественное назначение человека разделял, как мы видели, Иван Пнин. Столь же недвусмысленно высказывался на данную тему Попугаев.

Первоначальное «естественное состояние» человека Попугаев характеризует как состояние «дикое, совершенно простое и сообразное токмо его физическим нуждам». В таком состоянии человек признает лишь один «закон потребности», лишь одну «власть силы», но и при этом уже не чужд общественного инстинкта. Ссылаясь на Гаэтано Филанджиери (автора «Науки законодательства»), Попугаев категорически опровергает мнение «некоторых философов» (имеется в виду, конечно, Руссо), «утверждавших, что состояние дикое есть совершенно естественное». Напротив, он доказывает, что «человек не назначен быть счастлив в сем состоянии» (стр. 13). В объяснении, которое Попугаев представил в «цензуру» Вольного общества в ответ на критические замечания «цензоров» по поводу рукописи его трактата, он писал, что «понятие о диком г. Руссо — есть не что иное, как мечта поэтического воображения, и имеет место токмо в языке поэзии».[30]

Для Попугаева критерием «счастья» человека служит его общественный инстинкт. Соглашаясь с Филанджиери, что «общество родилось с человеком», он, однако, оспаривает итальянского писателя, когда тот говорит, что «состояние дикое есть более разрушение общественности, нежели начало оного [общества]». Попугаев, наоборот, видит в «диком состоянии» не разрушение, а зарождение «общественности», которая, как инстинкт, органически присуща человеку.

Опираясь на принципы рационалистической морали просветителей, выдвигая на первый план абстрактно-логические идеи «добра» и «зла» в качестве двух сил, противоборство которых определяет ход исторической жизни человечества, Попугаев высказывает «собственное мнение об общественности». Оно сводится к следующему: человечество «требует известных нравственных законов, дабы притти в полный ход и гармонию своего действия. Сия точка есть предел возможного совершенства и счастия рода человеческого. Здесь добро долженствует превосходить зло несравненно... Когда род человеческий приближается к точке совершенства, количество добра увеличивается, зла — уменьшается; [когда] отдаляется — обратно» (стр. 15). В «диком состоянии», представляющем собою «самую низкую степень общественности», зло безраздельно господствует над добром, и поэтому нет решительно никаких оснований называть «дикое состояние» — «естественным», а тем более завидовать ему или хвалить его. «Образование общественности», ее развитие и усовершенствование служат лучшим доказательством того, что «человек в диком состоянии не есть счастлив» (стр. 15—16).

Далее Попугаев переходит к вопросу об условиях возникновения общества. Он высказывается в том смысле, что общество исторически возникло не из соглашения, а из силы (преимущества сильного над слабым) и из чувства самосохранения, свойственного человеку: чувствуя недостаточность своих индивидуальных сил, человек стремится к соединению с другими, дабы обеспечить свои потребности, обрести недостающую ему силу в обществе.

Физические и нравственные потребности человека, с одной стороны, и «неравное распределение» природных богатств и производительных сил, с другой — служат «побудительными причинами взаимного сношения и вспомо-

ществования, ведущими людей к соединению», «к улучшению состояния частного и общего» — «от состояния уединенного к общественному, от состояния бедственного к счастливому» (стр. 17). Пусть «гражданское» (общественное) состояние более сложно и противоречиво, более «отягчительно» для человека, нежели состояние «дикое» (естественное), человек не может быть счастлив в «уединении». Только в обществе он может выполнить свое нравственное предназначение и потому должен «стремиться к общественности — с тем, чтобы быть счастливым» (стр. 18). «Природа самыми бедствиями ведет человека к общественности, возбуждает в нем еще покоящееся воображение и мысленность, мало-помалу показывает ему состояние лучшее и счастливейшее и, просвещая, открывает ему мир новый и прекрасный — идеальный, равно как и идеальное счастие, коим он наслаждается в надежде» (стр. 19).

Попугаев соглашается, что и в «гражданском состоянии» человека подстерегает множество несчастий, «коих он ни предвидеть, ни уврачевать не может». Но это свое признание он сопровождает знаменательной оговоркой: «Натура в гражданском состоянии оставляет известное количество зла на тот конец, дабы, *побуждаем несчастиями, искал он [человек] средств улучшения своего состояния как в частном, так и в общественном кругу*, ибо рассудок ему показывает, что общественное благосостояние имеет влияние на его частное благо» (стр. 20—21, — подчеркнуто мною. — *В. О.*).

Попугаев, как просветитель, глубоко верит в силу разума («мысленности»), который способен вооружить человека, живущего в обществе, на борьбу со «злом» во имя «добра», помогает человеку преодолевать сложность и противоречия «гражданского состояния». В этом и заключается громадное преимущество «общественного человека» перед «человеком естественным». Последний «ищет токмо собственной выгоды в отношении физическом», но не может ни предвидеть, ни предупредить никакой «пагубы», ибо не наделен великой силой разума и воображения. Общественный же человек, вооруженный опытом «мысленности», преодолевает свои эгоистические представления о личном благе и начинает стремиться «к пользе общей,

к общим выгодам исключительно», осознавая, что именно они обеспечивают и его собственные, личные выгоды.

В такой постановке проблемы соотношения частного и общественного блага Попугаев тесно сближается с Радищевым, отвергавшим эгоистические стремления человека — его «прилепленность к единственности и самолюблению». Радищев писал, что «тот, кто наиболее в общежитии найдет пользы, тот вящий будет оного подкрепитель, поборник, защитник, тот, кто более надеяться будет, да получит от общежития пользы, тот вяще восхощет пребыть в оном и посвятит на пользу оного труды свои, ибо от того польза его частная возрастет».[31]

Суть дела заключалась для Попугаева в отчетливо сформулированном им взгляде на гражданское назначение человека, морально обязанного искать пути к «улучшению своего состояния», потому что достижение «отдаленной точки общей пользы» *зависит исключительно от собственной его инициативы и активности.*

Здесь — черта, отделяющая Попугаева от большинства просветителей, возлагавших все свои надежды на мирный и естественный прогресс общественных отношений, который должен привести человека в идеальное царство разума. В мировоззрении Попугаева отчасти уже сказался кризис утопических идей просветительства XVIII века. К тому времени, когда он писал свой трактат, вера в мирный прогресс уже потеряла в значительной мере свою убедительность для людей, учитывавших конкретный исторический опыт пореволюционной эпохи. Крушение прекраснодушных иллюзий с наибольшей остротой должны были переживать русские свободолюбцы, получавшие уроки действительности в особенно суровой и неприглядной обстановке, которую создавала в России правительственная реакция 1790-х годов, когда с новой силой до корней обнажились все противоречия феодально-абсолютистского строя.

Вот, например, что говорил по этому поводу один из таких свободолюбцев, воспитавшихся на литературе Просвещения, — Г. С. Винский, близкий Попугаеву по своему социальному положению (выходец из мелкопоместного дворянства, он, по словам современника, «жил, гнил и погибал в низшем или среднем слое общества»). Винский, с большими надеждами встретивший французскую рево-

люцию, с тем бо́льшим отчаянием переживал ее результаты: «С какою горестию вспоминаю наши беседования о происшествиях, начавшихся в наших глазах, от которых надеялись мы спасения, счастия человеческому роду, но, увы! все сие... восприяло новый вид, или лучше: древнейшие рода человеческого враги — самовластие и суеверие, переменив только одеяние и речь, возложили снова чрез безумных честолюбцев оковы рабствования, еще тягчайшие прежних».[32]

С другой стороны, происходившая в России освободительная борьба крестьянства властно подсказывала принципиально новое решение социальной проблемы. Убеждение Попугаева в том, что человек, «побуждаемый несчастиями», должен сам искать «средств улучшения своего состояния» — приобретало глубокий и конкретный смысл в свете опыта Пугачевского восстания и других открытых выступлений угнетенных народных масс.

В следующих разделах трактата Попугаев подвергает всестороннему рассмотрению вопросы об образовании «политических обществ», о формах «правления» и о законах. Люди, испытав невыгоды «уединенного состояния», когда сильные гнетут слабых, соединяются в общество. Разделяя мнение просветителей о влиянии климата и географической среды на образование общества, Попугаев различает в прошлом общества мирные, сложившиеся на земле, богатой производительными силами, и обратившиеся к полезным занятиям (скотоводству, земледелию), и общества завоевательные, сложившиеся на «земле бесплодной», жившие войной и грабежом мирных народов. История показывает, что первые общества были «всегда ближе к республиканскому, нежели деспотическому правлению». Они управлялись по нерушимым законам, обеспечивавшим выгоды частные («святость условий и собственности, законно образованных и приобретенных»), которые не противоречили выгодам общественным. В завоевательных обществах, напротив, господствовали деспотизм, произвол силы, беззаконие, антагонизм «гражданских состояний» (классов). «Сии общества нарушают спокойствие и равновесие своего времени».

В деспотических обществах развивается «роскошь». Честолюбие и «порок богатств» заражают равно всех — не

только утеснителей, но и утесненных. «Неравенство богатств народных родит состязание», возникают «внутренние раздоры и колебания». Но наряду с роскошью и пороками «распространяют свои ветви» также и «познания и науки». Они открывают людям глаза на нравственность, добродетель, законность, на «благодетельную цель славы общей» — человеколюбие. В этом для человечества залог его лучшего будущего: «Познания, обогащенные временем и опытностию, достигают своего совершенства», и будущее «явит существование обществ, конечно, более человеколюбивое, более спокойное и, следственно, более счастливое» (стр. 30).

Мысль просветителей о зависимости нравственного состояния человека от общественной среды и условий его материального существования, как известно, была их наиболее прогрессивным достижением. В этой связи в просветительной литературе с особенной настойчивостью выдвигались требования переустройства общественного уклада, реформы политического строя. В первую очередь речь шла об усовершенствовании законодательства.

Идея «твердой» законности пользовалась исключительной популярностью в передовых кругах русского общества. Сама жизнь делала ее особенно актуальной. Произвол самодержавия, вопиющая несправедливость законов вызывали все более резкий протест передовых людей против закостеневших политических и государственно-правовых форм. Отсюда понятен постоянный и напряженный интерес представителей русского просветительства к вопросам права и правосудия. В начале XIX века, в обстановке официального, правительственного «либерализма», этот интерес еще более усилился. К 1802 году, в частности, относится обширная записка Радищева «О законоположении», в которой выдвигалось требование коренной реформы русского законодательства. [33]

Попугаев в своем трактате уделяет проблеме «закона» преимущественное внимание. В печатном тексте трактата (раздел «Влияние законов и государственного состава на политическое общество») его соображения по данному вопросу высказаны, как мы уже говорили, в изрядно сглаженном виде, с оглядкой на цензуру, — поэтому следует обратиться к рукописи 1803 года.

Основой политического общества, доказывает Попугаев, служат конституция и законы. «Конституция одушевляет закон; закон поддерживает конституцию». Конституция — «пружина», законы — «механизм» упорядоченного, нормального общества. История свидетельствует, что деспотические государства не имели ни конституции, ни законов, «управлялись слепо — волею властителей» и верой, «коею жрецы почти всегда злоупотребляли». В этих государствах невежественный и угнетенный народ не принимал никакого участия в общественной и политической жизни. «Непросвещенный, слабый и суеверный» деспот правил государством по внушениям жрецов и любимцев, «всегда ищущих только собственной корысти». По необходимости осторожно выражая свои мысли, Попугаев ссылается на примеры, взятые из глубокой древности (он говорит о Финикии и Египте), а из «истории новейшей» — на «турецкое правление», при котором «слово подкупленного муфтия, визиря» способно «ослепить султана, повергнуть все государство в ужасные бедствия». Но подобного рода примеры, конечно, имеют свой «подтекст»: аллюзия на современность сквозит в них достаточно явно.

Нет нужды преувеличивать смелость социально-политической мысли Попугаева. Отвергая принцип единовластия, он не был в то же время сторонником передачи власти непосредственно народным массам, полагая, что законодательство должно осуществляться на равных правах представителями всех классов общества. Непосредственное народовластие равнозначно в представлении Попугаева беззаконию, анархии. Опять-таки ссылаясь на примеры, взятые из древней истории, он пишет, что «всеобщее расстроение» постигало и республики, «если перевес политической власти находился более в руках народа, нежели правителей: сколько раз афиняне близки были к своей погибели единственно оттого, что народ хотел деспотствовать».

Залог «твердого» существования государства Попугаев видит в приобщении *всех* классов общества к политической жизни. Он равно возражает и против того, чтобы власть находилась в руках «некоторых избранных классов», и против того, чтобы она подчинялась анархическим «суждениям народных сборищ». В первом случае дело сведется

к «утеснению», во втором — может привести к «возмущению и кровопролитию». Необходимое условие общественного порядка («гармонии») — разделение «политической силы» между всеми классами без изъятия.

«Равновесие» классов Попугаев видит в республиканском правлении, если оно обеспечено «твердой конституцией» и «мудрыми законами». Идеальным примером такого правления может служить Спарта. Там Ликург (которого Попугаев считает лицом историческим), «определя все благоразумными законами и волю народа и правителя соединя непосредственно в действии закона, одушевленного твердою конституцией, общественным воспитанием образовавшею граждан и приучившею их с юности к духу правления, — являет нам удивительный внешний порядок и гармонию!» В Спарте законы распространялись равно на всех граждан, а «король» был только блюстителем законов, строго определявших его права. Симпатии Попугаева к демократическому строю Спарты простираются до того, что он хвалит спартанцев за то, что они не позволяли «королю» своему «ужинать особо со своим семейством».[34] Не приходится доказывать, что Попугаев (вслед за просветителями) идеализирует общественный строй Спарты. Он не учитывает того обстоятельства, что спартанскую общину полноправных граждан составлял правящий класс, который владел всеми средствами производства и всей политической властью, и что в Спарте были еще илоты — бесправные рабы, считавшиеся собственностью не отдельных граждан, а всей общины, которая распоряжалась жизнью и имуществом илотов и держала их в жестоком угнетении. Впрочем, в объяснениях, представленных в «цензуру» Вольного общества, Попугаев упоминает об «уничижении илотов», испытывавших «несправедливости спартанского утеснения», но правильных выводов из этого не делает, а, наоборот, умиляется, что спартанцы иногда «удостоивали заслуги илотов званием гражданства».[35]

Спарта, по мнению Попугаева, остается в истории единственным примером истинно республиканского правления. «Если рассмотреть строгим оком, то мы по сю пору не видели истинно республиканских правлений, ибо во всех... древних республиках царствовал дух партий... Многие честолюбивые люди, подвергнув общую пользу отечества

частной, расстроивали систему правления и, похищая верховную власть, соделывались утеснителями граждан». Такова афинская олигархия, таков Рим, «который величают республикою», но который «никогда оною не был», потому что народ римский всегда был утеснен либо патрициями, правившими посредством сената, либо узурпаторами, «насильственно похищавшими власть», либо продажной военной кликой, приводившей к власти своих ставленников.

С другой стороны, народоправство в древнем Новгороде может служить, с точки зрения Попугаева, поучичительным примером пагубного пренебрежения твердыми законами. «Внутреннее беспокойство» и «беспрестанная борьба» различных социальных сил привели к тому, что новгородская республика «соделалась, наконец, жертвою неутвержденного равновесия». Произошло это прежде всего потому, что она не имела конституции, а «правилась обычаями, а в чрезвычайных случаях суждениями народных сборищ», которые не всегда «основываются на благоразумии», а подчас «заключают в себе более шуму и волнения, нежели истины». Добавим в этой связи, что Радищев также считал одной из главных причин падения новгородской республики раздиравшие ее «внутренние несогласия» («Путешествие из Петербурга в Москву»).

Еще менее утешительную картину представляют республиканские государства нового времени. В «новейших республиках Италии» правление только называлось республиканским, а по существу «клонилось к деспотизму»; вся полнота власти в них была сосредоточена в руках «класса знатных патрициев», а гражданам оставались на долю «одно спокойствие и повиновение». В «Голландской республике» Попугаев находит другой важный недостаток. Здесь, правда, «дух народный» был более тверд, нежели в итальянских республиках, и народ «показывал многие республиканские добродетели». Но, к несчастию, голландцами владела одна «главная страсть» — дух торгашества и наживы, который мешал им «заниматься другими частями жизни общественной». Они «не старались сделать постановления свои неподвижными и независимыми, а потому сие государство было всегда подвержено игу Австрийского дома и Франции» (все

это место об итальянских республиках и о Голландии в печатном тексте трактата выпущено).

Итак, по мысли Попугаева, всякое государство, если оно ставит целью своего существования «благо граждан», обязано иметь прочный и нерушимый правопорядок. Обеспечить его может только конституция, долженствующая «удерживать в известных пределах действие всех гражданских властей», «положить препону утеснениям» и, главное, распределить политическую власть «по всему общественному телу в надлежащей соразмерности».

Здесь — центральный пункт всей социальной концепции Попугаева. От подавляющего большинства просветителей, видевших в народном представительстве средство ограничения абсолютизма в интересах избранных, привилегированных классов, Попугаева отличает его последовательный демократизм. С особенной настойчивостью выдвигает он недвусмысленное требование допустить к управлению государством *все классы общества* — не только «знатные», но и «*низшие*». Не подлежит сомнению, что Попугаев имел в виду при этом всю народную массу: говоря о Риме, он подчеркивал, что там патриции, заседавшие в сенате, подчинили себе «*миллионы граждан*», которые, «*не имея надежды участвовать в правлении*, питали к ним вражду и ненависть и восставали, как скоро находили удобный случай». Подразумевая теорию разделения властей, обоснованную Монтескье и отразившуюся во всех политических проектах, возникавших на почве просветительства, Попугаев указывает, что «повелевающая власть» всегда находится в руках государей и представителей высших классов, «по большей части знатных фамилий». Это вызывает у него самые решительные возражения: в парламенты, сенаты и «судилища» надлежит вводить людей не по «праву рождения», но исключительно по их достоинствам, «всем гражданам известным».

Конечно, отвергая привилегии высших классов, выступая поборником равенства, Попугаев все же оставался в пределах просветительной идеологии. Равенство в его понимании — это абстрактное гражданское равенство, формальное равенство всех перед законом; идея имущественного равенства только сквозит в его дальнейших рассуждениях, не облекаясь в достаточно ясные формулировки.

В главе «О просвещении и личном достоинстве управляющих» (отсутствующей в печатном тексте трактата) Попугаев уточняет свои соображения насчет народных представителей, призванных участвовать в управлении государством. Они обязаны быть не только просвещенными, но и пользоваться доверием сограждан, обязаны не только доказать свою способность к государственной деятельности, но и «свое усердие к благу общему». Выдвижение их не должно зависеть ни от воли государя, ни от влияния привилегированных классов, но единственно «от выбора граждан». Попугаев также отрицает право государя назначать представителей исполнительной власти. Он полагает, что это дело нельзя «вверять одному лицу», и в данном случае тоже настаивает на принципе выборности: «Надобно, чтоб в избрании участвовали те, коим по сношениям известны сердце и поступки избираемого», аттестующие его как «истинного сына отечества».

Останавливает внимание еще одно соображение Попугаева, свидетельствующее о том, что его горячий патриотизм не имел ничего общего с шовинистической нетерпимостью. Он считал, что система народного представительства должна охватывать не только народ-гегемон в данном государстве, но и все народы, связанные с ним по праву завоевания или присоединения. В римском государстве, — указывает Попугаев, — только «малое число жителей города Рима имело право на исполнительную и защитительную силу законов»; «жители же провинций, как народы покоренные, подверженные игу, должны были рабствовать пред горстию надменных покорителей света». Такую политику Попугаев называет следствием «слепого патриотизма» и «химерою патриотизма». Народные представители, — говорит он, — должны избираться «не из граждан одного города, но всего государственного тела, из граждан всех провинций».

В рукописном тексте трактата Попугаев набрасывает нечто вроде проекта парламентской системы, основанной на принципе выборности народных представителей. Он ссылается при этом на Англию, где государю вручена немалая доля власти (в частности, управление армией и флотом), но где решающую роль играет парламент. Попугаеву особенно импонирует то обстоятельство, что в этом пар-

ламенте есть «особое отделение народных коллегий» (имеется в виду Нижняя палата), «состоящих из *нижних* отделений народа, коим препоручено право защищать народ от утеснений и предлагать о его нуждах».

Не приходится много говорить о том, сколь наивным и необоснованным было подобное представление о британском парламентаризме: вся фактическая власть в Англии была сосредоточена в руках правящего класса, обладавшего всеми средствами экономического и политического принуждения; представители этого класса составляли полностью Верхнюю палату, господствовали в Нижней палате и руководили правительственным аппаратом.

Впрочем, Попугаев отнюдь не предлагал механически перенести английскую парламентскую систему на русскую почву. Он даже упоминает о «недостатках» этой системы, но упоминает глухо, не поясняя, в чем они, собственно, заключаются. С особенной настойчивостью Попугаев подчеркивает, что конституции и законы только тогда бывают «благодетельны для народов», когда «сообразны свойствам и потребностям оных». Просто заимствовать чужую конституцию нельзя, потому что она не будет отвечать потребностям и интересам другого народа. Попугаев прямо указывает, что русский народ должен иметь конституцию и законы, сообразные его собственному «политическому бытию». «Общественные постановления других народов должны быть для него [русского народа] примером, а не нитию Ариадны!»

Кроме того, — и это существенный пункт в системе доказательств Попугаева, — конституция и законы не должны быть неизменными, установленными раз навсегда. С течением времени, благодаря развитию общественных отношений, даже самые лучшие законы устаревают, теряют свою силу. Некогда «сообразные общественному благу», они становятся недостаточными и даже «цели своей противоположными», когда изменяются условия общественного быта. Поэтому всегда надлежит «рассматривать и исправлять недостатки правления», дополнять и усовершенствовать как основные, так и частные законы. Кстати сказать, эта мысль Попугаева полностью согласуется с высказываниями Радищева на аналогичную тему. «Законы становятся обветшалыми, деятельность их мертвеет, права и обязанности

становятся ненадежными, — писал Радищев. — Всегда и везде нужно было исправление законов обветшалых, издание новых и уничтожение прежних». [36]

Попугаев ставит вопрос о твердом правопорядке применительно также и к монархическому строю, и в этой части трактат его представляет значительный интерес. В главе «О монархии» он в патетических выражениях говорит о самовластных деспотах древности, которые «привыкли в собственном государстве не видеть сопротивления своей исполинской силе». При Александрах, Ксерксах, Чингисханах «кровь человеческая полилась рекою, железо и огонь исполнили ужасом вселенную, и исступленные кровопийцы, устремясь за кровавым лавром победителей, соделались бичом рода человеческого».

Вся эта патетика из цензурных соображений нейтрализована у Попугаева благонамеренными оговорками о «добрых государях», «мудрецах на троне». В тонах просветительной литературы он рисует образы «монархов-философов, ужаснувшихся бурных порывов деспотизма», не ослепленных «шумною славою побед» и сосредоточивших свои усилия на «внутреннем благосостоянии правления». «Марки-Аврелии, Петры, Екатерины... среди блеску своего величия, сквозь тусклый облак носящихся перед их глазами курений лести» увидели, «что их подданные — люди». Они просветили народы, дали им справедливые законы, и государства их процветали.

Все это — не более как дань времени и обстоятельствам. Апелляция к «добрым государям» слишком резко противоречит ясно выраженным республиканским симпатиям Попугаева. Еще раз напомним, что вся эта либеральная декламация содержится главным образом в печатном, подцензурном тексте трактата. Гораздо существеннее, что в рукописном тексте непосредственно после комплиментов по адресу «монархов-философов» Попугаев, переходя к современности, говорит следующее: «Но, несмотря на все сие, и по сие еще время часто страждут народы от ига деспотов. И по сих еще пор от времени до времени тираны железною рукою утесняют слабых», «бедствующее человечество» все еще терпит «все ужасы тиранства». [37]

Возвращаясь в прежний круг мыслей, Попугаев говорит, что власть, отданная «единому государю», лишает народ

«свободной деятельности», отдает его «на произвол случая, по внушению каприза», «затушает в нем благодетельный луч просвещения». Он пугает Александра I непрочностью самодержавного режима: деспотическое государство закономерно «мало-помалу приближается к своему падению». В осторожных выражениях он отвергает самый принцип династической наследственности правления. Единственно допустимой формой монархии представляется ему конституционная монархия, в которой «политическая сила» только воплощена в личности государя. При этом он даже называет правителя не государем, а «первенствующим лицом», выдвигает идею его *избрания*[38] и строго определяет круг его обязанностей: защищать слабого от сильного, надзирать за исполнением законов, за деятельностью исполнительной власти, блюсти беспристрастие «по известным, точным, неизменным правилам». Таким образом, самая фигура монарха приобретает у Попугаева символическое и декоративное значение.

В рукописном тексте трактата Попугаев с полной ясностью формулирует свое представление о непременных условиях, обеспечивающих «твердость общественного существования». Здесь он утверждает, «что народ есть один верховный властитель; что управляющие не что иное, как исполнители его воли, блюстители его счастия; что они суть избранные граждане, известные добродетельностью в целом народе», и «что государь не есть властитель государства, могущий располагать им по своей воле, но что он — орудие законов, первый толкователь оных народу, первый служитель отечеству, что он только первый гражданин и что он на троне не для своего благополучия; что никто не может быть утеснителем народа».

В сущности вся эта концепция государя как исполнителя воли народа, обязанного соблюдать его интерес и пользу, содержится в знаменитом примечании Радищева к переводу «Размышлений о греческой истории» Мабли. В этом примечании, посвященном характеристике «самодержавства», как «наипротивнейшего человеческому естеству состояния», Радищев с лапидарной четкостью изложил основы своего политического мировоззрения. «*Государь есть первый гражданин народного общества*», — утверждал

здесь Радищев, доказывая, что «неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками»[39] (ср. обоснование идеи народного суда над государем-преступником в оде «Вольность»). Логика суждений Попугаева на тему об обязанностях государя перед народом должна была подсказать ему именно этот радищевский вывод.

В заключительном разделе первой части трактата (издание 1807 года) Попугаев довольно бегло касается вопросов экономических. Торговля и промышленность признаются им «важнейшим средством открыть путь народу к большему благоденствию и государственной силе». Это — «одна из важнейших пружин, оснующих связь общества». Она «поддерживает нравственное и политическое бытие» общества, «действует сильно на его просвещение» (стр. 57). Богатство народа обеспечивает его спокойствие, а последнее, в свою очередь, способствует культурному и социальному прогрессу. «Народ, живущий в бедности», не только погружен в «невежество самое мрачное, самое постыдное», но и «представляет всегда глазам нашим картину ужасного деспотизма» (стр. 58). Коммерческие интересы народа должны быть «сопряжены с выгодами других народов», основываться на «связях взаимных».

Однако из этого не следует делать тот вывод, что Попугаев стоял за неограниченную свободу внешней торговли. Его экономические взгляды не имели ничего общего с дворянским фритредерством. Напротив, он заявил себя убежденным сторонником отечественного промышленного развития и ограничения иностранной конкуренции в интересах внутреннего потребления и роста общественного благосостояния. Он доказывал, что Россия настолько богата «естественными произведениями» и владеет столь достаточным количеством рабочих рук, что ей незачем пускаться в «торговые спекуляции». Отчетливо формулируя свою точку зрения, он подчеркивал, что Россия должна «особенно обратить все свое внимание на коммерцию внутреннюю и одушевить заводы и фабрики изделий ее собственных произведений» (стр. 76).

В своих протекционистских взглядах Попугаев совпадал с Радищевым, который в «Письме о китайском торге» писал: «Истина, доказательств, кажется, не требующая,

есть, что в государстве, изобилующем своими произведениями, корень общественного благосостояния основывается на беспрепятственном и скором обращении домашнего избытчества; следственно, внешняя торговля, хотя и может быть единым от источников его богатств, но не может посему никогда почесться необходимою государственной силы и могущества опорою. . .»[40]

В трактате Попугаева есть страницы, посвященные положению Англии в его время. Они интересны как отражение в русской публицистике международной политической ситуации 1800-х годов. Резко нападая на Англию, обвиняя ее в корыстолюбии и агрессивных замыслах, Попугаев откликался на напряженные, а подчас и открыто враждебные англо-русские отношения в период, когда складывалась континентальная система. В этой связи Попугаев вспоминает англо-русский конфликт 1801 года, когда флотилия Нельсона в нарушение правил нейтральной торговли предприняла вооруженную демонстрацию против России, появившись в ее территориальных водах. «Зная, что флот российский был заперт льдами, он [Нельсон] имел малодушную дерзость приближиться к берегам Ревеля, с изречением, свойственным британской дерзости: *взять воды!* Он, конечно, погиб бы. . . если б миролюбивый Александр, приявший сие за действие политической горячки, уже несколько лет Англию мучащей, не простил ей то великодушно» (стр. 70). Дело было, конечно, не в «миролюбии» Александра I, а во взаимных уступках обеих сторон, предотвративших неизбежную, казалось, войну.

Соглашаясь, что Англия «превзошла богатствами все европейские государства», Попугаев говорит, что «величие ее обманчиво», и предрекает ей печальную участь. Если Англия будет продолжать свой агрессивный «образ действия», мера терпения «оскорбленных» ею народов истощится — и тогда «погибель» ее неизбежна. Он советует Англии «смиренно отказаться от ее планов» и не считать себя «повелительницею мира». Европа может наказать Англию и войною и без войны: «Пусть на один год, на два запрет она гавани, и Англия погибла» (стр. 71—72).

6

Трактат Попугаева свидетельствует о близком его знакомстве с просветительной литературой XVIII века во всем ее объеме. Попугаев воспитался на этой литературе, и нет ничего удивительного в том, что он учитывал положения и выводы передовых мыслителей, которые вызывали глубокий интерес у всех свободомыслящих людей его поколения. Однако, как и в других аналогичных случаях, просветительные идеи приобретали в системе взглядов русского писателя более радикальный смысл, бо́льшую политическую остроту, поскольку речь шла не просто об их популяризации, но о переосмыслении их в свете иной социальной действительности, в порядке решения насущных задач, выдвинутых русской жизнью.

В частности, из трактата Попугаева видно, что ему была хорошо известна социально-политическая теория Мабли. Интерес Попугаева к одному из самых антимонархических писателей XVIII века, открыто призывавшему к ликвидации абсолютизма и отразившему в своей утопической теории чаяния наиболее угнетенных слоев третьего сословия, — факт сам по себе выразительный и знаменательный. Не случайно Мабли пользовался вниманием и уважением Радищева.

В социологии и нравственной философии Мабли Попугаеву наиболее импонировал решительный протест против политических привилегий избранных классов, как несовместимых с принципами права и гражданской морали. В условиях режима деспотизма и рабства, в которых слагалось мировоззрение Попугаева, уравнительная доктрина Мабли приобретала особенно сильное политическое звучание.

Мабли, как и все просветители, исходил в своем учении из теории естественного права, но у него эта теория получила наиболее революционное истолкование. Энгельс считал Мабли одним из первых представителей социализма в его *теоретической форме*, одним из тех «великих французских просветителей XVIII века», которые выдвинули основные принципы социализма. [41]

С особенной широтой идеология Мабли раскрыта в его учении о собственности и о страстях. В отличие от подавляющего большинства просветителей он отвергал понима-

ние частной собственности как естественной и незыблемой основы общества. Имущественное неравенство он считал источником всех общественных бедствий и первопричиной всех человеческих пороков. Частная собственность нарушила естественное равенство людей, извратила природу человека, обусловила перерождение его социальных качеств в дурные антиобщественные страсти (эгоизм, жадность, тщеславие, леность и т. д.), вызвала распадение общества на антагонистические классы и способствовала появлению деспотизма. Идеальный общественный строй рисовался Мабли как строй коммунистический, в виде небольших земледельческих общин, в которых имущественное и юридическое равенство достигается уничтожением частной собственности и ограничением потребностей каждого до необходимого и одинакового для всех минимума. Свое представление об идеальном коммунистическом строе Мабли связывал прежде всего со Спартой.

Однако при всем этом Мабли считал свой общественный идеал неосуществимым в условиях исторически сложившегося господства частной собственности и разделения общества на враждебные классы. Уничтожение частной собственности практически уже невозможно, — говорил Мабли, — а поскольку она существует, приходится считаться с фактом ее существования и рассматривать ее как залог правопорядка. «Никакая сила человеческая не добьется упразднения неравенства иначе, как путем еще больших беспорядков, чем те, к каким повело создание собственности. Раз сделана эта глупость, мы осуждены быть вечной ее жертвой. Говорить, что мы должны отказаться от имуществ и вернуться к порядкам, установленным природою, значило бы тратить слова попустому» («Сомнения... относительно естественного и существенного устройства политических обществ»). В другом месте Мабли высказывается по данному вопросу в еще более категорическом тоне: «Из снисхождения к человеческой злобе и глупости я не решился поднять руки на собственность и неравенство состояний» («О законодательстве, или принципы законов»).

Коммунистический «золотой век» Мабли находил только в прошлом, считал его безвозвратно пройденным этапом на пути человечества и никакой реальной возможности

вернуться к нему не видел. Поэтому позитивная программа Мабли, его практические требования носят неизмеримо более узкий и ограниченный характер, нежели его теоретическая мысль. Для будущего у него оставались лишь реформы, правда весьма радикальные, но не затрагивавшие принципа частной собственности. Отказываясь от полного осуществления своего общественного идеала, Мабли призывал к его частичному осуществлению, понимая под этим установление республиканского строя. Высшей и наилучшей формой государственного устройства, доступной для современного ему общества, он считал федеративную народную республику. Разделяя учение Руссо о народном суверенитете, Мабли утверждал, что народ является источником и творцом законодательной власти. Эта народная власть должна ограничить алчность богатых, умерить их антиобщественные страсти и обеспечить хотя бы относительное имущественное равенство граждан (не говоря уже о формальном, юридическом равенстве). Мабли рисует идиллическую картину общественного быта, в условиях которого «бедный будет доволен своей бедностью, и богатый не найдет никакой выгоды в своем богатстве, и добродетель будет приносить человеку больше пользы, чем титула и богатства» («О законодательстве»).

На такой основе сложилась уравнительная доктрина Мабли, предусматривавшая строжайшую регламентацию всего общественного быта. Считая недостижимым полное уничтожение частной собственности, Мабли выдвигал требования максимального уравнения собственников. Богатства должны быть ограничены в своих размерах, пользоваться ими следует также ограниченно, всякая «роскошь» недопустима. Уравнение собственников должно быть проведено в законодательном порядке. Мабли разработал проекты законов о «роскоши», регулирующих расходование богатств, аграрных законов, определяющих размеры земельных участков, находящихся во владении граждан, законов о правах наследования, также меры против любостяжания и честолюбия.

Именно эта практическая сторона уравнительной доктрины Мабли произвела на Попугаева сильное впечатление, как видно это из его высказываний о происхождении общества, об идеале «счастья», о принципах народоправства,

наконец из его морально-этического подхода к данным вопросам.

Прежде всего сочувственное внимание Попугаева должна была привлечь полемика Мабли с Руссо по вопросу об естественном и общественном состояниях. Мабли, вопреки теории Руссо, доказывал, что общество является естественной формой человеческого бытия, так как человек от природы наделен социальными качествами. «Люди созданы, чтобы жить в обществе», — говорил Мабли («Беседы Фокиона»). Природа внушила человеку не только сознание «добра» и «зла», но и потребности, которые могут найти удовлетворение единственно в общественном быту. Изолированное, «уединенное» состояние, которое Руссо считает «естественным», с точки зрения Мабли противоречит природным свойствам и склонностям человека. Цель общества — благо человечества; общество призвано «усовершенствовать человеческую природу и сделать человека более счастливым» («Права и обязанности гражданина»). Разум — источник нравственности; следуя его велениям, люди могут установить правильные отношения между собою, создать нормальное общество. Разум, воплощенный в законах, обеспечивает права граждан и «благоденствие» общества.

Характернейшей особенностью Мабли как мыслителя и политического писателя является морализм. Во всех своих сочинениях он доказывал, что залогом общественного «благоденствия» служат строгие и чистые нравы, высокие гражданские добродетели. Морализм, как мы видели, ближайшим образом определяет существо социальной концепции Попугаева. Он также полагал, что человечество может достичь «благоденствия» лишь на пути нравственного усовершенствования, и предел его усматривал в той точке, где «добро» безусловно восторжествует над «злом». Сама аргументация Попугаева с применением морального критерия в оценке социально-политических явлений сближает его с Мабли, который истинную цель политики видел в торжестве общественных добродетелей.

Морализм Мабли отмечен строгими, аскетическими чертами. Свою уравнительную доктрину он разрабатывал в духе стоицизма. Этим духом проникнута и тема счастливой «скромной доли», которая проходит через все творчество Попугаева. В гражданских стихах и в публицистической

прозе он неизменно возвращается к этой теме, на все лады изобличая «роскошь» и «пороки» богатых и знатных и восхваляя простоту быта и высокие моральные качества истинного гражданина, примером для которого служат стоики древнего мира:

Счастлив, кто злато презирает,
Смеется пышности, честям...

Довольны титлом гражданина,
Не будем мы честей искать!..
и т. д.

С кругом моральных людей Мабли связана у Попугаева и апология древней Спарты, также обычная его тема. Мабли видел в спартанской общине наиболее близкое воплощение своего аскетического идеала, торжества общественных добродетелей, подлинной чистоты нравов. Спарте он посвятил в своих трудах много красноречивых страниц, в частности в книге о греках, которая, конечно, была известна Попугаеву (в переводе Радищева). Именно здесь Мабли, всячески восхваляя Спарту и законодательную деятельность Ликурга, развенчивал в то же время афинскую демократию и Солона (мотив, встречающийся у Попугаева). Вот, к примеру, что писал Мабли (цитируем перевод Радищева): «Более шестисот лет Ликурговы законы, превосходящие мудростию все данные законы человекам, были там наблюдаемы с наивящщею точностию. Который народ, будучи столь прилеплен к добродетели, как спартяне, давал примеры столь великие, столь непрерывные умеренности, терпения, мужества, великодушия, воздержания, правосудия, презрения богатств и любви вольности и отечества? Читая их историю, мы воспламеняемся; если в сердце своем имеем хотя малое зерно добродетели, то дух наш воздымается и хочет, кажется, исступить из тесных пределов, в коих нас удерживает повреждение нашего века».[42]

И наконец, Попугаев перекликался с Мабли в своих суждениях касательно наилучшей формы государственного строя. Мы уже видели, что он выдвигал идею представительного правления и возражал против непосредственного народоправства. Обоснование подобного решения этого вопроса он мог найти в сочинениях Мабли, который, признавая верховный суверенитет народа, считал, что народ-

суверен должен создавать законы и осуществлять свою власть не непосредственно — через общее собрание всех граждан, а через своих выборных и доверенных представителей. Принцип непосредственного народовластия (в античном смысле, как законодательства массы) Мабли безусловно отвергал, предупреждая, что на практике он не может привести ни к чему другому, как к произволу разноречивых мнений, капризов, опрометчивых решений и т. п. [43]

«Народ всегда презирает те законы, которые сам постановит», — говорит Мабли («О законодательстве»). Общее народное собрание для него — «беспорядочная толпа»: «Должен ли я настолько отказаться от здравого смысла, чтобы слепо подчиняться постановлению собрания, представляющего лишь беспорядочную толпу» («О правах и обязанностях гражданина»). Мабли упрекает Солона в том, что он «дал народу поползновение презирать и законы и судей. Позволяя переносить решения, определения и приказы всех судей в шумные народа собрания, не отдавал ли он чрез сие всемогущий сан толпе несмысленной, неосновательной... Не учреждал ли он под именем Демократии истинное безначальство? .. Невозможно было, чтобы ненависть, пристрастие, невежество и вспыльчивость, общенародные колеблющие собрания, допустили учредить непреложные правосудия правила. Власти законов противуборствовала власть народного суда, и врата были отверзты всем злоупотреблениям». [44]

Только представительный образ правления, — заявлял Мабли, — может «предупредить злоупотребления или излишества как власти, так и свободы». Основой правопорядка он считал «хорошую конституцию», гарантирующую общество равно и от деспотизма и от анархии. В книге «Наблюдения над историей Франции» он наиболее подробно изложил свое представление о гармонической структуре государства: гражданское общество состоит из всей массы народа, за которым признается суверенитет высшей законодательной власти. Власть эта осуществляется народными представителями (при однопалатной системе). Исполнительная, правительственная власть — только выполняет волю народа.

Все это находит довольно близкие соответствия в том, что говорил Попугаев о формах государственной власти, в частности — насчет анархических «суждений народных

сборищ», не основанных на «благоразумии» и далеких от «истины».

Однако наиболее существенно подчеркнуть, что в рассуждениях Попугаева отчетливо обнаруживаются не только соответствия с теорией Мабли, но и несогласие с нею, — причем несогласие касается важнейших социально-политических вопросов.

Так, например, Мабли был весьма непоследователен в вопросе о народном представительстве. В большинстве случаев он высказывался против предоставления политических прав всем гражданам без изъятия, ограничивая круг полноправных членов общества то землевладельческим, то налоговым цензом. «У этого уравнителя есть некоторый страх перед массами, — пишет академик В. П. Волгин. — По его мнению, те, кто живет за счет заработной платы, получаемой от богатых, неизбежно духовно принижен своим трудом. Закон должен признавать и в них некий «род граждан». Но они не должны быть допускаемы к участию в народных собраниях политического значения. Крайняя демократия может легко выродиться в тиранию. Поэтому допускать к управлению государством надлежит лишь тех, кто чем-нибудь владеет». [45]

У Попугаева же таких оговорок мы не встречаем. Он ни одним словом не обмолвился об ограничении политических прав гражданина его имущественным цензом, но, напротив, прямо и внятно говорил о правах «низших классов общества», о правах «миллионов граждан». И это обстоятельство вносит еще одну весьма характерную черту в идеологический облик безвестного русского демократа, сумевшего подняться над господствовавшими в его время представлениями о сословно-классовых привилегиях.

Также и по вопросу об условиях избрания представителей исполнительной власти Попугаев занимает позицию более демократическую, нежели французский мыслитель. Мабли был противником избрания чиновников непосредственно народом; он предоставлял это законодательному собранию. Попугаев же настаивает на том, что чиновники должны избираться всем народом из числа граждан, которые пользуются наибольшим доверием народа.

То, что Попугаев говорит о конституционном монархе, в свою очередь находит известные соответствия у Мабли

в его теории так называемой «республиканской монархии». Республиканец Мабли допускал в качестве паллиатива существование монархии (там, где она уже существует), — при условии, если монарх будет лишь послушным исполнителем воли народных представителей. Прерогативы такого монарха он сводит до минимума: монарх не должен иметь никакого отношения к законодательству, он лишен права объявлять войну и заключать мир (сохраняя верховный надзор над вооруженными силами в мирное время), также вести дипломатические переговоры, назначать послов, высших чиновников и министров.

Однако и в данном вопросе Попугаев оказался более последователен, нежели Мабли, поскольку говорил об *избрании* «первенствующего лица», отвергая тем самым династический принцип, — тогда как Мабли впадал по этому вопросу в противоречия: то утверждал, что «всякая наследственная или даже пожизненная власть противоречит общественной цели... и неизбежно превращается в тиранию» («Права и обязанности гражданина»), то — в большинстве случаев — трактовал «республиканского монарха» как первого сановника в государстве, занимающего свой пост по праву наследования.

В целом политический трактат Попугаева убедительно говорит о том, что русская действительность, в условиях которой формировались мировоззрение и идеология писателя, испытавшего непосредственное влияние освободительных идей Радищева, подсказывала ему гораздо более последовательные выводы в решении актуальнейших социально-политических проблем, нежели те, к которым приходили даже самые прогрессивные представители западно-европейского Просвещения.

7

Главное и основное в идеологии Попугаева заключается в том, что он, горячо сочувствуя угнетенному народу, выступил в защиту его интересов, ясно высказался за ликвидацию крепостного права с наделением крестьян земельной собственностью. Призывая освободить «сих бедствующих сынов отечества», Попугаев требовал утвердить за ними «нерущи-

мые права» и прежде всего — полное и неотчуждаемое право на землю.

Эту мысль Попугаев подробно обосновал в не дошедшей до нас рукописи своего трактата. В дальнейшем он вынужден был поступиться ею в результате вмешательства «цензуры» Вольного общества. Однако самое важное, что он хотел сказать, нам известно.

Вот что писал Попугаев: «Первое, что могут и должны сделать народы для утверждения колеблющегося своего равновесия и спокойствия, есть освободить землепашцев от бремени, их гнетущего, и доставить [им] * спокойствие мирно наслаждаться плодами их трудолюбия; есть снять с сего почтенного состояния презрение, делающее стыд нашему времени. Бедствия его должны исчезнуть и вместе увлечь с собою невежество, унылость душевную и отчаяние сих бедствующих сынов отечества. Сие должно быть правилом самым первым всей Европы, если она хочет видеть счастливыми обитателей ее, если она хочет сделать хотя один шаг к своему благополучию. . . Вся Европа, повторяю, если она хочет видеть блаженство свое возрастающим, если она хочет отдалить грозящие бедствия, должна помыслить о сем классе, особенно те несчастные земли, которые поражены бедствиями зол феодальных. ** Она должна положить священным, непременным, твердым законом ненарушимость прав землепашцев. Никакая государственная необходимость не должна нарушать спокойствия селян; наипаче отделять крестьян от земли, ими обрабатываемой».

Правда, вслед за тем Попугаев апеллирует к самим рабовладельцам, предупреждает их, что они должны освободить крестьян в своих же интересах, «для собственной пользы». Но такого рода апелляция, во-первых, диктовалась тактическими соображениями, а во-вторых, была характерна для всех противников крепостного права. Сам Радищев в «Путешествии», придя к выводу, что свободы ожидать надо не от советов «отчинников», «но от самой тяжести порабоще-

* У Попугаева описка: «ему».

** Попугаев, конечно, подразумевает Россию; об «Европе» он говорит для отвода глаз.

ния», допускал в то же время аргументацию от «собственной пользы» крепостников, приводя им доводы морального порядка и пугая их призраком крестьянского бунта.

В той же рукописи Попугаев касается варварских законов солдатчины, говоря, что крестьянин, «будучи единожды снят с земли на поле» (то есть будучи взят от сохи в солдаты), как правило, никогда не возвращается к своему труду и к своей семье.

Счастливый случай сохранил для нас эти важные высказывания Попугаева: они цитированы в замечаниях Д. И. Языкова на представленную в Вольное общество рукопись «Опыта о благоденствии народных обществ». При этом Языков категорически возражал против их опубликования; А. Х. Востоков же взял сторону Попугаева: «Кажется, можно напечатать так, как оно есть; ибо теперь само правительство, сам государь у нас занимается способами облегчения участи земледельцов, — писал он в своих замечаниях. — Я с моей стороны одобряю всю сию статью г-на Попугаева и нахожу, что автор, коснувшись сего предмета, должен был непременно употребить сильные и патетические выражения». [46]

С особенной силой и патетикой Попугаев говорил о крепостничестве в рукописи 1803 года «О благополучии народных тел». Здесь читаем: «Повсюду, где народ в рабстве и, следственно, в варварстве, все несчастия возможны и все бедствия сбыточны. Но рабство деспотическое ничто пред феодальным. Оно не токмо отводит от просвещения, но и заглушает все чувствия человечества; оно повергает в невежество и властелина и раба! Первый делается тираном, забывая свое человечество, другой в своем унижении теряет все чувства, всю бодрость духа, и в том и в другом истребляется ощущение возвышенного — добродетели! Один беспредельное употребление власти наконец простирает до тиранства, теряет чувствительность и сострадание к бедствиям ближнего, [другой] * делается ко всему недоверчив, всего трепещет и с *онемением отчаяния дожидает мстить мучительству*. В нем нет ни семейственного, ни общественного чувствия; мысль, что самый плод кровавых трудов

---

* Пропуск в рукописи.

его ему не принадлежит, истребляет в нем самое трудолюбие — сие семя государств» (подчеркнуто мною. — *В. О.*).

Политический смысл этой характеристики русских феодально-крепостнических порядков обнажен достаточно явно. Здесь Попугаев, как видим, поднимается до понимания закономерности народного мщения тиранам. А это вело к признанию за угнетенными морального *права* на мщение, то есть, иными словами, к позиции Радищева. Слова Попугаева о крестьянах, которые «с онемением отчаяния дожидают мстить мучительству», приводят на память одну из самых сильных глав радищевского «Путешествия» — главу «Городня». В данном случае у Попугаева обнаруживается даже известная фразеологическая близость с тем, что говорил Радищев: «. . . не доводи до отчаяния души, твоея благороднейшей, страшись!» — так предупреждает своего барина описанный Радищевым крепостной. (Напомним кстати, что именно в главе «Городня» содержится знаменитое рассуждение Радищева: «О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашею обагрили нивы свои! . .» и т. д.). Не приходится пространно доказывать, что отблеск этих мыслей Радищева лежит на приведенном выше высказывании Попугаева.

Во всех случаях, когда Попугаев говорит о русской действительности, речь его проникается неподдельным пафосом гражданского негодования: «Где рабство, там нет патриотизма. . . Там философу не позволено быть другом человечества, — но может ли там быть и философ? Семена добродетели там падают на камень, терние порока находит только пристойную землю!»

Ненависть к рабству и произволу всецело проникает и горячее патриотическое чувство Попугаева. Свою убежденность в том, что «где рабство, там нет патриотизма», он высказывает неоднократно и настойчиво, подчеркивая, что и «деспот не знает, чтó есть любовь к отечеству», и «рабы не могут быть ни гражданами, ни патриотами». Ближайший для Попугаева источник этой мысли о несовместимости патриотизма с рабством — также сочинения Радищева. «Не все рожденные в Отечестве достойны величественного на-

именования сына Отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем... Человек, человек потребен для ношения имени сына Отечества! Но где он? где сей, украшенный достойно сим величественным именем?» — писал Радищев. [47]

В гневных обличениях «деспотического правления» и «тиранства врагов народа» — крепостников, которые, «подобно зверю», «свирепствуют противу себе подобных», у Попугаева чувствуется непосредственный опыт наблюдения окружавшей его социальной действительности. Он говорит о «правлении, зависящем от своенравия и интриг», при котором всякому, кто имеет хотя бы «тень власти», позволено «тиранствовать ненаказанно и в силу законов». С чувством, понятным у человека, принадлежащего к социальным низам, он говорит о произволе и лихоимстве всякого рода «начальников», «ищущих токмо собственной пользы, не знающих любви к отечеству, окаменелых сердцами к слезам несчастных, пред высшими постыдно низких, пред низшими дерзостно надменных». Он утверждает, что в государстве деспотов и их верных слуг даже благотворительность оборачивается издевательством над народом: «Больницы будут ужасом для входящих в них, госпитали — темницами, воспитательные домы — местами страданий невинных творений», а училища «послужат не к просвещению», а к «распространению пороков», ибо «в сих училищах нельзя ожидать ободрения, а где нет ободрения, там таланты трудно развиваются».

Возвысив голос в защиту гражданских прав и гражданского достоинства «низших классов», требуя освободить крестьян с землей и заговорив о мщении «мучительству», Попугаев достиг высоты политической мысли, доступной ему по природе его мировоззрения и по условиям времени. Сама социальная принадлежность и личная участь этого обездоленного и нищего разночинца дополнительно оттеняют закономерность его общественной позиции. Последовательность выводов Попугаева позволяет видеть в его идеологии пусть ослабленное, но тем не менее знаменательное отражение революционных настроений и чаяний крепостного крестьянства, которые за десять-двенадцать лет до него с такой замечательной силой и страстью выразил Радищев.

Попугаев жил и писал в другое время. Трагическая судьба Радищева научила осторожности тех, кто шел ему вслед. Да и по силе и глубине своей мысли Попугаев, конечно, не может итти в сравнение с великаном Радищевым. И при всем том его можно назвать преемником Радищева с бо́льшими основаниями, нежели кого-либо другого из русских писателей начала 1800-х годов.

Не призывая открыто к народной революции, к насильственному свержению власти царя и помещика, как делал это Радищев, Попугаев сосредоточил свою энергию на резкой критике монопольных прав и привилегий дворянства, главным образом в области просвещения и воспитания. Проблема общественного воспитания привлекала особенно пристальное внимание Попугаева. Именно в этой области его демократические убеждения сказались с наибольшей отчетливостью.

8

Приписывая воспитанию могущественную роль в деле общественного прогресса и связывая вопрос о воспитании с вопросом о справедливых законах, Попугаев утверждал: «Воспитание есть первая пружина к общественному благосостоянию».

В своих практических выводах по вопросу о воспитании Попугаев исходил из решения общей проблемы народного просвещения. Проблема эта занимала важное место в занятиях Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В частности, ее касались И. М. Борн [48] и А. Х. Востоков. [49] Но оба они, как и некоторые другие члены Вольного общества, не шли дальше отвлеченных и оптимистических рассуждений об «успехах просвещения». Только один И. П. Пнин поставил вопрос о просвещении практически, в применении к русской социальной действительности.

Тем более значительным представляется радикальное решение этого вопроса, предложенное Попугаевым. Если его товарищи по Вольному обществу отличались благодушной верой в, якобы, очевидные «успехи просвещения», то он, напротив, недоумевает: почему же разумные и светлые идеи просветителей столь явным образом противоречат

действительному положению вещей в мире, где попрежнему царствуют насилие, произвол, неравенство? «Многие писатели, известные своим просвещением, открыли различные пути к счастию народов», показали «возможности народного благополучия». Но кто, «обратя взор на самые народы, не видит противного? Не видит бедствия, угнетения оных то деспотизмом государей, то их правителей, то, наконец, если сие в республиках, исполнителей закона?» Значит ли это, что «все умствования философов ложны», что «великий ряд веков не открыл ни единой истины», что «просвещение бесполезно»? «Нет! — отвечает Попугаев, — просвещение есть солнцев луч во мраке, истина для нашего счастия драгоценнее золота!»[50]

Противоречие заключается в том, что «истина» остается уделом «мудрецов», но «не соделывает счастия *народов*». За всю историю человечества не было народа «просвещенного *во всей целости*», народа, «который бы сам пекся о своем благополучии, разбирал средства, могущие составить его счастие и несчастие, взвешивать совершенства и несовершенства своего правления». Наличие отдельных просвещенных и благомыслящих людей еще ничего не решает в деле народного просвещения как пути к общественному благосостоянию. «Несколько частных людей думают о благе, о пользе, о средствах счастия общественного. Несколько, но бо́льшая часть и из оных стремится более угнетать сограждан, думает более о личном себя и семейств благополучии, забыв народ и его выгоды». Вывод, к которому приходит Попугаев, таков: «Итак, не философов должны обвинять мы, что они не ясно открыли истину, но правителей, не пекущихся о просвещении народа и почитающих просвещение вредным народному благу... Один деспотизм ищет невежества в народе».

Попугаев выдвигает идею «политического просвещения» народа путем «общественного» (или «гражданского») воспитания, которое он рассматривает как вернейшее средство формирования личности человека-гражданина. Он всячески подчеркивает, что в просвещении должно господствовать «направление политическое». Познание наук, языков, литературы, обычаев — все, что «многие почитают просвещением», — не более как «относительное или частное просвещение». Задача истинного просвещения состоит в ином:

«Человек, живущий в обществе, должен знать свое назначение, как гражданин, цель общественности, связь свою с целым; словом, он должен знать частную и общественную политическую связь». Пусть весь народ состоит из математиков и физиков, его все же нельзя будет назвать просвещенным, потому что истинное просвещение заключается не в «познаниях отвлеченных», которые, впрочем, «полезны и даже необходимы в некоторых частях народа», но в «политическом и философском познании своих прав», которое должно стать уделом всей народной массы.

Попугаев иллюстрирует это свое положение примерами из истории. Древний Рим был богат «мужами учеными, славными, великими», но народ оставался там всецело за гранью просвещения. Напротив, спартанцы «не произвели ни одного ученого, нижѐ художника, славного своими творениями, но народ знал законы Ликурга, законы своего отечества, знал права относительно граждан и государей, — и народ имел политическое просвещение, и народ был *счастлив!*» Продолжая множить примеры, Попугаев ссылается на Италию, знаменитую на весь мир блеском своего искусства и успехами своих ученых. Но в Италии вместе с тем с особенной силой проявилось «невежество и коварство» католической церкви, господствовала «чудовищная инквизиция», процветал религиозный фанатизм: «За веру курились костры, лилась кровь человеческая, — в то время когда в недре самих монастырей писались важные трактаты о ученых материях и других полезных предметах».

В данной связи Попугаев указывает, что понятие даже минимальной гражданской свободы предусматривает такое положение, при котором «народ знает свое правление» и «в журналах можно без страху говорить о политике», а «народу не запрещено собираться на публичной площади» и судить о делах государства, — без того чтобы «сие почлось бы преступлением — оскорблением верховной власти».

Замечательной чертой концепции Попугаева является выраженное в ней настойчивое стремление теснейшим образом связать вопрос о просвещении с вопросом социальным.

Попугаев открыто заявил в своем трактате, что «просвещение несогласно с рабством»: «Предубеждение и ложное понятие чести, во всех классах народа рассеянное, и, наконец, рабство полезнейшего члена — земледельца поло-

жило необоримый оплот * народному просвещению. Мы хотим соделать счастливыми сограждан наших, признаем, что просвещение есть божественный луч, есть путь к нашему блаженству, к блаженству народа, — и определиваем просвещение на одних себе, на некоторых токмо избранных классах людей; все прочее должно остаться во мраке. Сколь несправедливо такое суждение! Эгоизм! Неужли хотят управлять народом, как управляют бессмысленными животными, коих человек себе поработил? Неужели для того в общественное состояние собираются, чтоб быть порабощенными, чтоб служить и рабствовать сим избранным классам! — просмыкаться пред горстию людей, почитающих себя просвещенными!»

Доказательства Попугаева отчасти напоминают аргументацию Пнина. Его мысль о том, что уровень народного просвещения измеряется не числом ученых людей, но степенью политической зрелости граждан, — согласуется с тем, что Пнин говорил в «Опыте о просвещении относительно к России».

Между прочим в рукописи Попугаева обнаруживается одно любопытное совпадение с Пниным. Говоря, что «избранные классы» хотят управлять народом, как «бессмысленными животными», Попугаев иллюстрирует свою мысль на таком примере: «Запряженная лошадь хотя и подвержена воле управляющего для своего собственного блага (не для ее), однако она не лишается света! Глаза ее не завязаны — не завязаны для блага же всадника! Если приведена она будет в ярость, разгорячась, повлечет всадника на произвол своего стремления, подвергнет его опасности быть изувеченну, переломит руку, ногу. Но и в сию минуту животное из любви к собственной жизни не вовлечет его в пропасть или реку, где она и он должны бы были погибнуть неизбежно, если б глаза ее были завязаны». Все это место в деталях совпадает с притчей Пнина «Верховая лошадь», которая, в свою очередь, согласуется с одним из центральных положений его «Опыта о просвещении»: «Мысль, чтобы невежественным народом управлять страхом и жестокими законами, — есть сколько не-

---

* Обычный у Попугаева языковый архаизм; нужно понимать, конечно: препону.

справедлива, столько и противна природе». В притче Пнина речь идет о некоем Клите, который завязал пугливой лошади глаза, сел на нее верхом, помчался и очутился во рву. Концовка притчи содержит общественную мораль:

О вы, правители скотов или людей,
Заметьте через опыт сей,
Что тот безумно поступает,
Кто нужный свет скрывает
От их очей;
Что скот и человек, когда лишенны зренья,
Опаснее для управленья.[51]

Но Попугаев идет значительно дальше Пнина. Тот, как мы видели, в «Опыте о просвещении», признавая закономерность сословной иерархии и настаивая на соблюдении ее в любой области, устанавливал уровень просвещения применительно к каждому сословию в отдельности. Попугаев же стоял за всеобщее и равное «общественное воспитание» без каких-либо сословных ограничений.

Вся первая часть рукописи «О благополучии народных тел» посвящена обоснованию той мысли, что говорить об истинном просвещении можно лишь при непременном условии ликвидации сословного неравенства и крепостного права и приобщения «низших классов» к общественной жизни. Задача, по Попугаеву, состоит в том, чтобы «дух правления» и «права гражданства» стали достоянием всех классов общества, были осознаны всеми, включая и тех, кто находится «в самом низком состоянии». Под последними Попугаев имел в виду всю массу крепостного крестьянства.

Крестьянин для Попугаева — «полезнейший член общества, угнетенный рабством», и он видел главную цель просвещения и общественного воспитания в том, чтобы пробудить в крестьянине чувство *гражданского самосознания*. Попугаев прямо писал, что «политическое просвещение», сделавшись достоянием «селянина, угнетенного рабством», научит его «чувствовать, что он есть *полезнейший член общества*, и, следственно, вселя в него *дух гордости, извлечет его из утеснения*» (подчеркнуто мною. — *В. О.*).

В решении этого важнейшего вопроса Попугаев непосредственно приблизился к Радищеву. Сама идея «духа гордости», который должен «извлечь крестьянина из утес-

нения» (иными словами — идея самосознания), отсылает к Радищеву. Именно Радищев в «Путешествии» широко и принципиально поставил вопрос о самосознании народа — в гениальном образе «обагренного кровию бурлака», этом обобщенном образе угнетенного русского народа, охваченного «скорбью душевной», но полного могучих духовных сил и призванного сыграть великую роль в истории. Этот же вопрос был поставлен Радищевым в образах многих других персонажей «Путешествия» — нищего крестьянина из Любани, крестьянской девушки Анюты, крепостного рекрута из Городни. С величайшим сочувствием Радищев показал ум, трудолюбие, нравственную чистоту, гордое чувство собственного достоинства, присущие простым русским людям — крестьянам, которые даже в условиях варварского угнетения и подлого унижения таят в себе могучие духовные, творческие силы.

Радищев, как известно, придавал громадное значение общественному воспитанию и неоднократно обращался к этой теме, в частности — в последние годы жизни, неизменно доказывая, что воспитание, понимаемое как путь к «блаженству народа», должно быть устремлено на «возбуждение нравственных и гражданских добродетелей». Между тем воспитание, которое получает русский дворянин, «с самого детства» учит его «поступать самовластно, имея перед глазами своими непрестанно рабов, с которыми учится повелевать и раболепствовать, а не управлять и повиноваться». [52]

Проблему воспитания Радищев постоянно связывал с законодательством. «Одним из важнейших пунктов конституции государства, — писал он, — является... воспитание, как общественное, так и частное». [53] В новонайденной записке «О законодавстве» [54] он обосновывал идею соединения нравственных и политических наук, как основы воспитания молодежи, и указывал на практическую его цель — участие будущих граждан в управлении государством. Наконец, в записке «О законоположении» (1802 года), утверждая, что «воспитание есть вещь наиважнейшая в законодательстве, а разум законоположника над ним больше размышлять должен, нежели над другими предметами», Радищев с особенною настойчивостью подчеркивал политическую сторону вопроса. Здесь он рассматривал вос-

питание как средство, позволяющее человеку «видеть цель своего назначения» (говоря словами Попугаева): «. . . если все начинают постигать основание своих прав и обязанностей, когда лучшие о всех вещах начинают иметь понятия, — тогда настает благопоспешный час дать народу новое уложение, основанное на истинных и непреложных понятиях о всех предлогах общественных». [55]

Мысли, высказанные Радищевым в записке 1802 года, настолько сходствуют с тем, что говорил Попугаев, что можно даже предположить, что записка эта, представленная в Комиссию составления законов, была известна Попугаеву, который определился на службу в Комиссию вскоре после смерти Радищева. Но суть дела заключается не столько в том, знал ли Попугаев работы Радищева, сколько в том, что мысль его шла в том же направлении.

Попугаев доказывает, что в крепостническом обществе и государстве никакие усилия отдельных просвещенных и добродетельных людей не могут привести ни к чему, если не будут изменены самые основы политического и общественного бытия народа, ибо, — как образно выражается Попугаев, — «самый лучший виртуоз не может играть гармонически на расстроенном инструменте».

Но Попугаев подчеркивает и другую сторону вопроса: самый лучший инструмент, «чтоб издать гармонические тоны, требует виртуоза». Справедливое законодательство служит первым условием общественного прогресса. Однако даже совершенные законы сами по себе «суть власть мертвая» и недостаточны для «счастия народного». Чтобы они получили правильное действие, необходимы мудрые правители. При этом Попугаев снова говорит о правителях не по праву рождения, то есть не о государях, но о правителях, которых должен выдвинуть сам народ. «А чтоб оные в народе находились, просвещение нужно», ибо «просвещенный человек только может чувствовать, что благо народное есть благо его».

Впрочем, — тут же оговаривается Попугаев, — даже самый просвещенный человек — «есть человек»: несмотря на все свои личные достоинства и добродетели, он имеет и «свои слабости». Поэтому никто не может быть носителем «неограниченной власти». Только народ, политически про-

свещенный, знающий свои законы и свои права, может воплощать всю полноту власти, контролируя своих доверенных правителей. «Где народ не таков, там часто самый лучший правитель даже против воли превращается в деспота».

В свете рассуждений о том, что законы — «власть мертвая», если им не дано правильного действия, приобретают истинный смысл похвалы, которые Попугаев расточает по адресу Екатерины II. В комплиментарной форме он, по существу, критикует законодательные мероприятия Екатерины, — подобно тому как делал это и Радищев (кроме того, ссылки на «Наказ» у Попугаева, как и у Радищева, отчасти преследовали цели маскировки собственных мыслей). В записке «О законоположении» Радищев отмечал, что в «Наказе» — «многие мнения ложные», что Екатерина «издала многие только частные узаконения, но дело главное и основное всему оставила недовершенным», что «бо́льшая часть ее законоположений неясны, неполны, и она, дав закон, не позаботилась гораздо, чтобы он был исполняем»; наконец, в последние годы она вообще «отступила от многих своих правил».[56]

Также и Попугаев под защитным покровом комплиментарности вскрывает мнимый характер законодательных реформ Екатерины. Пообещав многое «в начале царствования», она своих обещаний не выполнила: «Мы видели и в ее блестящее правление... законы часто недействительными, невинную слабость угнетенную и богатого преступника, часто оным законом посмевавшегося; мы видели, что бедный земледелец тщетно искал правосудия противу сильного помещика, его угнетавшего».

В заключение Попугаев благонамеренно указывает, что Екатерина предоставила «исправить недостатки своих законов» как «народному духу, патриотизму», так и попечению «своих наследников». Они, «если хотят итти путем славы, путем благодетелей народов, царей-граждан, разовьют свиток великих ее предначертаний во всей их обширности». Это нужно понимать, конечно, как прямое обращение к Александру I, либеральные заверения которого создавали почву для подобного рода иллюзий.

Исходя из этих общих предпосылок, Попугаев в статьях, напечатанных в «Периодическом издании» 1804 года, пред-

ложил практическую программу «политического просвещения» и «общественного воспитания» применительно к России. Текст Попугаева в «Периодическом издании» подвергся сокращению и смягчению из соображений цензурного порядка, — и все же Д. И. Языков сетовал, что Вольное общество проявило «неосмотрительность», издав статьи Попугаева от своего имени.

Попугаев решительно отвергает принцип семейного воспитания. Он соглашается с распространенным мнением, что семейное воспитание может сохранить «чистоту нравов и непорочность юных сердец», «но токмо тогда, когда дети имеют добродетельных, просвещенных родителей, а сие столь редко, что, когда дело идет о целости народа, в основное положение не приемлется».[57] Даже при условии всеобщего просвещения «семейственное воспитание может научить токмо людей быть добрыми отцами, супругами, родственниками, но никогда совершенными гражданами»; оно «отдаляет от чувства общественности» (стр. 62).

Только общественное воспитание, «направленное к моральной цели», показывает гражданину «все назначение, коим он обязан к согражданам за те блага, кои их соединение на него изливает. И сим утверждает в нем чувство отечества» (стр. 63). Общественное воспитание, кроме «направления морального», требует еще и другого — «направления политического, объясняющего каждому причину его обязанностей к обществу... и научающего его средствам служить обществу» (стр. 63). Это морально-политическое воспитание должно быть распространено на «все состояния граждан без изъятия» (стр. 64).

Статьи Попугаева замечательны выраженным в них резким протестом против сословных предрассудков — «предубеждений, с разностию состояний соединенных». Он указывает, что в «правлениях совершенно свободных, каковы древние республики, не было классов знатности и отличал только голос народный, а не рождение», признавались одни «заслуги и достоинства». В этой связи он ссылается на Спарту, где было признано полезным «воспитывать детей равно и вместе», «учить умеренности и даже нужде» (стр. 66).

По вопросу о воспитании молодого поколения Попугаев выступает как демократ и патриот. Критика его направлена

против привилегированных классов «новейших империй», в первую очередь — в адрес русского дворянства. Вслед за Радищевым он изобличает убожество внешне блестящего, «роскошного» дворянского воспитания, проникнутого духом рабского подражания иноземным вкусам и модам. Учитывая экономические корни сословного неравенства, он пишет: «Роскошь, умножая нужды, заставляет вельмож думать о богатстве», богатые люди, «особенно знатные», «на основании своих имуществ воспитывают детей большею частию для своего состояния». «Сие влечет за собою предубеждение знатности, гордость породы и презрение к низким классам. Оные образуют дух дворянства». Далее для примера Попугаев ссылается на дореволюционную Францию, где «презрение дворянства к простолюдинам возросло до удивительной степени» (стр. 67—68). Слова *«дух дворянства»* хорошо выражают самую суть демократического мировоззрения Попугаева.

В особой статейке «Достоинство старого воспитания в России» (стр. 36—38) Попугаев противопоставляет национальные основы «старого воспитания» модному европеизированному воспитанию, «в коем стараются давать познания более поверхностные, в коем знания легкие вперяются детям без всякой благоразумной системы и где знания языков в отношении к разговору составляют главную часть. Сей последний род нового воспитания ныне весьма укоренился и вместо достойных граждан доставляет нам пустых говорунов, танцоров, театральных героев и кукол». Такому воспитанию Попугаев предпочитает «наше древнее воспитание», которое все еще «поддерживает честь русского характера». Оно, подобно спартанскому, «доставляло всегда отечеству твердых и надежных сынов — хотя без знаний, но с неиспорченным добрым сердцем». [58]

Насколько подобные мысли распространены были в передовых кругах русского общества в конце XVIII — начале XIX века, видно из записок Г. С. Винского, где доказывается, что воспитание должно быть общественным, моральным и национальным. «Болтание чужеземными языками, балансированье, прыганье, бряцанье на фортепьяно и на гитаре не есть воспитание», — писал Винский. «Наемные иноземцы» не могут быть воспитателями; «законы должны быть пополнением и доказательством нравственности, внушенной

воспитанием»; о «могуществе общественного воспитания» свидетельствует пример Спарты.[59]

Очевидно, желая несколько нейтрализовать политический смысл своей антидворянской установки, Попугаев делает оговорку, которая звучит в общем контексте вполне неожиданно и противоречит существу его концепции. Он пишет, что «умы дворянства» направлены теперь уже «не к чести породы, но службы отечеству», что человека «ныне уже не спрашивают в обществах наших, дворянин ли он, простираются ли его предки до праотца Ноя и проч., но спрашивают, каким достоинством уважило отечество его заслуги», что разве лишь «одни провинциалы наши в своих степных изгородах гордятся своим дворянством пред крепостными», что «все образованные достойные дворяне стыдятся сие одно поставить себе в достоинство» (стр. 69—70). В том, что это идиллическое изображение дворян, презревших свою «породу», не более как оговорка, сделанная ради того, чтобы придать обличению «духа дворянства» хотя бы несколько благонамеренный характер, дополнительно убеждает следующее обстоятельство. Непосредственно после только что процитированных строк в «Периодическом издании» идет десять строк многоточий. Они обозначают купюру, сделанную по требованию Д. И. Языкова. Недостающий текст можно восстановить по материалам архива Вольного общества. Здесь читаем: «Но между тем — горестная мысль! — может со временем и российское дворянство предпочесть породу достоинствам».

Единое средство обуздать «дух дворянства»—это утвердить в общегосударственных масштабах общественное воспитание. Правительство должно ввести всеобщее обучение «в одних, правлением избранных и утвержденных местах», где «благородное юношество» будет «просвещаться», наравне с представителями других сословий. «Постепенность» образования должна быть подчинена твердым правилам: окончивший «низшее училище» должен переводиться в «высшее» лишь «по строжайшему выбору учителей или профессоров», критерием выбора должно служить «истинное отличие достоинств и беспристрастие». Университетское образование не обязательно для всех, но лишь для того, кто «действительно назначает себя государственной службе». Ссылаясь на правительственное решение установить обра-

зовательный ценз для дворян, вступающих на гражданскую государственную службу (практического значения это решение не имело), Попугаев полагает, что это правило должно быть распространено на купечество, мещанство и даже на «ремесленников».

Особо останавливается Попугаев на вопросе о «необходимости исторических познаний для общественного воспитания», и соображения его касательно этого предмета представляют весьма значительный интерес.

Попугаев рассматривает историю как наилучшее средство возбуждения в человеке нравственного, патриотического и гражданского чувства. История должна *поучать* человека на впечатляющих примерах высокой морали и гражданской доблести. В этом отношении Попугаев разделяет взгляд просветителей XVIII века, подходивших к историческому материалу и задачам историка с моральным критерием. Мабли, например, считал, что «история должна не только просвещать разум, но и направлять сердце», что главная задача историка состоит в популяризации поучительных примеров в назидание современникам («О способе писать историю»). В понимании Мабли, история — это «наставница для монархов, школа для политиков, помощница для народов против королей» («Об изучении истории»).

Такая трактовка истории была популярна в кругу радищевцев. Ее выдвигал И. П. Пнин (см. выше, стр. 106). И. М. Борн в свою очередь доказывал, что история «необходима для ума нашего и сердца; она есть, так сказать, училище людей вообще. В ней почерпнет себе наставления начальство, равно как и подданные. Добродетель находит в ней забытые свои права, а порок лишается своей маски и является во всей своей наготе и гнусности». [60]

У Попугаева проблема воспитательного значения истории ставится во всей широте и приобретает политический смысл.

Настоящий исторический труд, как полагает Попугаев, не имеет ничего общего ни с бесстрастными летописями, «кои показывают только ряд происшествий», ни с легковесными «des histoires scandaleuses» (скандальными историями), но должен быть написан «в *философском духе*», должен вскрывать «*причины* всех примечания заслуживающих происшествий и побуждения, заставляющие стремиться необыкновенных мужей к цели их действия» (стр. 81).

Однако одних «частных дел» для истории недостаточно. В задачу историка входит изобразить не только деяния отдельной личности, но жизнь всего общества, всего народа. Историку надлежит выяснить причины, обусловившие либо расцвет, либо падение государств, также формы правления, действие законов, состояние просвещения и т. п. Он обязан «показать примерами самого дела, что один великий ум всего совершить не может, что весь род человеческий шествует по одним законам к известной точке» (стр. 82).

В интересах политического просвещения граждан важно показать им «из примеров древних, новых и настоящих, каков был ход действий народов вообще и каким образом предшествовавшие им чрезвычайные умы действовали к благу своего отечества» (стр. 80). История «есть наука, образующая героев, есть пантеон славных мужей, славных народов и их добродетелей в пользу рода человеческого». Она воскрешает «великие дела для подражания и соревнования душ, способных чувствовать благо общественное и ценить истинные достоинства» (стр. 83).

Поэтому историк не должен растрачивать свое внимание на изображение «дел обыкновенных», которые «не служат к возвышению сердца или к одушевлению в добродетелях». Ни «пышные генеалогии», ни «обычаи дворов», ни «беспрерывные ряды наследств» — не составляют предмета истории. «Она должна показывать одно великое» (стр. 83). Попугаев сомневается даже, надлежит ли историку изображать «слабости» людей, а также «жизнь тиранов и их дела», потому что «пример тирана может производить другого, может научить тиранствовать свирепое или слабое сердце» (стр. 84). «Словом, история должна быть зерцало дел великих, которое бы, как в картине, представляло питомцам бессмертия образцы для подражания и средства достигнуть до славы, ими предполагаемой, или превзойти оную» (стр. 84).

Естественно, что при таком подходе к истории возникает вопрос и о качествах самого историка как писателя. «История требует для начертания пера великого, а может быть, и героя! Надобно непременно, чтоб историк чувствовал совершенно всю цену великого дела, надобно, чтоб перо его пылало сердечным жаром, когда он описывает то, что служило к возвышению благоденствия народов, чтоб он проливал слезы, описывая бедствия человеческие» (стр. 86).

В этой связи Попугаев с похвалою отзывается о Таците, глухо говорит еще о «некоторых из греческих историков», а из новейших, по его мнению, «может быть упомянут едва ли не один Габбон» (то есть Гиббон).

В этом взгляде на историю как на поучение, преследующее цели воспитания общественной морали, в самом представлении об истории как о собрании примеров высоких гражданских добродетелей и галлерее героических характеров можно видеть прямое предвосхищение той революционной трактовки исторического материала, к которой прибегали впоследствии декабристы и их литературные попутчики в целях пропаганды своих идей.

9

Выдвигая и обосновывая идею всеобщего «политического просвещения» и «общественного воспитания», Попугаев, естественно, не мог пройти мимо вопроса о свободе печати, волновавшего всю передовую русскую общественность. Вопрос этот, со всей остротой поставленный Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Торжок»), оживленно обсуждался в кругу радищевцев. Мы уже видели, с каким напряженным интересом относился к нему И. П. Пнин. В решении этого вопроса Попугаев очень тесно соприкоснулся с Радищевым.

В 1803—1804 гг. толки по поводу свободы и ограничения печати приобрели вполне конкретное и практическое значение в связи с введением в действие первого цензурного устава, в основу которого был положен проект, разработанный членами Главного правления училищ академиками Озерецковским и Фусом. Еще во время подготовки устава и после того, как он был утвержден (9 июля 1804 года), он стал предметом довольно широкого общественного обсуждения, вынесенного даже на страницы прессы. В частности, И. П. Пнин откликнулся на этот устав в своем диалоге «Сочинитель и Цензор».

В числе лиц, высказавших в той или иной форме свои пожелания в связи с цензурными мероприятиями правительства, был и Попугаев. 9 января 1804 года он прислал в Главное правление училищ анонимную записку, в которой

от имени «истинных сынов отечества» излагал свои соображения насчет цензуры (подписался он: «Аноним».) [61].

Как и во всех других случаях, Попугаев, решая вопрос о цензуре, занял позицию более радикальную, нежели И. П. Пнин. Академик М. И. Сухомлинов, не зная, кто был автором записки 1804 года, справедливо отметил, что этот аноним «смотрел на цензуру такими же глазами, как и Радищев», что даже «по самому способу выражения записка неизвестного автора представляет много сходного с книгою Радищева». [62]

Действительно, в свое время записка Попугаева явилась выражением самого крайнего мнения по вопросу о свободе печати. Она в высшей степени характерна для умонастроения наиболее прогрессивных представителей демократического крыла русской литературы 1800-х годов и в этом смысле является документом первостепенного значения.

Попугаев настаивал на полном освобождении печатного слова от всякого рода цензуры. Записка его составлена весьма дипломатично. Отметив вначале старания, предпринятые правительством «в пользу просвещения в России», он заявлял, что «истинные сыны отечества... ждут уничтожения последнего оплота, удерживающего ход просвещения тяжкими оковами и истину связующего рабскими узами правил, всегда темных, всегда препятствующих явиться ей в полном ее свете, — цензуры». [63] От лица «истинных сынов отечества» он выражал уверенность в том, что «свобода писать в настоящем философическом веке» в глазах правительства «не может казаться путем к развращению и вреду государства». Цензура нужна была только «фанатизму невежества» в минувшие времена, «когда варварские законы государственные, догматы невежеством искаженной веры и деспотизм самый бесчеловечный утесняли свободу людей и когда мыслить было преступление». Ныне же, когда «благодетельный дух просвещения» воодушевляет всех, не исключая «мудрых монархов», когда уже научились «пользу народную» рассматривать как признак «силы, счастия и могущества государства», — «ныне нет причины оковывать мысли узами правил законных, сколько бы слабы оные ни были, всегда для истины вредных».

Весь ход этого рассуждения разительно напоминает слова Радищева о цензуре (в «Путешествии»): «И так,

изобретенное на заключение истины и просвещения в теснейшие пределы, изобретенное недоверяющею властию ко своему могуществу, изобретенное на продолжение невежества и мрака, ныне, во дни наук и любомудрия, когда разум отряс несродные ему путы суеверия, когда истина блистает столично паче и паче, когда источник учения протекает до дальнейших отраслей общества, когда старания правительств стремятся на истребление заблуждений и на отверзтие беспреткновенных путей рассудку к истине, — постыдное монашеское изобретение трепещущей власти принято ныне повсеместно, укоренено и благою приемлется преградою блуждению». [64]

Вслед за Радищевым Попугаев отвергает самый принцип цензуры, не допуская никаких исключений. Даже если запрещению подвергаются (с точки зрения общественной морали, «на основании самом справедливом») одни «личности» (пасквили) и «сочинения возмутительные противу государств, нравственности и веры»,—все равно цензура вредна и противоречит духу просвещения, потому что цензор, сколь бы ни был он «просвещен» и «добр», остается цензором. Обычно он своевольно толкует «правила» нравственности и насильственно подгоняет смысл литературных произведений к своим произвольным толкованиям. Цензор — это не то, что «простой гражданин», который беспристрастно разбирается в полезных и вредных идеях и оставляет на совести автора его заблуждения. Цензор, напротив, как лицо официальное, подвержен многим «предубеждениям» — честолюбию, своенравию, «опасности потерять свое состояние и место». Поэтому он «всегда расположен» толковать любое место в книге «в худую сторону» и всегда стремится подвергнуть его запрещению. Из соображений осторожности, боясь повредить своей служебной репутации, цензор на любую мысль «всегда готов положить свою руку, если она хотя мало выходит из обыкновенной сферы». Тем самым цензура может «лишить наш век многих важных произведений философии ума человеческого». Попугаев особенно подчеркивает, что именно «философические» сочинения «беспрестанно претерпевают сокрушение о подводные камни цензуры».

Совершенно сходные соображения встречаем мы и у Радищева. Допуская, что из соображений охраны нравственности цензура может быть в какой-то мере оправдана, когда

запрещает продавать «язвительные сочинения», Радищев далее пишет: «Но и сия цензура есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума: запретит полезное изобретение, новую мысль — и всех лишит великого».[65]

Радищев в конце своего «Краткого повествования о происхождении цензуры», осветив положение дела в прошлом, в странах Западной Европы, обещал в дальнейшем поговорить и о русской цензуре: «В России. . . Что в России с цензурою происходило, узнаете в другое время».[66] Попугаев как бы продолжил то, чего недосказал Радищев.

Обращаясь к русской литературе, Попугаев отмечает, что «она была всегда под гнетом цензуры». В этом он видит главное препятствие для свободного развития русской оригинальной философской и общественно-политической мысли. «Мы имеем много хороших поэтов, много прозаистов, видим на нашем языке произведения частных философических наук, математических, физических и пр., но общей философии — нет и следа!» Переводы «важных философических сочинений», принадлежащих мыслителям других народов, не решают вопроса — во-первых, потому, что дело идет о собственной, национальной философии, а во-вторых, потому, что «сии переводы содержат токмо фрагменты своих оригиналов; рука цензуры умела умертвить для нас пользу их». Имеются в виду, конечно, переводы сочинений французских просветителей и материалистов, появлявшихся в России, как правило, в совершенно выхолощенном виде.

Как мы уже говорили, записка Попугаева составлена в высшей степени дипломатично. Защищая французскую просветительную литературу и материалистическую философию, он старается рассеять представление о них как об источниках «якобинской заразы». После революции такое представление стало коньком всех реакционеров, хором утверждавших, что Руссо и Рейналь, Гельвеций и Гольбах породили Робеспьера и Марата. «Некоторые утверждают,— пишет Попугаев, — что французская революция, причинившая столько вреда и бедствий Европе и Франции, есть следствие сочинений философов. Несправедливо обвиняют Руссо, Вольтера, Реналя и проч. Ложно. Орлеан, Робеспьер, Марат произвели и питали Революцию, они не были фило-

софы и весьма мало с оными были знакомы, а утесняя народ, нимало не думали о правах, кои были на их языке, и даже не понимали оных». Больше того: Попугаев пытается доказать, что никто другой, как именно «философы» спасли Францию от анархии и падения: «Без философов в настоящих замешательствах Франция бы пала и была бы жертвою раздражения внутренних и внешних партий и их интересов. Философы одушевили истинных граждан, показали им точку, к коей надлежало итти. . . Итак, не философы произвели Революцию, но в Революции спасли Францию, показав путь выйти из сего лавиринфа всеобщего волнения».

Было бы неправильно объяснять это осуждение революции и разграничение философов и политических деятелей *только* тактическими соображениями. Нет, при всем своем радикализме Попугаев искренне не принимал революции в ее крайнем, «якобинском» выражении. В своем восприятии революции он был ограничен своими исходными просветительскими и филантропическими представлениями. Если учесть отрицательное отношение Попугаева к идее непосредственного народовластия, ясным становится, что опыт революции он должен был воспринять как торжество безначалия и попрание любезных его сердцу «твердых законов». Осуждение «ужасных происшествий» французской революции составляет черту, характерную не для одного Попугаева, но для подавляющего большинства прогрессивных деятелей его времени. Об этой ограниченности политической мысли забывать не приходится, когда речь идет о деятелях освободительного движения феодально-крепостнической эпохи.

Пытаясь отвести от «философов» обвинения в том, что они распространили «якобинскую заразу», Попугаев утверждал: «Истины быть вредны не могут, потому что они истины». «Конечно, их можно толковать разно», но «разность толкований не делает вреда», ибо силу и влиятельность «истины» приобретают тогда лишь, когда становятся достоянием общего мнения.[67] «Следственно, — заключает Попугаев, — истины излагаемые полезны, а свободный ход к оным не долженствует быть заграждаем».

Несмотря на оговорки касательно «философов» и осуждение французской революции, мнение Попугаева о цензуре было признано слишком крайним. Во всяком случае, записке его не было дано хода. На рукописи имеется по-

мета: «Его сиятельство министр, по прочтении предварительно сей бумаги, приказал оную оставить без докладу в Главном правлении училищ. Правитель дел В. Каразин» (министром народного просвещения был тогда гр. П. В. Завадовский).

* * *

В системе общественно-политических взглядов Попугаева ясно обнаруживаются и сила и слабость его мировоззрения. Заявив себя решительным противником деспотизма и рабства, он не видел и не мог увидеть всей глубины противоречий нарождавшегося буржуазного общества.

Воспитанный на просветительных теориях XVIII века, Попугаев верил в силу отвлеченной истины разума. Правда, в известной мере он уже преодолевал метафизичность этих теорий и внес некоторую конкретность в абстрактное просветительское представление о человеке. У него речь идет уже не об отвлеченном человеке вообще, но о человеке — представителе определенного «состояния», о человеке, подчиненном условиям своего социально-исторического бытия. Тем самым Попугаев уже приближался к пониманию реальных классовых противоречий в жизни общества. Это нашло выражение в его последовательном демократизме, в бескомпромиссной защите им гражданских прав «низших классов».

Однако на конечных выводах Попугаева лежит печать исторически объяснимой ограниченности, свойственной просветителям его поколения. Эта ограниченность сказалась прежде всего в идеалистическом понимании общественно-исторического процесса. Придя к мысли, что «улучшение состояния» угнетенного человека зависит от его собственной инициативы и активности, Попугаев в то же время не сумел отказаться и от просветительской иллюзии, что «мнения правят миром». Именно «мнения», в конечном счете, оставались в понимании Попугаева сферой активной деятельности человека, направленной на достижение общественного благосостояния. Отсюда — его преувеличенные надежды на просвещение и «твердый» правопорядок. Ему казалось, что достаточно изменить «мнения» — улучшить законодательство и политические учреждения, утвердить принципы общественного воспитания, искоренить невежество и пред-

рассудки, чтобы человечество пришло к «общему благоденствию».

В не дошедшей до нас третьей части своего трактата Попугаев собирался изложить взгляд на будущее человечества. Судя по тому, что сказано им (очень коротко) в предисловии, позитивная сторона его концепции не идет ни в какое сравнение со стороной негативной, с предпринятой им критикой феодально-крепостнических порядков. «Отдаленная точка общей пользы» представлялась Попугаеву весьма отвлеченно, как «благоденствие», основанное на «человеколюбии» и «взаимном равновесии классов питаемых и питающих», при условии обеспечения «частных выгод» каждого из них. Настаивая на гражданском, политическом равенстве всех «состояний», Попугаев, как видно по некоторым деталям его трактата, догадывался о том, что корень зла лежит в неравенстве экономическом, но должных выводов из своих догадок не сделал. Повидимому, самое большее, что рисовалось ему в качестве общественного идеала, — это относительное имущественное уравнение классов, как залог их «равновесия». Преувеличенное значение придавал он расплывчатой филантропической идее «человеколюбия». Способ уврачевания социальных зол он склонен был видеть во «взаимном в крайностях и несчастиях вспомоществовании» и высказывал наивную надежду, что это «вспомоществование» станет когда-нибудь руководящим принципом государственной политики и основным правилом человеческих отношений.

Таким образом, просветительские иллюзии сильно затуманивали политическое зрение Попугаева. Пылкий и благородный враг деспотизма и рабства, признавший историческую и моральную правду народа, он не пришел к достаточно отчетливому пониманию того решающего обстоятельства, что угнетенные могут обрести «благоденствие» *только* в революционной борьбе с угнетателями.

При всем том боевой демократический дух, воодушевлявший Попугаева, демократические элементы его идеологии, в которой до известной степени отразились политические настроения и чаяния крестьянства, делают его в истории русской общественной мысли и литературы фигурой выдающегося значения. В сущности, нельзя назвать никого другого, кто бы в 1800-е годы, в додекабристский период, с такой же

яркостью воплотил в своей личности и деятельности идейные устремления русской радикально-демократической интеллигенции, все громче заявлявшей о своем существовании. Прослеживая развитие освободительных идей в России в промежуток времени между Радищевым и декабристами, невозможно миновать Василия Попугаева.

В суровых условиях русской действительности Попугаеву пришлось трудно. Не случайно его активная литературная деятельность укладывается в какие-нибудь шесть-семь лет — в годы «александровской весны». Он и тогда не встретил признания, а как только спала маска официального либерализма, прикрывавшая реакционную сущность самодержавия, он и вовсе замолчал (или его заставили замолчать).

Глава четвертая

ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЭЗИИ 1800-х годов

1

Годы, на которые пришелся подъем литературной деятельности наиболее видных поэтов, входивших в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, составили переломную эпоху в истории русской литературы. Это была эпоха становления национальной русской литературы, ознаменованная окончательным разложением и умиранием рационалистических, нормативных теорий классицизма и выработкой нового художественного мировоззрения, переосмыслением самого понятия «литература» и новым пониманием ее социального значения.

Отмирание традиций классицизма сопровождалось возникновением новых художественных тенденций, которые в своей целокупности покрываются условным понятием «сентиментализм», принятым в науке, но которые, по внутреннему их содержанию и смыслу, закономерно называть предромантическими в широком значении этого слова. В отдельных случаях в творчестве писателей, проявлявших такого рода тенденции, обнаруживаются элементы реализма, как художественного мировоззрения и литературного стиля, в его первоначальном выражении.

Литературный процесс, протекавший в это время, отличался сложностью и многосторонностью. Различные, зачастую резко противоречивые тенденции переплетались и скрещивались, иногда в творчестве одного и того же писателя, — и это обстоятельство сильно осложняет как общую картину развития русской литературы в целом, так и идейно-художественные облики отдельных ее представителей. В частности, в литературе конца XVIII — начала

XIX века еще не поддаются сколько-нибудь четкому разграничению тенденции предромантические и реалистические. Чаще всего они проявляются в единстве, знаменуя поиски новых путей в искусстве в обход идейной и художественной проблематики классицизма.

Для правильного понимания русского литературного процесса конца 1790-х — начала 1800-х годов во всем его объеме важно раньше всего уточнить вопрос об идейно-литературной борьбе, разгоревшейся в эту переломную эпоху с особенной силой.

Литературная полемика в этот период носила широкий и принципиальный характер. В центре ее стояли не столько проблемы литературного стиля, сколько проблемы, связанные с новым осмыслением литературы как формы идеологии. Отдельные группы писателей, представлявших в своем лице различные социальные силы и выражавшие различные классовые интересы, решали эти проблемы каждая по-своему. Острота литературной полемики усугублялась еще благодаря тому обстоятельству, что именно в это время в русской литературе усваивалась точка зрения на художественное слово как на полноценное агитационно-пропагандистское оружие, способное отлично служить конкретным целям идейно-политической борьбы.

Такая борьба, непрерывная и напряженная, шла в русской литературе на рубеже XVIII—XIX веков, отражая антагонизм двух мировоззрений, двух культур, двух начал — радикально-демократического и феодально-абсолютистского. С полной очевидностью и наглядностью свидетельствуют об этом разносоставность, разнонаправленность и глубокая противоречивость пришедшего на смену классицизму литературного течения, которое историко-литературная традиция обозначает общим и условным термином «сентиментализм».

Основные проблемы сентиментализма как философского, социального и художественного мировоззрения вырастали из обнажившегося противоречия между пробуждавшимся демократическим сознанием и всеми моральными, правовыми, социальными и политическими узаконениями феодально-абсолютистского общества. Сентиментализм исходил из идеи природного равенства и морального равноправия людей, обосновывая эту идею в понятиях филосо-

фии, этики и социологии просветительства. Центральная проблема сентиментализма — проблема человека, его нравственного достоинства, его неотъемлемых природных прав, его личной свободы, независимости его внутреннего духовного мира.

Однако сентиментализм, ставший достоянием писателей, представлявших различные социально-классовые силы, на деле выдвигал прямо противоположные решения проблемы человека. У одних писателей, стоявших на почве сентиментализма, идея природного и морального равенства людей, приобретая совершенно отвлеченный и абстрагированный характер, оборачивалась примирением с действительностью, с неравенством социальным, поскольку последнее объявлялось несущественным с точки зрения высшего критерия внутренней свободы человека; в конечном счете подобная философия приводила к оправданию и защите социального неравенства. У других писателей идея природного и морального равенства людей, напротив, приобретала отчетливый социальный смысл, служила лозунгом борьбы против фактического неравенства, господствующего в мире, против всяческого порабощения человека — духовного и социального. Различными решениями проблемы человека в основном и определяются исторические судьбы сентиментализма, реально разделившегося на два совершенно различных и глубоко враждебных течения — на консервативно-реакционное и на радикально-демократическое.

В русской литературе конца XVIII — начала XIX века этот распад сентиментализма на два потока нашел законченное воплощение в творчестве Карамзина и Радищева, стоявших на противоположных флангах литературного фронта. Дворянский сентиментализм Карамзина и литераторов его школы стал знаменем идейной реакции, в конечном счете служил целям защиты самодержавия и крепостничества. Революционное искусство Радищева, основные идейно-художественные принципы которого были восприняты его радикальными последователями, стало знаменем передового литературного движения и открыло в русской литературе дорогу критическому реализму.

«Я... обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его

предметы», — писал Радищев.[1] Величайшая историческая заслуга Радищева как писателя и заключается в том, что он *прямо* взглянул на окружавшую его жизнь, на русскую действительность, и сказал о ней свое страстное, негодующее слово гуманиста, демократа, революционера, воодушевленного чувством гражданского долга и социальной правды: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала».

Страдания угнетенного человечества и борьба за его освобождение стали главной темой Радищева. Он внес в русскую литературу реалистический метод изображения конкретного живого человека во всем богатстве его чувств и переживаний — как человека социального, жизнь и деяния которого обусловлены окружающей его исторической действительностью. Психологизм Радищева, всегда социально обусловленный, ничего общего не имеет с абстрактным психологизмом Карамзина, уводившим от изображения реальной жизни и реального человека в область отвлеченного морализирования, тощего пиетизма и тенденциозного сглаживания всех реальных противоречий действительности.

Литературная борьба 1800-х годов, как правило, трактовалась слишком упрощенно, как столкновение двух замкнутых и разобщенных течений в литературе — шишковистов и карамзинистов. Между тем Н. Г. Чернышевский еще в 1855 году справедливо заметил, что споры приверженцев Шишкова со школой Карамзина «вовсе не составляли такого сильного движения в тогдашней литературе, как думали. . .»[2] Без труда различимы как точки соприкосновения между этими течениями, так и внутри каждого из них отдельные струи, не только не совпадавшие, но подчас принимавшие даже разные направления. В прежней историко-литературной науке почти не предпринималось попыток уточнить этот вопрос. Но так как литературная борьба 1800-х годов была сложна и полемикой шишковистов с карамзинистами отнюдь не покрывалась, все литературные явления, не укладывавшиеся в тесные рамки условной и приблизительной схемы, обычно либо вовсе не принимались в расчет, либо, в случае нужды, насильственно и бездоказательно присчитывались к тому или иному течению. Таким образом целый ряд писателей (и даже литературных группировок) был зачислен без достаточных к тому

оснований либо в союзники шишковистов, либо в союзники карамзинистов.

Между тем наряду с шишковистами и карамзинистами существовали и играли значительную роль также и другие, промежуточные, группы, без учета которых невозможно составить полное и точное представление о литературном процессе в эпоху 1800-х годов во всем его объеме.

К числу таких промежуточных группировок относится, например, Дружеское литературное общество братьев Тургеневых и Кайсаровых. Литературные мнения и вкусы участников этого объединения возросли в общем на почве карамзинизма. Из этого кружка вышел Жуковский. И тем не менее даже здесь с достаточной резкостью проявлялось критическое отношение к Карамзину. Так, например, Андрей Тургенев в 1801 году выступил здесь с речью «О русской литературе», направленной непосредственно против Карамзина и его «безрассудных подражателей». Он говорил, что Карамзин «более вреден, нежели полезен нашей литературе», потому что, «вопреки русскому характеру», увлекает читателей к «мягкости и разнеженности», уводит от «важного, великого» к мелочным темам, к «модной сентиментальности» и «мелким родам». Сам А. Тургенев высказывался за «важнейшие предметы» в литературе, выдвигал в качестве образцового поэта Державина и высказывал надежду, что появится писатель всеобъемлющего дарования, подобный Ломоносову. Наиболее примечательны в выступлении А. Тургенева его энергичный призыв «обратиться к русской оригинальности» (источником которой называлась, в частности, народная словесность) и резкий протест против «новейших подражательных произведений нашей литературы». И то и другое имело отчетливый антикарамзинский смысл.[3]

Совершенно самостоятельную позицию занимал Оленинский кружок, в котором ведущую роль играли Крылов и Гнедич, не имевшие никакого отношения к карамзинизму.

И наконец, в ряду подобных промежуточных независимых литературных группировок 1800-х годов, быть может, наиболее выразительный пример представляет собою Вольное общество любителей словесности, наук и художеств.

Долго державшееся в историко-литературной науке представление о Вольном обществе как о своего рода петер-

бургском филиале московской сентименталистской школы Карамзина — в корне ошибочно. Не имеется решительно никаких оснований соглашаться с утвердившимся с давних пор мнением, будто в Вольном обществе «проявилось живое сочувствие Карамзину».[4] О сочувствии карамзинизму можно говорить, да и то с оговорками, имея в виду лишь некоторых отдельных писателей, входивших в Общество, — причем таких писателей, чьи литературно-эстетические взгляды не совпадали с основными, ведущими тенденциями передовых участников группы. Да и в дальнейшем карамзинистское влияние проступало более или менее отчетливо лишь на периферии пестрого по своему составу объединения — в творчестве мелких поэтов, менее всего характерных для его общего идеологического и литературного облика именно как целостной группы.

Напротив, при ближайшем рассмотрении со всей очевидностью выясняется, что наиболее видные, талантливые и активные участники Вольного общества (первого состава) вели борьбу на два фронта: одновременно и против ветхого классицизма, гальванизируемого шишковистами, и против салонного эстетизма, слащавой чувствительности, стилистической «гладкости» и мелочных тем, культивировавшихся поэтами карамзинской школы. Для них были в равной мере неприемлемы как воинствующая реакционность и обскурантизм Шишкова, так и антидемократическая суть литературной деятельности Карамзина, едва прикрытая либеральным красноречием.

Участники Вольного общества проявляли недоброжелательное отношение к самой личности Карамзина, в которой для них воплощены были типические черты писателя, враждебного им по самому духу его деятельности. В сознании большинства современников Карамзин в 1800-е годы еще пользовался устойчивой репутацией либерала. Только в конце десятых годов репутации этой был нанесен первый серьезный ущерб (критика «Истории государства Российского» в декабристской среде, эпиграммы Пушкина). Тем примечательнее, что молодые люди из Вольного общества, в полном согласии со своими демократическими чувствами и настроениями, раньше других разочаровались в карамзинском либерализме.

Если в 1794 году юный Востоков со своими товарищами по Академии художеств еще зачитывался Карамзиным, то уже несколько лет спустя они смеялись над «чувствительными петиметрашками», тронутыми «жалкой историей» бедной Лизы. Ближайший приятель Востокова — И. А. Иванов в 1799 году писал ему о Карамзине в весьма определенном тоне: «Мне кажется, он был некогда таковым, каким он по сочинениям своим прежде тебе казался, жил так, как в книжках пишут, пока не вступил в большой свет. Сему в доказательство можно поставить послание его к Дмитриеву: он там говорит, что мы в юности располагаем план будущей жизни так и так, по-книжному, но, узнавши людей, с сожалением увидим, что так между ими не можно жить, — ты, может быть, сию пиесу наизусть знаешь. Она, мне кажется, положила предел карамзиновой невинной жизни. С тех пор он, видя, что оная между людьми совсем не у места, и находя̄ себя имеющим право пользоваться мирскими благами так, как все пользуются, вырывая друг у дружки, стал жить как *умной человек*».[5]

Напомним, что речь в письме Иванова идет о том программном стихотворении Карамзина, в котором он громогласно раскаивался в своих юношеских либеральных заблуждениях, заявляя, что

...время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

Даже такой далекий от общественных интересов руководителей Вольного общества человек, как казанский поэт Г. Каменев, беседовавший с Карамзиным со всей почтительностью провинциала, не упустил случая, чтобы в письме к приятелю не позлословить о том, что Карамзин без нужды уснащает русскую речь французскими словами и целыми фразами.[6]

Также и в журналах, близких Вольному обществу и, по существу, служивших его неофициальными органами, время от времени появлялись неблагосклонные, а подчас и насмешливые отзывы о Карамзине и еще чаще о писателях его школы. Здесь мелькают выпады против «чрезвычайной

привязанности некоторых молодых наших писателей к французским словам и оборотам» [7] и язвительные насмешки над повальной «болезнью сантиментальности» — вроде следующих: «Одному сантиментальному писателю потребно для сочиняемого им романа немало количество *притворной чувствительности, ложного сострадания, любовных вздохов и страстных восклицаний»*, или: «Сантиментальный путешественник, бродя по улицам и собирая материялы для своего сочинения, выронил нечаянно *две слезы*, которые были нужны ему для нового его путешествия; а как теперь в глазах его совершенная засуха, то он просит поднявшего сии *две сердечные слезки* доставить в его дом, состоящий в *Юдоли плача*. Приметами ж оные слезы: цвету синеватого, вкусом горьки и, положенные на бумагу, возбуждают смех в читателях». [8]

В «Северном вестнике» нападали на культивировавшийся карамзинистами жанр «путешествий», писавшихся в духе подражания «Сентиментальному путешествию» Стерна. По поводу комедии Шаховского критик «Северного вестника» замечал: «Мне кажется, что в «Новом Стерне» осмеиваются вообще все молодые люди, зараженные *сантиментальностию* и охотою путешествовать без пользы, для того только, чтобы восхищаться природою и писать странным русским языком книги во вкусе Стерновом». [9]

От карамзинизма деятелей Вольного общества отделял непереходимой чертой их глубокий, теоретически осознанный интерес к идеям национальности и народности (в той мере, в какой эти идеи были доступны пониманию людей, воспитавшихся на просветительстве). Именно этот интерес определял в основном характер и направление их литературных исканий.

Идеи национальности и народности, национального типа культуры служили важным орудием борьбы с феодальным мировоззрением. Внимание передовых писателей эпохи было устремлено на создание литературы с ярко выраженным национальным характером и самобытным содержанием. В их представлении это была отнюдь не только литературная проблема. В понятия «национальное» и «самобытное» вкладывалось определенное идейное содержание: литература рассматривалась как средство воспитания в народе гражданского, патриотического самосознания.

Идейная сторона вопроса была особенно резко подчеркнута Радищевым: он органически связывал решение проблем национальности и народности с задачами освободительной борьбы. Последователи Радищева из Вольного общества усвоили его точку зрения.

Деятельность радищевцев была проникнута духом страстного протеста против идей дворянского космополитизма, пропагандировавшихся Карамзиным и ставших достоянием всех его последователей. Абстрактный космополитизм, который исповедывал Карамзин, исключал понятие национального. Выдвигая идею единства мировой культуры, отрицая национальное своеобразие каждой отдельной культуры, Карамзин, естественно, не ощущал никакой органической связи и с русской культурой в ее историческом развитии. «Путь образования или просвещения *один* для народов; все они идут им вслед друг за другом», — утверждал Карамзин. Интерес и любовь к русской старине он презрительно именовал «жалкими иеремиадами». «Все *народное* ничто перед *человеческим,* — столь категорически формулировал он свою мысль. — Главное дело быть *людьми,* а не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских; и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое,* ибо я человек!». [10]

Эта открытая апология космополитизма была глубочайшим образом враждебна радищевцам, поскольку общественно-политические и культурные интересы их целиком вращались в кругу национальных проблем. В частности, они подхватили и распространили мысль Радищева о том, что подражательность чужому, иноязычному, укоренившаяся в дворянских течениях русской литературы, самым пагубным образом отзывается на ее свободном развитии. Этот протест против подражательности связывался в их представлении в первую очередь с деятельностью Карамзина и его соратников.

Еще более энергично и последовательно радищевцы боролись за демократизацию русской литературы, за ликвидацию ее кастовой замкнутости, — и острие этой борьбы также было направлено против карамзинизма. Осознав значение литературы как могущественного рычага общественного и морального воспитания в духе передовых идей века, они стремились в меру своих сил и возможностей

содействовать тому, чтобы литература вышла за пределы узкого круга избранных «любителей изящного» и стала достоянием более или менее широкой общественной среды.

Борьба за демократизацию русской литературы предполагала необходимость расширить ее тематический диапазон, обратить ее к изображению реальной русской жизни и, в частности, тех ее сторон и явлений, которые демонстративно игнорировались карамзинистами.

Характерна в этой связи полемика, возникшая в 1804 году между «Северным вестником» и журналом карамзиниста В. В. Измайлова «Патриот» по поводу «народной» драмы Н. Ильина «Великодушие, или Рекрутский набор». Оставляя в данном случае в стороне вопрос о более чем условном «народном» характере этой драмы, идеализировавшей положение крестьянства, важно остановиться на самом направлении возникшего по поводу нее спора. В «Патриоте» (т. II) была помещена осудительная рецензия на драму Ильина, причем «главный порок» драмы рецензент видел в том, что автор «выводит на сцену тех людей, которых состояние есть последнее в обществе, которых мысли, чувства и самый язык весьма ограничены и которых дела не могут служить нам ни наставлением, ни примером». Рецензент выражал крайнее недовольство «одними грубыми выражениями грубых понятий, которые талант автора мог бы прикрыть цветами», негодовал по поводу «подлого языка бурмистров и подьячих».

Это выступление «Патриота» с отчетливо карамзинистских позиций вызвало отповедь на страницах «Северного вестника» (ч. III) в форме письма за подписью: И. Г. Автор письма в демократическом духе отвергал нападки на людей «последнего состояния» в качестве героев литературных произведений. В ответ на замечание «Патриота» о «грубом выражении грубых понятий» он писал: «Да хотя бы и так было, то для меня приятнее и полезнее *истина*, грубыми понятиями объемлемая и грубыми выражениями изъясняемая, нежели вздор, улыбающимися фразами и неувядаемыми цветами облеченный». В письме И. Г. резко подчеркнута социальная сторона спора: «Выражение *подлый язык* есть остаток несправедливости того времени, когда говорили и писали: *подлый народ;* но ныне, благодаря человеколюбию и законам, *подлого народа* и *подлого языка*

нет у нас, а есть, как и у всех народов, *подлые мысли, подлые дела.* Какого бы состояния человек ни выражал сии мысли, это будет *подлый* язык, как, например: *подлый язык дворянина, купца, подьячего, бурмистра* и т. д.». [11]

Вместе с тем автор письма в «Северном вестнике» переключал полемику в плоскость вопроса о самобытности и подражательности в литературе. Он без обиняков говорил, что подражательность губит русскую литературу и, защищая Ильина, желал «вечной памяти» всем европейским писателям, поскольку сочинения их служат предметом рабского подражания для некоторых русских литераторов.

Подобные ноты звучали и в других критических выступлениях журналов, близких Вольному обществу. Так, например, в «Журнале российской словесности» писали по поводу комедии А. А. Шаховского «Новый Стерн», характеризуя ее как «исполненную презрения к сельским жителям»: «Почему предосудительно дворянину жениться на бедной, но доброй крестьянке? Кто унижает права человечества, тот первого унижает себя». [12] Любопытно, что эта защита «прав человечества» была признана беззуболиберальной в другом журнале, близком Вольному обществу, — в «Северном вестнике». Здесь, в «Письме к сочинителю критики, напечатанной в Журнале российской словесности», указывалось, что «несчастие неравного союза» заключается вовсе не в разности «состояний», но в разности «чувств, склонностей, понятий». В ответ на прекраснодушное замечание «Журнала российской словесности»: «Почему не потужить о любимой собаке, кошке или какой-нибудь птичке?» критик «Северного вестника» писал: «Потужить о них можно... но горевать непозволительно, потому что чувства сердца человеческого могут обращаться к предметам благороднейшим и достойнейшим привязанности нашей», — и в пояснение своей мысли приводил слова одного из крестьян — персонажей комедии Шаховского, обращенные к графскому слуге: «Скоро ли вы отвопите вашу собачонку?» По мнению критика, это — «изречение истинно крестьянское и которое выражает все негодование, возбужденное в поселянах сантиментальными похоронами английской собачки Леди». [13]

Во всем этом сказывалось принципиально иное отношение к людям «последнего состояния», нежели то, которое

встречаем у дворянских сентименталистов, умилявшихся «пейзанскими» пасторалями. Если Карамзин сделал «открытие», что «и крестьянки любить умеют», то демократически настроенные писатели, исходя из идеи природного и морального равенства людей без различия «состояний», доказывали, что крестьянка чувствует *так же*, как и дворянка, а подчас и *глубже* дворянки, что «подлые мысли» и «подлые дела» равно свойственны и барину и мужику, что крестьянину чувство чести присуще не менее, чем дворянину. Д. Бринкен, один из ранних участников Вольного общества, писал по мелкому случайному поводу (речь у него шла о дуэльных вызовах): «Не смейтесь, пылкие дворяне, почитающие нескромное слово приятеля вашего преступлением, достойным смерти; крестьяне также имеют свой point d'honneur».[14]

Установка на национально-самобытное содержание русской литературы и устремление к народности были для демократически настроенных писателей из Вольного общества руководящим принципом их деятельности. Этот принцип сказался в решении ими всех общих и частных литературных проблем.

2

Важным участком идейной борьбы, разгоревшейся в литературе в 1800-е годы, был литературный язык. Шумная распря шишковистов и карамзинистов по вопросу о «старом» и «новом» слоге сразу же переросла первоначальный предмет спора. Центр полемики переместился с вопросов лингвистических на вопросы общелитературного порядка, а вслед за тем на еще более общие вопросы культуры, политики и социально-исторического развития России.

Шишков под флагом борьбы за исконные национальные устои и традиции русской культуры прямо, без обиняков, указывал, что обновленный, «европеизированный» язык Карамзина и его соратников служит каналом, по которому в русское общество проникает «якобинская зараза» — идеи «безверия», «своевольства» и «пагубной философии», породившие буржуазную революцию во Франции. Усматривая в карамзинском «новом слоге» «следы

языка и духа чудовищной французской революции», Шишков брал под подозрение политическую благонамеренность своих противников, их патриотические и религиозные чувства. Политический смысл нападений Шишкова виден хотя бы из того, как возражал он против введения в русский язык такого слова, как «революция»: «Слава тебе, русский язык, что не имеешь ты равнозначащего сему слова! Да не будет оно никогда в тебе известно, и даже на чужом языке, не иначе, как омерзительно и гнусно!» [15]

При этом, однако, не приходится говорить о распре шишковистов и карамзинистов как о глубоком идеологическом конфликте. Это была внутриклассовая распря, отражавшая столкновение по частному вопросу всего лишь отдельных групп одного класса — господствующего класса крепостников. В решении общеидеологических и политических вопросов обе эти группы равно стояли на почве охранения своих сословно-классовых прав и привилегий. Шишков был воинствующим идеологом наиболее реакционной группы крепостников, занимавших открыто охранительные позиции. Апологет самодержавия и крепостничества в их первобытной цельности, он был законченным обскурантом и вообще не допускал мысли о просвещении народа, так как в распространении культуры и знания усматривал угрозу всяческих смут и потрясений. Карамзин выступал в роли идеолога либеральной группы крепостников, в известной мере причастной увлечениям просветительством в его типично дворянской интерпретации. Но и тот и другой фактически представляли единый классовый интерес. В этой связи уместно напомнить указание Маркса и Энгельса, подчеркнувших, что внутри одного класса может иметь место «расщепление» на отдельные группы и что «такое расщепление может разрастись даже до некоторого противоположения и вражды обеих частей, что, однако, само собой отпадает при всякой практической коллизии, когда опасность угрожает самому классу». [16]

Общность исходной классовой позиции обоих антагонистов очевидным образом подтвердилась несколько лет спустя после наиболее ожесточенных нападений Шишкова на Карамзина, как только потребовала того изменившаяся в России политическая ситуация. Тогда выяснилось, что им не о чем спорить, поскольку взгляды Карамзина по

22 Зак. 1026.

всем основным общественно-политическим вопросам нисколько не расходились со взглядами Шишкова. Разными путями они пришли к одному и тому же выводу — что самодержавие и крепостничество есть единственный «палладиум» России. Избрание Карамзина в 1811 году почетным членом шишковской Беседы любителей русского слова — факт вполне закономерный, и ничего неожиданного в этом не было.

Общность исходной классовой позиции Шишкова и Карамзина сказалась непосредственно и в самой языковой реформе, предпринятой Карамзиным. Выдвинутые им критерии «приятного» и «низкого» носили отчетливый социально-классовый характер. Он пытался создать литературный язык, всецело ограниченный понятиями и речевой практикой дворянской верхушки, и в этих целях ориентировался на французский или офранцуженный жаргон светского салона. Живой разговорный язык народа Карамзин совершенно игнорировал, демонстративно заявляя, что «выражения простонародные не должны писателю служить правилом». Он протестовал против проникновения в литературный язык «грубых» слов не потому, что они просто «оскорбляли слух», но главным образом потому, что они принадлежали к другому социальному словарю, применялись в другой социальной среде.

Если Шишков не мог допустить в русский язык слова «революция», то Карамзин возражал против слова «парень», — и возражение его имело не менее определенный социально-классовый смысл. «То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко, — писал Карамзин И. И. Дмитриеву. — Один мужик говорит *пичужечка* и *парень:* первое приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю красный летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку... При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: *ай, парень! что за квас!* Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей! И так... нельзя ли вместо *парня* употребить другое слово?» [17]

Короче говоря, противники сходились в самом главном и основном: сообща, хотя и с разных позиций, противо-

действовали демократизации литературного языка. Поэтому сводить идейно-литературную борьбу 1800-х годов к одной распре шишковистов и карамзинистов по вопросу о языке— значит, по существу, снять вопрос о классовой борьбе, происходившей в это время в русской литературе. Закрепленное историко-литературной традицией противопоставление имен: Шишков — Карамзин в этом плане ничего объяснить не может; противопоставление имен: Карамзин — Радищев, как и в других случаях, объясняет многое.

При этом следует иметь в виду, что реальное значение и конкретные результаты языковой реформы, предпринятой Карамзиным, доныне, как правило, чрезмерно преувеличиваются. Не случайно, конечно, сам Карамзин, приступив к работе над «Историей государства Российского», по существу сдал свои лингвистические позиции: сглаженный, эстетизированный, салонный язык, насаждавшийся им в стихах и в «легкой» прозе, оказался совершенно непригодным для выражения «важных предметов» истории. Столь же преувеличивается по традиции влиятельность языковой реформы Карамзина для писателей начала XIX века. Ортодоксальными ревнителями карамзинской теории были одни эпигоны, не оставившие в литературе сколько-нибудь заметного следа. Напротив, подавляющее большинство видных писателей эпохи не придерживалось взглядов Карамзина и в своем языковом творчестве прокладывало иные пути.

Все прогрессивные литературные силы, начиная с Крылова и Гнедича, кончая писателями декабристского лагеря, не только не разделяли языковых установок Карамзина, но настойчиво дискредитировали их. Можно напомнить в этой связи о Грибоедове, Катенине и Кюхельбекере, последовательно высмеивавших карамзинский язык, к 1810-м годам выродившийся в манерно-изысканный, искусственный и безжизненный поэтический жаргон «для немногих» («un petit jargon de coterie», как удачно охарактеризовал его В. К. Кюхельбекер), [18] оторванный от исторически сложившейся языковой культуры и не имевший опоры в живой народной речи.

Выступая против салонного карамзинского языка, передовые писатели обращались прежде всего к языку народа,

а также к богатствам народной словесности и памятников древней письменности. Полное выражение эта тенденция нашла в реалистическом творчестве Крылова, Грибоедова и Пушкина, вырабатывавших русский литературный язык на широкой общенациональной и общенародной основе. Известную роль в этом процессе играло также критическое освоение, переплавка форм книжного языка, закрепленных в творчестве писателей предшествующей эпохи. Пушкин, видевший заслугу Карамзина в том, что тот, призывая писать так же, как говорят, сделал практические шаги по пути сближения литературного языка с разговорным, в то же время резко возражал против «европейского жеманства и французской утонченности», которые прививали литературному языку карамзинисты. Полагая, что «грубость и простота» более «пристали» русскому языку,[19] Пушкин в своей творческой практике не игнорировал некоторых особенностей книжного языка классицизма, поскольку в нем наличествовали элементы «грубости и простоты». «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя, — доказывал Пушкин. — Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка».[20]

Поэты Вольного общества деятельно участвовали в языковых исканиях своего времени,[21] и результаты их творческой работы в этой области нельзя не принять в расчет, прослеживая процесс формирования русского общенационального литературного языка накануне появления Пушкина. При этом следует подчеркнуть, что отношение поэтов Вольного общества к проблеме языка служило всего лишь одним из частных проявлений предпринятой ими широкой и последовательной борьбы за демократизацию, национально-самобытную характерность и социально-политическую направленность русской литературы.

Ведя борьбу на два фронта — и с архаикой шишковистов и с эстетизмом карамзинистов, — поэты Вольного общества в вопросах языка занимали среднюю, промежуточную позицию и прокладывали свой собственный — третий — путь. Это ясно видно из их творчества; об этом же свидетельствуют их теоретические высказывания.

При всем уклонении поэтов Вольного общества от карамзинизма для них приобретали известное значение некоторые программные положения «очистителей языка». Отвергая языковую практику карамзинистов, они не могли начисто игнорировать *принципы* языкового реформаторства Карамзина, поскольку провозглашенный Карамзиным лозунг борьбы за точное, семантически весомое поэтическое слово в известной мере отвечал той задаче, которую они сами ставили перед собой, — задаче создания содержательной, идейной поэзии, «поэзии мысли».

Однако в основном и главном работа поэтов Вольного общества в области стихотворного языка шла в ином направлении. С одной стороны, они охотно обращались к традиции гражданственного «витийства», закрепленного в одической поэзии и ораторской речи XVIII века, где широкое применение славянизмов «высокого стиля» неизменно служило средством выражения государственных и общественно-политических идей (достаточно назвать в этой связи Державина, Княжнина и Радищева). С другой стороны, в языке поэтов Вольного общества ощутима струя «просторечия», отражавшего реальный живой язык народа.

Установка на свободное сочетание в общей структуре литературного языка витийственной «славянщины», окрашенной в тона гражданственности, с живой народной речью — характерная черта языкового творчества Радищева. Однако тяготение Радищева к «просторечию» было в значительной мере нейтрализовано общим архаическим строем и затрудненностью его речевой манеры, нарочитым обилием славянизмов и пристрастием к сложным структурным формам языка, устаревшим уже в его время.

Поэты Вольного общества в своих языковых исканиях учитывали творческий опыт Радищева и продолжили его почин. И высокое «витийство» и «просторечие», осознанные как некое единство поэтического языка и стиля, служили в их творческой практике целям преодоления условных поэтических штампов, возникших на почве сглаженного, эстетизированного, оторванного от народных корней языка дворянской поэзии. Особенно показательна в этом смысле работа А. Востокова — поэта с резко выраженными новаторскими устремлениями в области языка.

Тем самым решается вопрос об отношении поэтов Вольного общества к языковой теории Шишкова. В старославянском языке они находили известную опору для обоснования идеи народности, — конечно, в корне отрицая шишковское понимание народности как идеализацию всяческой косности, самодержавия и крепостничества. Если у Шишкова и шишковцев обращение к «славянщине» носило фетишистский характер и преследовало цели реакционного воскрешения «исконных» понятий, то в практике поэтов Вольного общества «славянщина» служила лишь средством стилистической выразительности и характерности в целях «возвышения тона» стиховой речи — ее «серьезности», «важности», высокой, гражданственной патетики. Старославянские слова и обороты приобретали в их поэтической системе новое идейное звучание.

Позитивное содержание лингвистической концепции Шишкова ни в малейшей мере не было воспринято поэтами Вольного общества; они не разделяли его ошибочного и реакционного взгляда на старославянский язык как на «корень» и основу русского языка. Но им должна была импонировать негативная сторона шишковской концепции — резкая критика изысканной манерности, эстетского маньеризма и подражательности языка карамзинистов. Вот как, к примеру, Шишков высмеивал этот условный, замысловатый, метафорический язык: вместо того чтобы сказать «деревенским девкам навстречу идут цыганки», карамзинист говорит: «пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит».[22] Именно эта критическая сторона концепции Шишкова впоследствии привлекла внимание писателей декабристского направления (Грибоедова, Катенина, Кюхельбекера).

Кроме того, поэты Вольного общества должны были положительно отнестись к высказываниям Шишкова о народной словесности и памятниках древней письменности, на которые тот указывал как на важные источники литературного языка. Шишков писал о русской песне: «Сии простые, но истинные, в самой природе почерпнутые мысли и выражения суть те красоты, которыми поражают нас древние писатели и которые только теми умами постигаются, коих вкус не испорчен жеманными вымыслами и пухлыми пестротами».[23] Это, как увидим ниже, близко тому, что

думали и писали о народной словесности поэты Вольного общества, — хотя, само собой разумеется, их обращение к творчеству народа имело совершенно иной идейный смысл, нежели тот, который вкладывал в свое понимание народности реакционер Шишков.

Показательно, что поэты Вольного общества уклонились от участия в полемике 1803 года, развернувшейся вокруг шишковского «Рассуждения о старом и новом слоге». Однако И. М. Борн несколько лет спустя в своем «Кратком руководстве к российской словесности» (1808) отметил, что Шишков «весьма много способствовал к обращению всего нашего внимания к чистоте и богатству языка» (стр. 159). Здесь особенно интересно, что Борн говорит о борьбе за «чистоту» языка в связи с Шишковым, тогда как именно карамзинисты считали себя «очистителями языка».

В то же время отзыв Борна о Карамзине отличается крайней сдержанностью. Как о поэте он о Карамзине вообще не сказал ни слова, заметив вскользь, что «*проза* сего писателя составила как бы новую эпоху в нашей словесности: она служит, кажется, обыкновенно образцом для наших молодых литераторов» (высказывание, по существу, безоценочное), и вместе с тем резко ополчившись на подражателей Карамзина, «рабски прилепляющихся» к его слогу: «На что тому, кто здраво рассуждает, кто основательно знает свой язык, рабски прилепляться к слогу другого?» (стр. 160—161). Нужно добавить, что выпад Борна относится к тому времени, когда языковые принципы карамзинистов внешне восторжествовали над мнениями шишковцев, — и это обстоятельство тем более подчеркивает полемическую остроту его высказывания.

Специально по вопросу о «славянщине» Борн писал: «Какой неисчерпаемый источник имеем мы в славянских книгах! Сколь богат, силен и благозвучен язык славянороссийский! Не быв пристрастен к боязливой *очистке* языка (Purism), нельзя, однакож, без некоего негодования на нерадивость многих переводчиков видеть в сочинениях и переводах их не только худосложенные *новые слова*, но и целые предложения, свойству языка вовсе противные. . . Зачем же и без нужды раболепствовать и подражать чужому, когда имеем свое, нередко чужое превосходящее?

Зачем многозначительную краткость и благородную простоту славянскую переменять на вялое и надутое многословие?» (стр. 131—132).

Полемический смысл этого высказывания совершенно ясен. Под «переводчиками» Борн имеет в виду *подражателей чужому* — литераторов западнической ориентации (он пишет не только о переводах, но и о *сочинениях* «переводчиков», так что самое слово «переводчики» приобретает в данном случае иронический смысл). Это, конечно, стрела в лагерь карамзинистов, которым предъявляется самое страшное, с их же собственной точки зрения, обвинение в «вялом и надутом многословии». Таким образом, Борн, протестуя против рабского подражания чужому, бил карамзинистов тем самым оружием, которым они, в свою очередь, били шишковцев, изобличая их как раз в «надутости» и «многословии».

Уровень и мера понимания идеи народности в то время, когда выступили поэты Вольного общества, обусловили то обстоятельство, что попытки художественной реализации этой идеи сводились по преимуществу к стремлению творчески освоить богатства народной словесности.

В постановке этой проблемы передовые поэты данного круга следовали традиции Радищева, который, исходя из своей глубокой веры в творческие силы народа, первый в русской литературе выдвинул и обосновал новый взгляд на народное творчество как на высшую форму национальной художественной культуры. В понимании Радищева фольклор с наибольшей полнотой выражает духовные свойства и характер народа. По поводу русских песен Радищев писал (в «Путешествии»): «В них найдешь образование души нашего народа».[24] К фольклору, в понимании Радищева, неприменимы обычные критерии художественности, применяемые в книжной литературе, поскольку он сам служит наивысшим критерием подлинной художественности и должен лежать в основе национального искусства.

Такое же направление принимали и фольклорные интересы поэтов Вольного общества. Они рассматривали народную словесность (в первую очередь эпическую поэзию) как выражение героического «народного духа», как воплощение национального характера русского народа. А. Ф. Мерзляков, состоявший в Вольном обществе и во многих отно-

шениях разделявший взгляды его руководителей, говорил, что в русских народных песнях можно увидеть «русские нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть». «В них мы бы полюбили себя снова», — утверждал Мерзляков. [25]

Из числа поэтов Вольного общества особенно интенсивно работали в области творческого освоения фольклора А. Х. Востоков и Н. А. Радищев — автор «богатырских повестей в стихах» («Алеша Попович» и «Чурила Пленкович» — обе 1801 года), написанных под явным влиянием примера Радищева-отца (его поэмы «Бова» и «Песен, петых на состязаниях в честь древним славянским божествам»).

Подъем интереса к народному творчеству определился в русской литературе в конце XVIII века, когда один за другим начали появляться сборники песен, былин и сказок, переделки их в духе «волшебно-рыцарского романа», а также исторические повествования и «сказочно-богатырские» поэмы, представлявшие собою попытки создания русского национального эпоса на основе использования сказочных и былинных тем и сюжетов. Течение это было представлено, кроме упомянутых выше, стихотворными и прозаическими произведениями Карамзина («Илья Муромец», «Марфа Посадница»), Нарежного («Брега Альты», «Освобожденная Москва», «Рогвольд», «Словенские вечера»), Г. Каменева («Громобой»), Н. Львова («Добрыня»), А. Воейкова («Святослав»), Хераскова («Бахариана»), Державина («Добрыня»), Люценко («Церна, княжна Черниговская»), Арцыбашева («Рогнеда, или Разорение Полоцка»), Жуковского («Вадим Новгородский», «Три пояса», «Алеша Попович, или Страшные развалины»), Муравьева («Оскольд»), С. Глинки («Мстислав»), Батюшкова («Предслава и Добрыня») и др. В подавляющем большинстве случаев народность этих произведений носила условный, совершенно внешний характер, былинная и сказочная тематика в них эстетизировалась, приноровлялась к модному литературному вкусу, и в целом они не передавали ни духа, ни стиля подлинной народной поэзии.

Подъему интереса к народному творчеству в начале XIX века сильно способствовали открытия «Слова о полку Игореве» (в 1795 году), изданного в 1800 году, и сборника былин и исторических песен так называемого Влади-

мирова цикла, без достаточных оснований связанных с именем уральского казака Кирши Данилова и изданных в 1804 году под заглавием: «Древние русские стихотворения, напечатанные с стариннывя рукописи». «Слово о полку Игореве» и сборник Кирши Данилова внимательно изучались Востоковым и послужили для него одними из главных источников в работе над «древними повестями» — «Светлана и Мстислав» (1802), «Певислад и Зора» (1802), «Полима и Сиян» (1811). Другим существенным источником для Востокова явились «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся чрез пересказывание в памяти, приключения» В. А. Левшина (1780—1783).

Характерное явление составляла при этом разработка псевдославянской мифологии, созданной «по баснословным преданиям» уже в XVIII веке, но претендовавшей на значение мифологии национальной и народной и в этом смысле противопоставлявшейся мифологии античной.

Создателями псевдославянской мифологии были «третьесословные» писатели XVIII века М. Д. Чулков — автор «Краткого мифологического лексикона» (1757) и «Словаря русских суеверий» (1782; 2-е издание — «Абевега русских суеверий», 1786) и М. В. Попов — автор «Описания древнего славянского языческого баснословия» (1768), «Древностей славенских, или Приключений славенских князей» (1770—1771) и «Вечерних часов, или Древних сказок славян древлянских» (1787). Псевдославянской мифологией были насыщены также и «Русские сказки» В. А. Левшина. Все славянские боги, указанные Чулковым и Поповым, представляют собою перечень и систематизацию божеств, отмеченных летописью и древними писателями в исторических очерках различных славянских племен; они также воспользовались славяно-мифологическим материалом Ломоносова и Тредиаковского. Вслед за Чулковым и Поповым над систематизацией славянского Олимпа трудились А. С. Кайсаров — автор книги «Versuch einer Slavischen Mythologie», изданной в 1804 году в Геттингене (русский перевод: «Славянская мифология», 1807; 2-е издание — 1810) и член Вольного общества профессор Г. А. Глинка — автор книги «Древняя религия славян» (1804).[26] Последним звеном в этой цепи работ русских мифологистов была

книга П. М. Строева «Краткое обозрение мифологии славян российских» (1815).

Обращение к псевдославянской мифологии в практике поэтов конца XVIII — начала XIX века также ложилось в плоскость обоснования идеи народности. «Древнее баснословие» рассматривалось как средство придания поэзии национального колорита. В связи с появлением книги Кайсарова отмечалось, что «древняя славянская мифология весьма заслуживает старательнейшего исследования, тем более что она содержит в себе мнения *наших предков* и гораздо ближе касается до нас, нежели египетская, греческая, римская и скандинавская мифологии, с которыми, однакож, мы обыкновенно более знакомимся, по употреблению их в науках и художествах».[27] Такого рода соображениями руководствовался и Востоков, насыщая псевдославянской мифологией свои «древние повести» (сюда же отчасти относится и «Громвал» Г. Каменева). В примечаниях к своим «повестям» Востоков продемонстрировал основательную эрудицию в этой области, критически отнесясь ко многим фантастическим измышлениям Чулкова и Попова и в иных случаях самостоятельно руссифицируя античную мифологию.

В кругу поэтов Вольного общества русская народная словесность рассматривалась как противовес западнической ориентации карамзинистов и как важное средство борьбы за утверждение национально-самобытного поэтического стиля. Характерны в этой связи решительные возражения этих поэтов против практиковавшихся карамзинистами эстетизации и стилизации фольклорных образцов, против нарочитого приноровления их к новейшим языковым нормам и литературным вкусам.

Карамзинисты применяли к фольклору свои критерии «изящного» и «приятного». В этих целях они настаивали на обработке произведений народной словесности в порядке смягчения «грубости» их содержания и языка. Поэты Вольного общества категорически возражали против подобной фальсификации фольклора. В упомянутом уже «Кратком руководстве» И. М. Борна имеется глава «О поправках древних сочинений», специально посвященная данному вопросу.

«Кроме едва простительного нерадения об отечественных древностях, — писал здесь Борн, — впадали некоторые в другую погрешность: выдавали древние сочинения

с нарочитыми поправками. Сие, по их мнению, конечно, значило свести с них ржавчину; но вместо того они покрыли их новомодным лаком, уничтожа первобытный вид их и цену... Что бы мы сказали, если б кому-нибудь из новейших греков вздумалось переправить по нынешнему наречию язык Гомеров? Или когда бы велеречие Цицероново переменено было на латынь Средних веков? Мы должны разбирать, объяснять и истолковывать, сколько возможно, дошедшие до нас драгоценные остатки прежних веков: от того выигрывает язык. Признаюся неложно, что простота и беспечность некоторых старинных народных песен мне более нравится, нежели тщательная отделка многих новейших, богатых рифмами, а не чувствиями. Нет нужды приводить примеров. Пусть тот, кто любопытен и с пользою желает упражняться в своей словесности, сам сделает сравнение. Он, по крайней мере, будет читать *русские книги*». [28]

Существенно отметить, что Борн особо подчеркивает то обстоятельство, что памятники народной словесности и древней письменности в их первобытной цельности служат к обогащению современного литературного языка. Эта плодотворная точка зрения нашла осуществление в творчестве поэтов Вольного общества; особенно показателен в этом смысле словарный состав стихов Востокова.

Столь же решительно, как и Борн, Востоков протестовал против наведения «новомодного лака» на произведения народной поэзии. С 1804 года он усердно занимался изучением фольклора и приступил к составлению монументального свода русских народных песен, который был намерен издать (под заглавием: «Цвет русской поэзии») «для любителей русского духу, с надлежащим выбором, с возможною исправностию и в новом систематическом порядке, наиболее могущем удовлетворить требованиям публики». Он предполагал собрать неопубликованные «простонародные» песни, «хранящиеся только в изустном предании по деревням», «особливо же хороводные и другие, к старинным поверьям относящиеся». В этом намерении Востоков в 1810 году обратился за содействием к членам Вольного общества, причем специально оговаривал, что в его собрание войдут «настоящие русские песни в простом оригинальном их виде» и что он «удерживается от всяких своевольных поправок». [29]

3

При всех отклонениях индивидуальных творческих путей отдельных поэтов данного круга устанавливается известное единство их эстетических взглядов, сложившихся на почве нового понимания задач искусства и выразившихся в стремлении заново решить проблему поэтического стиля. В творчестве наиболее видных и передовых поэтов Вольного общества нашли разностороннее и теоретически осознанное осуществление принципы монументального «высокого» стиля, призванного служить формой художественного выражения гражданственной героики. Освоение этого нового «высокого» стиля, складывавшегося вне традиции классицизма XVIII века, сыграло весьма значительную роль в историческом развитии русской поэзии в предпушкинский период.

Новый поэтический стиль вырабатывался в борьбе прогрессивных литературных сил против господствующей рафинированной, эстетизированной культуры дворянского сентиментализма, против салонной «легкой поэзии» карамзинистов — за «большую», идейно содержательную и национально-самобытную литературу, проникнутую пафосом гражданственности.

Карамзин в программном предисловии ко второй книжке альманаха «Аониды» (1797) следующим образом изложил свою точку зрения на предмет и метод поэтического творчества: «Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен натуры, но в живости мыслей и чувств... Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар натуры и прочее в сем роде. Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенять стихотворца и служить доказательством дарований его: напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону». Карамзин полагал, что «истинный поэт» должен «ко всему привязывать остроумную мысль, нежное чувство; или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением... играть идеями и, подобно Юпитеру (как сказал о нем мудрец Эзоп), иногда малое делать великим, иногда великое малым».

Эти творческие установки Карамзина были решительно неприемлемы для ведущих поэтов Вольного общества. Тональность их поэзии совершенно иная. Они обращались именно к «высоким предметам», не «играли идеями», а излагали, обосновывали и пропагандировали их в духе своей общей идеологической программы, не занимались украшательством стиха кудрявыми «выражениями» и никогда не делали великое малым или малое великим. Они проявляли особенную склонность к широким философским, естественнонаучным, социально-историческим и моральным обобщениям; в частности, охотно разрабатывали запретные для карамзинистов космологические темы «разрушения мира», «всеобщего пожара натуры».

Они писали в различных родах, но преимущественно привлекали их монументальные жанры философической оды и торжественного гимна. Для них совершенно не характерны изящные поэтические безделушки, над ювелирной отделкой которых трудились карамзинисты. Даже в лирических медитациях и в посланиях к друзьям они, как правило, оставались поэтами большой темы. В их стихах нет слащавости, изысканной томности и слезливости, отличающих творчество карамзинистов. Поэтическая манера Ивана Пнина, Александра Востокова, Ивана Борна, Василия Попугаева (в гражданских стихах), Василия Дмитриева, Николая Радищева мужественна и строга.

Решая проблему гражданственно-героического стиля, стихотворцы Вольного общества продолжали творческие традиции двух самых значительных русских поэтов конца XVIII века — Державина и Радищева.

Не случайно члены Вольного общества (в первый год существования кружка) специально занимались коллективным «аналитическим» чтением сочинений Державина, — это особо подчеркнуто и в «Истории Вольного общества», составленной В. Попугаевым. Державин был для них не только самым влиятельным поэтом эпохи, но и живым примером того, каким должен быть истинный поэт.

Общеизвестно, сколь велико было значение творческого опыта Державина для всех передовых русских поэтов конца XVIII — начала XIX века вплоть до поэтов-декабристов и Пушкина. К его голосу прислушивался и Радищев. Все они высоко ценили Державина как замечательного

художника, проложившего новые пути в русской поэзии, более других способствовавшего разрушению омертвевших традиций классицизма, открывшего стихию народности и метод эмпирико-реалистического изображения действительности, по-новому показавшего природу и человека.

Но не менее значительна была в представлении передовых писателей роль Державина как общественного трибуна. В деятельности Державина и в самом человеческом его облике они находили и выделяли черты гражданственности. Недаром Радищев демонстративно заявил о своем уважительном отношении к Державину, послав ему (единственному из числа лично ему незнакомых людей) экземпляр «Путешествия».

Творчество Державина давало достаточные основания для подобной его интерпретации. Обличая «льстецов» и «земных богов», он поднимался до полноценного гражданского пафоса, — как, например, в знаменитой оде «Властителям и судьям», окончательная редакция которой при Павле I (в 1798 году) не была пропущена в печать:

Восстал всевышний бог, да судит
Земных богов во сонме их.
Доколе, — рек, — доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?..
Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Закрепленный в обличительных одах Державина образ поэта — учителя и пророка, смело гласящего «истину» и бичующего «неправду» перед лицом «земных богов», безусловно должен был импонировать деятелям Вольного общества и, нужно полагать, оказал существенное воздействие на формирование образа поэта-гражданина в их собственном творчестве.

Но решающую роль сыграл в этом отношении для поэтов Вольного общества впечатляющий пример Радищева. Принципы высокого ораторско-проповеднического стиля в разработке гражданских тем и конструирование образа поэта-трибуна, наметившиеся у Державина, получили полное осуществление и приобрели отчетливо выраженный революционный смысл у Радищева.

Радищев видел в литературе политическую трибуну, единственно доступную ему в условиях самодержавно-крепостнического строя. Он четко сформулировал взгляд на писателя как на общественного деятеля, которому принадлежит ответственная роль в деле политического просвещения и нравственного воспитания людей, который должен активно вторгаться в жизнь — с тем, чтобы содействовать пересозданию ее на новых, лучших началах. Радищев говорил, что если писатель показывает «шествие разума человеческого» и в целях достижения истины «сотрясает мглу предубеждений», «труд сего писателя бесполезен не будет: ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранит хотя некоторых от пагубныя стези и заградит полет невежества». И далее следуют знаменитые слова Радищева: «Блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого; блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель». [30]

Радищев особо подчеркивал призвание писателя к активной борьбе с деспотизмом: «Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения?» [31] Именно так осмыслял Радищев и свой собственный писательский подвиг: «Я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению, и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь», — с такими словами обратился он к своему читателю во вступлении к «Путешествию», ожидая, что «подъятый им труд» даст «сугубый плод». [32]

Поэтическое творчество Радищева характеризуется неустанными поисками новых средств и приемов художественной выразительности, поисками нового стиля, который, по мысли Радищева, должен был воплощать в себе то, что теперь мы называем единством формы и содержания. В своем решении проблем поэтического стиля Радищев исходил из желания сделать поэзию формой выражения и пропаганды философских, моральных, исторических и общественно-политических идей, поставить ее на службу конкретным задачам борьбы за передовое революционно-демократическое мировоззрение. Отсюда — установка Радищева

на стиль ораторского и проповеднического «витийства», определяющими чертами которого являлись идейно-смысловая содержательность и резкая выразительность. Радищев с необыкновенной настойчивостью стремился индивидуализировать свою поэтическую речь и реформировать самый стих, в равной мере разрушая как строгую нормативность классических «правил», так и общедоступную «гладкость» языковых и стилевых принципов дворянского сентиментализма.

При этом смелое новаторство Радищева в области поэзии не имело ничего общего с узким эстетским экспериментаторством ради обновления самих поэтических форм. В основе радищевского новаторства лежала тенденция присвоить стиховой речи новые качества в целях более полного и точного выражения мысли. В его стихах философская мысль впервые становится не только поводом для философических размышлений в рифмах, но фактом эстетического порядка, художественно-конструктивным принципом выражения цельной философской концепции, охватывающей все стороны мировоззрения поэта.

Роль, которую сыграл Радищев в деле обновления русской поэзии, была исключительно велика и плодотворна. Он заложил на русской почве фундамент как гражданской, политической поэзии, отвечавшей конкретным задачам освободительной борьбы («Вольность»), так и «поэзии мысли», преследующей цели пропаганды прогрессивного мировоззрения и передовых научных идей («Осьмнадцатое столетие»).

Лучшие поэты Вольного общества подхватили почин Радищева. Они внесли существенный вклад в дело создания «содержательной» философско-политической поэзии и выработки монументального поэтического стиля, проникнутого духом ораторской патетики «гражданского состава». В целом их стиховое творчество должно рассматриваться как самое яркое и отчетливое проявление радищевской традиции в русской поэзии 1800-х годов не только в идейном, но и в стилевом отношении.

Это была поэзия резко выраженных общественных интересов и напряженного политического звучания. В своих гражданских стихах И. Пнин, В. Попугаев, И. Борн, А. Востоков, в известной мере и некоторые другие менее заметные поэты Вольного общества последовательно выдви-

23 Зак. 1026.

гали темы, теснейшим образом связанные с насущными вопросами, волновавшими передового человека эпохи, — с вопросами «общего блага» и «равенства природного», гражданской морали и общественного воспитания, обязанностей правителя и долга гражданина, «истины» и «предрассудков» и т. п. Можно сказать, что весь круг интеллектуальных интересов передового человека, жившего на рубеже XVIII и XIX столетий, стал одновременно и источником и предметом их творчества.

Поэзию радищевцев в ее наиболее выразительных образцах характеризуют не только отразившаяся в ней широта духовных интересов этих молодых радикалов и демократов, но и проникающий ее боевой дух протеста против существующего порядка вещей. В общественно-политических условиях эпохи некоторые стихи радищевцев явились наиболее смелыми политическими выступлениями (в рамках легальной пропаганды освободительных идей).

Широта идейно-тематического кругозора и четкая социальная направленность делают поэзию радищевцев единственным в своем роде явлением русской литературы начала 1800-х годов. Суть вопроса заключается не в масштабах индивидуальных дарований: среди поэтов Вольного общества не было ни одного гениально одаренного. Это были люди в общем скромных талантов, но в свое время они оказались единственными, кто, представляя в своем лице новые социальные силы, сознательно встал в оппозицию к господствующим реакционным и либерально-дворянским течениям в русской литературе. Вслед за Радищевым они пришли к принципиально иному представлению о деле писателя, понимая его как служение обществу, народу, родине, как путь активной борьбы за гражданские, политические права человека.

Если литература дворянского сентиментализма утверждала иллюзорный идеал тихого, мирного «частного бытия», проповедывала философию умеренности и смирения перед волей бога и «земных богов», то радищевцы славили «бури и тревоги гражданские», утверждали идеал сознательной борьбы во имя свободы и достоинства человека, рвущегося из пут феодально-клерикального мировоззрения. Дворянские поэты воспевали эгоистические наслаждения антиобщественного человека, поэты-демократы и радикалы воспе-

вали пламенный альтруизм и гражданские подвиги «друзей человечества», бескорыстных и самоотверженных ревнителей «истины» и «общего блага».

Для передовых деятелей Вольного общества в высокой степени характерно профессиональное отношение к литературе, прямо противоположное демонстративному дилетантизму дворянских писателей. Литература была для них не забавой, и не легким приятным занятием в часы отдохновения, и не сферой чистого умозрения или эстетического наслаждения, а *делом*, формой практической общественной деятельности. Не замыкаясь в область чистого искусства, они стремились направить литературу на разрешение насущно жизненных задач и настойчиво выдвигали мысль, что главным критерием оценки труда писателя должен служить критерий «пользы».

В этом смысле прогрессивные поэты Вольного общества представляют собой полную противоположность поэтам дворянского сентиментализма, воспевавшим мирные утехи «частного бытия». Для них была решительно неприемлема установка Карамзина, с особенной ясностью изложенная им в программном «Послании к Дмитриеву». Здесь Карамзин во всеуслышание заявил, что разуверился в возможности быть «полезным», и начисто отказался от всякой активной общественной деятельности:

Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем переменить людей? ..

Именно это разуверение в собственной «полезности» диктовало Карамзину его идеал уединенного, эгоистического существования в лоне «частного бытия», его принципиальный квиетизм, его убежденность в том, что «зло под солнцем бесконечно» и что, следовательно, бороться со злом бесполезно и поэтому приходится с ним примириться. Карамзин предлагал предать мир «на волю судьбы и рока»:

... пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят, что им угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,

Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б без страха и надежды
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаться издали пороком
И ясным, терпеливым оком
Взирать на тучи, вихрь сует,
От грома, бури укрываясь...

В итоге подобных размышлений Карамзин приходит к вполне определенным выводам, которые и составляют самое существо его мещанской философии жизни:

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной...

Такая философия была от начала до конца враждебна радищевцам. Их воодушевляла провозглашенная Радищевым идея гражданского долга и общественного призвания писателя, — хотя они и не сделали из нее столь же решительных революционных выводов, какие сделал сам Радищев. Тем не менее именно радищевская установка на «просвещение хотя единого» определяла характер литературной деятельности Пнина, Попугаева, Борна, Востокова.

Мысль об общественной полезности писательского труда неоднократно высказывалась членами кружка. Востоков, например, в отзыве о стихах одного молодого поэта, отмечая с похвалой, что они способны возбудить в читателе «чувство негодования на подлецов», доказывал, насколько важны и полезны в целях общественного воспитания «нравственные и сатирические сочинения, вопиющие противу какого-либо порока». По другому поводу Востоков утверждал, что талант писателя всегда должен быть «употреблен на благородные и дельные предметы». [33]

Подобное представление о задачах литературы усваивали и другие участники Вольного общества, вообще говоря далекие от идейных устремлений радищевцев. Н. П. Брусилов заявлял в своем «Журнале российской словесности», что «писатель, дурной или хороший, есть человек общественный — он трудится не для одного человека: сочинение его принадлежит целому обществу». [34] А. А. Писарев — автор «Рассуждения о словесности», читанного в Вольном обществе 18 ноября 1805 года, говорил, что «нравственность» составляет основу литературы, что писатели должны избирать

себе «предметы не только приятные, но и полезные», что «они должны поучать или исправлять» и что «самое возбуждение страстей должно направлять к неминуемой пользе». Вывод Писарева сводился к следующему: «Обязанности писателя не в том только состоят, чтобы писать много и писать обо всем; но надобно стараться произведениями своими посеять какие-либо полезные истины нравственности. . . Истинные писатели суть те, которые весь свой дар ума употребили на пользу своего отечества и для народной нравственности». [35]

Идея «пользы» литературы и ее значения как формы общественной деятельности с наибольшей четкостью и принципиальностью была реализована в творческой практике Ивана Пнина. Он выдвинул и обосновал новые критерии художественности, отменяющие нормативные критерии феодально-аристократической эстетики. Обычные понятия «хорошего» и «плохого» в искусстве приобретали для него существенно иной смысл. «Хорошим» для Пнина оказывается такое сочинение, которое хотя и «худо писано», «но имеет цель полезную». В полемическом «Послании к некоторым писателям» (очевидно 1804 года), явно направленном в адрес поэтов-карамзинистов с их гипертрофированным вниманием к мелочным вопросам стихотворной техники, Пнин писал:

. . . ужели дарования
Вам на то даны природою,
Чтобы, слабость зря писателей
(Впрочем, цель всегда похвальную
Нам своим трудом являющих),
По единственной причине сей
Принимать их за врагов себе
И стрелами ядовитыми
Злобной и завистной критики
Уязвлять их без пощады всех? . .
Ежели когда нечаянно
(Что всегда у вас случается)
Попадется сочинение
В ваши руки весьма слабое,
И которое исполнено
Недостатков и погрешностей,
Да и слишком худо писано,
Но имеет цель полезную, —
То послушайте, друзья мои,
Еще хуже вы поступите,
Коль его злословить станете,
Не щадя и сочинителя. . .

Со всей четкостью ставит Пнин вопрос о читателе, насущные нужды и интересы которого должен обслуживать писатель, обязанный трудиться единственно «для пользы сограждан своих, для пользы человечества». Он призывает писателя никоим образом не устраняться

От стези, себе назначенной,
И по коей бы он должен был
Своего вести читателя
До предмета, им желанного.

Перед писателем ставится задача «исправлять людей без насмешек и ругательства». Писатель обязан руководствоваться этими «прямо благородными» побуждениями, если хочет достичь «славы истинной»:

Ах, поверьте мне, друзья мои,
Поступая таким образом,
Слава вас сама найдет везде,
Посетит жилища мирные,
Где для пользы сограждáн своих,
Где для пользы человечества
Вы трудиться токмо будете, —
Увенчает вас венком своим,
Из таких лучей составленным,
Что ни зависть с злобным временем
Не возмогут помрачить никак.
Тщетны будут их усилия!
Справедливое потомство, зря
Блеск лучей венца прекрасного,
В благородном восхищении
Ваши имена любезные
Всегда станет вспоминать себе.

Это уже принципиально новое в русской литературе представление о деле писателя и об истинной писательской славе. Такая установка в иных случаях влекла за собою притупление интереса к специальным проблемам литературного мастерства, и Пнин в этом отношении представляет собою прямую противоположность поэту-мастеру Востокову. Однако подобного рода тенденция, вместе с тем, вовсе не знаменовала «отрицания искусства», но свидетельствовала всего лишь о переосмыслении критериев художественности и о присвоении поэтическому слову новых качеств. Ему присваивается задача служить средством выражения конкретной философской, социально-политической либо научной мысли

С этой точки зрения и следует рассматривать поэтическое творчество Ивана Пнина.

В историко-литературной традиции Пнин-публицист заслонил собою Пнина-поэта. Его философские оды, сатирические басни и притчи и элегические стихотворения не служили предметом специального изучения как явление художественной литературы. Если они и привлекались к рассмотрению, то лишь в качестве подсобного иллюстративного материала, как своего рода поэтический автокомментарий к публицистическим произведениям Пнина. Для этого имелись известные основания, так как в большинстве своих стихотворений он с программной прямолинейностью выражал те же философские и социально-политические идеи, что и в трактатах и статьях.

Однако стихотворное наследие Пнина надлежит осмыслить и оценить не только в его функциональном значении, но и как явление художественной литературы — именно потому, что это не просто стихи на гражданские темы, но целостная гражданская поэзия, в которой тема стала фактом эстетического порядка, приобрела значение конструктивного и стилеобразующего принципа.

Нужно сказать, что современники Пнина вовсе не склонны были умалять собственно литературные, художественные достоинства его стихов. В их представлении Пнин был прежде всего «хорошим поэтом». «С качеством хорошего поэта соединял он и качество хорошего прозаиста и собственным примером доказал, что хороший поэт может быть и хорошим писателем в прозе и что для человека, одаренного талантами, все роды писания свойственны», — отмечал Н. П. Брусилов в некрологической статье «О Пнине и его сочинениях».[36] Стихотворство в качестве первичного и основного признака литературной деятельности Пнина подчеркнуто здесь достаточно явно. И следующее литературное поколение еще помнило Пнина как «хорошего поэта». «Пнин с дарованием соединял высокие чувства поэта. Слог его особенно чист», — писал в 1822 году А. А. Бестужев-Марлинский.[37]

Поэтическая манера Пнина не отличалась внешней оригинальностью. Сила его была в «высоких чувствах поэта». Он не выступал реформатором русского стиха, подобно Востокову, не пускался в метрические эксперименты. Его

оды в достаточной мере традиционны по своим композиционным формам и воспроизводят жанровый канон «философической оды». Но он сохранял лишь внешние признаки жанра, наполняя старую форму новым содержанием. Свое у Пнина — идеи, темы, гражданский пафос. Они-то и сообщали его стихам новое качество.

Отличительной особенностью одической поэзии Пнина служит ее открытая программность, ставшая для Пнина основным, руководящим принципом литературного мышления. Его оды — это, в сущности, небольшие философские и политические трактаты, в которых он сформулировал свои взгляды и убеждения с неменьшей отчетливостью, чем в «Опыте о просвещении» или «Вопле невинности». Выразительным примером в этом смысле может служить «Ода на правосудие» — самое известное поэтическое произведение Пнина. Параллельное сличение начальных строф оды с «Опытом о просвещении» наглядно свидетельствует о том, что главной задачей для Пнина в данном случае было довести до читателя в концентрированной образной форме определенный комплекс философских, моральных и общественных идей. В частности, Пнин излагал и обосновывал в оде один из основных тезисов своей социально-политической программы, а именно вопрос о «священном праве собственности».

Напомним, что писал Пнин на данную тему в «Опыте о просвещении»: «Собственность! священное право! душа общежития! источник законов! мать изобилия и удовольствий! Где ты уважена, где ты неприкосновенна, та только благословенна страна, там только спокоен и благополучен гражданин. Но ты бежишь от звука цепей. Ты чуждаешься невольников. Права твои не могут существовать ни в рабстве, ни в безначалии, поелику ты обитаешь только в царстве законов. Собственность! где нет тебя, там не может быть и правосудия. . .» и т. д.

И вот как были переведены эти рассуждения на язык стиха в «Оде на правосудие»:

О, правосудие! тобою
Хранится только смертных род.
Где ты — там с мирною душою
Трудов своих вкушают плод.
Где ты — там собственность священна,

Тобою твердо огражденна,
Ликует в счастливых сердцах.
Там всюду золотой рекою
Текут сокровища с тобою
И зрится радость на челах.
. . . .
Где ты — там равными правами
Граждане пользуются все.
Там над породой и чинами
Заслуги верх берут одне.
Там гнусна лесть у всех в презреньи,
Наружный блеск не в уваженьи,
Не чтут достоинством его.
Богатый с подлою душою
Ничто пред честной нищетою;
Добро превыше там всего.
Где ты — там вопль не раздается
Несчастных, брошенных сирот;
Всем нужна помощь подается,
Не раболепствует народ.
Там земледелец не страшится,
Чтобы насильством мог лишиться
Им в поте собранных плодов.
Любуется, смотря на ниву,
В ней видя жизнь свою счастливу,
Благословляет твой покров.

Столь же конкретно выражены социально-политические взгляды Пнина в других его стихотворениях, — в частности, в баснях и притчах («Царь и Придворный», «Терновник и Яблоня», «Южный ветер и Зефир», «Верховая лошадь»), в аллегорической форме затрагивающих вопросы просвещения, гражданской морали или соотношения власти и народа:

Тот камень, что свой блеск бросает с высоты,
Разбился б в прах — частей его не отыскали, —
Когда минуту хоть одну
Поддерживать его другие перестали.

В большинстве своих стихотворений Пнин касался самых общих тем и вопросов — натурфилософских, моральных, общественно-исторических. Характерны в этом смысле самые заглавия его стихов: «Время», «Слава», «Человек», «Надежда», «Бог», «Правосудие», «Любовь», «Зависть» и т. д. Но ни одна из этих общих тем не разрешалась Пниным абстрактно. В каждом случае она приобретала определенный идейный смысл, соотнесенный с общественными

запросами современности. В самых, казалось бы, отвлеченных стихах Пнин оставался поэтом социальной темы. Таковы, к примеру, «Стихи на сон», в которых речь идет о различии между сновидением и мечтанием («Когда я сплю, я не мечтаю, Когда ж мечтаю, то не сплю»). Но и здесь тема «сна» как «забвения» приобретает идейное звучание, поскольку речь сразу заходит и о «рабе в цепях» и о том, что «злодей», «тиран», «враг несчастных» не может «спать приятно», ибо ему мешает нечистая совесть.

В своих философских одах Пнин подверг пересмотру, переоценке и критике многие фетиши феодально-клерикального мировоззрения. В оде «Надежда» тема надежды—утешительницы человека в горестях и бедствиях, получившая столь широкое распространение в поэзии дворянского сентиментализма, трактуется в совершенно ином идейном плане. И «раб в оковах» и «сирая вдовица» дорожат жизнью потому лишь, что их не покидает утешительная надежда на лучшее будущее: «Надежда! дней они ждут ясных, И жизнь мила им чрез тебя». Поэт дворянского сентиментализма поставил бы на этом точку. А Пнин доказывает, что сама по себе надежда, не осознанная как путь к активному действию, есть не что иное, как «пустое мечтание», призрак, химера, обольщение «несчастных людей», тем более вредное, что оно заставляет раба мириться со своей участью. И Пнин разоблачает надежду, как обольщающее человека зло:

О, если б кто рукой враждебной
Сорвал с тебя покров волшебный...

В оде «Слава» тема разрешается в плане противопоставления славы истинной и ложной. Настоящая слава — это не безразборчивое слепое честолюбие, которому открыты все пути. К истинной славе ведет только «один путь верный», — и «он осыпан не цветами». Это путь трудный и опасный, доступный лишь мужественным людям с неробкою, твердою душой, путь *гражданского подвига*. Подлинной славой увенчается только тот, кто сумеет преодолеть на пути к ней многие преграды и заплатит за нее «ценою настоящих дел» — бескорыстной службой отечеству, полезной людям деятельностью, — только тот, кто видит единую награду «во благе общем», кто сам служит примером граждан-

ских добродетелей, кто готов даже погибнуть «для пользы общей». В оде особо подчеркнута мысль о великом значении активной практической деятельности:

Пример сильнее наставлений,
Мы все хвалу добру гласим,
Громады видим поучений,
Где ж исполнители? — не зрим.

Пнин с горечью признается, что большинство людей слабовольны и инертны. «Всяк на другого уповает, что сей свершит все за него», — тогда как истинный гражданин призван к самодеятельному участию в жизни, к деянию на общую пользу. Тогда он войдет и в храм истинной славы, которая не знает различия между богатым и бедным, знатным и простолюдином, которая уважает одни «дела». Эта демократическая нота разрешается в финале вопросом: если такова истинная слава, «то как злодеи могут быть?»

Это главный вопрос, которым задается Пнин в своих стихах. Общий тон его поэзии — пессимистический. В «Послании к В. С. С. на Новый год» (обращено к В. С. Сопикову) он рисует картину неправедного мира, в котором из века в век царствуют «зло», «суеверие» и «коварство», льется «кровь рабства», свирепствуют «военные бури»:

Взгляни спокойными очами
На участь общую людей,
Взгляни на царства, что пред нами
Погибли в пропасти своей:
Иные вновь чело подъемлют,
Из праха нову жизнь приемлют,
На что ж? — чтобы влачить в цепях
Себя — и будущие роды...
Вот, что с собой приносят годы,
Вот, что мы зрим во всех веках!..

Род смертный тот же остается,
Он все невежеством ведется;
Лжесвятство, рабство и война
Владели им и днесь владеют,
Народы к ним благоговеют,
А истина!.. удалена.

«Послание к В. С. С.» было написано в конце декабря 1804 года, — тем более знаменательны грустные размышления Пнина: они дополнительно говорят о кризисе его либе-

ральных иллюзий, возникших в атмосфере «александровской весны». В частности, в стихах «Теряют и цари короны, Рабы на их восходят троны» можно видеть намек на злободневное современное событие, которое в глазах Пнина должно было служить символом окончательного крушения надежд, связывавшихся с французской революцией: 2 декабря 1804 года Наполеон короновался императорской короной.

Пнин приходит к безотрадному выводу: «Сей мир, мой друг, есть мир для злых». Однако общественный пессимизм Пнина не дает никаких оснований говорить о его примирении с действительностью. В его поэзии звучат сильные ноты протеста. Смысл жизни — в благородном и полезном деянии, в борьбе со злом, несмотря на все его могущество. Задача писателя-гражданина состоит в том, чтобы «спасать невинность угнетенну» и «являть подлую, презренную душу злодеев». Пусть мир лежит во зле, добрые дела не забудутся, истинный гражданин всегда живет в памяти народной:

В нем [в мире] добродетель погибает,
Порок трофеями покрыт...
Нет! Нет! — тот муж не умирает,
Кто ближнему добро творит.
Хоть кости все его истлеют,
Хоть бури прах его развеют,
Могила зарастет травой, —
Но память ввек его пребудет,
Его несчастный не забудет
И смерть его почтит слезой.

Ноты протеста, повторим, звучат в поэзии Пнина с большой силой. Он изобличает общественный квиетизм во всех его проявлениях, он не мирится с психологией рабской приниженности и не может постичь чувства всепрощения, позволяющего человеку забыть причиненное ему зло:

Но, ах! сего не постигая,
Я удивляюсь завсегда,
Как негр, весь век в цепях страдая,
Коль снимет их тиран когда, —
Тогда в минуту восхищенья,
Толь сладкого освобожденья, —
За бога он тирана чтит.
Ужели чувство избавленья,
Сугубя в нем уничиженья,
Все прежнее — забыть велит?

(*„Ода на болезнь“*)

Гражданская поэзия Пнина была обращена к читателю не только своей негативной, критической стороной. В ней также утверждался, в духе социальной концепции просветительства, определенный идеал справедливого общественного устройства. В программной «Оде на правосудие», снабженной эпиграфом из Гольбаха: «Правосудие есть основание всех общественных добродетелей», Пнин рисует одновременно и картину народного блаженства под эгидой твердых законов и картину народных бедствий в мире беззакония и произвола:

Душа покоя и устройства,
Источник всех великих дел!
Ты образуешь дух геройства,
Бессмертие есть твой удел.
О Правосудие! не можно
Тебя нам описать, как должно:
Ты божество между людей!..
Где ты — там царствуют законы,
Там человек всегда почтен,
Там тверды в основаньях троны
И к правде путь не загражден.
Там истина без страха ходит...
Где ты — там воин презирает
Опасности и жизнь свою.
Умру! — в восторге восклицает, —
Умру за родину мою!..
Где ты — там Гений Просвещенья,
Лучами мудрости своей
Открыв зловредны заблужденья,
Ведет на путь прямой людей.
Науки храмы там имеют,
Художества, искусства зреют,
Торговля богатит народ.
Там дух зиждительной свободы,
Проникнув таинства Природы,
Сторичный собирает плод.

Где нет тебя — там все рыдает,
Все стонет, смерть к себе зовет;
Пожар вражды везде пылает,
И жертвы острый меч сечет.
Там всюду кровь течет ручьями,
Родители в борьбе с сынами,
Сыны против отцов идут.
Там сетует сама Природа,
Права отъяты у Народа,
И тигры агнцов там пасут.
Где нет тебя — там все несчастны
От земледельца до царя,

Законы дремлют и безгласны,
Там всяк живет лишь для себя.
Нет ни родства, союза, веры,
Там видны лишь злодейств примеры,
Шипят пороки и язвят;
Там выгод нет быть добрым, честным,
Быть другом искренним, нелестным;
Там чашу смерти пьет Сократ.

Поэт говорит, что если правосудие скроется из мира, то «лучше мир пусть истребится, и больше смертный не родится, чем жить ему в бедах таких!» Правосудие — «блаженство смертных», единственный залог их счастья, и Пнин кончает свою оду мажорной нотой:

Нет, нет, живи ты вечно с нами,
Храни сей мир, храни людей,
Да твой обвитый скиптр цветами
Составит счастье наших дней!
Совокупи ты все народы,
Детей единыя Природы,
Под сень державы твоея;
Владей над целою вселенной
И сей внушай закон священный:
Что нет блаженства без тебя!

Задачу создания гражданственной, а вместе с тем и философско-научной поэзии решал с большой остротой и принципиальностью и А. Востоков — самый крупный и талантливый поэт Вольного общества. В его стихах развернута целая морально-эстетическая концепция, в основе которой лежит идея нравственного достоинства поэта, ревнующего об «истине» и «благе»:

Мой друг, ни пред каким кумиром
Не станем ползать мы змеей...

Образ поэта — учителя, пророка и трибуна, ярко запечатленный в стихах Востокова, в главных своих чертах ближайшим образом предвосхищает аналогичный образ в гражданской лирике декабристов.

Высокая миссия поэта, по Востокову, заключается в том, чтобы «ненавидеть зло» и «награждать добродетель», «карать извергов» и «быть другом человека», в меру сил содействовать освобождению «всех угнетенных». В стихах на смерть Шиллера Востоков поставил его в пример и образец как поэта, воодушевленного духом свободолюбия, которого

не сломило «гоненье тиранов» и который «щедро излил из разженного небом сердца то, чего многие веки ждали».

В ряде стихотворений Востоков излагает нечто вроде программы жизненного поведения, подобно Пнину призывая к активной деятельности на пользу человечества:

Ах, долго я служил тщете;
Пустым обязанностям в жертву
Младые годы приносил!
Нет, нет! теперь уж иго свергну.
Надмеру * долго угнетало
Оно мой дух, который жаждет
Свободы! — О, восстану я!
Направлю бег мой к истой цели
И презрю низких тварей цель...

«Истая цель» жизни — в труде и творчестве. Востоков изобличает «празднолюбивых», «погрязших в неге, в лености»: «В трудах и бедствиях лишь доблесть познается, и мудрость лишь одним неленостным дается». В послании к члену Вольного общества художнику И. А. Иванову он говорит:

Потщимся с пользой, непозорно,
И жить и умереть, мой друг!
Прямую изберем дорогу...
Окажем к слабым снисхожденье,
К порочным жалость, к злым презренье,
А к добрым пламенну любовь.

В одном из самых значительных своих стихотворений — «История и Баснь», посвященном члену Вольного общества художнику Ф. Ф. Репнину и напечатанном в «Периодическом издании» 1804 года, Востоков с особенной ясностью и принципиальностью высказал свой взгляд на высокое назначение поэта. Показывая художнику «достойные его предметы», он ведет его сперва в «храм Басни» — чудесных мифологических вымыслов и «неисчерпаемых красот» искусства. Но перед истинным художником открывается другой, более ответственный, но и более достойный его призвания путь — в «храм Истории». Этот храм «прост и важен», в нем

... строга Критика имеет свой престол
И лже и истине границу полагает.

---

* Надмеру — чрезмерно, слишком.

Это область *реальной* истории мира с его «разительными контрастами», — мира, в котором борются силы добра и зла, свирепствуют тираны и жертвуют собою «страдальцы истины». Если в первом храме можно оставаться *только* художником, *только* поэтом, то, войдя в храм истории, художник превращается в философа. И далее Востоков отчетливо формулирует свое представление о задачах, возникающих перед поэтом-философом. Он делает это в стихах, которые могут служить выразительным примером идейно-смысловой сгущенности и резкой характерности монументального героического стиля гражданской поэзии радищевцев:

Ты был поэтом, — будь философом теперь!
На сих висящих дсках добро и зло читая,
Предметы избирать из них себе умей.
Великих и святых изобрази людей,
Которых победить не может участь злая.
Искусной кистию своей
Яви добро и зло в разительных контрастах:
В страдальцах истины прекрасная душа
Сквозь всякую б черту наружу проницала;
Сократ беседует с друзьями, смерть пия;
Правдивый Аристид свое изгнанье пишет;
Идет обратно Регул в плен,
И верен истине Тразеа умирает.
А в недрах роскоши, среди богатств, честей,
Тиранов льстец Дамокл, упоеваясь счастьем,
Возвел кичливый взор, но, видя над собой
Меч остр, на волоске висящий, цепенеет.

Сколь благомыслящим утешно созерцать
Толь поучительны, толь сильные картины!
С Плутархом в них, мой друг, с Тацитом нам являй
Величие и низость смертных
И душу зрителей к добру воспламеняй.

Философия, «высокая истина», как ключ к познанию мира, осмысляется Востоковым как высшая норма интеллектуальной и духовной деятельности человека. Пусть человека тревожат «волны» мелочных житейских забот, но если он осознал себя философом, он может противопоставить им свою ясную, целенаправленную мысль, свою могучую духовную силу:

Но мы волнам оплот поставим — твердость духа
И философией душевный брег возвысим...

Эта философская установка, преемственно связанная с творческими исканиями Радищева, наряду с гражданственной тематикой составляет существеннейшую черту поэзии его последователей из Вольного общества.

4

Для Ивана Пнина и некоторых других радищевцев, стоявших в основном на почве материалистического понимания мира, в высокой степени характерна их полная независимость от религиозных догм и представлений. Если в их стихах и встречается «бог», то, как правило, в деистической трактовке. Вообще же их творчество свободно от религиозно-мистических тем. Даже те поэты Вольного общества, которые не разделяли материалистических убеждений, решительно чуждались мистики, всего потустороннего и иррационального. Показательно в этом смысле, что почти все они (буквально за единичными исключениями) оказались не причастны увлечению масонством. А наиболее передовые из них сделали этические и моральные концепции просветителей и материалистов оружием в борьбе с официальной и официозной религией и моралью, вслед за Радищевым доказывая, что религия служит делу рабского угнетения народа.

В творчестве Пнина нашли выражение беспрецедентная в русской поэзии пропаганда идей материализма, материалистический взгляд на мир и на человека, постановка в материалистическом духе вопросов о движении материи, о времени и пространстве, об отношении человека к природе, о силе человеческого познания, позволяющей познавать природу и постигать ее закономерности.

Для Пнина, как и для всех просветителей, характерен глубокий интерес к натурфилософским и космологическим проблемам, служившим в его время предметом научного знания. В напечатанном в «Санктпетербургском журнале» 1798 года стихотворении «Время» (вольная переработка оды А.-Л. Тома́) Пнин трактует тему «времени» независимо от религиозных представлений о «сотворении мира». Излагая передовую для своей эпохи научную теорию множественности миров, формулируя идею безначальности и бесконечно-

24 Зак. 1026.

сти времени, его вечного течения, Пнин совершенно недвусмысленно отвергает участие бога в создании времени:

Кто мне откроет час, в который быть ты стало?
Чей смелый ум дерзнет постичь твое начало?
Кто скажет, где конец теченью твоему?
Когда еще ничто рожденья не имело,
Ты даже и тогда одно везде летело,
Ты было все, хотя незримо никому!
Вдруг бурное стихий смешенье прекратилось;
Вдруг солнцев множество горящих засветилось,
И дерзкий ум твое теченье мерить стал:
На то ль, дабы твою увидеть бесконечность,
На то ль, чтоб сих миров постигнуть скоротечность
И видеть, сколь их век перед тобою мал!
Так что же жизнь моя в твоем пространстве вечном?
Что этот малый миг в теченьи бесконечном?
Кратчайший в молниях мелькнувшего огня...

Далее Пнин изображает грандиозную картину «кончины мира», но не по библейским или евангельским легендам, а всецело в духе естественнонаучных (но, разумеется, метафизических) гипотез своего времени, как умирание солнечной системы. В этом изображении поэт ближайшим образом следует теории Эйлера, который утверждал, что причиной гибели солнечной системы послужит расстройство движения планет по их орбитам:

О, веки бывшие и вы, вперед грядущи!
Явитеся теперь на голос, вас зовущий,
Представьте страшный час, который я постиг,
Пред коим все его удары разрушенья,
Паденья целых царств, народов истребленья —
Равно как бы пред ним единый жизни миг!
Там солнце, во своем сияньи истощенно,
Узрит своих огней пыланье умерщвленно;
Бесчисленных миров падет, изветхнув, связь,
Как холмы каменны, сорвавшись с гор высоких,
Обрушася, падут во пропастях глубоких, —
Так звезды полетят, друг на́ друга валясь!

Отталкиваясь от оды Тома́, Пнин существенно изменил наиболее ответственные положения подлинника, последовательно переключая их в плоскость материалистического истолкования проблемы. Он снял упоминание о «законе всевышнего» и заменил его «дерзким умом» человека и

утверждал идею вечности времени, которое не исчезнет и при «кончине мира»:

> Не будет ничего, не будет самой бездны;
> О, время! но ты все пребудешь и тогда! [38]

Также и в другой космологической оде Пнина, напечатанной в «Санктпетербургском журнале», — «Солнце неподвижно между планетами», — исключена идея вмешательства божественной силы в «шествие вселенной»: «Не Солнцем ли в эфирном поле Тела влекутся поневоле? Не то ль есть царь планет един?»

В аналогичном духе космологические темы разрабатывал В. В. Дмитриев — один из учредителей Вольного общества. В стихотворении «Гармония мира» (сборник «Ореады», 1809 года) он писал о «полете времени», о «вечном, бесконечном движении» материи, о «бессмертьи сущего», о «превечном законе» природы, «который движет все, живит»:

> Исчезнет, кажется, существенность прекрасна
> Под острой времени косой?
> Никак! — закону общему подвластна,
> Подъемлется опять, восходит, возрастает,
> Быв жертва одного, — другие вновь миры питает.
> Символ бессмертия, во всем твореньи зримый,
> Гармоний есть закон, природою хранимый.

Чрезвычайно важное место в поэзии радищевцев занимает тема *человека*, его нравственной силы, духовного величия и гражданского героизма.

Эта тема приобретала исключительную остроту в условиях духовного и социально-политического закрепощения народа, в условиях, принижавших достоинство человека и препятствовавших свободному проявлению и развитию его способностей. Задачи борьбы за народное освобождение прежде всего предусматривали свободу человеческой личности. Радищевцы, утверждая свой общественный идеал, естественно, в первую очередь были озабочены постановкой и разрешением проблемы человека. Они стремились раскрыть подлинный облик человека — его лучшие свойства и склонности, глохнущие в условиях рабства и деспотизма. Они хотели показать, в свете своего общественного идеала, благородство и духовную силу человека, рвущего путы рабства и рабской психологии. Поэтому тема человека в их творчестве

приобрела полногласное социальное звучание и, в конечном счете, отражала общенародную борьбу за свободу.

В постановке и решении темы человека поэты Вольного общества шли за Радищевым. В «Путешествии из Петербурга в Москву», в оде «Вольность», в стихотворении «Осьмнадцатое столетие» и в других произведениях Радищев прославил свободный дух и творческий гений человека — носителя высоких идеалов чести и справедливости, мужественного деятеля и борца, врага деспотизма, воспитывающего в себе новую мораль, смело ниспровергающего предрассудки и заблуждения, властно покоряющего природу и преисполненного стремлением перестроить жизнь на новых, свободных началах.

Это революционно-просветительское представление о человеке было усвоено передовыми деятелями Вольного общества. Наука о человеке была для них «наукой наук», позволяющей «обнять все в мире вещи», ибо тому, «кто ту науку постигает»,

Она все знанья заменяет,
Ее предмет есть *человек*!
Он сам и дел мирских теченье,
Которы, все до одного,
Причину и происхожденье
Имеют в сердце у него.

(*А. Востоков* [19])

В своих произведениях поэты-радищевцы громко провозглашали культ человека — творца и борца, высказывали бескомпромиссную веру в силу человеческого духа и сознания, — и в этом смысле их поэзия также была целиком направлена против идеалистических и религиозных представлений о назначении и судьбе человека в мире, против всяческих форм агностицизма и мистики.

С особенной глубиной и четкостью тема свободного и героического человека разработана в стихах Пнина. Его ода «Человек» представляет собою в полном смысле слова восторженный гимн человеку — не как созданию бога, а как «лучшему созданию природы» и в то же время ее повелителю, ставшему «зиждителем вселенной» исключительно благодаря своему разуму:

Природы лучшее созданье,
К тебе мой обращаю стих!
К тебе стремлю мое вниманье,
Ты краше всех существ других.
Что я с тобою ни равняю,
Твои дары лишь отличаю
И удивляюся тебе.
Едва ты только в мир явился,
И мир мгновенно покорился,
Прияв тебя царем себе.

Ты царь земли — ты царь вселенной,
Хотя ничто в сравненьи с ней.
Хотя ты прах один возженный,
Но мыслию велик своей!
Предпримешь что — вселенна внемлет,
Творишь — все действие приемлет,
Ни в чем не видишь ты препон.
Природою распоряжаешь,
Всем властно в ней повелеваешь
И пишешь ей самой закон.

На что мой взор ни обращаю,
Мое все сердце веселит.
Везде твои дела встречаю,
И каждый мне предмет гласит,
Твоей рукой запечатленный:
Что ты зиждитель есть вселенной
И что бы степью лишь пустой
Природа без тебя стояла,
Таких бы видов не являла,
Какие зрю перед собой.

Пнин исчисляет все творческие подвиги и победы человека, который «все, как бог, устроевает»: на пустынных местах создает «нивы, жатвой отягченны», и «поля, стадами покровенны», «зиждет» села, города и «сильные царства», проводит каналы, строит пристани и суда, проникает «до дна пучин» и в «земные недра», управляет стихиями, измеряет «течение планет», исчисляет звезды, наконец — силой своего разума проникает в «законы естества» и творит бессмертные ценности культуры, знания и искусства.

Нельзя не заметить, что как по общему духу, так и по отдельным деталям ода Пнина перекликается с радищевской одой «Вольность», в которой тема творческого гения человека выражена в форме монолога «мстителя», влекущего царя-преступника на суд народа:

Покрыл я море кораблями,
Устроил пристань в берегах,
Дабы сокровища торгами
Текли с избытком в городах;
Златая жатва чтоб бесслезна
Была оранию полезна...
Я медны изваял громады,
Злодеев внешних чтоб карать...
Для пользы всех мне можно все;
Земные недра раздираю,
Металл блестящий извлекаю...

(ср. в «Песнях, петых на состязаниях в честь древним славянским божествам»:

О, человек, творение чудесно!
Творенье бренное, о царь земли!..
Пылинка ты в сравнении всего;
Но силен, но велик умом.
Ты мыслию божествен,
Зиждитель и творец!)

Из самого текста оды Пнина ясно видно, что она представляет собою своего рода ответ на знаменитую, уже тогда всемирно прославленную, переведенную на многие языки оду Державина «Бог». Уважительное отношение радищевцев к Державину нисколько не мешало им вступать с ним в спор по основным вопросам мировоззрения. Державинская ода была направлена против «вольнодумцев», усвоивших безбожные материалистические идеи. Пнин отвечает Державину с отчетливо материалистических позиций: державинскому богу в роли «зиждителя вселенной» он прямо и недвусмысленно противопоставляет человека, наделенного пытливым разумом и творческой волей и познавшего высокие истины.

Именно в такой плоскости в оде Пнина поставлена занимавшая очень важное место в просветительском сознании и революционно звучавшая проблема коренного различия между *человеком* и *рабом*. Центральная мысль оды Пнина адресована непосредственно Державину, который в оде «Бог» назвал человека рабом и червем («Я раб, я червь...»). Пнин пишет:

Какой ум слабый, униженный,
Тебе дать имя *червя* смел?
То раб несчастный, заключенный,
Который чувствий не имел:

В оковах тяжких пресмыкаясь
И с червем подлинно равняясь,
Давимый сильною рукой,
Сначала в горести признался,
Потом в сих мыслях век остался,
Что *человек лишь червь земной.*

Пнин с негодованием отвергает подобное представление о человеке, свойственное только духовному «рабу», не верящему в собственную интеллектуальную силу и в свое творческое призвание:

Прочь, мысль презренная! ты сродна
Душáм преподлых лишь рабов,
У коих век мысль благородна
Не озаряла мрак умов.
Когда невольник рассуждает?
Он заблужденья лишь сплетает,
Не знав природы никогда.
И только то ему священно,
К чему насильством принужденно
Бывает движим он всегда.

«Преподлый раб» здесь, конечно, не раб в прямом, так сказать юридическом, смысле этого слова. Это именно духовный раб — человек, слепо покоряющийся обстоятельствам, «насильству», не вступающий с ним в борьбу. Это человек, не знающий и не понимающий законов природы, невольник заблуждений и предрассудков, не способный к самостоятельному рассуждению.

В противопоставлении «раба» и «человека» у Пнина явственно звучит радищевская нота:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, *не раб, но человек*! . .

На эту же тему Радищев писал в «Путешествии» (глава «Хотилов»), доказывая, что рабство духовное неотделимо от рабства гражданского: «Кажется, что дух свободы толико в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать свои страдания, но тягостно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любити свою пагубу». [40] Радищев доказывал, что рабство морально губит человека — равно и раба и рабовладельца: «С одной стороны родится надменность, а с другой робость». И он с особенной энергией разоблачал духовное рабство, потому

что глубоко верил в способность порабощенного народа подняться над рабской психологией и собственной рукой добыть себе свободу.

Пнин в своей оде также со всей определенностью и подлинной человеческой и гражданской страстью ставит вопрос о духовном самоосвобождении раба, о восстании его против всего «рабского», что опутывает его тенетами «предрассуждений» и препятствует пробуждению в нем чувства собственного достоинства, веры в себя, сознания своей самодеятельной силы:

В каком пространстве зрю ужасном
Раба от *Человека я*?
Один — как солнце в небе ясном
Другой — так мрачен, как земля.
Один есть все, другой ничтожность.
Когда б познал свою раб должность,
Спросил природу, рассмотрел:
Кто бедствий всех его виною? —
Тогда бы тою же рукою
Сорвал он цепи, что надел.

Здесь замечательна сама постановка вопроса: человек должен задуматься над тем, «кто бедствий всех его виною?» В этом — идейный центр всей оды. Человек от природы не раб. Его сделали рабом, внушили ему рабскую психологию, узаконили его рабское состояние. Природа назначила человеку быть не рабом, а зиждителем и владыкой мира, и Пнин снова славит духовную мощь свободного человека, способность его быть носителем высоких, благородных чувств:

Прими мое благословенье,
Зиждитель-человек! прими.
Я прославлял в твоем творенье
Не все еще дела твои...

При этом Пнин задается вопросом: кто же вдохнул в человека благородные чувства, кто внушил ему стремление к «благу», кто наставил его на путь гражданских добродетелей?

Кто дал тебе все совершенства,
Которыми блистаешь ты?
Кто показал стезю блаженства
И добродетелей черты?..
Кто правосудие заставил
Тебя дороже жизни чтить?

Кто сострадать тебя заставил
И благо повелел творить?
Кто в сердце огнь возжег священный,
Сей пламень чистый, драгоценный,
Которым гражданин живет;
Его что душу составляет,
Любовь к Отечеству питает
И твердость духа подает?

И наконец, возникает самый важный вопрос — о происхождении души и разума человека:

Скажи мне, наконец: какою
Ты силой свыше вдохновен,
Что все с премудростью такою
Творить ты в мире научен?
Скажи? ..

Далее в первопечатном тексте оды «Человек» («Журнал российской словесности», 1805, ч. I) следовало пять с половиной строк многоточия, и тем самым ответ Пнина на этот главнейший вопрос был утаен от читателя. Архивные разыскания позволили нам восстановить ответ Пнина. Оказывается, на прямо поставленный вопрос о духовных силах человека он ответил столь же прямо атеистически:

... Но ты в ответ вещаешь,
Что ты существ не обретаешь,
С небес которые б сошли,
Тебя о нуждах известили,
Тебя бы должностям учили
И в совершенство привели.

Эти строки были исключены из рукописи цензором И. О. Тимковским. В делах Санктпетербургского цензурного комитета[41] мы нашли донесение Тимковского от 2 декабря 1804 года с предложением «представить г. издателю или сочинителю выбросить или переменить» эти стихи. Пнин не пожелал исказить основную мысль оды и предпочел напечатать ее с цензурной купюрой. Из пересказанного в печати письма известного мистика А. Ф. Лабзина к Н. Н. Новосильцеву выясняется, что Пнин обжаловал решение цензурного комитета в Главном правлении училищ и, якобы, получил дозволение напечатать оду «Человек» полностью (чего, однако, как мы видим, не сделал).

«Молодой писатель Пнин, — сообщал Лабзин, — напечатал * стихи, в которых подсмеивается над истинами веры, говоря просвещенному своему другу: «Ты не мыслишь, как невежды, будто небо смеживается с землею, как глазам простолюдина кажется; для тебя не нужно, чтобы кто сходил с неба, дабы сделать тебя добродетельным и благополучным». Старший цензор И. О. Тимковский не пропустил этих стихов, но Пнин пожаловался в Главное правление училищ, которое, основываясь на § 22 тогдашнего цензурного устава, разрешило их напечатать. Тимковский рассказал этот случай Лабзину и тем причинил ему такую боль, «как будто кто поразил его в самое сердце».[42] Этот эпизод может служить выразительным примером того, сколь болезненно реагировали на безбожные стихи Пнина люди ортодоксальных религиозных убеждений.

Стихи Пнина, запрещенные цензором, также направлены в адрес Державина, который в оде «Бог» на вопрос о происхождении человека ответил следующим образом:

Но будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.
Твое созданье я, создатель!
Твоей премудрости я тварь...

Пнин же категорически утверждает, что человек не есть создание божие, а является созданием самой природы и единственным виновником всех своих дел. Пнин отвергает вмешательство божественной силы в жизнь человека. Тем самым дается ответ и на первый вопрос, поставленный в оде: кто же виновник всех бедствий человека? По общему смыслу рассуждений и доказательств Пнина явствует, что причиной этих бедствий служит нарушение вечных и неизменных законов природы, иными словами — несправедливые, неправомерные условия человеческого бытия (а следовательно, и пороки общественного быта и политического строя), налагающие на человека оковы духовного и гражданского рабства.

Открытое неверие Пнина в божественный промысл делает его оду «Человек» выдающимся явлением в русской поэзии начала XIX века. Исключительность этого стихо-

---

* Следует, очевидно: «написал».

творения выявляется с тем большей убедительностью, если учесть, что и десятилетием — двумя десятилетиями позже русская революционная поэзия отнюдь не изобиловала столь резко выраженными атеистическими идеями. Виднейшие поэты декабризма — Рылеев, Кюхельбекер, А. Одоевский, не говоря уже о Ф. Глинке, как известно, оставались в плену религиозного сознания. Из числа поэтов-декабристов на почве философского материализма стоял один А. П. Барятинский, не проявивший себя в литературе сколько-нибудь заметно и писавший к тому же по-французски.

Поставив смелый вопрос о происхождении человека и ответив на него со всей убежденностью материалиста, Пнин в таком же материалистическом духе ставит вопрос о могуществе человеческого познания, о способности человека не только познавать, но и изменять мир. В заключительной строфе оды он называет в качестве сил, побуждающих человека-зиждителя на жизненный подвиг, — его творческий *труд* и интеллектуальный *опыт*. Только собственным трудом и опытом, без всякого участия «высших существ», человек достиг «совершенства» — познал мудрость, открыл вечные истины, утвердил законы нравственности:

Ужель ты сам всех дел виною,
О, человек! что в мире зрю?
Снискавши мудрость сам собою
Чрез *труд* и *опытность* свою,
Прешел препятствий ты пучину,
Улучшил ты свою судьбину,
Природной бедности помог,
Суровость превратил в доброту,
Влиял в сердца любовь, щедроту, —
Ты на земли, что в небе бог!

Последняя строка, сравнивающая человека с богом, пребывающим «в небе» (не на земле!), как будто противоречит общему атеистическому смыслу оды, с такой прямолинейностью выраженному в ответе на вопрос о происхождении человека. Но это не более как уступка деизму. «Бог», с которым Пнин сравнивает человека-зиждителя, это типичный «бог» деистов, понимаемый как некая безличная «первопричина», действующая через вечные и неизменные законы природы. В условиях безраздельного господства феодально-клерикального мировоззрения деизм служил формой

прогрессивного мышления, выдвигая права разума, проповедуя веротерпимость и свободу совести, подвергая критике догматику и обрядность церкви. В практике мыслителей, стоявших на почве материалистического мировоззрения, деизм, как известно, чаще всего служил скрытой формой атеизма: «Деизм — по крайней мере для материалиста — не более чем удобный и легкий способ отделаться от религии» (*Маркс*).[43]

Представителем другого типа деистического мышления был в кругу поэтов Вольного общества Востоков, на мировоззрении которого заметно сказалось влияние идеалистической философии. Отпечаток этого влияния, лежащий на философских взглядах Востокова, позволяет видеть в них то «примирение материализма с идеализмом, компромисс между тем и другим», которое Ленин считал основной чертой философии Канта.[44] Поэтому и деизм у Востокова обнаруживается в его идеалистическом варианте, не приводившем к разрыву с религией. Бог Востокова есть «душа и центр» «духовного мира», «источник истины, источник красоты», которым «рождаются, цветут, падут народы». В типично деистическом стихотворении Востокова «Бог в нравственном мире» говорится о том, как «иногда могли прослыть богами благотворители, наставники людей» — «законодатели, святители, пророки, которых чистая душа и ум высокий — изображения суть бога самого». Здесь Моисей поставлен в один ряд с Брамой, Таутом, Нумой и Конфуцием. Любопытно, что при первом издании этого стихотворения Востоков счел нужным сделать специальное примечание «для тех читателей, коих благочестие могло бы оскорбиться тем, что здесь поставлен Моисей наряду с языческими законодателями»,[45] а при втором издании — вообще исключил из текста двусмысленно звучавший стих. Деизм в его идеалистическом варианте окрашивает философские оды и другого поэта Вольного общества — Н. Арцыбашева («Случай», «Бессмертие»).

Атеистические мысли в оболочке деизма сквозят также в другой оде Пнина — «Бог». Здесь Пнин, исходя из понятия всеобщей «воли», делает попытку дать деистическое обоснование идеи «бога» как первопричины сущего, которую он допускает в силу целесообразности всего, что происходит в мире:

Систему мира созерцая,
Дивлюсь строению ея:
Дивлюсь, как солнце, век сияя,
Не истощается горя.
В венце, слиянном из огней,
Мрачит мой слабый свет очей.

Но кто поставил оком миру
Сей океан красот и благ?
Кто на него надел порфиру
В толико пламенных лучах?
Теченьем правит кто планет?
Кто дал луне сребристый цвет?

Кто звезды на небесном своде
Во время ночи засветил?
Кто неизменный сей в природе
Порядок дивный учредил?
Стремится к цели все своей —
Льзя ль цели быть без воли чьей?

Где есть порядок, есть и воля,
Которая хранит его:
Вселенной всей зависит доля
От тайного ума сего;
Но льзя ли мне сей ум познать,
Что мог по воле мир создать? . .

Уже было замечено, что текст этой оды, опубликованной после смерти Пнина («Журнал для пользы и удовольствия», 1805, ч. IV), внушает сомнения в своей достоверности. Издатель журнала (А. Н. Варенцов) в примечании к оде извинялся перед читателями, имеющими на руках подлинники или копии сочинений Пнина, за внесенные в текст оды «поправки в слоге». Между тем из всего контекста примечания видно, что поправки касались не только слога, но и содержания, — так что есть основания подозревать, что издатель из цензурных соображений ослабил атеистические мысли Пнина. На такое подозрение наводит, в частности, пятая строфа оды, в которой дается ответ на вопрос: можно ли познать тот ум, «что мог по воле мир создать?» После этого естественно ожидать обращения поэта к разуму, — между тем он неожиданно обращается не к разуму, а к сердцу: «Спросил я сердце — и решенье В моих я чувствиях нашел. . .»

Поэт-мыслитель задается вопросом: неужели все, что видит он в окружающем его «творении», произвел «слепой

случай», а если это даже и так, то неужели самый случай не имел своей первопричины, — ибо человек по собственному опыту знает, что ничто не свершается само собою, «без воли доброй или злой». Ответ гласит, что есть такая первопричина, которую он, поэт, «называет богом»:

О, ты, кого не постигаю,
Но в ком творца миров чту я!
Кого я богом называю...

Но и при такой смягченной постановке вопроса ода Пнина изобилует смелыми положениями, напоминающими атеистическую аргументацию философов-материалистов, в частности Гольбаха и Вольнея. Слух поэта поражен воплями, ропотом и стонами людей, которые, «не зря бедам конца», обвиняют в них не кого иного, как бога. Обвинения эти звучат более чем вызывающе, даже с точки зрения деиста:

Повсюду слышу лишь стенанья!
Народы ропщут на творца:
Доколе будешь злодеянья
Взводить на трон под сень венца?
И под щитом лучей своих
Щадить коварных, гнесть благих?

Идейный смысл этих обвинений против «творца» обнажен достаточно явно, а по своему политическому пафосу они становятся вровень со знаменитыми обличениями реакционной роли церкви, суеверий и религиозного фанатизма в оде Радищева «Вольность»:

Сей был, и есть, и будет вечный
Источник лют рабства́ оков...
Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут;
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
На пользу общую, — рекут.

Самый образ несправедливо карающего, возводящего злодеев на троны и угнетающего людей бога, запечатленный в оде Пнина, также приводит на память строфу «Вольности»:

Всесильный боже, благ податель,
Естественных ты благ создатель,
Закон свой в сердце основал;

Возможно ль, ты чтоб изменился,
Чтоб ты, бог сил, столь уподлился,
Чужим чтоб гласом нам вещал...

Атеистические ноты, звучащие в оде Пнина «Бог», нимало не ослабляются той отповедью, которую в финальных строфах дает «творец» в ответ на обращенные к нему упреки и обвинения людей. Ответ этот выдержан в духе характерной для материалистов апелляции к природе; суть его сводится к тому, что люди сами виновны в терпимых ими бедствиях, поскольку не руководствуются собственным «опытом» и «здравым рассудком». Только разум и опыт могут показать человечеству «правый путь», по которому оно должно итти: «Лишь под щитом священным их Найдете корень зол своих».

Общий вывод, который напрашивается из рассмотрения од Пнина «Человек» и «Бог», сводится к тому, что он был атеистом (хотя и непоследовательным, отдававшим дань деизму).

Тема «человека-зиждителя», руководимого своим разумом и опытом, осознавшего свое призвание к активной творческой деятельности на пользу человечества, с такой остротой и принципиальностью выдвинутая в философских одах Пнина, приобрела в дальнейшем в русской литературе исключительную жизненность. В течение всего XIX века она росла в своем значении и обогащалась в своем идейном содержании в практике передовых мыслителей и писателей, боровшихся за свободные права и творческое призвание человека. В свое время уже было подмечено, что тема «человека-зиждителя» в той ее постановке, какую мы встречаем у Пнина, нашла наиболее полное разрешение у М. Горького, в его гимне Человеку, который «мужественно движется — вперед! и — выше! по пути к победам над всеми тайнами земли и неба».[46]

Тема человека широко разрабатывалась в аналогичном духе и другими поэтами Вольного общества. Уже упомянутый Н. Арцыбашев писал о человеке:

Природы сильный обладатель,
Стихий угрюмый властелин,
Зверей свирепых обуздатель,
Умом и делом исполин,
Которого лишь мановенье

Дает перунам направленье,
Уставы пишет естеству,
Который мыслию единой,
Связуя действия с причиной,
Себя приближил к божеству.

Залог бессмертия человека, — по Арцыбашеву, — в достижениях его мысли и творческого труда:

По правилам земли законов
Давно истлел уж труп Невтонов;
Но что он сделал, то живет
И будет жить на свете вечно;
Когда ж творенье бесконечно,
То как творец его умрет?

Очень значительное место тема человека-творца занимает в творчестве Востокова. Он славил «человечества неутомимый гений»:

Ему же покорён весь свет,
Трудам и розыскам его преграды нет;
Упорнейшие он преграды разрушает,
Себя и мир усовершает...

В трактовке образа человека Востоков перекликается с Пниным:

Земной превыше атмосферы
Взносись, Царь мира, человек!
Расширил ты познаний сферы,
К началам всех вещей востек;
Как луч, проник твой взор сквозь бездны,
Ты круги облетаешь звездны,
Их испытуя вещество:
Тобою взвешен мир, измерен,
Высок твой ум, рассудок верен,
Свое постиг ты естество...

В стихотворении «К строителям храма познаний» Востоков воспел «бессмертные умы» великих ученых, разрушавших основы религиозного мировоззрения на путях непосредственного опыта и ознаменовавших своей деятельностью всемирно-исторический прогресс научного знания:

Вы, коих дивный ум, художнически руки
Полезным на земли посвящены трудам,
Чтоб оный созидать великолепный храм,
Который начали отцы, достроят внуки!
До половины днесь уже воздвигнут он:
Обширен, и богат, и светл со всех сторон...

О, сколь счастливы те, которы довершенный
И преукрашенный святить сей будут храм!
И мы, живущи днесь, и мы стократ блаженны,
Что столько удалось столпов поставить нам
В два века, столько в нем переработать камней,
Всему удобную, простую форму дать:
О, наши статуи украсят храм познаний,
Потомки будут нам честь должну воздавать!..
Итак, строители, в труде не унывайте
Для человечества! — Уже награды вам
Довольно в вас самих, но большей уповайте;
Готовьтесь к звездным вы бессмертия венцам!

В этой связи показательно внимание поэтов Вольного общества к людям русской науки. Пнин посвящает стихи знаменитому русскому врачу, практику и теоретику терапии О. К. Каменецкому, именуя его: «друг человечества нелестный» («Ода на болезнь»). Попугаев пишет «Оду на случай нового сочинения г. академика Лепехина» — восторженную апологию виднейшего русского естествоиспытателя и медика. Попугаев рисует образ большого ученого, самоотверженного труженика науки, «горящего любовью к познаниям» во имя «истины», посвятившего всю жизнь без остатка трудам «для славы россов» и «для пользы общей». В характеристике деятельности И. И. Лепехина особенно подчеркнуты черты научного подвига (Попугаев так и пишет о нем: «Познаний истинный герой!»):

Еще природы в изысканьи
Провед бессмертной жизни век,
При славном дней твоих мерцаньи
Ты новы истины изрек!..
Уж время опочить герою,
Уж время браней меч сложить,
Поникнув лáвровой главою,
В покое, в тихом мире жить!
Но нет — в трудах, неутомимый,
Ты хочешь век свой проводить,
Науки отрасли любимой
Остатки жизни посвятить...

Мелкий поэт Вольного общества Ф. Ленкевич, очевидно интересовавшийся физикой, писал «Стихи на разрыв эолипилы — физического инструмента, которым доказывается упругость паров»; В. Дмитриев с научной — географической и этнографической — точностью описывал в стихах Сибирь и быт сибирских жителей.

25 Зак. 1026.

Этой стороной своего творчества поэты Вольного общества также близки к Радищеву, который был ревностным пропагандистом научного опытного знания («Опыты суть основание всего естественного познания», — писал он), придавал громадное значение науке в деле воспитания человека и сам положил в русской литературе начало «научной поэзии». Установка на усвоение и распространение научного знания, в высокой степени характерная для всей просветительской мысли в России, начиная с Ломоносова, всецело разделялась радищевцами. Современники века великих научных открытий, они не только были знакомы со многими достижениями исследовательской мысли в области астрономии, физики, химии, естествознания, геологии и т. д., разрушавшими старые представления о природе и человеке, но и видели свою задачу в пропаганде нового, научного мировоззрения.

5

Тема человека приобрела в творчестве поэтов-радищевцев отчетливый и вполне конкретный социально-политический смысл. В самом образе человека, конструируемом их поэзией, выделены и оттенены черты *гражданского героя*, выступающего с проповедью определенных идейных убеждений, занимающего определенную общественную позицию. Это уже не «человек вообще», не абстрагированный внеисторический человек просветителей XVIII века, но человек социально обусловленный, представитель новой общественной среды, мыслящий и чувствующий по-иному, нежели воспитанники и носители сословно-кастовой феодальной культуры. Устами этого гражданского героя гласила «истина» — так, как понимали ее свободомыслящие русские люди 1790—1800-х годов, видевшие свое призвание в борьбе против тирании, притом в тех конкретных формах, которые она приобрела в условиях русской действительности. Только в свете исторической действительности, только при учете сложившейся в России обстановки крепостнического гнета и самодержавного произвола, с одной стороны, и растущего протеста народных масс, с другой — полностью раскрывается идейно-политический смысл гражданской поэзии радищевцев.

Тема «человека-зиждителя», деятеля и творца, ревнителя «истины» и гражданского героя самой логикой своего развития приводила радищевцев к постановке вопроса о внутренней, духовной жизни, идейных исканиях и горькой судьбе реального, притом русского, человека, заявившего себя противником существующего порядка вещей, воспитывающего в себе новую мораль, воплощающего новый тип общественного поведения. Речь шла о жизни и судьбе простого человека, не взысканного дарами фортуны, не украшенного внешними отличиями, но богатого нравственными достоинствами своей личности. Это был «частный человек», рядовой член общества, однако не благополучный и бездеятельный обыватель, а мыслящий и одухотворенный высокими идеями *гражданин*, «нелестный друг человечества».

Кстати будет упомянуть в этой связи, что творчество передовых деятелей Вольного общества совершенно свободно от распространенного в поэзии их времени сервилизма в отношении «сильных мира сего». Среди их произведений нет не только верноподданнических панегириков царю, но и льстивых посвящений вельможам и официальным героям. Единственное исключение, с тем большей убедительностью подтверждающее общее правило, — «Гимн на заложение новой биржи» Пнина, написанный к случаю и явно по заказу (но и в этом стихотворении центр тяжести лежит не в прописных комплиментах по адресу Александра I, а в пропаганде идеи свободного развития отечественной торговли). Каждый из поэтов-радищевцев мог бы сказать о себе (словами Н. Остолопова), что пишет

Не для вельмож, не для князей;
Пускай другие их ласкают
И лесть, как пыль, в глаза пускают:
Пишу я для моих друзей.

Зато дружеские обращения и посвящения встречаются в их стихах в изобилии. Борн и Попугаев взаимно обмениваются посланиями, А. Волков пишет стихи «На отъезд Борна», Востоков многократно обращается к своим друзьям-художникам (Ф. Репнину, И. Иванову, А. Фуфаеву). Сюда же относятся многочисленные поминальные стихи радищевцев о Пнине. А если и попадаются у них посвящения лицам, не принадлежавшим к узкому дружескому кругу, то все они

адресованы «частным людям» — Радищеву, В. С. Сопикову, О. К. Каменецкому, Н. П. Осипову (малозаметному литератору, привлекавшемуся к следствию по делу Радищева), И. И. Лепехину, купцу Ангерстейну, совершившему «великодушный поступок», живописцу Дойену, скульптору М. Козловскому.

О предпринимавшихся в кругу поэтов Вольного общества попытках творчески реализовать новые художественные принципы психологического раскрытия душевного мира реального «частного человека» можно говорить в связи с лирикой Ивана Пнина.

Агитационной выразительности гражданской поэзии Пнина сильно способствовал ее конкретно-личностный тон. Лирическая медитация, к которой, наряду с философской одой, тяготел Пнин, конструировала образ поэта-гражданина — добродетельного и вольнолюбивого и вместе с тем несчастного, обиженного жизнью, гонимого «сильными», но мужественно переносящего удары несправедливой судьбы.

Благодаря тому, что для людей, знавших Пнина, образ этот ассоциировался с реальными обстоятельствами несчастливой жизни поэта, стихи его приобретали в их глазах особый эмоциональный оттенок и воспринимались как полная лирических признаний красноречивая «исповедь сердца», имеющая ценность человеческого документа. Некрологические стихи и проза о Пнине служили целям закрепления в сознании читателей именно такого восприятия его творчества: «*Несчастие преследовало Пнина с той самой минуты, как увидел он свет*... Без родителей, без родственников *жил он один во вселенной*. Отечество было его родителем, друзья — родственниками...» и т. д. (Д. Языков).

Интимная лирика Пнина давала достаточные основания для подобного ее осмысления. Сам поэт безусловно сознательно придавал ей характер истинного повествования о грустной жизни добродетельного человека, униженного и оскорбленного в лучших своих чувствах. В лирике Пнина присутствует автобиографическая установка: личность автора и реальные события его жизни стали объектом художественного творчества.

В решении проблемы психологического раскрытия внутреннего мира человека Пнин в общем следовал принципам, внесенным в лирическую поэзию сентиментализмом. Если

художественная теория классицизма игнорировала идею личности, то в практике сентименталистов психологический субъективизм лежал в основе их творческого метода. Однако, как уже отмечалось выше, в творчестве радикальных и консервативных сентименталистов принципы психологического субъективизма приобрели различный смысл.

Карамзин следующим образом формулировал принцип субъективизма: «Вот зеркало души моей... Загляну и увижу, каков я был, как думал и мечтал; а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?» [47] На практике эта установка приводила к узкому субъективизму, к погружению в свою единственную, отдельную, отъединенную от мира душу или, как очень точно выразился Добролюбов, к «самодовольному спокойствию человека, не думающего о счастии других». [48] Поэтому и применявшийся Карамзиным и его учениками метод психологического раскрытия внутренней жизни человека носил отвлеченный, абстрактный характер; человек изображался ими вне реальных общественно-исторических связей и отношений.

Радищев, напротив, изображал человека в его социальной и исторической характерности, в обусловленности его чувств, мыслей и интересов реальной действительностью.

Пнин и в данном случае следовал принципам Радищева, а не принципам его антипода Карамзина. В медитациях и элегических стихотворениях Пнина наличествует сильное лирическое начало. Поэт воспринимает внешний мир сквозь личное переживание, охотно предается рефлексии, самоуглублению. Но при этом самый лиризм Пнина раскрывается в особом качестве — он социально окрашен: злосчастная судьба лирического героя трактуется как следствие общественной несправедливости.

Если сравнить интимную лирику Пнина с одновременно создававшимися лирическими стихами Жуковского, с полной наглядностью выявляется глубокое различие их психологического содержания. У Жуковского, уточнившего и развившего принципы субъективизма, внесенные в русскую поэзию Карамзиным, человек изображен в отвлеченно психологическом плане, как личность внесоциальная. Внимание поэта сосредоточено на анализе абстрагированных переживаний души, отъединенной от реального мира и погруженной в «невыразимое».

Лирический герой Пнина, напротив, изображен в соотношении с объективной социально-исторической действительностью. Это «частный человек» в смысле своего гражданского положения, но он вовсе не «частный» в смысле своего отношения к целому — к жизни, к истории, к человеческому обществу. Тем самым автобиографизм интимной лирики Пнина приобретал известную общезначимость. Личная тема, будучи социально окрашенной, расширялась в своем содержании и вырастала в объективном значении, а самый образ добродетельного и несчастного поэта — жертвы общественных предрассудков — принимал черты обобщенного образа человека, в чьей «частной» судьбе типически воплотилась судьба целой общественной группы.

Я мыслил провести в покое жизни ток,
И с юности моей развратам не подвластен, —
Со склонностью своей не думал быть несчастен.
Когда я выступил на сей превратный свет,
Я счастью льстивому не кинулся вослед
И, не прельщаяся ни славой, ни тщетою,
Пленялся истиной и сердца красотою.
Я зрел, каков сей мир, я видел счастья луч,
Сокрытый в глубине неизмеримых туч...

Но «превратный свет» обманул надежды поэта. Вместо счастья он нашел в мире одни обиды и утеснения: «...с детства самого до юности моей наиподлейших был я жертвою людей». Личная обида за перенесенные страдания разрастается у Пнина в социальное чувство протеста против всякого угнетения в мире, где все основано на несправедливости, где добродетельный человек *«не может* счастлив быть».

О, свет! ужасных бедств, ужасных мук содетель!
Где мзда с пороками равняет добродетель,
Где гордость, до небес касаяся главой,
Невинность робкую теснит своей ногой...
Вращаяся в тебе, я видел подлу лесть,
Хотящу вкрасться в грудь, чтоб больше ран нанесть.
Я зрел в тебе людей коварных, злых, надменных,
Бесстыдностью своей в злорадствах ободренных,
Которых казнь небес, ни совесть не страшит,
Которых бог корысть, а подлость твердый щит!
Я зависть зрел, всегда носящую железы;
Успехи из нее мои исторгли слезы;
Невинного меня искала погубить:
Кто добродетелен, не может счастлив быть...

Далее развиваются темы обманутой дружбы («Я в дружбе кинулся найти успокоенье... Увы! друзья мои! друзья враги мне стали») и «покоя» («В замену счастия найти я мнил покой; Увы! здесь нет тебя, и ищут бесполезно» [49]).

Эта поэтическая исповедь разночинного интеллигента 1790—1800-х годов внесла новую трагическую интонацию в тогдашнюю русскую поэзию, где по преимуществу раздавались либо интимная салонная «болтовня», либо меланхолически-сладостный шопот поэтов дворянского сентиментализма.

Кстати сказать, приведенные стихи Пнина напоминают стихотворение Радищева «Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится...» (напечатанное впервые в 1807 году, но, возможно, известное Пнину в рукописи):

Претящей властию отвсюду окруженный,
На что мне жить, когда мой век стал бесполезен?..
Богатство, власть моя лишь зависть умножали;
В одежде дружества злодеи предстояли;
Вслед честолюбию забот собранье шло;
Злодейство правый суд и судию кляло;
Злоречие, нося бесстрастия личину,
И непорочнейшим делам моим причину
Коварну, смрадную старалось приписать
И добродетели порочный вид придать.
Благодеянию возмездьем огорченье.
— Среди превратности что ж было в утешенье?
— Душа незлобная и сердце непорочно...

Линия психологической лирики, говорившей о судьбе реального «частного» человека, обусловленной его положением в обществе, не получила в поэзии радищевцев заметного развития. Она намечена, в сущности, только у одного Пнина. Что же касается остальных видных поэтов Вольного общества, то они не ставили перед собою подобных задач, сосредоточив свои усилия на внепсихологической разработке образа гражданского героя, долженствовавшего служить рупором воодушевлявших их моральных, общественных и политических идей.

В творчестве поэтов Вольного общества вопрос о гражданском герое ставился и решался как цельная *литературная* проблема. В этом отношении они открыли тот путь, по которому пошла русская революционная поэзия эпохи декабризма. Все художественные средства, которыми они рас-

полагали, были применены к тому, чтобы закрепить в сознании современников впечатляющий образ человека, преисполненного чувствами гражданственности и возвышенной любви к родине. Востокову принадлежит замечательная по своей лапидарной четкости формулировка чувств, воодушевлявших этого человека: *«Любовь к Отечеству и должность гражданина»*.

Гражданственно-патриотическая тема широко представлена в творчестве поэтов Вольного общества. Малоизвестный стихотворец и «синодальный регистратор» И. Г. Аристов при вступлении в Общество представил стихотворение «Патриот» (напечатанное в 1805 году), в котором патриотическая тема трактуется в духе, характерном для всего этого разночинского круга:

...патриот все презирает *
Для счастия своей страны.
Любезная сынам Россия!
Мы за тебя всю кровь прольем!
На что примеры Аристидов,
Сцеволов, Регулов? У нас
Есть тож велики патриоты:
Пожарский, Минин, Филарет,
Которы доблестью своею
Спасли отечество от бед...

Далее Аристов характеризует *истинного* патриота, предвосхищая аналогичные характеристики в гражданской лирике Рылеева. Истинный патриот — это тот,

Кто с твердым духом говорит
За правосудия зерцалом
Святую правду и закон, —
Тот только истинно достойный
Бессмертных лавров патриот,
Потщимся ж истыми сынами
Отечеству драгому быть.

В высшей степени знаменательно, что образцом истинного патриота является для Аристова Кузьма Минин.

---

* В смысле: жертвует собою, своими интересами.

«Какая тень вдали священна?» — спрашивает поэт и отвечает:

То патриот достойный, редкий,
Отечества то истый сын;
То Минин — славный муж, который
От гибели Россию спас;
Незнатный родом, нечиновный,
Простой усердный гражданин. . .

В этом демонстративном выдвижении на первый план не князя Пожарского, но *гражданина* Минина, с подчеркиванием его незнатности и нечиновности, явственно сквозит антидворянская, демократическая установка, окрашивающая патриотизм разночинной молодежи 1800-х годов в своеобразные тона. Напомним в этой связи горячие похвалы патриотическому чувству купечества, мещанства и крестьянства в статье С. Боброва «Патриоты и герои везде, всегда и во всем».

«Любовь к отечеству святая» в понимании радикальных поэтов Вольного общества была неотделима от борьбы с деспотизмом и всяческим угнетением. Они глубоко усвоили радищевское представление о том, что «истинный человек и сын Отечества есть одно и то же», и в их гражданских стихах уже наглядно воплотилось то единство идей патриотизма и свободолюбия, которое Радищев внес в русскую литературу. Их герой, по словам Борна («Ода к истине»),

Будучи сыном отечества славы,
Усердием дышит о благе его;
Премудрость законов благословляет,
Злых тиранов в сердцах клянет. . .

Попугаев, откликаясь на военно-политические события, пишет в 1806 году стихотворение «К согражданам», в котором война с Наполеоном осмысляется как борьба с тираном, покусившимся на вольность русского народа:

Восстаньте, чада громкой славы,
Восстаньте, россы величавы!
Уже враг в гордости своей
Судьбами царств располагает,
Свободе вашей угрожает!
Тебе ли, росс, расстаться с ней?

Тебе ли выю горделиву
Под иго чуждо наклонять,
Судьбу германцев несчастливу
И цепь позорну разделять?

Тут же — апелляция к великим предкам, «древним героям» русского народа:

Сыны российские! мужайтесь,
Примером предков воспламеняйтесь,
Падет надутый силой враг! —
Донским врагов тьмы рассыпались,
Пожарским россы свобождались,
А Петр повергнул Карла в прах.
И вы, героев сих потомки,
Стремитесь лавры пожинать!
Пусть подвиги россиян громки
Ввек будет слава повторять!

Выразительные образцы гражданственно-патриотической лирики, рожденной в атмосфере героики Отечественной войны 1812 года, встречаем у Востокова. В его патриотических стихах вовсе не звучат официозные ноты, но речь идет о всенародном единодушии перед лицом грозной опасности, нависшей над родиной. В стихотворении «Неразрешимый узел» Востоков оригинально переосмыслил тему «гордиева узла», разрубленного Александром Македонским:

Но мог ли б он и сей расторгнуть узел прочный,
Который, граждане, я предлагаю вам?
Ударьте по рукам!
Сплетитеся рука с рукою
И верой, правдою святою
Клянитесь друг за друга стать!
Пусть Македонянин приидет расторгать
Сей узел наш неразрешимый!
Единодушием связуемый, держимый,
И в мире и в войне пребудет крепок он.
Не из ремней, ниже из вервия сурова,
Из нежных прядей соплетен;
Они суть: совесть, честь, храненье данна слова —
Для благородных душ священнейший закон!

Патриотические стихи Востокова, написанные в связи с событиями 1812 года, проникнуты пафосом гражданственности и той символикой тираноборчества, которая характерна для политической лирики радищевцев, а несколько позже стала достоянием поэтов декабристского направления.

Знаменателен в этом смысле и общий стилевой облик данных стихотворений — их «высокий» дифирамбический строй, с подчеркнутой торжественно-патетической ораторской интонацией, обилием «ударных» слов, вмещающих определенный идейно-политический смысл. Таково, к примеру, стихотворение «К россиянам» («Дифирамб»):

Година страшных испытаний
На вас ниспослана, россияне, судьбой.
Но изнеможете ль во брани,
Врагу торжествовать дадите ль над собой?
Нет, нет! еще у вас оружемощны длани
И грудь геройская устремлена на бой,
И до конца вы устоите,
Домов своих, жен, милых чад к защите,
И угнетенной днесь Европы племенам
Со смертью изверга свободу подарите:
Свой мстительный перун вручает небо вам.

И даже обращение Востокова к Александру I, не имеющее ничего общего с традиционным прославлением монарха (поскольку он фигурирует здесь как некий символ всенародного объединения), выдержано все в тех же тонах гражданственной патетики:

Друг человечества! Ты должен был извлечь
Молниевидный свой против злодея меч
И грозное свершить за всех людей отмщенье.
Ты верный свой народ воззвал —
И мирный гражданин бесстрашный воин стал...

Человек, ставящий превыше всего «любовь к Отечеству и должность гражданина», — таков был идеал радищевцев. В порядке обоснования этого идеала И. Борн писал: «Мудрость житейская состоит в том, чтоб... оставаться в горе и радости, в свете и мраке *человеком*, чтущим добродетель и правду превыше всего. О, истина! освети лучом своим ум смертных... Тогда мы познаем божество твое и почтим тебя, как почитали *Сократы*, жертвовавшие тебе всем и сияющие образцами для человечества в роды родов».[50]

Характерно здесь выдвижение имени Сократа. Радищевцы видели в поведении и судьбе афинского мудреца образцовый пример бескорыстного и самоотверженного служения «истине» (Радищев тоже восхвалил Сократа как «воплощенную добродетель» в «Песне исторической»). Образ Сократа, приобретая символическое значение, проходит

через многие программно-декларативные произведения радищевцев именно как образ человека, даже под угрозой смерти не изменившего своим убеждениям. Это был символ стойкости и величия человеческого духа. В условиях русской действительности, в обстановке борьбы провозвестников передовых идей против существующего правопорядка, этот символический образ, естественно, приобретал особую актуальность.

Пнин, «вспоминая о судьбине печальной мудреца сего», восклицал: «Почто не зрим Сократов ныне?», а в другом месте утверждал, что там, где нет правосудия, — «там чашу смерти пьет Сократ». Борн в стихах на смерть Радищева сближает его именно с Сократом (самые обстоятельства гибели Радищева, отравившегося «крепкой водкой», давали особые основания к такого рода сближению):

...и у нас
Имеет правда, добродетель
Своих страдальцев: там Сократ,
Мудрец и смертных благодетель,
Казнен; а в ссылке там стократ
Пьют патриоты смерти чашу...

Попугаев, в свою очередь, упоминает о Сократе в стихотворении, обращенном к Борну.

Мотив гонений и гибели за правду, за свои убеждения красной нитью проходит сквозь поэзию радищевцев. «Но участь правды быть гонимой», — грустно констатирует Борн. Однако при этом радищевцы неизменно подчеркивали стойкость духа гонимого праведника:

Так праведник, гонимый роком,
В терпенье облачен стоит;
Средь бурь, в волнении жестоком,
Он тверд, как сей гранит.

(*Востоков*)

Того, кто правде поборает,
Кто тверд в намереньи прямом,
Ни граждан глас не устрашает,
Ни деспот с яростным лицом,
Претящи быть ему правдивым!

(*Попугаев*)

Не приходится сомневаться, что на формирование в поэзии радищевцев образа гонимого, но стойкого борца за

правду прямое воздействие оказала судьба Радищева. Они писали о «добродетели» в «цепях» и в «изгнании». Отклики Пнина и Борна на смерть Радищева — это не только открытая общественная демонстрация сочувствия личности и делу революционера, загубленного самодержавием, но и первый в русской поэзии опыт создания целостного образа *реального* гражданского героя — не символического тираноборца античной или отечественной древности, но реального человека — современника, с именем, биографией, индивидуальной жизненной судьбой.

Вместе с тем образу Радищева в откликах Пнина и Борна придан обобщающий смысл. Они не ставили перед собою узко биографического задания, но хотели *на примере* Радищева показать типические черты и типическую судьбу свободолюбца и патриота. Борн называет Радищева «истинно великим человеком». Жизненный подвиг этого истинно великого русского человека должен был, по мысли его последователей, служить наиболее впечатляющим примером для современников и потомков, заявивших себя врагами деспотизма и рабства.

В этих целях Пнин и Борн героизировали образ Радищева, пользуясь категориями культивировавшегося ими гражданственно-героического стиля. Элементами этого стиля насыщены стихи Пнина и стихи и проза Борна, посвященные Радищеву. В них до предела сгущена семантика гражданственности, воплощенная в специфических словах-символах, вмещающих в себя определенный идейный и — более того — политический смысл. Такие слова, как: добродетель, порок, гражданин, общество, истина, благо, отечество, злодей, тиран, раб и т. п., расширяясь в своем буквальном смысловом значении, превращались в нечто вроде политического диалекта, и, конечно, не случайно Павел I счел необходимым исключить из литературного и даже бытового употребления целый ряд подобных слов-символов, отдававших «якобинским духом».

Пнин рисует образ Радищева путем нагнетания именно таких слов-символов: «сердце, что *добром* дышало», «уста, что *истину* вещали», «*пламенник ума*», «кто к *счастью* вел путем *свободы*», «кто столько *жертвовал* собою не для своих, но *общих благ*», «кто был *отечеству сын верный*, был *гражданин*. . . и смело *правду* говорил» и т. д. Столь же резко

подчеркнута гражданственная семантика в стихах и прозе Борна: *«истина нетленная»*, *«истина неугасимая»*, *«душа твердая»*, *«пламенная душа»*, которая «объемлет весь мир и роды всех людей», почитает одну *«добродетель»* и, «силы не страшася ложной, *дерзает истину вещать*». Это — в стихах. А вот яркий пример гражданственной семантики, выраженной в форме прозаической ораторской речи: «Кто из грозных бичей человечества, сих кровожаждущих завоевателей, опустошавших страны цветущие и оковавших в цепи рабства вольных граждан! — кто из них, говорю я, наслаждался такими минутами? — Никто! радость их была буйством, торжество их — поруганием человечеству. О, добродетель, добродетель! ты составляешь единственное истинное счастие!» (речь идет о благотворительной деятельности Радищева в ссылке и о благодарных чувствах к нему илимских жителей).

С программной отчетливостью и агитационной прямолинейностью гражданские темы и образ гражданского героя разработаны в стихах В. Попугаева. Стихи эти не блещут особыми художественными достоинствами, но представляют большой интерес, как одно из самых ясных и выразительных проявлений радищевского начала в русской поэзии 1800-х годов. По духу, тону и содержанию гражданские стихи Попугаева резко выделяются из массового потока тогдашней поэзии. Это — поэзия гражданского подвига во имя торжества «общего блага» и утверждения прав человека на свободное существование. В своих стихах Попугаев гневно обличал насилие и произвол, господствующие в мире, славил самоотверженную борьбу с тиранией, звал «за обще благо кровь пролить».

Даже в тех случаях, когда Попугаев касался ходовых, наиболее распространенных тем, он разрешал их по-своему. Так, например, когда Попугаев пишет о дружбе, он вносит совершенно иное содержание в самое понятие дружбы сравнительно с тем, какое вкладывали в него поэты-карамзинисты, с особенным усердием разрабатывавшие жанр дружеского послания. Если у карамзинистов предметом дружеского обмена чувствами в стихах неизменно служили сентиментально-пасторальные или эпикурейско-вакхические радости «частного бытия», то у Попугаева мы встречаем нечто принципиально иное. В его стихах нет ни слова ни об «опро-

кинутых чашах», ни о сладостном отдохновении на лоне природы. У него свое представление о дружбе. Он ценит это чувство необыкновенно высоко:

Дружба! дар небес бесценный,
Сладкий нéктар жизни сей,
Гений мира, всей вселенной,
Божество души моей!

Но, — тут же говорит Попугаев, — если на земле воцарится подлинная дружба, она должна принести с собою «благо» и счастье всем сирым и обездоленным:

Раб не будет пресмыкаться
Пред владыкою своим,
Тяжки цепи истребятся,
Зло рассеется, как дым...

В стихотворении «К друзьям», выдержанном в тоне гражданского поучения, Попугаев излагает целую программу общественного поведения человека в духе моральных концепций просветительства. Человек, осознавший свое истинное назначение в мире, должен не гоняться «за тенью призраков пустых», за «ложной суетой» внешних почестей, презирать «злато Крезов» и не прельщаться «кровавыми лаврами» триумфатора. Он должен быть «доволен титлом гражданина». Ему не приличествует

Блистать богатством, орденами,
В архивах предков вырывать,
Гордиться титлами, чинами,
В сатрапских негах утопать...

Нет, человек-гражданин видит свое призвание в «добрых деяниях», в практической деятельности на пользу человечества. С этой точки зрения Попугаев и формулирует свой идеал дружбы. Это союз людей, воодушевленных гражданскими добродетелями и готовых пожертвовать собою за «общее благо»:

Не будем счастия в сем мире
Средь шумных почестей искать...
Но будем мы всегда готовы
Судьбу несчастных облегчить,
За правду даже несть оковы,
За обще благо кровь пролить...
На сильных суд давать правдивый,
Теснимого не угнетать

И добродетели гонимой
Защиту-помощь подавать...

Программа общественного поведения гражданина изложена Попугаевым и в другом, наиболее удавшемся ему, стихотворении — «Письмо к Борну». Но здесь она изложена, так сказать, негативно — в плане сатирического обличения мнимых «друзей человечества», либеральных краснобаев, решительных на словах и робких на деле (темы этой, как мы уже видели, касался и Пнин). Вот какую выразительную характеристику дает Попугаев такому либералу:

Он любит истину, науки на словах
И пользы обществу как патриот желает!
Франклин, мудрец Сократ велик в его очах,
С Катоном Утики он твердо умирает;
Для пользы лишь одной отечества живет;
Он мужем хочет быть примерным в свете оном
И все полезное священным долгом чтет;
Стремится к истине он с Локком и Невтоном!
Он ставит счастием за правду пострадать;
Согражданам служить в его устах блаженство.
Но к делу приступи! — вот час его узнать —
Чтоб добродетелей сих видеть совершенство!
Красноречивый твой умолкнул Демосфен,
Утический Катон кинжал из рук бросает,
Жалеет, в веки что прошедши не рожден, —
О настоящем же лишь только воздыхает!
В минуту в нем и жар и огнь его пропал —
Куда девалося к изящному стремленье?
Мудрец наш, наш герой, как лист затрепетал —
Не от опасности, но от воображенья!
О красноречии своем он позабыл,
Не пользы обществу — покоя лишь желает;
Уж все ему равно — лишь он не тронут был,
Как хочет кто другой, — а он все оставляет.

С горячностью выступал Попугаев в защиту веротерпимости и признания природного равенства людей без различия рас и национальностей. Только тот «велик душой», «кто чужд смешных предубеждений, не враг других для веры мнений», кто видит и в «кафре» и в «лапонце» (то есть лапландце) своих «братьев»:

Блажен, блажен тот друг людей,
Кто может снять с себя оковы
Предрассуждений света всех —
Любить, как братьев, все народы,

Не знать себе иных утех,
Как зреть счастливы смертных роды!

Но все это — идеал, мечта, воодушевляющая «друга человечества». Современное же состояние человека в мире — рабское, бесправное, и Попугаев изображает это состояние в мрачных красках. В мире царит вопиющая несправедливость:

Невинный страждет в утесненьи,
Злодей безбедственно живет.
Один в слезах смыкает очи,
В скорбях, рыданьях восстает,
Проводит в сетованьи ночи,
В труде поносном жизнь влечет;
Другой на розах засыпает,
Богатств в избытке и честей...
Один, быв иста добродетель,
Помощник страждущим в бедах,
Злосчастных, сирых благодетель,
Влечет жизнь в тягостных цепях...
Другой, пограбя миллионы,
Покрывши кровью целый мир,
Наруша все права, законы,
Хвалы внимает льстивых лир,
Себя не чтит едва за бога,
Главой, владыкой смертных всех...
Вотще питают нас надежды:
Правдивость в мире не живет,
Здесь чаще счастливы невежды,
А добрый, мудрый слезы льет...
Камиллов в ссылку посылают,
Дионам смертью платят злой...

Сквозь поэтические метафоры здесь проступают черты реального общественного быта, — и «поносный труд» и «тягостные цепи» слишком явно намекали на русскую крепостническую действительность, и, может быть, в упоминании о ссылке добродетельного Камилла тоже можно видеть намек на судьбу Радищева.

Но отнюдь не пессимистический взгляд на современное состояние человека ближайшим образом определяет идейную тональность поэзии Попугаева. В ней резко звучит нота гражданского негодования. Лирический герой Попугаева полон раздумий о судьбах земных владык, не радеющих о «благе общем», и эти его раздумия приобретают ясно выраженный революционный характер, проникнуты радищевской верой в грядущее торжество справедливости.

26 Зак. 1026.

Герой провидит время, когда правый гнев угнетенных покарает тиранов за их злодеяния:

Он видит: и златые троны
Падут, повержены судьбой,
Тиранов скипетр и короны
Не примирят их с долей злой!
Димитрий, стражей окруженный,
Нерон в палатах золотых
Падут от черни разъяренной
И гибнут от деяний злых...

Тема неизбежной гибели тирана, в той же плоскости исторических аналогий, развернута и в стихотворении «Пигмалион». Поэт призывает тирана прислушаться к «плачу бедных», ибо:

Где стон из груди излетает,
Где добродетельный в цепях,
Там меч свой правда вынимает,
Зрит Дионисий смерти страх,
И ужас мук ему награда
Средь шумных празднеств и пиров!

Стихи Попугаева могут служить примером программно-декларативного решения проблемы гражданской поэзии. При этом Попугаев, писавший в обычной манере, не ставил перед собою задачи выработки нового поэтического стиля. Другие поэты Вольного общества — И. Борн и особенно А. Востоков, решая ту же проблему, тесно связывали ее с определенными заданиями собственно художественного порядка. В стихах Востокова (равно как и в некоторых произведениях Борна) гражданская тема получила специфическое *стилевое* выражение и при этом не только не утратила своей силы и агитационной направленности, но еще более углубилась в своем идейно-смысловом содержании, ибо в основе творческой работы Востокова лежала установка на освоение новых приемов выражения *мысли* средствами стиха.

Крупную конструктивную роль в практике поэтов Вольного общества играла героика античной истории — образы гражданских героев древней Греции и республиканского Рима, вызывавшие в сознании читателя конкретные моральные и социально-политические представления. К этой героике обращались Пнин и Попугаев, но лишь

у Борна и Востокова она стала одной из основных категорий поэтического стиля. Оба эти поэта в самом начале XIX века предвосхитили ту тенденцию революционного осмысления и истолкования античной героики, которая в дальнейшем получила очень широкое распространение в творчестве поэтов-декабристов и молодого Пушкина.

В этой связи уместно напомнить известные слова Маркса (в «Восемнадцатом Брюмера Луи Бонапарта»): «В классически строгих преданиях римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии».[51] Русские радикалы и демократы «разночинного состояния», воодушевлявшиеся в своей борьбе против феодальной идеологии и культуры идеалами буржуазной революции XVIII века, также искали в античной древности примеры гражданской доблести, которые были бы способны опоэтизировать, представить в особом героическом свете стоявшие перед ними социально-политические задачи.

Самые имена гражданских героев античного мира, подобно «словам-символам», были насыщены семантикой гражданственности. Брут, Катон, Курций, Гармодий и Аристогитон, Муций Сцевола, Аристид и т. п. — за каждым из этих имен стоял в сознании просвещенного человека того времени, когда писали поэты Вольного общества, вполне определенный и готовый круг ассоциаций, находивших свое продолжение в сфере явлений живой социально-политической современности. Когда Востоков говорил: «Учась Катоновым и Брутовым примером», он высказывал тем самым определенную политическую идею, и читатель отлично понимал, что именно хотел сказать поэт. Когда тот же Востоков на протяжении шести строк упоминал о Сократе, «правдивом Аристиде», Регуле, «верном истине Тразее» и «тирановом льстеце Дамокле», — он до предела сгущал в символических образах идейно-смысловое содержание стихотворения. Это была тщательно разработанная система «аллюзий» — намеков, в которой образы и понятия, заимствованные из истории, играли роль поэтических формул с прочно закрепленным смыслом, служили своего рода

«сигналами», наводящими на современность. Когда читатель встречал, скажем, у Пнина такие стихи, как:

Превозмогал ты все преграды,
Во благе общем зря награды,
То духом Сцеволы горел,
Как Курций бездны презирая,
Для пользы общей погибая,
Быть равным сим мужам хотел, —

то он отчетливо понимал, что дело тут вовсе не в исторических Муции Сцеволе и Курции, но в том, что поэт воспользовался их именами как поводом для того, чтобы высказать волнующую его идею, по необходимости прибегая к условному языку исторической символики. [52]

Разительный пример конкретно политического, злободневного осмысления гражданской героики античной древности представляет собою «Ода Калистрата» Борна:

Вечно пребудет на земле слава
Гармодия и Аристогейтона!
Тиран пал от руки вашей! вольность
Дана вами Афинам и правосудие!

Меньше всего это — стихотворение на историческую тему об убийстве тирана Гиппарха. Читатель мог и не знать об этом событии, и поэт вовсе не рассчитывал на его осведомленность. Весь смысл стихотворения — исключительно в его «аллюзионности»: своей темой, самым подбором специфических слов, вмещавших семантику гражданственности, стихотворение, во-первых, говорило о борьбе с тиранией вообще, а во-вторых (и это главное), явно для всякого сколько-нибудь сообразительного человека намекало на только что совершившееся удушение отечественного тирана — Павла I.

В порядке подведения итога всему сказанному выше целесообразно привести целиком программную «Оду достойным» Востокова, которой мы уже касались в другой связи. Это — своего рода шедевр поэзии радищевцев, в котором нашли наиболее отчетливое и художественно совершенное выражение и воодушевлявшие их идеи, и характерные черты культивировавшегося ими высокого и монументального героически-гражданственного стиля, и, наконец, утверждавшийся ими образ «поэта нельстивого», чтущего

«только истину» и в «важном тоне» славящего настоящих гражданских героев.

Дщерь всевышнего, чистая Истина!
Ты, которая страстью не связана,
Будь днесь музой поэту нельстивому
И Достойным хвалу воспой!

Дети счастия, саном украшенны!
Если вы под сияющей внешностью
Сокрываете слабую, низкую
Душу, — свой отвратите слух.

К лаврам чистым и вечно невянущим
Я готовя чело горделивое,
Только Истину чту поклонением;
А пред вами мне ль падать ниц?

Нет; — кто, видев, как страждет отечество,
Жаркой в сердце не чувствовал ревности
И в виновном остался бездействии, —
Тот не стоит моих похвал.

Но кто жертвует жизнью, имением,
Чтоб избавить сограждан от бедствия
И доставить им участь счастливую, —
Пой, святая, тому свой гимн!

Если мужество, благоразумие,
Твердость духа и честные правила
Совместилися в нем с милосердием, —
Он воистину есть Герой!

О, коль те в нем находятся качества,
Он составит народное счастие;
Поздних правнуков благословение
Будет в вечность за ним итти.

Многих мнимых героев мы видели,
Многих общего блага ревнителей;
Все ли свято хранят обещание
Быть отцами, закон блюсти?

Но кто к славе бессмертной чувствителен,
Тот потщится, о Граждане, выполнить
Долг священный законов блюстителя
И приимет хвалу веков,

И такому-то, Муза божественна,
О, такому лишь слово хваления,
В важном тоне, из уст благопесливых,
Рцы языком правдивым ты!

Новые идеи и новый поэтический стиль представлены в этом превосходном стихотворении в целокупности, как органическое единство. Это — идейный манифест всей группы радищевцев, обнародованный в ответственный исторический момент как непосредственный отклик на важнейшее событие современности (та же смерть Павла I), и — вместе с тем — это творческая декларация Востокова как поэта-новатора, ищущего новые, неисхоженные пути в поэзии.

«Ода достойным» вплотную подводит к вопросу о той заметной роли, которую сыграл Востоков в деле обновления русской поэтической культуры.

6

Как поэта Востокова постигла необычная и в общем неудачная судьба. Он прожил длинную жизнь (современник Державина и Радищева, он был свидетелем отмены крепостного права), его плодотворная научная деятельность продолжалась свыше полувека и доставила ему громкую и почетную известность «отца славянской филологии», но как поэт он целиком принадлежит эпохе 1800-х годов.

Примерно в середине десятых годов Востоков перестал писать стихи (несколько случайных стихотворений, написанных позже, и переводы сербских народных песен, напечатанные в 1825—1827 гг., не могут итти в счет). Столь раннее выпадение его из живой литературной современности безусловно определило в известной мере и то обстоятельство, что за очень редкими исключениями он не попадал в поле зрения историков русской поэзии. Последнее объяснялось еще и тем, что при полной условности и схематичности общепринятой до недавнего времени концепции русского литературного процесса конца XVIII — начала XIX века Востокова трудно было причислить к какому-либо определенному поэтическому направлению.

Однако Востокову по праву принадлежит видное место в русской поэзии 1800-х годов. Он сказал в ней новое

слово, ни в малейшей мере не повторив при этом ни Батюшкова, ни Жуковского. Проблема Востокова — проблема поэта-одиночки, смелого и талантливого новатора, пошедшего наперерез установившимся традициям поэтической культуры и достигшего на этом пути известного успеха.

Творческая работа Востокова в области поэзии, носившая следы глубокого теоретического осмысления, была тесно связана с его научной филологической деятельностью. Его творческие и научные интересы зачастую смыкались, и в ряде случаев он практически решал в стихах те самые вопросы, которые составляли предмет его исследовательского внимания. Так, например, исходя из своих филологических интересов, он первым из русских поэтов взялся за перевод славянского эпоса. Выполненные Востоковым (уже в двадцатые годы) переводы чешских и сербских народных песен приоткрыли перед русским читателем обширный мир западнославянской поэзии.

Точкой соприкосновения творческих и научных интересов Востокова явился, в частности, его замечательный труд — «Опыт о русском стихосложении», впервые опубликованный в 1812 году («Санктпетербургский вестник», ч. II). В 1817 году Востоков издал «Опыт» отдельно в расширенной редакции, дополнив его «Критическим обозрением стопосложных размеров, употребительных в российском стихотворстве». Книга эта, посвященная в основной своей части исследованию так называемого «народного» русского песенного стиха, впервые вводила в научный оборот понятие особой системы стихосложения, основанной на счете ударений, а не слогов. Являясь первым серьезным теоретическим обоснованием системы русского тонического стихосложения, «Опыт» Востокова не потерял своего значения и до настоящего времени.

Востоков-ученый заслонил собою Востокова-поэта. Стихотворческая его деятельность была довольно быстро забыта. А полвека спустя после выхода в свет первого сборника стихотворений Востокова — «Опыты лирические» (1805—1806) на страницах «Отечественных записок» было сделано «открытие»: оказалось, что знаменитый филолог в свое время занимал далеко не последнее место в ряду русских поэтов. [53]

В сознании современников поэзия Востокова действительно была крупным литературным явлением, и недаром его стихи целыми сериями перепечатывались в поэтических хрестоматиях и различных «Собраниях образцовых сочинений». Не говоря уже о том, что в своем кружке—Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств — Востоков был непререкаемым авторитетом и арбитром по вопросам литературного мастерства и эстетического вкуса, к его творческой работе внимательно присматривались представители различных поэтических школ и направлений начала XIX века.

«Опыты лирические» были встречены весьма сочувственно. В «Любителе словесности» Н. Ф. Остолопова писали: «Г. Востоков изданием сочинений своих сделал приятный подарок российской словесности. Читая их, можно чувствовать, что он родился поэтом. Нигде не увидите той *принужденности*, столь свойственной некоторым нашим стихотворцам и прозаикам, сделавшимся писателями против воли природы... Желательно, чтобы чаще выходили подобные книги».[54] Столь же сочувственным был отзыв «Вестника Европы»: «Автор под скромным названием Опытов представляет благосклонности читателей и суду критиков свои сочинения, которыми, как нам кажется, и читатели и критики останутся довольны: те и другие найдут в стихах г-на Востокова талант, вкус и знания, обещающие много хорошего... Скажем, что г. Востоков знает, в чем состоит тайна поэзии, непроницаемая для самозванцев-поэтов. Погрешности не закрывают дарования, которое г. автор Опытов обрабатывает с таким успехом».[55]

Любопытно, что на признании поэтического дарования Востокова сходились люди самых разных общественно-политических убеждений и литературных вкусов.

Шишков, выдвигая кандидатуру Востокова в члены Российской академии, особо отметил его заслуги в области поэзии.[56]

Убежденный и воинствующий архаик А. Палицын в своем «Послании к Привете» (1807) отзывался о молодом стихотворце достаточно благосклонно, осуждая, впрочем, его за вредное пристрастие к «новшествам». Но этот голос литературного старовера был одиноким. Именно новаторские тенденции Востокова вызывали живые отклики в литературной среде.

Известный реакционер А. С. Стурдза, не бывший цеховым литератором, но тесно связанный с Беседой любителей русского слова, в глубокой старости засвидетельствовал, что «когда-то страстно любил, изучал и перенимал» стихотворения Востокова — «задумчиво-прекрасные, в которых дышит истинный лиризм и пленяет читателя классическое разнообразие размеров». [57]

В то же время представитель декабристского литературного движения В. К. Кюхельбекер отводил Востокову почетное место в ряду замечательных русских поэтов «от Ломоносова до Жуковского» [58] и, как увидим дальше, особо подчеркивал его выдающуюся роль в истории борьбы за обновление русской поэтической культуры.

Литераторы карамзинистской ориентации в свою очередь высоко расценивали стихотворения Востокова. Пурист Дмитриев назвал их «прекрасными», а самого Востокова — «истинным поэтом», высказав только пожелание, «чтоб он убегал низких слов, как то: *истомить* вместо утомить, *подмога*... да исправнее был в рифмах». [59] «Вы предупредили мое желание, показав нам опыты с разных размеров греческих и римских, — писал Дмитриев Востокову. — Мне давно хотелось, чтобы поэты наши пели не одним только ямбом и хореем: чем более перемен в музыке, тем более удовольствия для слушателя. Все показанные вами размеры приятны и в нашей поэзии, кроме горацианского, употребленного вами в пиесе: К Борею». [60]

Батюшков в своей программной «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (1816) отмечал «стихотворения Востокова, в которых видно отличное дарование поэта, напитанного чтением древних и германских писателей». [61]

Жуковский выговаривал Александру Тургеневу: «По письму твоему вижу, что ты не очень жалуешь Востокова. Грешишь, любезный друг; этот человек с истинным стихотворческим талантом. Я предсказываю, что он будет одним из хороших наших стихотворцев. Надобно ему только очистить слог. В его стихах виден человек с мыслями, с чувством, с воображением и наполненный духом древних. Желаю от всего сердца ему образования и успеха». [62]

Для характеристики благожелательного, в общем, отношения к Востокову младших карамзинистов-арзамасцев можно привести позднейший отзыв самого Александра

Тургенева: «Много в поэзии его прекрасного, но и в ней он иногда кажется заикою. Есть какая-то петровская шероховатость, уравненная большим вкусом и образованностью нашего времени, но он истинный поэт... Часто и неумолимый Блудов называет его поэтом».[63] Здесь характерна ссылка на Д. Н. Блудова, бывшего в «Арзамасе» наиболее ортодоксальным блюстителем карамзинистских традиций.

Также и П. А. Вяземский много лет спустя, высмеяв «довольно нестройные и смешные» стихи Востокова:

О гармония какая
В редкий сей ансамбль влита, —

тут же «поспешил оговориться»: «Кроме того, что он искупил их, а может быть и другие стихотворные промахи, своею глубокою и многополезною ученостью, он и как поэт в начале нынешнего столетия явил несомненные признаки дарования. Он был нередко поэтом мысли и чувства. Если ухо не могло заслушиваться музыкальностью стиха, то стих его часто поражал читателя внутренним достоинством... Он часто и нередко удачно покорял русскую просодию разнообразным метрам древних языков».[64]

П. А. Плетнев в 1844 году, вспоминая, как он и Дельвиг «некогда перечитывали» стихи Востокова, нашел в них, «несмотря на устаревший их язык, много истинной поэзии». Заслугу Востокова Плетнев видел в том, что, «начав писать ранее Жуковского [что, кстати, не совсем справедливо. — *В. О.*], он явно отделился от Державинской школы и, обогатившись сокровищами латинской и немецкой поэзии, внес в это искусство разнообразие всех метров древних и новейших и придал стихам новость содержания, несколько живых красок и свободу в выборе предметов».[65] Знаменательно здесь упоминание о Дельвиге: в его «русских песнях» и опытах «подражаний древним» явственно различимы следы влияния, оказанного Востоковым.

В 1821 году Востоков вторично издал собрание своих стихотворений, «исправленное и умноженное». Уже выпавший к тому времени из литературы поэт, естественно, не мог рассчитывать на особенно шумный эффект своего запоздалого выступления. Книга действительно прошла почти

не замеченной. Однако в единственном отзыве о ней, появившемся в «Сыне отечества», поэтическое творчество Востокова было расценено очень высоко: «Возвышенность, благородство и сила чувства, истина мыслей, оригинальность выражения составляют отличительное свойство произведений г. Востокова, который, по свидетельству самых строгих и прозорливых критиков наших, заслуживает имя истинного поэта. И то самое, что некоторым читателям кажется слишком необыкновенным и даже диким, свидетельствует о его *собственном,* незаимствованном даре. Он уже несколько лет не пишет стихов, которые составляли занятие и услаждение молодых лет его, и ныне издал полное собрание всех своих пиитических произведений, имеющее право на отличное место в библиотеке всякого любителя поэзии». [66]

Все эти отзывы приведены здесь с двоякой целью. Во-первых, ими исчерпывается дошедший до нас материал, свидетельствующий о восприятии поэзии Востокова его современниками; во-вторых, приведенные отзывы позволяют поставить вопрос о Востокове-поэте в историко-литературном плане.

При этом нужно отметить одно решающее обстоятельство. При всей разноречивости и разнонаправленности критических замечаний, сделанных по поводу стихов Востокова литераторами различных ориентаций (если одни из них возражали против пристрастия поэта к «новшествам», к «новым фантазиям», то другие, напротив, упрекали его за архаистическую «шероховатость», «нечистый слог» и «низкие слова»), все они единодушно обращали особое внимание на резко выраженную оригинальность поэтической манеры Востокова и на отличающее его стихи «разнообразие метров».

В 1817 году В. К. Кюхельбекер, критик тонкий и проницательный, писал в статье «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности»: «Несмотря на усилия Радищева, Нарежного и некоторых других, — на усилия, которым, быть может, со временем узнают цену, — в нашей поэзии даже до начала XIX столетия господствовало учение, совершенно основанное на правилах французской литературы. Стихи без рифм не почитались стихами; одни только Лагарпом одобренные образцы имели у нас достоинство; не

хотели верить, чтобы у немцев и англичан могли быть хорошие поэты. Тиранство мнения простиралось так далеко, что не смели принимать никакой другой меры, кроме ямбической... Востоков изданием своих «Опытов лирической поэзии» изумил, можно даже сказать — привел в смущение публику; в сей книге увидели многие оды Горациевы, переведенные мерою подлинных стихов латинских. Он показал образцы стихов сафического, алцейского, элегического и говорил с восторгом о произведениях германской словесности, дотоле неизвестных или неуважаемых». И далее Кюхельбекер называет двух крупных поэтов — Гнедича и Жуковского, подхвативших почин Востокова: «Гнедич вводит у нас героические стихи древних... Жуковский не только переменяет внешнюю форму нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства». Кюхельбекер подчеркнул идейную сторону данного вопроса, утверждая, что смысл новых явлений в русской поэзии, тесно связанных с творческими исканиями Востокова, заключался в стремлении присвоить русскому языку «национальный дух» — «свободный и независимый».[67]

Высказыванию Кюхельбекера нельзя отказать в прозорливости и обоснованности. Он совершенно правильно и справедливо оценил по достоинству значение предпринятой Востоковым работы в области реорганизации русского стиха и — шире того — обновления русской поэтической культуры. Впрочем, следует заметить, что представление Кюхельбекера о Востокове как о предшественнике Жуковского было ошибочным: и генезис и направление творческой деятельности Жуковского были иными (хотя и он безусловно в какой-то мере использовал опыт Востокова). Зато в отношении Гнедича замечание Кюхельбекера было вполне основательным. Именно в стихах Востокова отчетливо проявилась тенденция нового понимания античности как гражданского и эстетического идеала, которая получила наиболее полное выражение в творчестве Гнедича.

Этой тенденцией в значительной мере объясняется устойчивый и напряженный интерес Востокова к проблеме освоения стиховых форм античной поэзии. В системе эстетических взглядов Востокова античность занимала очень важное место. При этом он уже приближался к предроман-

тическому представлению о «подлинной» античности как локальной исторической культуре во всей ее цельности и характерности. Такое понимание античности, разрушавшее абстрактное, рационалистическое и внеисторическое истолкование ее, принятое в нормативной эстетике классицизма, служило в общеевропейских масштабах одним из основных принципов антифеодального художественного мышления и привело к созданию стиля буржуазно-революционного классицизма. Творчество Востокова как раз и было на русской почве одним из наиболее ярких проявлений этого нового классицизма, развивавшегося вне традиции французского придворного классицизма эпохи подъема феодально-абсолютистской культуры. В таком плане и надлежит рассматривать обращение Востокова к античным стиховым формам, соотнесенным в его поэтической системе с задачей утверждения национально-самобытного монументального и возвышенного героико-гражданственного стиля. Востоков подчеркивал именно эту сторону вопроса: «Желательно, чтобы русская поэзия обогатилась приятными размерами греков и римлян, — писал он в 1802 году: — язык наш духом своим ближе всех языков европейских к Виргилиеву и Горациеву языку».[68] Поэтика Востокова носила целостный и органический характер: принцип выразительности стиля распространялся на все компоненты стиха; гражданская героика античного мира, ее идеи, темы и образы, должна была получить адэкватное стилевое и даже метрическое оформление.

При рассмотрении вопроса об освоении русской поэзией античных размеров следует различать два момента. Во-первых, речь шла о гекзаметре, который противопоставлялся «однообразному» и «напыщенному» шестистопному ямбу в качестве стиха, наиболее отвечающего духу и жанру героической эпопеи. С другой стороны, обсуждался вопрос о размерах, пригодных для лирических жанров. Востоков не решал в своем творчестве проблему стихового эпоса; внимание его было сосредоточено на разработке логаэдических (неравномерных) античных размеров и строфических композиций, а также оригинальных полиметрических конструкций.

Новаторская работа Востокова в области реорганизации русского стиха шла не только по линии освоения античной

метрики, но и по линии литературной обработки и имитации стиховых форм русской народной поэзии, прежде всего — песни. При этом в качестве специфического «народного» размера — «русского склада» — выдвигался безрифменный хорей дактилического окончания. Эти две на первый взгляд различные тенденции практически играли одну и ту же роль, поскольку обе сводились к выработке новых, более свободных, стиховых форм за счет преодоления укоренившейся системы силлабо-тонического стихосложения, узаконенных ямбов и обязательной рифмы. Стремление творчески освоить «народный» стих, характерное для довольно широкого круга русских поэтов конца XVIII — начала XIX века, было связано с предромантической идеей народности, с подъемом интереса к национальной культуре, в частности — к народному творчеству. Историко-литературный смысл данного явления заключался в том, что обращение к фольклорным стиховым формам, равно как и разработка античного стиха служили целям освобождения поэзии от стилистических шаблонов и строго нормативной поэтики классицизма.

Востокова нельзя назвать пионером в этой области; у него было немало предшественников, боровшихся за освобождение русского стиха от стеснительных норм и узаконений. Историю этой борьбы можно проследить на протяжении длительного периода. В практике поэтов XVIII века она сводилась главным образом к ликвидации рифмы.

Достаточно вспомнить в этой связи роль В. К. Тредиаковского с его «Тилемахидою» — хотя и неудачной, но смелой и имеющей значение исторической заслуги попыткой создания русского гекзаметра. Тредиаковский же первый из русских поэтов поставил вопрос о белом стихе в теоретической плоскости в своем «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (первое издание 1732 года; вторая, переработанная, редакция 1752 года), а более четко — в предисловии к «Аргениде» (1751), в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» (1755) и в предисловии к «Тилемахиде» (1766). Тредиаковский называл рифму «шумихой, не существенной стихам, но токмо посторонним украшением, употребляемым для услаждения слуха», «детинскою сопелкою», «отроческою

игрушкою, недостойною мужеских слухов»; особенно же возражал он против рифм в героической поэме и в стиховой драме, рекомендуя белый стих как «пристойный» даже и для одической, «высокой» лирики. Знаменательно, что Тредиаковский уже ссылался в этой связи на традицию русского народного безрифменного стиха, доказывая, что «сей род стихов... не долженствует казаться нам ни новым, ни диким: он есть возврат от стихотворения странного, детского и неправильного к древнему нашему сановному, свойственному и пристойно совершенному».[69]

К 1750-м годам относятся метрические эксперименты Сумарокова, хотя полемически и заостренные против опытов Тредиаковского, но по существу игравшие одинаковую с ними роль. Сумароков пробовал писать разными античными размерами; встречаются у него горацианские и сафические строфы. В дальнейшем линия эта была продолжена целым рядом русских поэтов второй половины XVIII века от Хераскова до Карамзина включительно.

Карамзин широко пользовался белым стихом в своей поэтической практике и еще в 1788 году писал Дмитриеву: «Если вздумаешь воспеть великие подвиги воинства нашего, то, пожалуй, пой дактилями и хореями, греческими гексаметрами, а не ямбическими шестистопными стихами, которые для героических поэм неудобны и весьма утомительны. Будь нашим Гомером, а не Вольтером».[70]

Видный представитель державинского кружка Н. А. Львов опубликовал в 1793 году «Песни норвежского витязя Гаральда Храброго», взятые им из «Датской истории» Маллета и «переложенные на российский язык образом древнего стихотворства». Еще прежде того, в 1790 году, в предисловии к «Собранию русских песен, положенных на музыку Прачем», Львов выступил в защиту «многоразличных по роду и мере» стихов «русского стопосложения». Известно, что Львов около 1784 года «в некотором кругу друзей своих, рассуждая вообще о преимуществах тонического стихосложения пред силлабическим, утверждал, что и русская поэзия больше могла бы иметь гармонии, разнообразия и выразительных движений в тоническом вольном роде стихов, нежели в порабощении только одним хореям и ямбам; и что можно даже написать целую русскую эпопею в совершенно русском

вкусе».[71] Реализацией этого утверждения явилась «богатырская песня» Львова «Добрыня» (начало 1790-х годов), первая часть которой была опубликована только в 1804 году (в журнале «Друг просвещения», ч. III).

В 1794 году против рифмы высказался карамзинист В. С. Подшивалов,[72] а в 1795 году появилась написанная «русским складом» поэма Карамзина «Илья Муромец». В примечании к поэме Карамзин писал: «В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская. Почти все наши старинные песни сочинены такими стихами».[73]

В 1798 году горячим защитником белого стиха выступил Семен Бобров в поэме «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе» (второе, переработанное, издание 1804 года — под новым заглавием: «Херсонида, или Картина лучшего дня в Херсонесе Таврическом. Лирико-эпическое песнопение»). Здесь Бобров предпринял попытку утвердить в правах эпического стиха безрифменный четырехстопный ямб. Опыт Боброва был грандиозен и смел, но бесплоден: огромная описательная поэма, любопытная во многих отношениях (между прочим, как единственный в своем роде образец «научной поэзии» — с подробнейшим и точным описанием природы Крыма, его зоологии, ботаники, геологии и т. д.), отличается крайней монотонностью, и читать ее подряд в высшей степени трудно. Между тем стремление освободиться от рифмы вовсе не было претенциозной причудой Боброва, но имело для него глубокий смысл.

Об этом свидетельствует интересное предисловие к «Тавриде». Здесь Бобров, вслед за Тредиаковским называя рифму «готическим убором стихов», заявил, что она не только не обязательна, но и вредит стиху: «Мне бы казалось, что рифма никогда еще не должна составлять существенной музыки в стихах... Можно чувствовать доброгласие и стройность не в рифмах, но в искусном и правильном подборе гласных или согласных букв, употребленных кстати в самом течении речи, что и служит согласием музыкальных тонов... Кто из стихотворцев, хотя несколько любомудрствующих, не ощущает тяжести их [рифм], ради которой он принужден лучшую мысль и сильнейшую картину понизить или ослабить и вместо оживления, так сказать, умертвить ее? Ибо рифма, часто

служа будто некиим отводом прекраснейших чувствий, убивает душу сочинения. Благодарение судьбе просвещения, что некоторые из наших отважных умов согласились на то, чтобы оставить сей образ *готической* прикрасы!» (Упоминая о «наших отважных умах», Бобров имел в виду ближайшим образом Радищева, высказавшегося против рифмы в «Путешествии» и писавшего белые стихи; укажем кстати, что Радищев во вступлении к поэме «Бова» сочувственно отозвался о «Тавриде» и сослался на приоритет Боброва в деле разработки безрифменного стиха.)

Таким образом, в представлении Боброва борьба против рифмы оборачивалась борьбой за смысл в поэзии, и этот момент характерен не для одного Боброва. При этом наиболее существенно, что стремление Боброва освободиться от «наемных уз» как в области стихосложения, так и в области поэтического языка (он резко возражал против употребления «чужестранных слов» и предлагал заменять их «с патриотическим старанием изобретенными» русскими эквивалентами) ложилось в плоскость своеобразного обоснования идеи народности и национальной самобытности русской литературы. «Мы в сем случае не жалеем еще быть учениками и сами не хотим сбросить с глаз своих повязки, чтоб быть учителями, — писал он. — Пренебрегши драгоценный вкус нашей древности, по крайней мере в старобытных песнях или народных повестях и поговорках, не перестаем пресмыкаться в притворе знания своего и, никогда не растворяя собственных красок, пишем чужою кистию и даже с кичливою некоею радостию употребляем чужие слова и вкус не только в чужой же одежде, но и свои родные одеваем на иноплеменичью стать. О! если бы поспешнее отверзлось собственное святилище познаний и вкуса!»

Дальнейшими этапами этого течения могут служить: «Бахариана» Хераскова (издана в 1804 году), большинство песен которой написано «русским складом»; Оссиановы песни Гнедича (1804), также написанные «русскими стихами»; [74] отдельные стихотворения Батюшкова («Послание к Филисе», 1804), Пнина («Послание к некоторым писателям», 1804), Остолопова («Бедная Дуня», «Не бушуйте, ветры буйные...») и др. Из более поздних примеров пропаганды безрифменного стиха интересны «Опыты

двух трагических явлений в стихах без рифмы» Федора Глинки, написанные, как указал автор, «для *опыта,* чтоб узнать, могут ли стихи такой меры заменить *александрийские* и монотонию рифмы, которая едва ли свойственна языку страстей».[75] Заметим, что в данном случае речь шла о языке *гражданских* страстей: «Опыты» Глинки представляют собой один из наиболее характерных образцов политической поэзии декабристской эпохи.

Насколько широки были границы этого течения, видно из того, что вопрос о реорганизации русского стихосложения в иных случаях привлекал внимание даже таких староверов, как Евгений Болховитинов, который в 1808 году писал другому архаику, Д. И. Хвостову, что «тоническая поэзия, то есть ямбы и хореи», есть, по словам Львова в «Добрыне», — «иностранные рамки тесные».[76]

Однако попытки большинства названных выше поэтов выйти за «рамки тесные» были в значительной мере случайными. Глубокое теоретическое обоснование проблеме обновления ритмических возможностей русского стиха дал Радищев. «Радищев, будучи нововводителем в душе, силился переменить и русское стихосложение, — писал Пушкин. — Его изучения «Тилемахиды» замечательны. Он первый у нас писал древними лирическими размерами» («Путешествие из Москвы в Петербург»).[77]

Радищев, действительно, охотно писал белым стихом, разрабатывал русский «народный склад» («Бова», «Песнь историческая»), гекзаметр («Осьмнадцатое столетие»), сафическую строфу, дал образцы полиметрических стихов («Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам»). В «Памятнике дактилохореическому витязю» он подверг пересмотру осмеянную «Тилемахиду» Тредиаковского. Он же первый высказал мысль о необходимости переводить древних поэтов размером подлинника.

Особо важное значение имеют мысли Радищева о русском стихосложении, высказанные им в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Тверь»). Здесь он выступил с развернутой критикой нивелированного ямбического стиха, закрепленного ломоносовской системой стихосложения: «Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последо-

вателей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию случилося, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи. Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов преложил Иова или псалмопевца дактилями, или если бы Сумароков «Семиру» или «Дмитрия» написал хореями, то и Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами опричь ямбов, и более бы славы в осмилетнем своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпопее стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Виргилия надет Ломоносовским покроем, но желал бы я, чтобы Омир между нами не в ямбах явился, но в стихах подобных его, ексаметрах; и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением... * Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредияковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом».[78] Ямбы Радищев допускал только в одах: «Я и сам... заразительному последовал примеру, и сочинял стихи ямбами, но то были оды» (и далее следуют цитаты из оды «Вольность»).

Кюхельбекер, говоря о новаторской роли Востокова, с полным основанием указал на преемственную связь его исканий с «усилиями» Радищева. В частности, непосредственно к Востокову подводят «Сафические строфы» Радищева, опубликованные в 1801 году. Именно эта прямая и непосредственная преемственность ближайшим образом определяет смысл и характер метрического новаторства

---

* Имеется в виду ямбический перевод части «Илиады», выполненный Ермилом Костровым.

Востокова, равно как и некоторых других поэтов Вольного общества — Борна, который в «Оде к истине» применил редкостный дактило-амфибрахический размер, а в «Оде Калистрата» дал образец стиха древнегреческой «сколии»; А. Г. Волкова, удачно переложившего Горациеву оду «К Мельпомене» размером подлинника («асклепиадовым стихом»); Г. Каменева, пробовавшего и «русский склад» («Граф Глейхен») и дактило-анапестический размер («Громвал»); кое-что в этом направлении предпринимал и А. Бенитцкий («Кончина Шиллера», «Возвращение Бахуса из Индии»). Но опыты этих поэтов носили спорадический характер, и лишь работа Востокова (и отчасти Семена Боброва) в области реформы русского стихосложения, продолжая «усилия» Радищева, приобрела значение системы и принципа.

Востоков в своем «Опыте о русском стихосложении» развил мысли Радищева, не называя его, однако, по имени (в силу цензурных условий). Ко времени появления «Опыта» русскими поэтами была уже проделана большая работа по освоению белого стиха и новых размеров, и Востоков подводил в этом плане некоторые итоги: «Довольно, однако, на первой случай и того, что из новейших поэтов наших Бобров осмелился в дидактических поэмах, по аглинским образцам, свергнуть с себя узы александрийского стиха и рифмы — и имел в том удачу; а Державин, Дмитриев, Карамзин и другие, в творениях лирических, приучают нас опять к белым стихам, к дактилям и ко всем другим размерам, какие только согласны с нашею тоническою просодиею».[79]

Особенный интерес представляют высказывания Востокова по вопросу о гекзаметре как размере, наиболее соответствующем эпическим жанрам. Востоков практически не решал проблему стихового эпоса в том варианте, в каком она ставилась Радищевым, но всецело разделял его взгляд в теоретической плоскости.

В «Опыте о русском стихосложении» содержатся обвинения по адресу Ломоносова, «стеснившего свободный ход эпопеи единообразнейшими из всех стихов, александрийскими с рифмами». Востоков почти дословно повторил Радищева, высказав сожаление, что «Ломоносов не избрал для «Петриады» своей вместо единообразного александрий-

ского свободнейший какой-нибудь размер, например *анапестоямбический* или *дактилохореический*». [80]

В широко развернувшейся полемике о гекзаметре, относящейся к середине 1810-х годов, Востоков непосредственного участия не принимал: его творческая деятельность клонилась уже в ту пору к закату. Но еще в 1803 году, во второй книжке альманаха «Свиток муз», был помещен принадлежащий Востокову перевод отрывка пятой песни Клопштоковой «Мессиады», предлагавшийся как «опыт дактилохореического гекзаметра». Почин Востокова, на десять лет предвосхитившего работу Н. И. Гнедича над переводом «Илиады», был поддержан позднее в Беседе любителей русского слова, где усиленно дебатировался вопрос о метрической стороне стихового эпоса. [81]

В 1813 году защитниками дактилохореического стиха выступили Н. Гнедич и С. Уваров, [82] а противником их — В. Капнист, хотя и соглашавшийся, что ямбы «надоели и утомили слух», но предлагавший в качестве героического стиха русский «народный» размер. [83]

Востоков, решивший этот вопрос для себя десятилетием раньше, подвел итоги полемики, присоединив к «Опыту о русском стихосложении», в отдельном его издании, специальный раздел (стр. 50—60), посвященный историческому очерку и теоретическому осмыслению гекзаметра. Здесь он настаивал на замене античного спондея не дактилем, а хореем и упрекал Гнедича в недооценке хорея. Сплошные дактили, по мнению Востокова, были «еще утомительнее и однообразнее» александрийских стихов. Пристрастие Востокова к хорею (защите которого и посвящен в основном «Опыт о русском стихосложении») сказалось, между прочим, и в том, что сафический стих он относил к разряду дактилических (см., например, его «Видение в майскую ночь»); также и в асклепиадовом стихе он охотно пользовался хореем вместо начального спондея (см., например, его перевод оды Горация «Крепче меди себе создал я памятник . . .»).

Большую и не прошедшую бесследно для русской поэзии работу проделал Востоков также в области освоения неравносложных размеров. Здесь он шел по линии разработки особых строфических форм (античная строфа) и создания оригинальных полиметрических композиций. К числу

последних относится его перевод Драйденовой кантаты «Пиршество Александра», являющийся, бесспорно, одним из наиболее интересных опытов подобного рода в русской поэзии начала XIX века.

Любопытно раннее (1802 года) мнение Востокова, высказанное им относительно «стихов разномерных». В рецензии на «Оду к истине» И. М. Борна он писал: «Такой образ стихотворства, конечно, может нравиться знатокам, а особливо ежели разные меры со вкусом перемешаны: тогда оный всех ближе подходит к музыкальной симфонии. Но сомнительно, чтобы русские уши, привыкшие к единомерной мелодии ямбов и хореев, постигли сию тонкость гармонии; она может показаться им прозою. Мы согласны, что такое опасение не должно удерживать поэта, который не столько для своих современников, сколько для потомства пишет, и потому не настоим мы на сем пункте. Скажем только то, что неопределенная такая разномерность, позволительная в гимнах, дифирамбах и сим подобных стихотворениях, всего менее может терпима быть в стихах, делимых на строфы . . .»[84]

В своей творческой практике Востоков не слишком строго придерживался законов античной метрики. Он допускал отступления от схемы и постоянно подчеркивал это обстоятельство в примечаниях к своим стихам (в «Опытах лирических»). «Все сии пробы дактилических и иных разностопных стихов не для того выставлены, — оговаривался Востоков, — чтоб требовать точного им подражания и хотеть на русском языке именно сафических, алцейских, асклепиадейских, ферекратийских стихов. Нет; пусть бы это только побудило молодых наших поэтов заняться обработанием собственной нашей просодии, не ограничиваясь в одних ямбах и хореях, но испытывая все пути, пользуясь всеми пособиями, которые предлагает нам славенорусский язык, благомерный и звучный».

Вообще путь Востокова лежал от подражаний античным образцам к самостоятельным, более свободным, формам, выработанным по аналогии с античными, — к «вольному» стиху, стиху уже чисто тоническому, строившемуся по принципу счета ударений, а не слогов. По существу работа Востокова в области освоения античных размеров сводилась к своего рода «руссификации» их, приноровлении их

к «духу» и «свойствам» русского стихосложения, — в целях раскрепощения его от «стеснительных уз» ямбической традиции. В примечании к переводам сербских народных песен он писал: «Переводчик не счел за нужное рабски подражать... размеру, неупотребительному у нас и для русского уха, может быть, несколько утомительному». Вместо дактилического стиха сербских песен он избрал «русский размер о трех ударениях с хореическим окончанием», разработанный им по аналогии со стихом русских исторических песен из сборника Кирши Данилова.

Востоков не был мелочным копиистом, снимавшим хотя и безупречные, но бесцельные слепки с античных образцов. В данном случае мы имеем дело именно с *усвоением*, а не с переводом и не с подражанием в обычном понимании этого слова.

Востокову безусловно принадлежит наиболее крупная заслуга в деле теоретического обоснования русского «народного» стиха. Практическим осуществлением разработанной им теории является поэма «Певислад и Зора» (1802) и ряд мелких стихотворений.

Пушкин в замечаниях о русском стихосложении («Путешествие из Москвы в Петербург») писал: «Много говорили о настоящем русском стихе. А. Х. Востоков определил его с большею ученостию [и] сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным».[85]

Замечание Пушкина относится к тому времени, когда вопрос о «настоящем русском стихе» утратил уже первоначальную остроту, когда итоги длительных споров по поводу него были уже подведены Востоковым в «Опыте о русском стихосложении».

Здесь былинный стих был впервые определен как система чисто тоническая, основанная на счете ударений. «Число ударений, — писал Востоков, — неотъемлемая основа, на коей учреждается гармония стихов русских».[86] Сумароков, Карамзин, Херасков и другие поэты, писавшие «русским складом», употребляли в своих подражаниях по преимуществу четырехстопный хорей с дактилическим окончанием (несколько более их приблизил «народный» стих к чисто тоническому Н. Львов в «Добрыне»). По мнению Востокова, это был «песенный» размер, который

«слишком короток и единозвучен для больших повествовательных сочинений». [87]

Востоков указал, что его предшественники в области литературной обработки «народного стиха» не освоили всего разнообразия в расположении ударений, встречающихся в этом стихе, и в качестве образца чисто тонического размера представил свой перевод из Шиллера — «Изречения Конфуция» (см. также и другие его стихотворения, например «Российские реки»:

Беспечально теки, Волга-матушка,
Через всю святую Русь до синя моря;
Что не пил, не мутил тебя лютый враг,
Не багрил своею кровью поганою. . .).

В «народном складе» Востоков различал стих двухударный, пригодный, по его мнению, лишь для лирических произведений, и трехударный, «сказочный», который должен «употребляться в русских народных сказках или повествовательных песнях». Согласно теории Востокова, в русском «народном» стихе различимы три преобладающих ударения, отделяющихся друг от друга различным числом неударных слогов, причем последнее ударение, как правило, падает на третий слог с конца (дактилическое окончание), а как исключение — на четвертый (гипердактилическое окончание).

«Каков ни есть русский сказочный стих, но русское ухо искони довольствовалось простою его гармониею, которую любит оно еще и теперь, когда уже познакомилось со стопами и рифмами. По сей-то причине заслуживает сей народный размер, сия собственность русской музы, внимательного нашего рассмотрения», — писал Востоков в «Опыте». [88]

Задавая вопрос: «заслуживает ли русский размер употреблен быть в новейшей поэзии?», Востоков дает на него положительный ответ, ссылаясь при этом на «благосклонный прием разных произведений новейшей литературы, писанных русскими стихами». Сам он демонстративно «употребил сказочный русский размер» в переводе стихотворения Шиллера «Изречения Конфуция», «избрав нарочно предмет отвлеченный, дабы показать, что и таковой, довольно чуждый для простонародной музы предмет не обезображивается одеждою русского размера». [89]

Бо́льшую роль в русской поэзии, по мнению Востокова, должен был сыграть не «песенный», а именно «сказочный» стих, который, «будучи сам по себе разнообразнее песенных, был бы удобнее для поэмы, — не для героической, конечно, а для *романической*, во вкусе Ариоста либо Виланда... [90] Главная сему причина может быть та, что русские размеры вообще по своему дактилическому и трибрахическому строению слишком игривы для важных предметов; или же что они, доселе быв предоставляемы токмо простонародной поэзии, следовательно, предметам низким и ограниченным, — чрез то самое лишены стали в глазах наших и благородства и возвышения. Желательно, чтобы люди с талантом попытались истребить в нас сей предрассудок, если только можно, облагородствовав и возвысив русский размер стихами своими, или бы доказали, что стихосложение русское по несовершенству своему не заслуживает извлечено быть из праха, в каком оно доселе пресмыкалось». [91] Этими словами Востоков заключил свой трактат. Сам он попыток подобного рода не предпринимал.

Разработанная Востоковым теория русского «народного» стиха была впоследствии уточнена в ряде специальных работ, но практическое значение ее, как уже сказано, в XIX веке было невелико (вольные формы стиха, предложенные Востоковым, привились уже в русской поэзии XX века, с ее «дольниками» или «паузниками»). Призыв Востокова не был подхвачен современными ему поэтами, и пожалуй один лишь Пушкин, высоко ценивший «Опыт о русском стихосложении», полагал, как видно это из его замечаний в «Путешествии из Москвы в Петербург», что именно «настоящему русскому стиху» суждено будет стать стихом «эпическим» и «народным», иными словами, в пределах центральных жанров вытеснить традицию равносложных размеров. Прогноз Пушкина, как известно, не оправдался. «Народный» стих, равно как и имитация античных размеров всегда оставались в пределах «младших» жанров, на боковых путях литературного развития, и не победили традиции равносложных размеров тонического стихосложения. Русский стих эволюционировал в ином направлении.

Тем не менее роль, которую сыграл Востоков в деле расширения возможностей русского стихосложения, была значительна. Заслуживает внимания то обстоятельство, что

Востоковым впервые в русской поэзии был применен белый пятистопный ямб (в переведенном им в 1810 году отрывке из трагедии Гете «Ифигения в Тавриде»), впоследствии принятый в качестве драматического стиха Катениным, Кюхельбекером, Жандром, Грибоедовым и Пушкиным. В разработке античных стиховых форм по пути Востокова шли Гнедич, Кюхельбекер и Дельвиг. Понимание русского «народного» стиха, выдвинутое Востоковым, отозвалось в творчестве Пушкина. В «Песнях о Стеньке Разине» и «Песнях западных славян», в «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Сказке о попе и его работнике Балде», в некоторых стихотворениях и отрывочных набросках Пушкин дал метрическое осуществление предложенной Востоковым формы «народного» стиха и усвоил руссифицированный размер востоковских переводов сербских песен.

Старания Востокова обновить русское стихосложение нисколько не носили отвлеченно версификаторского, узко лабораторного характера. Метрический эксперимент был важен и интересен для него не как самоцель, не ради голого изобретательства, а как поиски новых средств поэтической выразительности, свободной от «стеснительных уз» нивелирующих поэзию норм и шаблонов. «Изобретение» служило в практике Востокова целям наиболее полного и точного выражения *мысли* средствами стиха. В этом и только в этом заключается суть вопроса о поэтическом новаторстве Востокова.

Самая усложненность стиховой формы, свойственная Востокову, находит объяснение в данной связи. Ритм, метр, строфическая композиция, словом — весь «механизм стиха» (пользуясь выражением Востокова) был подчинен в его поэтической системе движению мысли, логике ее развития. Он утверждал, например, что в стихах, как и в прозе, надлежит «стараться хранить логический порядок слов, нежели делать словоперемещения (инверсии) там, где без них обойтись можно», но вместе с тем считал, что инверсии «позволительны в уважение трудности стихов». [92]

При этом имелась в виду трудность не формальная, а смысловая. В примечании к переводам Горациевых од (в «Опытах лирических») Востоков указывал, что «переносы речей из одного стиха в другой, которые сами по себе редко красоту составляют», имеют цену лишь в том слу-

чае, когда речь идет о «переносе смысла из строфы в другую». «Всяк, кто сколько-нибудь постигнет лирический ход мыслей, почувствует, что такие переносы иногда *необходимы*», — писал Востоков, подчеркивая, что в высоких жанрах, например в оде, надлежит заботиться прежде всего не о «музыке», приятной для слуха, но о «собственной, тончайшей музыке, внятной душе, — музыке, в которой не столько важны число и мера *слов*, сколько число и мера *мыслей*». Поэтому, — утверждал Востоков, — в стихах на «высокие» и «важные» темы допустима усложненность формы, поскольку она «происходит от быстроты и изобилия мыслей».

Эта внятно высказанная установка на смысловую содержательность стиховой речи, предусматривающая подчинение «механизма стиха» — «быстроте и изобилию мыслей», вполне аналогична установке Радищева, в практике которого новаторство было всецело устремлено на присвоение поэтическому слову идейно-смысловой выразительности. Творчество Радищева-поэта служит примером того, что подлинное новаторство в области художественной формы никогда не противоречит идейности и содержательности искусства. «Нововводитель в душе», Радищев искал новые, неиспробованные средства поэтического выражения — потому, что это отвечало стоявшим перед ним задачам борьбы за «поэзию мысли».

Уместно напомнить в данном случае известный пример, приведенный самим Радищевым в «Путешествии» (глава «Тверь») в свидетельство тому, что он в интересах максимально точного выражения мысли намеренно поступался благозвучием и гладкостью стиха. По поводу одной из строф оды «Вольность» он писал: «Сию строфу обвинили... за стих «Во свет рабства́ тьму претвори». Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв: «бства, тьму, претв.»... Согласен... хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия».[93] Стремление «изобразить самое действие» средствами стиха знаменовало новый принцип поэтического мышления, внесенный Радищевым в русскую поэзию, и Востоков безусловно разделял этот принцип.

Новая форма нужна была Востокову не сама по себе, а для того, чтобы выразить новое содержание. В этом — существо и основа его поэтического метода, преемственно связанного с методом Радищева.

Поэзия Востокова прежде всего очень *содержательна*. Ее материал — философия, мораль, наука. О «высоком» и «важном», естественно, нельзя было говорить на языке «легкой» поэзии карамзинистов, в тоне светской салонной «болтовни». Высокие идеи и важные темы, короче говоря — идейное, научное содержание настоятельно требовало особых форм и средств выражения идей и понятий. Отсюда — стремление Востокова выработать на новой основе поэтический стиль высокого «витийства», призванный внешним образом выразить то «пламенное поэтическое воображение», без которого, по мнению Востокова, нельзя быть «истинным артистом».

Дифирамбический пафос, торжественная приподнятость ораторской речи, поза поэта-пророка, гласящего «высокие истины» «языком богов», грандиозность и зрительная ощутимость образов, резкая выразительность поэтического языка, уснащенного славянизмами и библеизмами, преимущественное тяготение к жанру монументальной монологической оды и лирически-философской медитации «большого плана» на самые общие темы натурфилософского, исторического или морально-дидактического порядка — суть типические черты «витийственного» стиля поэзии Востокова с ее принципиальной установкой на «смысл» и «изобретение» в их органическом единстве.

Характернейший пример этого стиля со всеми его формальными особенностями — стихотворение «Тленность» («поэма вольными стихами», как определил его жанр сам Востоков), отличающееся сгущенностью своего смыслового содержания и единоцелостным охватом сложной, «многосоставной» темы: от изображения катаклизмов, происходящих в природе, поэт свободно переходит к размышлениям о судьбах человечества, причем речь его сразу же проникается пафосом гражданственности.

Средь беспредельныя равнины океана
Гора высокая стоит.
Златыми тучами глава ее венчанна,
Пучина бурная у ног ее кипит.

Стихий надменный победитель,
Сей камень-исполин,
Другой Атлант-небодержитель,
Измену зря во всем, не зыблется един...

Но дни его гордыни длились
Не вечно...

...теснимым из преисподних жил
Потоком хлынул огнь свирепый:
Ища отверстий, рвет заклепы,
И моря дно, как ниву, взрыл,
И, внутренни в горе наполнивши вертепы,
Всю тяготу ее тряхнул, восколебал;
От дна кремнистого отторгши сильным махом,
Далёко разметал,
Осыпав жупелом и прахом.
И тот, который все стихии презирал,
Против тебя не устоял,
Дщерь адова, землетрясенье!

Еще в уме своем я зрю его паденье:
Содроглось все, когда колосс сей затрещал,
В широких ребрах расседаясь,
Скалами страшными на части распадаясь,
Уже вершинам волн разлогих равен стал.

Уже в немногих глыбах черных,
Которы из воды встают
И серный дым густой дают,
Остатки зрю его величья. — Всех презорных
Тиранов, силою гордящихся своей,
Подобный ждет конец, подобный мавзолей;
Доколь забвенья мрак их вечный не обляжет,
Проклятий смрад потомству скажет
О том, кто так, как сей низринутый колосс,
Огромностью вдали плывущих удивляя,
Вблизи ж пловцу корабль о камни раздробляя,
Был непристанищный и гибельный утес.

Чем выше кто чело надменное вознес,
Тем ниже упадает.
Рука Сатурнова с лица земли сметает
Людскую гордость, блеск и славу, яко прах.
Напрасно мните вы в воздвигнутых столпах
И в сгромаждении тьмулетней пирамиды
Сберечь свои дела от злой веков обиды:
Ко всем вещам, как плющ, привьется едкий тлен,
И все есть добыча времен!
Миры родятся, мрут: сей древен, тот юнеет...

В первоначальной редакции этого стихотворения («Свиток муз», кн. I) сближение темы катаклизма в природе с темой судьбы тирана было осуществлено с еще большей прямотою:

Ах, не подобна ли гора сию царю,
Который силами, богатствами гордится,
Но славы истинной не тщится
Делами добрыми стяжать
И бога правды не страшится
Неправдой раздражать!

(и далее Востоков рисует образ «истинно великого» правителя, «отца отечества», каким представляется он «российским патриотам всем»).

Не говоря уже о содержании, подобные стихи всем своим стилевым обликом были вызовом карамзинистам, призывавшим к «гладкости», «плавности» и «сладкозвучию», к «точному» (на деле пуристскому) словоупотреблению и словосочетанию. Равно нарушал Востоков и схоластические правила лексической иерархии, узаконенные в поэтике старого классицизма. Это ясно видно из анализа его словаря.

Язык стихотворений Востокова — сложного состава. Он очень пестр, изобилует «высокой» лексикой старославянского происхождения, элементами бытового просторечия, наконец — словами, заимствованными из арсенала научной и специально «художнической» терминологии. Зато в нем почти вовсе не обнаруживается ходовых условных «поэтизмов», характерных для языка легкой поэзии карамзинистов.

Вот несколько примеров, взятых на выборку из разных пластов языка Востокова. Слова старославянского происхождения (как правило, без специфически клерикальной окраски): рцы, устен, женет, об-он-пол, сячется, лакт, комуждо, презорные, нижé, внуши (в смысле: услышь), иверни, не бо возможет, истнить, жегомой, криле, очеса, лествица, паки, дщерь, течь (итти), телицы, пророче, выя, рамена, нутр и т. д. Слова, почерпнутые из резервуара разговорного «просторечия»: угобзить, обомлел, зазнает, вспало на ум, пойло, хвать, шасть, ба!, эдак ли, любились, дебелое, виляют, взапуски, горенка, чур!, почуял, попойка,

не взвидел, вздернул уши, пазуха, зяблый, закруга (в голове), коровушки, скотски, умяклое («умяклое лицо земли»), русаки, голубчик, зимушка, пужливый и т. п.

Востоков настойчиво стремился к расширению своей лексической базы не только за счет славянизмов и просторечия, но и за счет введения в стиховую речь редкостных и новых слов. Именно в этих целях он охотно обращался к научной и «художнической» терминологии. В стихах Востокова мы находим такие слова, зачастую необычные для слуха его современников, как: электризация, гармония, ансамбль, тенор, зоны, фантомы, физический, моральный, полюс, мистический, план («Какой прекрасный план его воображенье чертило для себя. . .»), феномен, спирт, мистерии, овал, контрасты, инстинкт, аэра, вид, центр, произведения (художника), концерт («концерт всеобщий естества») и т. д.

Новое слово Востокова, как правило, не было словом изобретенным, индивидуальным неологизмом в обычном понимании. Он любил употреблять составные слова (главным образом эпитеты), пользуясь материалом старославянской лексики (прием, позже широко применявшийся Гнедичем в переводе «Илиады»): златоволнисты, благогласный, песнотворный, водоточивый, столповенчанная, сильнодышущие (уста), благоглаголивая, строгоочита, светодарный, гостелюбивые (в сочетании с «избами»), огневместилище, дивномысленная, кротконравная, среброномерклый, небовысоты, тьмулетняя, богоблаженный, благонаправить и т. п.

Наиболее характерным для Востокова приемом является не столько «словотворчество», сколько лексические и семантические «сдвиги», когда слово, не бытующее в поэтическом языке, взятое из разговорного просторечия или терминологического жаргона, вдвигается в узаконенный лексический ряд и ставится в необычную смысловую связь с «высокими» словами. Суть данного приема заключалась в нарушении установленного классицизмом и, по существу, разделявшегося карамзинистами принципа жанровости литературного языка. Согласно этому принципу просторечие, допустимое в «низких» жанрах (скажем, в баснях и притчах), не должно было смешиваться ни с патетикой «славянщины», ни с «поэтизмами». Востоков же, напротив,

с редкой свободой смешивал «высокое» с «низким», и это составляет, быть может, наиболее характерную черту его языкового творчества. При этом разные языковые струи не просто соседствуют в его стихах, но именно смешиваются, проникают одна другую.

Так, например, Востоков не усомнился сказать в стихотворении на «высокую» тему («Бог в нравственном мире»): «Помрет он *скотски* — так, как жил. . .», или — в другом случае:

И ананасу и грибу
Идет в дожде небесном *пойло*. . .

В данном контексте «грубое» слово *пойло* производило комическое впечатление и впоследствии было заменено нейтральным словом *питье*. Но как принцип резкое нарушение упорядоченности словаря и семантики лежало в основе языкового творчества Востокова, — и это придавало ему особую эффективность. В словах, взятых из разных речевых пластов и поставленных в необычную связь, открывались новые дополнительные грани смысла: «электризация любви», «неосязаемый пункт», «очаровательные сцены», «даровитая осень», «опытные времена», или (в портретном изображении женщины): «О, гармония какая В редкий сей ансамбль влита! . .», — причем слово *ансамбль* было еще столь редкостным, что Востоков должен был объяснить его значение в примечании («Ансамбль — техническое слово, употребляемое художниками; значит: хорошо согласованная *совокупность частей* в изображении чего-либо»).

Вот как, к примеру, реализовался Востоковым принцип смешения лексических рядов — в стихотворении «К Борею, в мае», где обе языковых струи — струя «высокого» метафорического словоупотребления (согласно которому печь называется «алтарем Вулкана», а поленница — «гекатомбом дров») и струя просторечия — сливаются в едином потоке:

Нева давно уж урну оттаяла
От льдин: лелеет барки в объятиях,
  И я давно олтарь Вулкана
  Чтить перестал гекатомбом дров. . .

Лучами солнца растворенный
Воздух амврозией нас питал...

И на брегах озелененных
Слышимо было мычанье стад...

Или — в стихотворении «К зиме»:

Дохни, Борей, на нас сурово
И влажный осуши эфир.
С тобою русакам здорово...

Или — еще пример: в стихотворении «Откровение музы», перенасыщенном «высокой» лексикой, вместо того чтобы в соответствии со всей языковой окраской текста употребить поэтическое слово «кифара», Востоков говорит о прозаической «гитаре»:

Воздвигнись, ревностный служитель Феба!
Сию гитару прими
Из рук моих — и вдохновенный
На ней пеан греми...

Поэт-мастер и теоретик, нарушавший привычные каноны и традиции, не придерживавшийся укоренившихся правил поэтики и стихосложения, Востоков, естественно, не мог рассчитывать на сколько-нибудь широкий и шумный успех. Работа его была оценена по достоинству лишь в узком профессиональном кругу. «Шероховатость слога», усложненность словаря и синтаксиса, частые инверсии, вообще известная затрудненность поэтического дыхания, наряду с философичностью содержания, — делали поэзию Востокова малодоступной, а по словам Н. Греча, «слишком необыкновенной и даже дикой» для массового читателя 1800-х годов, воспитанного либо на привычных образцах классической поэзии, либо на «приятных» для слуха, «гладких» мелочах карамзинистов.

Новаторская работа Востокова над стихом, его метрические опыты встречали возражения даже в окружавшей его среде поэтов Вольного общества. Так, например, А. Е. Измайлов в отзыве о рукописи «Опытов лирических», представленной в «цензуру» Вольного общества, отмечал: «Белые стихи, писанные латинскими и греческими размерами, хотя и нравятся мне, однакоже не столько, как пиесы с рифмами, состоящие из одних ямбов. Может быть, происходит сие, действительно, оттого, что русские уши... не могут

вдруг привыкнуть к гармонии греческих и латинских стихов... Я весьма бы желал, чтобы г-н Востоков писал более хореями и ямбами, нежели мерою Горация и Сафы».[94]

Еще более решительно высказался против метрических новшеств Востокова Н. Ф. Остолопов в рецензии на его «Опыты лирические»: «Скажем, что разные размеры, употребляемые г. сочинителем, нисколько не украшают его стихов; даже и то можно прибавить, что если бы некоторые пиесы его написаны были простыми обыкновенными размерами, к которым мы так привыкли, то без сомнения показались бы еще приятнее».[95]

Отмечались также в кругу поэтов Вольного общества «негладкость» некоторых стихов Востокова и его склонность к «слишком частому употреблению славянских слов» (вроде: женет, об-он-пол) и к «новым выражениям» (вроде: «полк красавиц», «с небовысот», «среброногое»).[96] Слово «пойло» в сочетании с «дождем небесным» (см. цитату, приведенную выше) было решительно отвергнуто Н. А. Радищевым «как низкое и употребляемое в самых простонародных разговорах».[97]

* * *

В творчестве Востокова отчетливо проявились связанные с традицией Радищева новаторские художественные тенденции, в основе которых лежало стремление создать новую как по содержанию, так и по стилю поэзию гражданского чувства и философской мысли. Суть этого новаторства заключалась в том, что вопрос о новом идейном содержании поэзии и вопрос о новом поэтическом стиле решались не разобщенно, а в тесном соотношении. Востоков ставил перед собою задачу выразить на языке поэзии свое философское, общественное и художественное мировоззрение — в специфических формах стиля высокой и напряженной гражданственной патетики, и решению этой главной и общей задачи должны были служить все применявшиеся им средства и приемы поэтической изобразительности. Преувеличивать значение Востокова не следует, но он внес свой вклад в развитие поэтической традиции Радищева, и это обеспечивает за ним заметное место в истории русской поэзии.

Малоизвестные писатели и публицисты, чья деятельность служила предметом нашего рассмотрения, стоят в самом начале того столбового пути, по которому пошла вслед за Радищевым прогрессивная русская литература в XIX веке. Этим обстоятельством определяется их историческое значение.

Анализируя литературное наследие радищевцев, мы многократно подчеркивали, что ни один из них не сумел подняться до тех высот революционно-материалистической мысли, которых достиг Радищев. При всем том, однако, явственно различимый отблеск радищевского влияния лежит на воззрениях и творчестве Ивана Пнина и Василия Попугаева, Ивана Борна и Александра Востокова.

Именно они, выступив непосредственно после Радищева, явились первыми, кто пусть недостаточно последовательно, но реально продолжил его общественно-литературную традицию. Связывая свою деятельность с задачами защиты насущных, жизненных интересов русского народа, осмысляя эти задачи в свете патриотических и освободительных идей, радищевцы стремились создать боевую, высокоидейную, гражданственную литературу, способную воодушевлять человека на борьбу и на подвиг во имя высоких и благородных целей.

Идейные устремления радищевцев вступали в резкое противоречие с окружавшим их общественно-политическим укладом. В условиях феодально-абсолютистского государства, в обстановке крепостнического гнета, сословно-классового неравенства и суровой политической реакции эти ранние представители разночинной радикально-демократической интеллигенции были лишены возможности с достаточной широтой и заметным успехом развернуть свою общественно-литературную деятельность. Для этого

в тогдашней России у них не было сколько-нибудь твердой почвы, ибо состояние общественных отношений в стране еще полностью исключало возможность коренного преобразования русской жизни. Нужно помнить, что даже более чем полвека спустя, как указывал Ленин, говоря о «крестьянской реформе» 1861 года, «революционное *движение* в России было тогда слабо до ничтожества, а революционного *класса* среди угнетенных масс вовсе еще не было».[98]

Выступив против гегемонии и кастовой исключительности феодально-дворянской культуры, радищевцы тем самым противопоставили себя группам и направлениям, господствовавшим в литературе 1800-х годов. Вместе с тем они не видели (и не могли еще увидеть) иных социальных сил, на которые способны были бы опереться в своих идейных исканиях. С народом прочной связи они не имели. С буржуазными же кругами у них не было и не могло быть ничего общего, поскольку рептильная русская буржуазия, пресмыкавшаяся перед царизмом, не играла никакой роли в идейном движении.

Роль эта в начале XIX века всецело оставалась за одиночными дворянскими радикалами и революционерами. Освободительная мысль созревала в узком кругу «вольнодумцев», несколько позже — в политических кружках и тайных обществах, из которых вышли декабристы. Скромные литераторы из Вольного общества, разночинцы и бедняки, стояли в стороне от этой замкнутой среды дворянских революционеров. К тому же они были фактически вытеснены из литературы и жизни задолго до того, как сформировалось декабристское движение.

Все эти решающие обстоятельства предопределили как внешне неприметное положение радищевцев, оттесненных на задний план общественно-литературной жизни 1800-х годов, так и дальнейшую их судьбу — постигшее их глухое забвение.

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что деятельность радищевцев вовсе не прошла бесследно для русской литературы и общественной мысли, но ознаменовала целый этап общественно-литературного развития в период между Радищевым и декабристами. Хотя и в урезанном виде, но они донесли радищевскую традицию до декабристской эпохи.

Тем самым деятельность радищевцев следует рассматривать как связующее звено единой цепи явлений, знаменовавших поступательное движение прогрессивной русской мысли и литературы. Трудно переоценить историческое значение деятельности этих писателей, если иметь в виду, что главная, ведущая линия общественно-литературного развития в предпушкинский период шла не от Карамзина к Жуковскому и «арзамасцам», но от Радищева к декабристам.

Радищевцы в меру своих сил и возможностей практически участвовали в решении наиболее актуальных задач, возникших перед русской литературой в начале XIX века. Как по общей социальной и идейной направленности, так и по художественным принципам своих творческих исканий они сыграли хотя и подспудную, но существенную роль в разграничении основных линий литературного процесса 1800-х годов. Они пришли к постановке и решению (и в теоретической и в творческой плоскости) важнейших идейно-художественных проблем, с большей глубиной и последовательностью решенных в последующий период писателями декабристского направления: проблем народности и национально-самобытного характера литературы, ее социально-воспитательного и агитационного значения, общественного призвания писателя, создания гражданской поэзии и выработки ее специфического стиля, обогащения поэтического языка и обновления стиховой культуры.

Творческий опыт наиболее талантливых поэтов и теоретиков данного круга безусловно учитывался деятелями декабристского литературного движения. Иные из них (как В. К. Кюхельбекер) сами засвидетельствовали свое заинтересованное и внимательное отношение к радищевцам. Но гораздо более существенно то обстоятельство, что между поэтами-радищевцами и поэтами декабристского направления обнаруживается объективная историческая преемственность — в проблематике, идеях, темах, художественных принципах. Так, опыт работы Ивана Пнина в области гражданской лирики непосредственно подводит к творчеству Рылеева и В. Раевского, а принципы монументального гражданственно-героического стиля, оформлявшегося в поэзии Востокова, получили углубленное осуществление в творчестве таких поэтов, как Гнедич, Катенин и Кюхельбекер.

В частности, в этой связи раскрывается истинный смысл так называемых «архаистических» увлечений Катенина и Кюхельбекера (отчасти — Грибоедова), занимавших особую позицию в условиях литературной борьбы 1810—1820-х годов. Вопрос этот требует коренного пересмотра. В историко-литературной науке упрочилось ложное представление, будто бы эти поэты в своей острой и последовательной борьбе с карамзинизмом и элегической поэзией Жуковского искали опору в художественных теориях и принципах архаиков-староверов из шишковской «Беседы». Такое представление не выдерживает критики, потому что оставляет неразрешимым резкое противоречие между политическим радикализмом, которым характеризуется деятельность этих писателей, принадлежавших к числу виднейших участников декабристского литературного движения, и их якобы имевшим место сочувственным отношением к открыто реакционным взглядам воинствующих представителей крепостнического лагеря. Между тем противоречие это снимается, если рассматривать «архаистические» увлечения Катенина, Кюхельбекера и их единомышленников в перспективе развития «высокой» гражданской поэзии конца XVIII — начала XIX века. При таком подходе со всей очевидностью выясняется, что литературный «архаизм» этих поэтов имел совершенно иное происхождение и ни в малой мере не сопряжен с теорией и практикой шишковцев. Детальное рассмотрение данного вопроса должно показать, что культивировавшийся декабристскими поэтами стиль гражданственного «витийства» прямо и непосредственно соотносится с поэтической традицией, открытой Радищевым и продолженной его ближайшими преемниками из Вольного общества.

Программно-теоретические установки и творчество поэтов-радищевцев отразили первый период длительного и сложного процесса формирования и развития русской гражданской поэзии 1800—1810-х годов. Дальнейшие ее судьбы были теснейшим образом связаны с самым значительным событием эпохи — с «грозой Двенадцатого года», вызвавшей к жизни поколение поэтов-декабристов и Пушкина. Этот вопрос должен послужить предметом особого исследования.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 21, стр. 85.

2. М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании. Избранные речи и статьи, изд. 2-е, М., 1946, стр. 218.

3. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, изд. Академии наук СССР, т. I, М.—Л., 1938, стр. 227.

4. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, изд. Академии наук СССР, т. II, М.—Л., 1941, стр. 146—147.

5. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 230.

6. «Полное собрание сочинений А. Н. Радищева», под ред. А. Бороздина и др., т. II, СПБ., 1907, стр. 307—308, 300.

7. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 368—369.

8. Сборник «Вчера и сегодня», кн. I, М., 1845, стр. 63. — Сам Г. П. Каменев, сообщивший экспромт Державина, в 1800-е годы был близок к кругу последователей Радищева. В одном из писем 1802 года, собираясь из Москвы в Петербург, он сочувственно вспомнил о Радищеве: «Поеду по тем станциям, где идеально блуждал Радищев и мечтал пером своим, в желчи обмакнутым, давать уроки властям» (там же; ср. Е. Бобров. Литература и просвещение в России XIX века, т. III, Казань, 1902, стр. 153).

9. В связи с упоминанием о Мирабо в «Путешествии из Петербурга в Москву» Екатерина II в своих заметках на книгу Радищева записала: «...тут вмещена хвала Мирабо, который не единой, но многие висельницы достоин» («Полное собрание сочинений А. Н. Радищева», под ред. А. Бороздина и др., т. II, СПБ., 1907, стр. 307).

10. Н. М. Карамзин. Сочинения, т. II, СПБ., 1834, стр. 133.

11. Н. Григорович. Канцлер кн. А. А. Безбородко в связи с событиями его времени, т. II, СПБ., 1881, стр. 95.

12. «Полное собрание сочинений А. Н. Радищева», под ред. А. Бороздина и др., т. II, СПБ., 1907, стр. 327, 332, 333.

13. „Mémoires secrets sur la Russie et particulièrement sur la fin du règne de Catherine II et le commencement de celui de Paul I“, par Masson, Paris, An. VIII (1800), p. 200.

14. С. Н. Глинка. Записки, СПБ., 1895, стр. 132.

15. В. Семенников. Радищев, П., 1923, стр. 240. — Впоследствии С. Глинка занял реакционно-националистическую позицию и, между прочим, в осудительном тоне ссылался на «Путешествие» Радищева (не называя автора) в статье «Замечания о Москве» («Русский вестник», 1808, № 2, стр. 159—160).

16. Г. фон Гельбиг. Русские избранники. Перевод В. Бильбасова. Берлин, 1900, стр. 493.

17. П. Бартенев. Жильбер Ромм — «Русский архив», 1887, кн. I, стр. 18.

18. Показание Н. П. Осипова на следствии по делу Радищева («Полное собрание сочинений А. Н. Радищева», под ред. А. Бороздина с др., т. II, СПБ., 1907, стр. 333).

19. Г. фон Гельбиг. Указ. соч., стр. 493.

20. Н. Павлов-Сильванский. Очерки по русской истории XVIII—XIX вв., СПБ., 1910, стр. 100—101.

21. П. Милюков. Очерки по истории русской культуры, ч. III, вып. 2, СПБ., 1904, стр. 131.

22. В. Мякотин. На заре русской общественности, М., 1918, стр. 76 (впервые напечатано в 1902 г.).

23. А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. IX, П., 1919, стр. 270.

24. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 473.

25. «Московский телеграф», 1830, ч. 31, стр. 206 (статья Кс. Полевого).

26. «Русская старина», 1898, т. 94, стр. 96.

27. См.: М. Корольков. Поручик Федор Кречетов — шлиссельбургский узник XVIII столетия («Былое», 1906, № 4) и Н. Чулков. Ф. В. Кречетов — забытый радикальный публицист XVIII века («Литературное наследство», 1933, № 9/10).

28. «Полное собрание сочинений А. Н. Радищева», под ред. А. Бороздина и др., т. II, СПБ., 1907, стр. 316.

29. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 129.

30. С. Тучков. Записки (1766—1808), СПБ., 1908, стр. 42 — 43. — Об Обществе друзей словесных наук см. В. Семенни-

ков. Литературно-общественный круг Радищева (в сборнике «А. Н. Радищев. Материалы и исследования», М.—Л., 1936).

31. Л. Светлов. А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII в. — «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, т. VI, № 5, 1949, стр. 447—448.

32. К. Сивков. Подпольная политическая литература в России в конце XVIII века — «Исторические записки», 1946, № 19, стр. 93—100.

33. Л. Светлов. Указ. соч., стр. 448—450. Проповеди П. А. Словцова опубликованы в «Чтениях в Обществе истории и древностей при Московском университете», 1873, кн. III.

34. Л. Светлов. Указ. соч., стр. 446—447; К. Сивков. Общественная мысль и общественные движения в России в конце XVIII века — «Вопросы истории», 1946, № 5/6, стр. 95. Отрывки из записок В. В. Пассека см.: Вадим Пассек. Очерки России, т. I, СПБ., 1838; «Русский архив», 1863; «Архив кн. Воронцова», т. XXIV.

35. В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах, т. III, М., 1948, стр. 208.

36. Там же, стр. 211.

37. «Mémoires, souvenirs et anecdotes», par M. le comte de Ségur, t. II, Paris, 1859, p. 170.

38. Изъятое место из «Писем русского путешественника» (напечатано по-французски — в статье «Un mot sur la littérature russe», в журнале «Le Spectateur du Nord», 1796, octobre, pp. 53—72).

39. А. Пыпин. Общественное движение в России при Александре I, изд. 4-е, СПБ., 1908, стр. 196.

40. Н. И. Тургенев. Россия и русские, т. I, М., 1915, стр. 342.

41. «Старина и новизна», кн. I, СПБ., 1897, стр. 60.

42. «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПБ., 1866, стр. 249.

43. «Известия Московского литературно-художественного кружка», вып. 4, М., 1914, стр. 26.

44. Подробнее см. В. Сиповский. Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника», СПБ., 1899, стр. 165. В V томе второго издания «Писем» (вышедшем в 1801 году) изъяты эпизоды крестьянских волнений, солдатских бунтов, бегства знати из революционной Франции, и весь рассказ о революции, как справедливо говорит В. Сиповский, превратился в перечень фактов, «низводящих

революцию до незначительных размеров мелкого народного волнения, довольно бессмысленного и случайного» (там же, стр. 160).

45. См. «Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии», с примечаниями и объяснениями М. Погодина, М., 1866, ч. I, стр. 256, 310—311; ч. II, стр. 406—407, 436, 437—441, 485—486.

46. А. Пыпин. Общественное движение в России при Александре I, изд. 4-е, СПБ., 1908, стр. 263.

47. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 295.

48. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 293. — Между прочим, некрология Радищева, написанная И. М. Борном, разительно напоминает по духу, стилю и даже отдельным деталям напечатанный в 1792 году очерк А. И. Клушина «Вечер», в котором можно видеть отклик на ссылку Радищева. Рисуя портрет «мудреца, истинного друга человечества», Клушин писал: «. . . [он] презирает кровожаждущего мучителя. Он дерзает напомянуть судие его пристрастие и бесчеловечие, вельможе — его слабости и заблуждения. Не ужасает его ни ненависть сильных, ни гонения знатных; в хижине, окруженный гонителями, вопиет он в пользу истины; лишенный света, в самом мраке находит он свет немерцаемый, в самом заточении — свое величие; добродетель и истина покоят его на лоне своем. Подобно Сократу, без трепета пиет он чашу смертоносного яда и, будучи в объятиях смерти, становится превыше своих гонителей и почтеннее истребителя человечества, наименованного великим» («Зритель», 1792, № 1, стр. 58—59). Текстуальные совпадения в статье Борна с этой тирадой столь очевидны, что уместно предположить: не воспользовался ли Борн отдельными формулировками Клушина?

49. Но даже и это неполноценное, предельно урезанное издание было расценено в литературных кругах как проявление политической неосторожности; см., например, рецензию в «Цветнике», 1809, ч. I, стр. 271—283, автор которой возражал против опубликования «всех» сочинений Радищева.

50. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, М.—Л., 1931, стр. 18.

51. Сборник «К изучению истории», М., 1938, стр. 25.

52. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XXV, стр. 285—286.

53. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, М.—Л., 1931, стр. 357, 17—18.

54. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 5, стр. 28.

55. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 473.

56. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 19, стр. 294—295.

57. П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. VIII, СПБ., 1883, стр. 204.

58. Ода В. В. Попугаева напечатана нами по рукописи в сборнике «Поэты-радищевцы», Л., 1935, стр. 278—279. Стихотворение было написано по следующему поводу: известный своим мракобесием цензор Ф. Туманский представил к запрещению в России «Общественный договор» Руссо (во французском издании), указывая: «Известно, что мнимое равенство во французской революции большею частию из сей книги заимствовано». Однако Цензурный совет нашел, что книга все же может быть допущена к обращению (см. «Литературное наследство», № 33/34, М., 1939, стр. 776). Ода Попугаева была вычеркнута цензором С. Котельниковым в рукописи стихотворного сборника «Минуты муз», который Попугаев сообща с А. Г. Волковым готовил к изданию в 1799 году.

59. См.: Е. Трефильев. Очерки из истории крепостного права в России. Царствование императора Павла I, Харьков, 1904; Н. Павлов-Сильванский. Волнения крестьян при Павле I — «Очерки по русской истории XVIII—XIX вв.», СПБ., 1910, стр. 154—205.

60. М. де Пуле. Крестьянское движение при императоре Павле Петровиче и дневник кн. Н. В. Репнина — «Русский архив», 1869, т. III, стбц. 546—570.

61. И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. М., 1938, стр. 9.

62. «Лицей», 1806, ч. II, кн. 3, стр. 22—51.

63. Н. Ковалевская. Мартос, М.—Л., 1938, стр. 69.

64. «О верном способе иметь в России довольно учителей (1803) — Н. М. Карамзин. Сочинения, т. VIII, СПБ., 1835, стр. 197.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Серафима [Н. Греч]. Газетные заметки — «Северная пчела», 1857, № 125, стр. 587.

2. А. Скабичевский. Очерки истории русской цензуры, СПБ., 1892, стр. 101.

3. Н. Энгельгардт. История русской литературы XIX столетия, т. I, СПБ., 1902, стр. 31, 38—42.

4. А. Кизеветтер. Из истории русского либерализма (И. П. Пнин) — «Исторические очерки», М., 1912, стр. 57—87;

В. Каллаш. Друг истины (Памяти И. П. Пнина) — «Русская мысль», 1905, кн. IX, стр. 178—191.

5. Н. Греч. Записки о моей жизни, Л., 1930, стр. 263 и 550.

6. «Памятник герою» (1791), по случаю победы, одержанной Репниным над турками в битве при Мачине.

7. «Московский журнал», 1791, ч. IV, стр. 82—90.

8. М. Муравьев. Сочинения, т. II, СПБ., 1847, стр. 306.

9. О жизни Репнина в Польше сообщает А. Т. Болотов: «Репнин живет пышно; главный командир 50 тысяч войска и всей Литвы; живет в загородном доме, а сперва жил во дворце. Всякий день у него стол на 60 и на 70 кувертов, балы и танцы часто» («Памятник претекших времян», М., 1875, стр. 47).

10. См. «Русский архив», 1865, стбц. 953—958.

11. «Мемуары Массона о России» — «Голос минувшего», 1916, № 12, стр. 59.

12. Там же, стр. 60—61.

13. С. Тучков. Записки, СПБ., 1908, стр. 100.

14. Г. Р. Державин. Сочинения, т. VI, СПБ., 1871, стр. 706.

15. См. биографию Н. В. Репнина у Д. Бантыш-Каменского — «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов», ч. II (1840), или же «Словарь достопамятных людей русской земли», ч. IV (1836). Н. В. Репнин был в близких приятельских отношениях с Д. И. Фонвизиным. В письмах к Фонвизину от 1780—1781 гг. он именует его своим «дорогим другом», «любезным приятелем» и т. д. (см. П. Вяземский. Фон-Визин, СПБ., 1848, стр. 360—362).

16. См.: Г. Вернадский. Русское масонство в царствовании Екатерины II, П., 1917, стр. 261—262; Matter. S.-Martin, sa vie et ses oeuvres, 2-е изд., 1864, стр. 134 сл.; А. Пыпин. Русское масонство, П., 1916, стр. 108; М. Лонгинов. Новиков и московские мартинисты, 1867, стр. 351; Ф. Вигель. Записки, т. II, М., 1928, стр. 138.

17. «Друг юношества», 1813, март, стр. 1—102; ср. Ф. Лубяновский. Воспоминания, М., 1872, стр. 134—137.

18. «Журнал Министерства народного просвещения», 1910, № 8, стр. 287.

19. «Русский архив», 1869, стбц. 525—527; «Орловский справочный листок», 1867, № 7.

20. А. Фадеев. Воспоминания, Одесса, 1897, стр. 13. О какой-то «девице, как говорили, близко принадлежавшей князю

Н. В. Репнину», сообщает гр. Е. Ф. Комаровский в своих «Записках» (СПБ., 1914, стр. 27).

21. Репнин был посланником в Варшаве в 1763—1769 гг. Адам Чарторижский родился в 1770 году. Слухи о том, что он был сыном Репнина, ходили в обществе; см., например, письмо К. Я. Булгакова к А. А. Закревскому 1831 года («Сборник русского исторического общества», т. 78, стр. 402), также: А. Васильчиков. Семейство Разумовских, т. IV, 1887, стр. 515; «Исторический вестник», 1916, № 6, стр. 741; «Новое время», 1880, т. I («Кн. Чарторижская и кн. Репнин. Из мемуаров герцога Лозена»).

22. См., например, анекдот о ней, сообщенный П. А. Вяземским (Полное собрание сочинений, т. VIII, СПБ., 1883, стр. 60—61). Чарторижскую же, вероятно, имеет в виду А. Т. Болотов, рассказывая об «интриге» Репнина с «одною знатною польскою госпожою» («Памятник претекших времян», стр. 47—48).

23. «Сборник русского исторического общества», т. XIV (1875).

24. Н. Сушков. Московский университетский благородный пансион, М., 1849, стр. 30; С. Шевырев. История Московского университета, М., 1855, стр. 268.

25. «Журнал российской словесности», 1805, ч. III, стр. 60. Ср. указание Н. Прыткова, без ссылки на источник: «15-ти лет Пнин сочинил оду, но она не сохранилась ни в печати, ни в рукописи» («Древняя и новая Россия», 1878, № 9, стр. 22).

26. Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА), Военный отдел, фонд 315 — Архив 2-го кадетского корпуса, св. 384, № 7, л. 65. Аттестат, за подписью директора университета Павла Фон-Визина, датирован 23 апреля 1787 года.

27. Там же, л. 64.

28. Там же, лл. 62—62 об. Из другого источника (прошение Пнина об отставке, 1805 года, в архиве Министерства народного просвещения) мы узнаем, что он «вступил из дворян в корпус кадетом 1787-го года мая 24-го», — следовательно, пять месяцев — с мая по октябрь — он числился «сверх комплекта».

29. По данным «Именного списка выпущенным в офицеры из воспитанников Артиллерийского и Инженерного шляхетного и 2-го кадетского корпуса с 1765 по 1862 год» Пнин был выпущен из корпуса штык-юнкером в полевую артиллерию не в 1789, а в 1790 году («Историческое обозрение 2-го кадетского корпуса», СПБ., 1862, стр. XVI второй пагинации).

30. Письмо (без даты) опубликовано в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», 1906, кн. IV, отд. 4, стр. 19,

а также отдельно: И. Рябинин. Из переписки Инзова, М., 1907. Датируем письмо октябрем 1794 года по следующим основаниям: написано оно на бумаге с водяным знаком 1794 года и адресовано «Пнину, артиллерии господину штык-юнкеру». В ноябре же 1794 года Пнин получил чин подпоручика. С другой стороны, в Несвиже, откуда послано письмо, Н. В. Репнин с адъютантами и канцелярией был именно в октябре 1794 года. Попутно из письма мы узнаем, что И. Н. Инзов получил от Пнина «милое и дружеское письмо», а также и адрес Пнина: местечко Бауск, Митавского уезда, Курляндской губернии (на основании приписки Я. Д. Мерлина: «Кланяйтесь от меня Тейльсу», — Филипп Игнатьевич Тейльс, сын известного масона, служил в 1794 году в Бауске).

31. Ф. Вигель. Записки, т. II, М., 1928, стр. 233. Ср. А. Фадеев. Воспоминания, Одесса, 1897, стр. 61—62.

32. Ф. Вигель. Записки, т. II, стр. 233.

33. См. письма кн. Н. В. Репнина к Я. Д. Мерлину в «Сборнике русского исторического общества», т. XVI (1875).

34. См. там же. Ср. Ф. Лубяновский. Воспоминания, М., 1872, стр. 86.

35. Письма Н. В. Репнина к И. А. Алексееву хранятся в Полтавском историческом архиве (среди остатков семейного Яготинского архива князей Репниных). Писем Пнина к отцу в бумагах Яготинского архива не обнаружено. В письмах И. А. Алексеева к Репнину, опубликованных в XVI томе «Сборника русского исторического общества» (1875), упоминаний о Пнине не встречается, хотя Алексеев и отчитывается перед князем в выдаче денег другим его «пансионерам» и «пансионеркам».

36. «Русский вестник», 1861, т. XXXII, стр. 303.

37. Там же, стр. 302—303.

38. «Воспоминания Бестужевых», М., 1931, стр. 285, 327 и 421.

39. Н. Шильдер. Император Александр Первый, т. I, СПБ., 1897, стр. 163—164.

40. Н. Греч. Записки о моей жизни, Л., 1930, стр. 205 и 321.

41. И. Мартынов. Записки — «Заря», 1871, № 6, приложение, стр. 98. Трактат Верри в 1810 году вышел в другом переводе (Померанцева). — В архиве Бестужевых (Институт русской литературы Академии наук СССР, ф. 604, № 4/5573) сохранился уже упомянутый нами листок, написанный рукой А. Ф. Бестужева и озаглавленный: «Сколько всех денег заплачено за переводы». Это — роспись расходов по оплате переводов, выполненных по поручению в. кн. Александра. Здесь же указана сумма, выданная на издание

«Санктпетербургского журнала». Вот этот документ: «За Филанжиери 7-мь томов — 1100 руб. За Стуарта 5-ть томов — 1530. О гражданских обществах — 320. Беккария, о преступлении и наказании — 150. Библиотека общественная 5 томов — 550. Мартынову за Анализ — 250. В журнал — 2000. Мораль универсель — 350. [Всего] — 6250». Из названных здесь переводов «Наука о законодательстве» Филанджиери и «Библиотека» Кондорсэ в свет не вышли. Из трактата Джэмса Стюарта отрывки в переводе И. И. Мартынова появились в «Северном вестнике» 1804 года. «Рассуждение о преступлениях и наказаниях» Беккарии было издано «по высочайшему повелению» в 1803 году в переводе Д. И. Языкова; не исключено, что это именно тот перевод, о котором упомянуто в росписи А. Ф. Бестужева. «Анализ» Мартынова — разбор трактата Дж. Стюарта, напечатанный в «Санктпетербургском журнале». Отрывки из «Всеобщей морали» Гольбаха без указания имени автора и в анонимном переводе печатались в «Санктпетербургском журнале» (переводчиком был, по-видимому, Петр Яновский); частично эти переводы, в расширенной редакции, вошли во второе издание книги А. Ф. Бестужева «Правила военного воспитания относительно благородного юношества» (1807).

42. Ошибочная версия о сотрудничестве «молодых друзей» в «Санктпетербургском журнале» многократно повторялась в работах, посвященных Пнину, — см., например: Н. Прытков. И. П. Пнин и его литературная деятельность — «Древняя и новая Россия», 1878, ч. III, № 9, стр. 26; Б. Модзалевский. Пнин — «Русский биографический словарь», том «Плавильщиков — Примо», 1905, стр. 135; Н. Даденков. И. П. Пнин, Нежин, 1912, стр. 13.

43. Объявление, помещенное в «Московских ведомостях», представляет собою сокращенную редакцию приведенного текста. В Москве подписка на журнал принималась «по комиссии» в конторе Университетской типографии.

44. П. Берков. Идеологическая позиция В. С. Сопикова в «Опыте российской библиографии» — «Советская библиография», 1933, № 1—3, стр. 143.

45. Известны переводы Н. Анненского: «О уединении относительно к разуму и сердцу». Сокращенное творение Циммермана, СПБ., 1796 (2-е изд. — СПБ., 1801; 3-е изд. — М., 1802), и «Лодоик, или Нравственные наставления для пользы и увеселения юношества», СПБ., 1799.

46. Есть известие, что в «Санктпетербургском журнале» участвовал поэт А. Я. Галинковский, но это требует подтверждения, тем более что в журнале не встречается ни разу даже начальной буквы

его фамилии. См. Н. Губерти. Материалы для русской библиографии, вып. II, 1881, стр. 612.

47. В. Семенников. Радищев. Очерки и исследования, М.—П., 1923, стр. 454—456.

48. И. Вороницын («История атеизма», вып. IV, 2-е изд., М., 1929, стр. 289) также пишет по поводу «Писем из Торжка»: «Статья написана не только в духе Радищева, но и в его совершенно оригинальном стиле».

49. «Журнал российской словесности», 1805, ч. III, № 10, стр. 57.

50. Эта заметка безоговорочно приписана Пнину П. А. Ефремовым («Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фонвизина», СПБ., 1866, стр. 689).

51. В «Эрмитажном собрании манускриптов» (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) имеется парадный, «подносной» экземпляр рукописи «Опыта военного воспитания», датированный 1797 годом.

52. Осведомленный В. С. Сопиков в «Опыте русской библиографии» приписал А. Ф. Бестужеву анонимно изданную книгу «Учение, нравственность и правила честного человека, содержащие в себе собрание рассуждений и разные наставления, взятые из древних и нынешних писателей, служащие к распространению как духовных, так и гражданских добродетелей, для каждого возраста людей и состояния», СПБ., 1807.

53. «Журнал российской словесности», 1805, ч. III, № 10, стр. 100.

54. С. Бородин. Русская журналистика в конце прошлого столетия — «Наблюдатель», 1891, № 3, стр. 83.

55. «Воспоминания Бестужевых», М., 1931, стр. 285. — М. Мазаев неосновательно полагал, что «Санктпетербургский журнал» был запрещен за опубликование «Чистосердечного признания» Фонвизина (С. Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. III, СПБ., 1892, стр. 178).

56. «Русская старина», 1871, т. III, стр. 633; В. Рогожин. Дела «московской цензуры» в царствование Павла I, вып. 1, СПБ., 1902, стр. XLVIII, 15—16. В. Сиповский. Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника», СПБ., 1899, стр. 557. Дополнительно о мерах, предпринятых Павлом I против проникновения в Россию революционной литературы, см. «Дела и дни», 1920, кн. I, стр. 391—396.

57. «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПБ., 1866, стр. 97.

58. «Русский архив», 1868, стбц. 1338.

59. М. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I, СПБ., 1889, стр. 2—3.

60. А. Романович-Славатинский. Дворянство в России, СПБ., 1870, стр. 235; Клочков. Очерки правительственной деятельности времени Павла I, СПБ., 1916, стр. 492—493.

61. Авторство Н. Щеголева раскрыто В. Рогожиным — «Дела «московской цензуры» в царствование Павла I», вып. 1, СПБ., 1902, стр. 72.

62. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 391, 261.

63. См. И. Лучицкий. История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 года — «Известия Киевского университета», 1878, кн. II, стр. 573.

64. В библиотеке Радищева была книга Верри «Economie politique» (см. «Дела и дни», 1920, кн. I, стр. 400).

65. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 221. В «Путешествии» Радищев прославил Курция как образец патриота-«героя» (Там же, стр. 293).

66. Там же, стр. 150.

67. О М. И. Антоновском см. у В. Семенникова — «Литературно-общественный круг Радищева» (сборник «А. Н. Радищев. Материалы и исследования», М.—Л., 1936, стр. 215—222 и сл.).

68. Пнин частично цитирует Роллена («Способ учить и обучаться»).

69. За десять лет до «Санктпетербургского журнала» с переводами из Гольбаха выступил некий Н. Д. (вероятно, Н. Даниловский), напечатавший в журнале «Зеркало света» (1786—1787 гг.) извлечения из «Социальной системы» и из «Системы природы». В 1805 году эти переводы вышли отдельным изданием: «Ручная книжка человека и гражданина, или Рассуждения о должностях общежития; переведена с французского (из книги: Système social) Н. Д.».

70. Из литературных работ П. А. Яновского известны еще два перевода: «Анастасис, или О обязанностях предупреждать возможность погребения живых» (СПБ., 1803) и «История немецкой империи» в трех книгах (СПБ., 1811), — оба с французского. В 1803 году П. А. Яновский служил секретарем Адмиралтейств-Коллегии.

71. Все эти переводы вошли в качестве приложения в «Сочинения» Ивана Пнина, под ред. В. Н. Орлова, М., 1934, стр. 199—224.

72. П. Гольбах. Система природы, М., 1940, стр. 10.

73. М. Богданович. История царствования императора Александра I, т. I, СПБ., 1869, стр. 46.

74. ЛОЦИА. Архив Государственного совета, дело № 302, лл. 7 и 10.

75. См., например, у А. Кизеветтера: «Пнин вышел из кружка Радищева»; «Радищевский кружок послужил для него школой общественного воспитания. Недаром Пнин оплакал кончину своего учителя-друга...»; начало литературной деятельности Пнина «совпало с возвращением из сибирской ссылки Радищева, с которым Пнин был связан тесными дружескими отношениями» («Исторические очерки», стр. 59, 70).

76. «Архив кн. Воронцова», кн. V, М., 1872, стр. 421. Ср. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, под ред. В. Каллаша, т. I, М., 1907, стр. 486 (здесь редактор вопреки очевидному заметил даже, что ода «Вольность» «действительно очень похожа на стихотворения Пнина»). Установлено, что ода «Вольность» была написана около 1781—1783 гг., когда Пнину было 8—10 лет.

77. В. Семенников. Радищев, М.—П., 1923, стр. 454.

78. «А. Н. Радищев. Материалы и исследования», М.—Л., 1936, стр. 241—242, ср. стр. 262.

79. В. Семенников. Радищев, стр. 239. Другая редакция биографии, написанной П. А. Радищевым, — в «Русском вестнике», 1858, т. XVIII (о Пнине — на стр. 426—427).

80. См. о нем в «Сборнике статей, читанных в Отделении русского языка и словесности Академии наук», т. V, вып. 1, 1868, стр. 274. В «Отчете Публичной библиотеки» за 1892 год (стр. 19) зарегистрировано письмо к А. П. Брежинскому от Г. Р. Державина.

81. В литературе о Радищеве имена Брежинского и Бородавицына считаются «неизвестными» (см., например, В. Семенников, Радищев, стр. 239). Ввиду значения их для биографии Радищева приводим сведения о происхождении и службе И. С. Бородавицына, извлеченные из его послужного списка, найденного нами в делах Комиссии составления законов (ЛОЦИА, ч. 1, отд. III, № 18, лл. 11, 78—79). И. С. Бородавицын родился в 1772 году. До 1801 года он прошел уже довольно длинный служебный путь: вступив в 1788 году сержантом в л.-гв. Преображенский полк, с 1797 года продолжал службу прапорщиком в Смоленском мушкетерском полку, в 1800 году был «определен к статским делам с переименованием в городовые секретари» и тогда же зачислен в штат канцелярии генерал-прокурора, с награждением чином титулярного советника, а 1 мая 1801 года был перемещен в Комиссию составления законов, где и служил до 14 января 1804 года, когда был «уволен от дел и из списка исключен». Дальнейшая его судьба неизвестна.

82. «Русский вестник», 1858, т. XVIII, стр. 426.

83. Известно, что у сына Радищева, Павла Александровича, жившего в Таганроге, в 1850-х годах хранился портрет отца с написанными под ним стихами Пнина («Русский вестник», 1858, т. XVIII, стр. 395; из контекста можно заключить, что стиховая надпись представляла собою автограф Пнина). Ныне этот портрет затерялся. Из документов цензуры известно также, что в 1859 году издатель журнала «Иллюстрация» В. Р. Зотов представил в Петербургский цензурный комитет биографию Радищева и несколько к ней иллюстраций, в том числе «портрет А. Н. Радищева с припискою стихов Ивана Пнина». Комитет, затрудняясь решить самостоятельно вопрос об издании радищевских материалов, передал дело на заключение Главного управления цензуры, где было определено и биографию и портрет «к печатанию не дозволять» и возвратить их Зотову (ЛОЦИА. Журнал заседаний С.-Петербургского цензурного комитета, 1859, 14 мая, лл. 162—162 об.).

84. Д. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей русской земли, т. IV, 1836, стр. 304—305.

85. Вопросы семьи и брака привлекали внимание в кругу радищевцев. В «Санктпетербургском журнале» 1798 года была помещена анонимная статья «К Наисе» (ч. II, стр. 123—134 и ч. IV, стр. 43—46), в которой доказывалось, что «взаимная токмо любовь может доставить истинное блаженство супругам», и осуждались безнравственные взгляды на брак «келадонов». Пнин в «Вопле невинности» воспользовался некоторыми положениями и даже отдельными формулировками этой статьи; принадлежность ее Пнину вызывает, однако, сомнения. Из других откликов на данную тему представляет интерес статья члена Вольного общества любителей словесности, наук и художеств И. И. Чернявского — «Рассуждение об основаниях просвещения» («Северный вестник», 1805, ч. V), в которой была обоснована идея нерушимости и «святости» брачных и семейных отношений.

86. Е. Петухов, впервые опубликовавший «Вопль невинности», ошибочно указал дату 24 ноября 1803 года («Исторический вестник», 1889, т. XXXVII, стр. 140); эта ошибка повторялась впоследствии во всех работах о Пнине.

87. Письмо это известно в копии, снятой Пниным и сохранившейся в составе белового автографа «Вопля невинности» (Институт русской литературы Академии наук СССР).

88. Полное собрание законов, 1829 год, № 3027.

89. С рукописи (Институт русской литературы Академии наук СССР).

90. «Исторический вестник», 1889, т. XXXVII, стр. 147—160 (с черновой рукописи). С парадного автографа, поднесенного Александру I, «Вопль невинности» напечатан в «Сочинениях» Ивана Пнина, М., 1934.

91. См. «Сочинения» Пнина, стр. 284. Пятый список — в рукописном сборнике конца XVIII — начала XIX века из архива М. Е. Лобанова (б. собрание Гос. Литературного музея в Москве — 2755/109).

92. «Северный вестник», 1805, ч. VII, сентябрь, стр. 344.

93. «Исторический вестник», 1889, т. XXXVII, стр. 143.

94. См. по этому поводу: А. Поляков. Пушкин и Пнин («Пушкин и его современники», вып. XVII—XVIII, 1913, стр. 249—264; есть отдельный оттиск) и возражения Полякову — А. Бема (там же, вып. XXIII—XXIV, 1916, стр. 23—44) и Н. Лернера («Речь», 1913, 23 декабря). В. Нечаева («В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности», 1949, стр. 363—365) высказала предположение, что в преемственной связи с «Воплем невинности» находится юношеская драма В. Г. Белинского «Дмитрий Калинин». При известной близости между обоими произведениями в разработке темы судьбы «незаконнорожденного» фактических данных о знакомстве Белинского с памфлетом Пнина не имеется.

95. ЛОЦИА, архив Министерства народного просвещения, дело № 8612/к. 195.

96. «Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук», т. V, вып. 1, 1868, стр. 70, или отдельно: «Переписка Евгения с Державиным», СПБ, 1868.

97. А. Поляков упоминает также о знакомстве Пнина с известным педагогом и переводчиком древних авторов, впоследствии лицейским учителем Пушкина — Н. Ф. Кошанским; они, якобы, встречались в доме М. Н. Муравьева (см. «Пушкин и его современники», вып. XVII—XVIII, стр. 260). Но знакомство это если и состоялось, то было мимолетным, так как Кошанский появился в Петербурге не раньше середины августа 1805 года, а через месяц Пнин умер.

98. См. «Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», СПБ., 1804, стр. XV.

99. В архиве Вольного общества, хранящемся в фундаментальной библиотеке Ленинградского гос. университета им. А. А. Жданова (в дальнейших ссылках — указывается сокращенно: архив Вольного общества), «дело» Пнина (№ 24) утрачено. Данные о пребывании его в Обществе заимствуем из других бумаг того же архива и из статьи

Е. Петухова в «Историческом вестнике», 1889, т. XXXII, стр. 142—147.

100. С рукописи (архив Вольного общества).

101. Архив Вольного общества, дело № 59.

102. По указу 9 февраля 1802 года наблюдение за печатанием книг было возложено на гражданских губернаторов, которые «имели к сему употреблять директоров народных училищ» (до того времени цензура находилась в ведении Управы благочиния). Предпринятые нами розыски материалов по изданию «Опыта о просвещении» не увенчались успехом: архив канцелярии петербургского гражданского губернатора за 1800-е годы не сохранился. По указу 9 июля 1804 года цензура была передана в ведение Министерства народного просвещения. Этим уточняется время выхода в свет книги Пнина — первая половина 1804 года.

103. Цензурный устав 1804 года разрешал административной власти вмешиваться в дела цензурного ведомства в порядке конфискации книг, находившихся в продаже и, следовательно, уже пропущенных цензурою (§ 34).

104. ЛОЦИА. Архив Министерства народного просвещения, дело № 9826/к. 134. Ср. «Описание дел архива Министерства народного просвещения», т. II, П., 1921, стр. 62.

105. Рукопись дополнений, представленная Пниным в цензуру, утрачена. Но в Центральном историческом архиве (Москва), в составе собрания Ф. Н. Хозикова, сохранился экземпляр «Опыта о просвещении» (издание 1804 года), который содержит все добавления, сделанные Пниным для второго издания книги. Перед титульной страницей *вклеен* листок, на котором чьей-то рукой написано: «Сочинение удержано государем. Переправки представлены в ценсуру 18 ноября 1804 г.; печатать запрещено в 1818 году». Самый же экземпляр книги был *переплетен* с белыми листками, на которых были той же рукой *переписаны* (без единой помарки) добавления Пнина, — переписаны, несомненно, с автографа, представленного Пниным в цензуру в 1804 году. В конце второго обширного добавления имеется «Общее примечание»: «Все слова и строки, отмеченные красными точками, замараны в рукописи ценсором», что также свидетельствует о том, что добавления были переписаны непосредственно с цензурного экземпляра, причем переписаны совершенно точно, так как цитируемые в донесении цензора Г. М. Яценко строки добавлений не содержат каких-либо разночтений сравнительно с рукописным текстом архивного экземпляра. Повидимому, кто-то из друзей или почитателей Пнина, владевший автографом добавлений, возвращенным Пнину из

цензуры, спустя четырнадцать лет, в 1818 году, попытался вторично издать «Опыт о просвещении» в полной редакции. Попытка его не увенчалась успехом: книга была снова запрещена (в 1818 году было вообще запрещено писать что-либо о крепостном праве, равно и в защиту и в осуждение его), — после чего, вероятно, и был вклеен в переплетенную вместе с рукописными добавлениями книгу первый листок с вышеприведенным объяснительным текстом. Архивный экземпляр «Опыта о просвещении» был найден А. Н. Филипповым и описан им в «Известиях по русскому языку и словесности Академии наук СССР», 1929, т. II, ч. 2, стр. 493—527. По этому же экземпляру полный текст «Опыта», со всеми добавлениями и восстановленными цензурными купюрами, был опубликован в «Сочинениях» Пнина, М., 1934 (стр. 121—161). Все дальнейшие цитаты из «Опыта» по этому изданию.

106. ЛОЦИА. Архив Министерства народного просвещения, дело № 206148/к 5916 — «Донесения цензоров СПБ. Цензурного комитета 1804 и 1805 гг.», лл. 7—18 об. Копия — в деле № 9826/к.134.

107. См. «Беседа в Обществе любителей российской словесности», 1871, вып. III, стр. 9.

108. Копии этого письма (очевидно, от Н. Н. Новосильцева, передавшего Пнину «монаршее благоволение») при деле не имеется.

109. С автографа — без подписи и даты. ЛОЦИА. Архив Министерства народного просвещения, дело № 9826/к.134, лл. 5—8. Цензурными материалами о переиздании «Опыта о просвещении» пользовался М. И. Сухомлинов, цитировавший и отзыв Яценко и прошение Пнина в своих «Исследованиях и статьях по русской литературе и просвещению», т. I, СПБ., 1889, стр. 430—434.

110. В архиве цензурного комитета имелось дело № 605-37 «Об отобрании из книжных лавок сочинения Пнина: Опыт о просвещении» (см. «Исторические сведения о цензуре», СПБ., 1862, стр. 9), но, несмотря на приложенные нами старания, разыскать его не удалось.

111. Первое упоминание о доносе Геракова встречается в воспоминаниях П. А. Радищева («Русский вестник», 1858, т. XVIII, стр. 426—427).

112. «Мемуары князя Адама Чарторижского», т. I, М., 1912, стр. 85.

113. С. Окунь. История СССР (1796—1825), Л., 1948, стр. 116.

114. «Государственный совет (1801—1901)», СПБ., 1901, стр. 11.

115. А. Филиппов. И. П. Пнин и его не пропущенный цензурою «Опыт о просвещении относительно к России» — «Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР», 1929, т. II, кн. 2, стр. 494.

116. «Опыт о просвещении» цитируется по полному тексту, опубликованному в «Сочинениях» Ивана Пнина, М., 1934.

117. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 150—151.

118. См. И. Болтин. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, т. II, СПБ., 1788, стр. 206—215. Подробнее о заимствованиях Пнина у Болтина см. в указ. статье А. Филиппова, стр. 510—515.

119. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 322. В показаниях на следствии Радищев писал: «В проекте о освобождении крестьян помещичьих я мечтал... как может быть оно постепенно» («Полное собрание сочинений», под ред. А. Бороздина и др., т. II, СПБ., 1907, стр. 323). — Вот как трактует этот вопрос советская наука: «Прекрасно сознавая, что монарх-самодержец не согласится добровольно поступиться своей властью, Радищев иногда готов был, в духе весьма распространенных идей того времени, рассчитывать на преобразовательную деятельность «просвещенного монарха». Полагая надежду «на бунт от мужиков», Радищев, однако, в некоторых местах «Путешествия» пытается убедить помещиков, что в их же собственных интересах уничтожить рабство. Важно подчеркнуть при этом, что проект Радищева об освобождении крестьян от «помещичьей власти» путем законодательного распоряжения предусматривал непременное наделение крестьян землей. В этом вопросе Радищев опередил не только современных ему буржуазных деятелей, но и многих декабристов» (Д. Благой. Выдающийся русский революционер и писатель — «Большевик», 1949, № 14, стр. 34).

120. Пестель говорил о «разделении членов общества на повелевающих и повинующихся» («Сие разделение неизбежно потому, что происходит от природы человеческой, а следовательно, везде существует и существовать должно»); о «равновесии взаимных обязанностей и взаимных прав», на котором должно быть основано существование любого государства и при нарушении которого государство «переходит из природного и здорового своего положения в состояние насильственное и болезненное»; о том, что «охранение права собственности есть главная цель гражданского быта и священная обязанность правительства», что «право собственности или обладания есть право священное и неприкосновенное, долженствующее на самых твердых положитель-

ных и неприкосновенных основах быть утверждено и укреплено, дабы каждый гражданин в полной мере уверен был в том, что никакое самовластие не может лишить его ниже малейшей части его имущества» (цитир. по сборнику «Декабристы. Отрывки из источников», М.—Л., 1926, стр. 137, 138, 168, 176).

121. В 1805 году в официальном органе Министерства внутренних дел — «Санктпетербургском журнале» (№№ 11 и 12) появился сокращенный перевод проекта Шапталя. Текстуальные совпадения с «Опытом о просвещении» (см., например, № 11, стр. 58—59) позволяют высказать предположение: не принадлежал ли этот перевод Пнину?

122. «Санктпетербургский журнал», 1798, ч. I, стр. 164.

123. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 258—259.

124. «Журнал российской словесности», 1805, ч. III, № 10, стр. 59 и 98.

125. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 330.

126. См., например, отзывы Н. М. Карамзина и М. Т. Каченовского в «Вестнике Европы» (1804, ноябрь, стр. 70 и 1805, февраль, стр. 194).

127. Впервые опубликовано нами в «Сочинениях» Ивана Пнина, М., 1934, стр. 86 по тексту рукописи июльской книжки «Журнала российской словесности» 1805 года (Институт русской литературы Академии наук СССР); здесь стихотворение это, записанное рукой Н. П. Брусилова, вычеркнуто цензором И. Тимковским с пометой: «Не печатать».

128. «Взгляд на мою жизнь» — И. И. Дмитриев. Сочинения, т. II, СПБ., 1893, стр. 153.

129. Тема Велизария привлекала внимание и других писателей этого круга: В. И. Красовский в 1801 году представил в Вольное Общество любителей словесности, наук и художеств сочинение «Велизарий, в темнице умирающий» («Периодическое издание», ч. I, СПБ., 1804, стр. III).

130. Годовой оклад Пнина составлял 2000 руб., с добавкой 500 рублей «квартирных»; пенсион, назначенный ему «по смерть», равнялся 666 руб. 66 коп. в год. Данные об отставке Пнина заимствуем из дела № 8814/к. 198 Архива Министерства народного просвещения (ЛОЦИА).

131. Петр Иванович Пнин в 1809 году был принят «учеником» в Академию художеств, в 1819 году — назначен в «живописный класс», в 1824 — награжден двумя серебряными медалями и выпущен из Академии с аттестатом первой степени. С 1826 года он служил

канцеляристом в Министерстве народного просвещения (см. Н. Собко. Словарь русских художников, т. III, вып. 1, СПБ., 1899, стр. 303; «Сборник материалов для истории Академии художеств за сто лет ее существования», ч. II, СПБ., 1865, стр. 132, 189, 190, 195). В 1825 году Петр Пнин получил из Опекунского совета наследственный капитал, оставшийся после отца, в сумме 8000 руб. (вызов опеки в «Санктпетербургских ведомостях», 1825, № 44, стр. 559). В 1831 году он ездил в Италию, уже отставным губернским секретарем (см. объявление в «Санктпетербургских ведомостях», 1831, № 26, Прибавление, стр. 2312), в 1837 году — вторично отправился в Италию со своим товарищем по Академии художеств М. И. Лебедевым; по данным, сообщенным известным гравером Ф. И. Иорданом (называющим П. И. Пнина своим другом и товарищем по Академии), оба художника погибли в Неаполе при эпидемии холеры в 1837 году («Русская старина», 1891, № 7, стр. 38 и 46, или «Записки Ф. И. Иордана», П., 1918, по указателю). Известна репродукция одной из картин Петра Пнина — «Игра в шашки» («Золотое руно», 1907, № 7/9, стр. 50).

132. Н. Греч — «Северная пчела», 1857, № 125, стр. 587.

133. Отчет о заседании 20 сентября был помещен в «Северном вестнике», 1805, ч. VIII, октябрь, стр. 86—87. Статья Н. П. Брусилова появилась в «Журнале российской словесности», 1805, ч. III, № 10, стр. 57—66. Речи Д. И. Языкова и А. Е. Измайлова в извлечениях опубликованы в «Историческом вестнике», 1889, т. XXXVII, стр. 142—144. Речь В. В. Попугаева и речь и стихотворение Ф. И. Ленкевича до нас не дошли.

134. Эскиз И. И. Теребенева хранился в архиве Вольного общества, но ныне утрачен. Отлитый им бюст до настоящего времени не разыскан. Вообще ни одного изображения Пнина не известно.

135. Н. Греч — «Северная пчела», 1857, № 125, стр. 587. Материалы по делу о сооружении памятника частично сохранились в архиве Вольного общества; см. также «Исторический вестник», 1889, т. XXXVII, стр. 145—147. Кроме того, тотчас же после смерти Пнина Вольное общество озаботилось судьбой его литературного архива, попавшего в дворянскую опеку. Оттуда пришел ответ, что после Пнина «никаковых сочинений, кроме партикулярных писем и некоторых счетных записок и счетов, не найдено» и что, по словам «бывшего его служителя» Г. Буша, какие-то бумаги сам Пнин во время болезни роздал посещавшим его приятелям. Так бесследно пропал архив Пнина: никаких его рукописей, кроме трех автографов «Вопля невинности», до сих пор не обнаружено.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. А. Е. Измайлов называет также в числе основателей Общества некоего Лангена, но пропускает Михайлова (см. «Благонамеренный», 1820, ч. XI, № 14, стр. 117).

2. М. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти, изд. 2-е, М., 1869, стр. 222.

3. «Весть», 1864, № 15, стр. 11; «Северная пчела», 1857, № 125, стр. 587.

4. «Воспоминания о Ф. Ф. Иванове» — «Труды Общества любителей российской словесности», 1817, ч. VII, стр. 104.

5. М. Сухомлинов. История Российской академии, вып. II, СПБ., 1875, стр. 11.

6. «Весть», 1864, № 15, стр. 11.

7. «Благонамеренный», 1820, ч. XI, № 14, стр. 117.

8. «Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», часть первая, СПБ., 1804, стр. 1—2.

9. А. Болотов. Памятник претекших времян, СПБ., 1875, стр. 12.

10. «Заметки А. X. Востокова о его жизни», СПБ., 1901, стр. 40. Отсюда и все дальнейшие цитаты автобиографического характера.

11. Ф. Булгарин. Воспоминания, ч. II, СПБ., 1846, стр. 16—17.

12. Н. Греч. Записки о моей жизни, Л., 1930, стр. 444.

13. «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», 1896, т. I, кн. 1, стр. 109 (запись в дневнике К. И. Остен-Сакена от 27 января 1794 года).

14. «Переписка А. X. Востокова», СПБ., 1873, стр. II.

15. «Заметки А. X. Востокова», стр. 62.

16. Русский перевод «Кума Матвея», выполненный П. Пельским, в 1803 году подвергся полицейским преследованиям.

17. «Хроника недавней старины», СПБ., 1876, стр. 90.

18. «Заметки А. X. Востокова», стр. 18.

19. Ф. Лубяновский. Воспоминания, М., 1872, стр. 209—210.

20. Очерк «Ночь»—«Периодическое издание», 1804, стр. 99—100.

21. Там же, стр. 97, 99.

22. Замечания на трактат В. В. Попугаева «О благоденствии народных обществ» — «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 86.

23. Там же, стр. 72—74.

24. «Периодическое издание», стр. 100.

25. Речи В. В. Попугаева и И. М. Борна помещены в части тиража «Периодического издания» 1804 года (без пагинации), в качестве приложения к первоначальной «Истории общества» (составленной Попугаевым), в дальнейшем из большей части тиража изъятой и замененной «Краткой историей» (об этом см. на стр. 228—232). Здесь речи приводятся с рукописей (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

26. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 215.

27. И. Борн. Эскиз рассуждения об успехах просвещения (1801) — «Периодическое издание», стр. 137.

28. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 220.

29. «Периодическое издание», стр. 145.

30. Стоит отметить, что имена Державина и Рейналя объединены в приписываемой Радищеву оде «Древность» (А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 354).

31. «Благонамеренный», 1820, ч. XI, № 14, стр. 117.

32. В переработанном виде, под заглавием «Евгения, или Нынешнее воспитание», был издан в 1803 году.

33. Вышел в свет в 1805 году.

34. Был издан в 1803 году.

35. Полный перевод, выполненный Д. И. Языковым, вышел в свет в 1810—1814 гг., в 4-х томах (под заглавием «О существе законов»).

36. В 1807 году была издана книга: «О новейшем государственном хозяйстве; творение г. Гереншванда. Перевел с французского Петр [sic] Крюковской».

37. «Периодическое издание», стр. X.

38. Там же, стр. XV—XVI. Коллективный перевод «Духа законов» издан не был, так как за это дело взялся единолично Д. И. Языков.

39. См. Л. Лехтблау. Из истории просветительной литературы в России — «Историк-марксист», 1939, кн. I, стр. 197—204.

40. Письма В. В. Дмитриева и данные о судьбе его проекта извлечены из архива Вольного общества.

41. «Ореады», кн. I, СПБ., 1809, стр. 122.

42. С рукописи — архив Вольного общества.

43. «Ореады», кн. I, стр. 24.

44. Подробнее см. в сборнике «Поэты-радищевцы», Л., 1935, стр. 343—345.

45. Было опубликовано в 1804 году.

46. Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА).

47. Напечатано в Собрании сочинений А. Е. Измайлова, т. II, СПБ., 1849, стр. 423—440.

48. «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 89.

49. В этой связи можно назвать «драматическую повесть в стихах Н. А. Радищева — «Друзья» (1801), оду Ф. И. Ленкевича «К благотворительности», «Российский анекдот» Д. Ф. Бринкена — «Героизм братской любви» (см. сборник «Поэты-радищевцы», стр. 444, 498—499, 640).

50. Архив Вольного общества.

51. «Благонамеренный», 1820, ч. XI, № 14, стр. 117.

52. Там же.

53. Художник, с 1804 года член Вольного общества.

54. Н. Греч — «Северная пчела», 1857, № 125. Материальная база Вольного общества составлялась из членских взносов, которыми окупались разнообразные расходы по организации заседаний, изготовлению дипломов и проч. Издательские операции осуществлялись на специально собиравшиеся для этой цели суммы. Финансовыми делами Общества ведал выборный член — казначей; первым казначеем был И. М. Борн, в октябре 1805 года его сменил И. П. Лапен.

55. «Периодическое издание», стр. IV.

56. Там же, стр. XVIII.

57. В молодости Новосильцев и сам был не чужд литературе; в 1797 году цензура не пропустила в печать его сочинения: «Мелочи» и «Счастливая встреча» (комедия) и перевод «Вот как любить должно» («английские письма») — см. В. Рогожин. Дела «московской цензуры» в царствование Павла I, вып. I, СПБ., 1902, стр. XLVI и 58—59.

58. Архив Министерства народного просвещения (ЛОЦИА), дело № 10456/к. 225. Ср. «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения», 1804, № 5, стр. 31; там же, на стр. 32—41, напечатан устав Вольного общества.

59. А. Е. Измайлов — «Благонамеренный», 1820, ч. XI, № 14, стр. 117.

60. Архив Вольного общества.

61. Архив Вольного общества. В 1801 году Попугаев написал

«Оду на случай нового сочинения г. акад. Лепехина» («Поэты-радищевцы», стр. 272), где называл этого видного ученого — естествоведа и медика — своим «любимым мужем», «истинным героем познаний», поборником «истины». Ода Попугаева была написана в связи с выходом в свет VI тома переведенной И. И. Лепехиным «Всеобщей и частной естественной истории» Бюффона, — спустя девять лет после издания V тома. Перерыв в издании объяснялся цензурными условиями, установившимися в России после французской революции: «Естественная история» Бюффона, выражавшая в известной мере идеи свободомыслия и материализма, оказалась под запретом за «пылкие умствования» автора, «не согласующиеся с преданиями священного писания» (см. М. Сухомлинов. История Российской академии, вып. II, СПБ., 1875, стр. 216—217). Желание Попугаева «почтить портретом» знаменитого и свободомыслящего ученого объясняется также и тем, что И. И. Лепехин в течение долгого времени занимал должность инспектора гимназии Академии наук, где пользовался исключительной любовью и уважением учащихся.

62. Архив Вольного общества.

63. «Северный вестник», 1804, ч. I, январь, стр. 90.

64. Дальнейшие документальные данные — по материалам архива Вольного общества.

65. См. объявление об издании в «Северном вестнике», 1804, ч. II, стр. 119.

66. Политически неблагонадежная репутация Вольнея в русских правительственных кругах усугублялась еще благодаря тому обстоятельству, что он нанес личное оскорбление Екатерине II: в 1787 году, после того как появилась книга Вольнея «Путешествие в Египет и Сирию», Екатерина послала ему золотую медаль, но в 1792 году, в знак протеста против реакционной политики Екатерины, он вернул медаль обратно, после чего Екатерина инспирировала два злобных памфлета о Вольнее, один из которых был написан Гриммом (см. «Сборник русского исторического общества», т. XXIII, стр. 568). «Руины» Вольнея долго оставались под цензурным запретом: русский перевод «Руин» был задержан цензурой в 1827—1828 гг. (см. «Русская старина», 1901, № 5, стр. 403); другой перевод был конфискован уже в 1860-х годах (см. В. Семевский. Общественные и политические идеи декабристов, СПБ., 1909, стр. 222).

67. «Северный вестник», 1805, ч. VII, стр. 360.

68. «Северная пчела», 1857, № 125, стр. 587.

69. «Исторический вестник», 1889, июль, стр. 143.

70. «Журнал российской словесности», 1805, ч. III, стр. 62.

71. Письма Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева, М. М. Хераскова и В. В. Капниста в Вольное общество, которыми они благодарили за избрание, опубликованы в «Историческом вестнике», 1899, июль, стр. 213—214.

72. В октябре 1807 года А. Е. Измайловым было получено письмо от члена Общества профессора Виленского университета И. И. Чернявского, который извещал, что готов служить журналу своими сочинениями.

73. Оно опубликовано в «Историческом вестнике», 1889, июль, стр. 214.

74. «Заметки А. Х. Востокова о его жизни», СПБ., 1901, стр. 26—31.

75. Н. Греч — «Северная пчела», 1857, № 125, стр. 587.

76. К. Н. Батюшков вступил в Вольное общество еще в 1805 году

77. Имеется в виду Д. В. Дашков, исключенный из Общества за оскорбление, нанесенное Д. И. Хвостову, — см. «Русская старина», 1884, июль, стр. 105.

78. По официальной версии, Общество «нашло себя вынужденным прекратить свои собрания... потому что все почти члены, будучи чрезвычайно озабочены по тогдашним обстоятельствам, не могли, как прежде, постоянно упражняться в словесности и науках» (архив Вольного общества).

79. См. «Описание дел архива Министерства народного просвещения», т. II, П., 1921, стр. 262.

80. В 1808 году Борн издал свою единственную книгу — «Краткое руководство к российской словесности». Кроме разделов «Грамматика» и «О теории слога в прозе и стихах», книга содержала обзор истории русской литературы от «древнейших времен» до Карамзина. Стоит отметить, что, упоминая многих писателей, даже вполне второстепенных, Борн умолчал в обзоре о Радищеве.

81. Это видно из их переписки — см. «Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина», т. I, СПБ., 1862, стр. 89. Между прочим благодаря Борну засекреченная «Записка о древней и новой России» стала известна более или менее широкому кругу лиц: в 1830-х гг. он передал ее академику К. И. Арсеньеву (см. «Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук», т. IX, 1872, стр. 48). Получил текст «Записки» Борн, нужно думать, непосредственно от в. кн. Екатерины Павловны. Первое беглое упоминание о «Записке» Карамзина в печати относится к 1836 году (в статье Пушкина о заседании Российской академии, в III томе «Современника»).

82. В Твери с Борном встречался А. В. Кочубей, отметивший, что «он отличался большими способностями» («Семейная хроника. Записки А. В. Кочубея», СПБ, 1890, стр. 50). Дальнейшая судьба Борна, поскольку она известна, всецело связана с в. кн. Екатериной Павловной. После смерти Ольденбургского он стал ее секретарем, а когда она вторично вышла замуж за короля Вюртембергского, уехал с нею в Германию (в 1816 году) и окончательно порвал связь с Россией. Умер Борн в Штутгарте в 1851 году.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Бóльшая часть приведенных здесь данных установлена путем архивных разысканий (ссылки на источники в отдельных случаях опущены).

2. «Северная пчела», 1857, № 125; «Весть», 1864, № 15, стр. 11.

3. «Благонамеренный», 1826, ч. 33, стр. 190.

4. Архив Вольного общества, протокол от 31 марта 1803 года. Общество вынесло Попугаеву порицание «за неприличный поступок в рассуждении члена Севастьянова».

5. Ответ на запрос Экспедиции путей сообщения (1814) — Ленинградское отделение Центрального исторического архива (ЛОЦИА), архив Министерства путей сообщения.

6. См. «Историческое описание императорской шпалерной мануфактуры» (1802) — «Архив кн. Воронцова», кн. V, М., 1872, стр. 479.

7. Данные о пребывании Попугаева в академической гимназии — по документам архива Конференции Академии наук.

8. Рукопись Попугаева («Remarques sur la refraction des rayons») сохранилась в архиве Академии наук СССР. См. также «Протоколы заседаний Конференции Академии наук», т. IV, СПБ., 1911, стр. 996—997.

9. См. «Zur Geschichte der St.-Petri-Schule in St.-Petersbourg» 1887, S. 20. В 1802 году место Попугаева заступил его приятель И. М. Борн.

10. Письмо от 30 ноября 1802 года — архив Комиссии составления законов (ЛОЦИА).

11. См. Адрес-календарь 1816 г., ч. I, стр. 666.

12. «Весть», 1864, № 15, стр. 11. Известно, что Попугаев был женат, детей же не имел.

13. С рукописи (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

14. Архив Вольного общества.

15. С рукописи — архив Вольного общества. Помечено 5 октября 1807 года.

16. С рукописи — архив Вольного общества.

17. Д. И. Хвостов. Записки о словесности — «Литературный архив», I, М.—Л., 1938, стр. 370.

18. Для характеристики патриотических настроений Попугаева показательное значение имеет выдвинутый им в Вольном обществе (в 1803 году) «проект для сооружения памятника Пожарскому, Минину и Гермогену». Попугаев предлагал объявить всенародную подписку — чтобы «издержки на сей памятник назначены были из добровольных пожертвований граждан» («Периодическое издание», стр. XVIII). Вольное общество не решилось взять на себя почин в осуществлении столь обширного предприятия, — впрочем, И. М. Борн «отзывался с похвалою о усердии Попугаева» (там же).

19. Е. Бобров. Литература и просвещение в России XIX века, т. III, Казань, 1902, стр. 122.

20. См. также «Приятное и полезное препровождение времени», 1798, ч. XVII («Надгробная песнь негритянки») и «Ипокрена», 1801, ч. IX («Песнь негра», перевод П. Львова).

21. Декабристу В. Ф. Раевскому принадлежит стихотворение «Плач негра» (В. Базанов. В. Ф. Раевский, Л.—М., 1949, стр. 177). Декабрист В. И. Штейнгель упоминал о «варварской торговле неграми» в записке 1823 года «О легкой возможности уничтожить существующий в России торг людьми» («Декабристы. Отрывки из источников», Л., 1926, стр. 58). Денис Давыдов называл крепостных «белыми неграми» (письмо к П. Д. Киселеву, 1819 года — «Сочинения Д. В. Давыдова», т. III, СПБ., 1893, стр. 231). П. А. Вяземский в стихотворении «В. Л. Пушкину на новый год» (1820) восклицал: «Пусть белых негров прекратится Продажа на святой Руси!» (П. А. Вяземский. Избранные стихотворения, М.—Л., 1935, стр. 163). В «Сыне отечества» в 1820 году были помещены одно вслед за другим два перевода стихотворения Мильвуа о негре — Д. Глебова («Негр в неволе» — ч. 61, стр. 219) и А. И. Писарева («Бедный негр» — ч. 62, стр. 33). В 1826 году вольнодумно настроенный флигель-адъютант гр. А. Г. Строганов, посланный на Урал для расследования волнений рабочих на Кыштымских заводах, в записке, поданной Николаю I, касаясь положения крепостных на заводах, сравнивал его «по изнурениям» с положением «негров африканских берегов» (М. Нечкина. Из истории рабочего движения эпохи декабристов — сборник «История пролетариата СССР», т. II, 1930, стр. 250—263).

22. М. Ю. Лермонтов. Полное собрание сочинений, т. IV, М.—Л., 1935, стр. 402. В 1844 году органы политического надзора обратили внимание на статью «Освобождение негров во французских колониях», появившуюся в «Московских ведомостях» (№№ 42—45) и вызвавшую толки в Москве по вопросу о крепостном праве в России (М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., изд. 2-е, СПБ., 1909, стр. 153—155). В 1850-е годы о неграх в связи с проблемой русского крепостничества писал Н. А. Добролюбов («Дума при гробе Оленина»).

23. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 312, 316—317. Ср. у А. Х. Востокова в «Речи о просвещении человеческого рода» (1802): «В наши времена гишпанцы, португальцы и другие... какую пользу принесли народам, ими открытым? Напротив того, всегда искали они обманывать, грабить, смерти предавать сильных, а слабых чинить рабами и не токмо не просветили их, но погасили и те немногие искры света, кои начали было являться в простодушных питомцах природы» («Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 73).

24. Было замечено, что в этой тираде можно видеть «напоминание о временном «торжестве» крепостных крестьян, под знаменами Е. Пугачева восставших против своих «белых» (помещиков)» (В. Десницкий. На литературные темы. Книга вторая, Л., 1936, стр. 262).

25. Ср. замечания Л. Лехтблау — «Из истории просветительной литературы в России» («Историк-марксист», 1939, кн. I, стр. 201).

26. Архив Института русской литературы Академии наук СССР. Указанием на эту рукопись я обязан Д. С. Бабкину.

27. Ее нет в «Эрмитажном собрании манускриптов» (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), в котором сосредоточены многие рукописи, представлявшиеся на имя царя.

28. «О благоденствии народных обществ». Часть I, СПБ., 1807, стр. 2. В дальнейшем изложении в цитатах указаны только страницы этой книги.

29. А. Н. Радищев. Избранные сочинения, М.—Л., 1949, стр. 636—637.

30. Архив Вольного общества — «Мнение цензуры о представленном для напечатания сочинении г. Попутаева «Опыт о благоденствии народных обществ».

31. А. Н. Радищев. Избранные сочинения, М.—Л., 1949, стр. 639.

32. «Мое время. Записки Г. С. Винского», СПБ., 1914, стр. 131.

33. «Голос минувшего», 1916, № 12.

34. Радищев, рассуждая о «непременном законе», полагающем «твердые основания правления», вспоминал в этой связи «мудрые Ликурговы законы, вольность Спарты утверждавшие» («Путешествие из Петербурга в Москву», глава «Новгород» — Полное собрание сочинений, т. I, стр. 262).

35. Архив Вольного общества.

36. А. Н. Радищев. О законоположении — «Голос минувшего», 1916, №12, стр. 77.

37. Это место в рукописи Попугаева обратило на себя внимание «цензуры» Вольного общества: благонамеренный Д. И. Языков, «соображаясь с высочайше изданным уставом о цензуре», требовал его исключить; А. Х. Востоков предлагал «поумерить только выражения» («Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 81—82). Третий «цензор» — А. Е. Измайлов, отметив, что в рукописи Попугаева «есть прекрасные мысли, тонкие рассуждения, важные и полезные истины», также возражал против «ложных и непозволительных мыслей» (с рукописи, архив Вольного общества).

38. В не дошедшей до нас первоначальной рукописи трактата Попугаев писал: «В больших и многолюдных областях *избрание* первенствующего лица не токмо не вредно, но еще полезно». Цензоры Вольного общества Д. И. Языков и А. Х. Востоков согласились, что это выражение «нельзя позволить к напечатанию» («Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 82).

39. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II, стр. 282.

40. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. II, М.—Л., 1941, стр. 5. Ср. Е. Приказчикова. Экономические взгляды А. Н. Радищева, М.—Л., 1947 и С. Покровский. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России, М., 1947, стр. 142—147. «Письмо о китайском торге» было опубликовано позже трактата Попугаева (в 1811 году, в VI части «Собрания оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева»), но не исключено, что оно могло быть известно ему в рукописи — через Н. А. Радищева (члена Вольного общества), имевшего ближайшее отношение к указанному изданию. В данном случае Попугаев мог опереться и на мнение хорошо известного ему Филанджиери, который в XVIII главе «Науки о законодательстве» утверждал, что для страны, богатой производительными силами, главная экономическая задача состоит в торговле «собственными произведениями».

41. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, М., 1931, стр. 357.

42. «Размышления о греческой истории, или о причинах благоденствия и несчастия греков», СПБ., 1773, стр. 231.

43. Вопрос этот освещен в статье В. Панова «Политические идеи аббата Мабли» («Журнал Министерства народного просвещения», 1911, июль), материалом которой мы воспользовались.

44. «Размышления о греческой истории...», перевод Радищева, стр. 55—56.

45. В. Волгин. Социальные и политические идеи во Франции перед революцией, М.—Л., 1940, стр. 153—154.

46. Архив Вольного общества. Ср. «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 83. Крестьянскому вопросу была посвящена не дошедшая до нас статья Попугаева «Об участи земледельцев», сведения о которой имеются в бумагах Вольного общества.

47. А. Н. Радищев. Беседа о том, что есть сын Отечества — Полное собрание сочинений, т. I, стр. 215—216. Впервые (анонимно) — в «Беседующем гражданине» 1789 года.

48. «Эскиз рассуждения об успехах просвещения» — «Периодическое издание», 1804, стр. 136—145.

49. «О просвещении человеческого рода» (1802) — «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 70—74.

50. Все дальнейшие цитаты, кроме особо оговоренных, из рукописи 1803 года «О благополучии народных тел».

51. Притча Пнина была опубликована после его смерти («Любитель словесности», 1806, ч. II, стр. 207), но, конечно, могла быть известна Попугаеву в рукописи или в устной передаче автора.

52. А. Н. Радищев. О законоположении — «Голос минувшего», 1916, № 12, стр. 86.

53. Письмо к А. Р. Воронцову от 26 ноября 1791 года — А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, под ред. В. Каллаша, т. II, М., 1907, стр. 507.

54. А. Н. Радищев. Избранные сочинения, М.—Л., 1949, стр. 614.

55. «Голос минувшего», 1916, № 12, стр. 92 и 77—78.

56. Там же, стр. 79, 80, 95.

57. «Периодическое издание», стр. 61. В дальнейших цитатах указаны страницы этого издания.

58. Сходную позицию в вопросе о воспитании занимал член Вольного общества А. Е. Измайлов. Пороки модного «французского» воспитания он обличал в плане «нравственной сатиры» в романе «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания», первая часть которого была издана в 1799, а вторая — в 1801 году. Герой романа, Евгений

Негодяев, наделен всеми человеческими пороками: он пьяница, игрок, соблазнитель, к тому же неуч. Направив огонь своей сатиры на «безнравственное дворянство», Измайлов допускал, правда в осторожной форме, выпады против крепостного права. Антидворянская направленность романа была такова, что даже в 1849 году он не мог быть перепечатан в собрании сочинений Измайлова в силу цензурного запрещения.

59. «Мое время. Записки Г. С. Винского», стр. 18—20.

60. «Периодическое издание», стр. 136.

61. Записки этой касался, не установив имени ее автора, акад. М. И. Сухомлинов в «Материалах для истории образования в России в царствование императора Александра I» (см. его «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», т. I, СПБ., 1889, стр. 415—417); она цитирована также в «Описании дел архива Министерства народного просвещения», т. II, П., 1921, стр. XVI—XVII. Обращение к подлиннику записки (ЛОЦИА. Архив Министерства народного просвещения. Дело № 38761/к. 1316 — «Об учреждении цензурных комитетов и о последующих по сей части распоряжениях», № 1 (1803—1812), лл. 60—63 об.) позволило нам в 1934 году бесспорно установить авторство Попугаева на основании его характерного почерка (см. сборник «Поэты-радищевцы», Л., 1935, стр. 259).

62. М. Сухомлинов. Указ. соч., стр. 417.

63. Здесь и дальше записка Попугаева цитируется по рукописи; у Сухомлинова она цитирована очень неточно.

64. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 343.

65. Там же, стр. 331.

66. Там же, стр. 348.

67. Ср. у Радищева: «Цензура печатаемого принадлежит обществу, оно дает сочинителю венец или употребит листы на обвертки... Наистрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее публика» (там же, стр. 335).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 227.

2. Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. II, М., 1949, стр. 777.

3. Речь Андрея Тургенева напечатана в «Русском библиофиле», 1912, № 1, стр. 26—30; ср. В. Резанов. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. II, П., 1916, стр. 144—150.

4. Точка зрения Л. Майкова («Сочинения К. Н. Батюшкова», т. I, СПБ., 1887, стр. 37 первой пагинации; Л. Майков. Батюшков, его жизнь и сочинения, изд. 2-е, СПБ., 1896, стр. 29). Ср. у Б. Модзалевского: «По литературным убеждениям своим члены Общества были карамзинисты» («Русский биографический словарь», т. «Плавильщиков — Примо», СПБ., 1905, стр. 138). Это мнение пользуется кредитом и у новейших исследователей; так, например, Д. Благой называет Вольное общество главным штабом «антишишковистов», а членов Общества — безусловными сторонниками языковых теорий Карамзина (К. Н. Батюшков. Сочинения, М.—Л., 1934, стр. 22 и 632).

5. «Переписка А. Х. Востокова», СПБ., 1873, стр. IX—XI.

6. Письмо Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову — Е. Бобров. Литература и просвещение в России XIX века, т. III, Казань, 1902, стр. 130.

7. «Северный вестник», 1804, ч. I, стр. 18—19; «Журнал российской словесности», 1805, № 3, стр. 141—142.

8. «Журнал российской словесности», 1805, ч. IV, № 12, стр. 173, 176. Ср. там же, № 8 («Письмо другу из столицы»); «Северный вестник», 1804, ч. II, стр. 111 — насмешливый отзыв о самом Карамзине, вызвавший защиту его в рижском журнале «Russische Merkur», 1805, № 2, стр. 49—64.

9. «Северный вестник», 1805, ч. IV, № 11, стр. 108.

10. Н. М. Карамзин. Сочинения, т. IV, СПБ., 1834, стр. 164, 167.

11. «Северный вестник», 1804, ч. III, стр. 35—36.

12. «Журнал российской словесности», 1805, ч. II, № 7, стр. 164—165.

13. «Северный вестник», 1805, ч. VIII, № 11, стр. 115—116.

14. «Героизм братской любви (Российский анекдот)» — «Периодическое издание», ч. I, СПБ., 1804, стр. 39.

15. А. С. Шишков. Собрание сочинений и переводов, ч. XVII, СПБ., 1839, стр. 47.

16. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IV, М.—Л., 1937, стр. 37.

17. «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПБ., 1866, стр. 39.

18. «Из слова русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный *для немногих* язык, un petit jargon de coterie», — писал В. К. Кюхельбекер в программной статье «О направлении нашей

поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» («Мнемозина», 1824, ч. II, стр. 38).

19. Письмо к П. А. Вяземскому (1823) — А. С. Пушкин. Письма, т. I, Л., 1926, стр. 60. — «Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе», — добавлял Пушкин.

20. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, М.—Л., 1949, стр. 439.

21. Интерес членов Вольного общества к вопросам языка принимал практический характер и отразился в протоколах Общества; так, например, в 1802 году отмечено, что чтение перевода П. Иванова «О человеке» из Д'Обантона «подало повод к любопытным о русском языке рассуждениям», в другом случае было «определено замечать в особой книге удачно выдумываемые и переводимые слова» (протоколы Вольного общества в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

22. А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, СПБ., 1803, стр. 59.

23. «Разговоры о словесности. II. О русском стихотворении» — «Собрание сочинений и переводов адмирала А. С. Шишкова», ч. III, СПБ., 1824, стр. 116.

24. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 230.

25. А. Ф. Мерзляков. О духе, отличительных свойствах поэзии первобытной, М., 1808, стр. 14.

26. В анонимной рецензии на обе эти книги, появившейся в «Северном вестнике» 1805 года (ч. VII, стр. 159; ч. VIII, стр. 12 и 123), предпочтение было отдано «Опыту» А. Кайсарова, «составленному из исторических справок, выбранному из лучших книг и поддержанному свидетельством важных писателей», тогда как книга Г. Глинки «Основана на воздухе, потому что она родилась... из воображения сочинителя».

27. «Московские ученые ведомости», 1805, № 6, стр. 41.

28. И. М. Борн. Краткое руководство к российской словесности, СПБ., 1808, стр. 140—141.

29. «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 101—104.

30. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 261.

31. Там же, стр. 391.

32. Там же, стр. 227.

33. «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 111 и 97.

34. «Журнал российской словесности», 1805, № 12, стр. 186.

35. «Лицей», 1806, ч. I, стр. 35—36.

36. «Журнал российской словесности», 1805, № 10, стр. 57.

37. «Взгляд на старую и новую словесность» — «Полярная звезда» на 1823 год, стр. 17.

38. Близкий перевод оды Тома́ «Время», выполненный Н. А. Радищевым, был напечатан в «Периодическом издании» Вольного общества (1804).

39. «Парнас, или Гора изящности»; цитир. из первой, расширенной редакции оды (А. Востоков. Опыты лирические, ч. I, СПБ., 1806, стр. 34 сл.).

40. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 319—320.

41. ЛОЦИА. Дело № 206148 к/5916, лл. 21—22.

42. Н. Дубровин. Наши мистики-сектанты. «Русская старина», 1894, т. 82, стр. 67. Никаких следов жалобы Пнина по поводу запрещения указанных стихов в делах цензурного комитета и Главного правления училищ не обнаружено. Полный текст оды «Человек» был впервые опубликован нами в «Сочинениях Ивана Пнина» (1934).

43. К. Маркс. Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. II, М., 1948, стр. 88.

44. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 14, стр. 184.

45. «Цветник», 1810, ч. VI, стр. 1.

46. В. Каллаш. Друг истины (Памяти И. П. Пнина). «Русская мысль», 1905, № 9, стр. 181. А. М. Горький довольно подробно говорил о Пнине в своих каприйских лекциях по истории русской литературы (М. Горький. История русской литературы, М., 1939, стр. 51—53).

47. Н. М. Карамзин. Сочинения, т. V, СПБ., 1835, стр. 251.

48. Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. I, 1934, стр. 232.

49. И. Н. Розанов («Русская лирика», М., 1914, стр. 143) подметил совпадение с Пниным у Пушкина: «Я думал: вольность и покой — замена счастью» («Евгений Онегин», гл. VIII). Вообще все развитие темы обманутой дружбы и покоя, которого «на свете нет», в цитированном стихотворении Пнина «Плач над гробом друга моего сердца» («Журнал для пользы и удовольствия», 1805, ч. IV) приводит на память Пушкина.

50. И. Борн. Ночь — «Периодическое издание» 1804 года, стр. 101.

51. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. VIII, М.—Л., 1930, стр. 324.

52. Выразительный пример политического осмысления имен-символов античных героев встречаем в замечаниях Екатерины II на «Путешествие» Радищева: «... приводится пример Сократа и дается правил предпочесть добродетель всему ... пример Курция, и преподаются некоторые исполнительные правила жизни» («Полное собрание сочинений А. Н. Радищева», под ред А. Бороздина и др., т. II, СПБ., 1907, стр. 304).

53. См. статью Н. Карелкина — «А. Х. Востоков, его ученая и литературная деятельность» — «Отечественные записки», 1855, т. XCVIII, отд. II, стр. 41—70.

54. «Любитель словесности», 1806, ч. I, стр. 71—82 и ч. III, стр. 81—90.

55. «Вестник Европы», 1806, ч. XXV, № 1, стр. 32—42. Рецензия был написана М. Т. Каченовским.

56. См. «Известия Российской академии», кн. IX, 1820, протокол от 5 июня.

57. «Беседа любителей русского слова и Арзамас. Мои воспоминания» — «Москвитянин», 1851, ноябрь, кн. I, стр. 16.

58. «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» — «Мнемозина», ч. II, М., 1824, стр. 29.

59. Письмо к Д. И. Языкову 1803 года — «Русский архив», 1868, № 7/8, стбц. 1082—1083.

60. Письмо 1806 года — «Переписка А. Х. Востокова», СПБ., 1873, стр. XXIV.

61. «Сочинения К. Н. Батюшкова», т. II, СПБ., 1885, стр. 242.

62. Письмо 1809 года — «Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу», М., 1895, стр. 50. Жуковский собирался писать о Востокове в «Вестнике Европы», полагая, что М. Т. Каченовский в своем отзыве об «Опытах лирических» Востокова «говорил очень недостаточным образом о его таланте». Намерения своего Жуковский, однако, не осуществил. Впоследствии Жуковский в своем конспекте очерка истории русской литературы (1826—1827) дал отзыв о Востокове, полностью совпадающий с тем, что в 1809 году он писал о нем А. И. Тургеневу: «Настоящий поэтический талант. Много мыслей; пламенность слога, воображение, но язык мало отшлифованный» («Институт литературы Академии наук СССР. Труды Отдела новой русской литературы», I, М.—Л., 1948, стр. 301, 310).

63. Письмо к П. А. Вяземскому 1819 года — «Остафьевский архив», т. I, СПБ., 1899, стр. 258.

64. «Старая записная книжка» — «Русский архив», 1874, т. I, стбц. 1340—1341.

65. «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. II, СПБ., 1896, стр. 231.

66. «Сын отечества», 1821, ч. XIX, стр. 39—40. Анонимная рецензия эта принадлежит, вероятно, Н. И. Гречу.

67. Цитир. перевод французской статьи В. К. Кюхельбекера из «Le Conservateur Impartial» (1817, № 77), появившийся в «Вестнике Европы», 1817, т. XCV, № 18, стр. 154—157.

68. «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 65.

69. В. К. Тредиаковский. Сочинения, т. I, СПБ., 1849, стр. 164, 789; т. II, отд. I, стр. XLVIII, LXII.

70. «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПБ., 1866, стр. 10; ср. выше — письмо И. И. Дмитриева к Востокову.

71. «Памятник Н. А. Львову», — цитир. по «Русской поэзии», под ред. С. А. Венгерова, вып. IV, СПБ., 1894, стр. 769.

72. «Приятное и полезное препровождение времени», 1794, ч. I, стр. 97.

73. Н. М. Карамзин. Сочинения, т. VII, СПБ., 1835, стр. 124.

74. Одна из Оссиановых песен Гнедича сопровождалась таким примечанием: «Мне и многим кажется, что в песнях Оссиана никакая гармония стихов так не подходит, как гармония стихов русских» («Северный вестник», 1804, ч. I, стр. 65).

75. «Сын отечества», 1817, ч. 41, стр. 223.

76. «Библиографические записки», 1859, № 8, стр. 248.

77. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, М., 1936, стр. 219.

78. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 352—353.

79. А. Востоков. Опыт о русском стихосложении, СПБ., 1817, стр. 30.

80. Там же, стр. 27 и 24.

81. В предисловии в «Ироической» песне «Игорь Святославич» Н. Язвицкий указывал на «русские дактило-хореические древние наши стихи» как на размер, наиболее отвечающий жанру стиховой эпопеи» («Чтения в Беседе любителей русского слова», 1812, кн. VI, стр. 33).

82. Там же, 1813, кн. XIII, стр. 56—72.

83. Там же, 1815, кн. XVII, стр. 18—42. Ср. там же, стр. 47—66 — «Ответ В. В. Капнисту» С. Уварова, ссылающегося, между прочим, на «г ... Р ...», то есть на Радищева.

84. «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 63—64.

85. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VI, М., 1936, стр. 219.

86. «Опыт о русском стихосложении», стр. 134.

87. Там же, стр. 162.

88. Там же, стр. 146—147.

89. Там же, стр. 165. В 1812 году Востоков перевел «русским сказочным размером» отрывок из скандинавской «Эдды» («Речи Вафтруднира»), полагая, что «тон скандинавской поэзии несколько сходен с простонародным русским, и потому решился... употребить размер, а отчасти и слог древних русских стихотворений, как согласнейший с простотою и — так сказать — диковатостью предмета» (А. Востоков. Стихотворения. «Библиотека поэта», Л., 1935, стр. 313).

90. В 1813 году А. Ф. Воейков призывал Жуковского («Вестник Европы», 1813, ч. 68, стр. 28):

Напиши поэму славную,
В русском вкусе повесть древнюю:
Будь наш Виланд, Ариост, Баян!..

91. «Опыт о русском стихосложении», стр. 164—167.

92. «Журнал Министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 65, 69—70.

93. А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. I, стр. 354.

94. С рукописи — архив Вольного общества.

95. «Любитель словесности», 1806, ч. III, стр. 82.

96. Отзывы И. М. Борна — архив Вольного общества; «Любитель словесности», 1806, ч. I, стр. 78.

97. Отзыв Н. А. Радищева — архив Вольного общества.

98. В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 17, стр. 94.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор П. А. Сидоров
Художник И. В. Варзар
Технический редактор
Л. А. Чалова

Корректоры *А. А. Большаков*
и В. П. Стрелкова

Подписано к печати 27/III 1950 г.
М-13012. Тираж 10 000 экз.
Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$ = 7,5 бумажных — 24,6 печатных листа. Учетно-авт. листов 25,7. Зак. № 1026.

4-я тип. им. Евг. Соколовой Главполиграфиздата при Совете Министров СССР, Ленинград, Измайловский пр., 29.